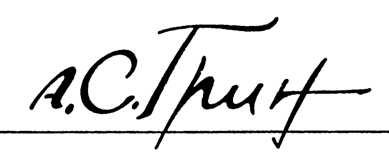
А. С. Грин

А. С. Грин

4





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1994



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

АЛЫЕ ПАРУСА

БЛИСТАЮЩИЙ МИР
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ
СОКРОВИЩЕ АФРИКАНСКИХ ГОР

Романы



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1994

ББК 84(2 Рос-Рус)6
Г 85

Издание выпущено
по Федеральной целевой программе
книгоиздания России

Составление с научной подготовкой текста
Вл. РОССЕЛЬСА

Примечания
А. РЕВЯКИНОЙ

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

Г $\frac{4702010201-083}{028(01)-94}$ Подписное

ISBN 5-280-02046-X (Т. 4)
ISBN 5-280-01 609-8

АЛЫЕ ПАРУСА

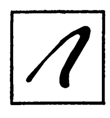
Феерия

Нине Николаевне Грин
подносит и посвящает
Автор

ПБГ, 23 ноября 1922 г.

I

ПРЕДСКАЗАНИЕ

онгрен, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был наконец покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки — нового предмета в маленьком доме Лонгрена — стояла взволнованная соседка.

— Три месяца я ходила за нею, старик,— сказала она,— посмотри на свою дочь.

Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.

— Когда умерла Мери? — спросил он.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы — будь теперь они вместе, втроем — был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после

трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

— У нас в доме нет даже крошки съестного,— сказала она соседке.— Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».

Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза,— сказала она,— и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же, прибавила она, без такого несмышленыша скучно.

Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро

в городских магазинах появились его игрушки — искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов — словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам: «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» — на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.

Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе — Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни — дикие ревостишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длиный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не

отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность,— так силен был его ровный пробег — давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.

В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов

обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

— Лонгрен! — закричал смертельно перепуганный Меннерс.— Что же ты стал как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!

Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее изо рта, чтобы лучше видеть происходящее.

— Лонгрен! — взывал Меннерс.— Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрен,— донеслось к нему глухо, как с крыши — сидящему внутри дома,— спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул:

— Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!

Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

— Спи, милая,— сказал он,— до утра еще далеко.

— Что ты делаешь?

— Черную игрушку я сделал, Ассоль,— спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями

о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери,—им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял; стоял неподвижно, строго и тихо, как судья; выказав глубокое презрение к Меннерсу—большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они,— поступил внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрен утопил Меннерса!» Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два—три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз-навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется,

постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения; она перестала наконец оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: «Скажи, почему нас не любят?» — «Э, Ассоль,— говорил Лонгрен,— разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут».— «Как это — уметь?» — «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях — лекция, в которой благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще — диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность — в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний

которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты — словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. «Ну, говори еще»,— просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. «Эх вы,— говорил Лонгрен,— да я неделю сидел над этим ботом.— Бот был пятивершковый.— Посмотри, что за прочность,— а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.

Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают — игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив что было — лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного,— размышляла Ассоль,— она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. «Ты откуда приехал, капитан?» — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: «Я приехал... приехал... приехал я из Китая».— «А что ты привез?» — «Что привез, о том не скажу».— «Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался»,— подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: «Ах, господи! Ведь случись же...» Она старалась не терять из виду красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием

поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из виду алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у-у», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал во встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.

Перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный

серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком — выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

— Теперь отдай мне,— несмело сказала девочка.— Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?

Эгль поднял голову, уронив яхту,— так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.

— Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном,— сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту.— Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?

— Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

— У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я в качестве берегового пирата могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом — между моей левой пяткой и оконечностью палки.— Он стукнул тростью.— Как зовут тебя, крошка?

— Ассоль,— сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

— Хорошо,— продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа.— Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называйся ты одним

из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая как есть. Я, милая, поэт в душе — хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

— Лодочки,— сказала Ассоль, встряхивая корзинкой,— потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

— Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала — ведь так?

— Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама.— Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

— Я это знал.

— А как же?

— Потому что я — самый главный волшебник.

Ассоль смутилась: ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь — девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт.

— Тебе нечего бояться меня,— серьезно сказал он.— Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе.— Тут только он уяснил себе, что́ в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы,— решил он.— Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет».— Ну-ка,— продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству — следствие всегдашней работы — было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты),— ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь; словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день,

стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова.

Подумав, он продолжал так:

— Не знаю, сколько пройдет лет,— только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль! — скажет он.— Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.

— Это все мне? — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе.— Может быть, он уже пришел... тот корабль?

— Не так скоро,— возразил Эгль,— сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? — это *будет*, и кончено. Что бы ты тогда сделала?

— Я? — Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением.— Я бы его любила,— поспешно сказала она, и не совсем твердо прибавила: — Если он не дерется.

— Нет, не будет драться,— сказал волшебник, таинственно подмигнув,— не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.

— Ну, вот...— сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца.— Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник...

Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и — в обратном порядке — погоня за упущенной яхтой.

Лонгрен выслушал девочку не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая:

— Так, так... По всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение — и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:

— Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?

— Придет,— спокойно ответил матрос,— раз тебе это сказали, значит, все верно.

«Вырастет, забудет,— подумал он,— а пока... не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали — нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего — шутка! Смотри, как сморило тебя,— полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса».

Ассоль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табака настроил добычливо.

— Дай, хозяин, покурить бедному человеку,— сказал он сквозь прутья.— Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава.

— Я бы дал,— вполголоса ответил Лонгрен,— но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.

— Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.

— Ну,— возразил Лонгрен,— ты не без табака все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.

Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил:

— Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудак-чудаковский, а еще хозяин!

— Слушай-ка,— шепнул Лонгрен,— я, пожалуй, разбужу ее, но только затем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!

Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой — для себя, разумеется,— сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал:

— И не дал мне табаку. «Тебе,— говорит,— исполнится совершеннолетний год, а тогда,— говорит,— специальный красный корабль... За тобой. Так как твоя участь — выйти за принца. И тому,— говорит,— волшебнику — верь». Но я говорю: «Буди, буди, мол,

табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.

— Кто? Что? О чем толкует? — слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой:

— Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут — тетки, вам бы не прозевать! — заморского принца, да еще под красными парусами!

Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:

— Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!

Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой.

II

ГРЭЙ

Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.

Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величественен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов — серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью — извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.

Отец и мать Грэя были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть

их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть — воображаемое продолжение галереи — начиналась маленьким Грэем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно несклонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

— Зачем ты испортил картину?

— Я не испортил.

— Это работа знаменитого художника.

— Мне все равно,— сказал Грэй.— Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.

Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний темный дуб бочки лоснился как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутыли зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими

ножками: везде — плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда, под вечер, солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего аликанте, какое существовало во время Кромвеля, и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах.

— Ну, вот что,— говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком,— видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал ее «Рай» и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца — так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив»,— но и то, по зрелом размышлении...

— Кажется, опять каплет из крана,— перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом.— Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю»! Как понять?

Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой — на небе. Есть еще третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.

Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

— Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.

— Я выпью его,— сказал однажды Грэй, топнув ногой.

— Вот храбрый молодой человек! — заметил Польдишок.— Ты выпьешь его в раю?

— Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? — Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак.— Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет...

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.

Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; веселые,

толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры; там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там — репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.

На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу.

Грэй замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.

— Очень ли тебе больно? — спросил он.

— Попробуй, так узнаешь, — ответила Бетси, накрывая руку передником.

Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грэй подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.

— Мне кажется, что тебе очень больно, — сказал он, умалчивая о своем опыте. — Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же!

Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно му-

чаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку.

Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.

Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств; глаз видит и не узнает помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.

Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное

усилие воли, лишенное женственного притяжения,— эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге — их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.

Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.

Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил — не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно искоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец — в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.

Таким образом, Грэй жил в своем мире. Он играл один — обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно-пестрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.

Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и, тем получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада — просвет, тень, цветок, дремучий

и пышный ствол — во множестве садов и н ы х, и вдруг увидел их ясно, все — в прекрасном, поражающем соответствии.

Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок; надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грэя проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкапов были проходы, заваленные грудами книг. Там — раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там — свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших как кора, если их раскрывали; здесь — чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.

Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бугшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше бугшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но

всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего собственно не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела — взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал — но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся: мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты, с черным флагом и страшной, раз-

махивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.

В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плавал и останавливался, где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея.

Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди.

Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй,

обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.

В течение года, пока «Ансельм» посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть — для настоящего и будущего — проиграл в карты. Он хотел быть «дьявольским» моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купанье, с замирающим сердцем, прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты.

Понемногу он потерял все, кроме главного — своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб.

Капитан «Ансельма» был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэя он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук; все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги и саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном «Роза-мимоза». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: «Да. Ступайте к «Розе-мимозе».

Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грэй шел к цели со стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением

воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что не придержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.

Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал:

— Слушай внимательно! Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана.

И он стал читать — вернее, говорить и кричать — по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы».

В Ванкувере Грэя поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: «Я знаю. Но если бы ты видела, как я: посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я: приложи к уху раковину, в ней шум вечной волны; если бы ты любила, как я — всё, в твоем письме я нашел бы, кроме любви и чека, — улыбку...» И он продолжал плавать, пока «Ансельм» не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок.

Все было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.

Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее как вчера, встречали этого Грэя. Ему

сказали, где мать; он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на поседевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием: ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. «О плавающих, путешествующих, болеющих, стадающих и плененных»,— слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: «И мальчику моему...» Тогда он сказал: «Я...» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела: в надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах — вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. «Я сразу узнала тебя, о, мой милый, мой маленький!» И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя — во всем, что он утверждал как истину своей жизни,— видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.

Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ,— здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием,— теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели все, что было на буфете и в кухне.

Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был «Секрет», купленный Грэем; трехмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля Артур Грэй плавал еще четыре года, пока судьба не привела его в Лисс. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится со своими игрушками.

III

РАССВЕТ

Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грэя «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка.

Десять дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай, одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах; на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.

Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом.

В сопровождении боцмана Грэй осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грэя. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда.

Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях.

Табак страшно могуч; как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак: смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже; они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грэя, утратив наконец после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа; когда исчез душевный туман, Грэй очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь; за бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул

морем. Грэй, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды; мгновенно через умопомрачительность миль проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива; иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе; ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей; на баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грэй свистнул; огонь трубки двинулся и поплыл к нему; скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.

— Передай Летике,— сказал Грэй,— что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки.

Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный, жуликоватый парень, загремев о борт веслами, подал их Грэю; затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грэй сел к рулю.

— Куда прикажете плыть, капитан? — спросил Летика, кружа лодку правым веслом.

Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести.

Грэй взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал; звякали и плескали весла, все остальное было морем и тишиной.

В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грэй сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грэй; он мог бы, правда, сказать: «Я жду, я вижу, я скоро узнаю...» — но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения.

Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна. Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали

печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грэй повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой; засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние, нависшие выступы; это место ему понравилось.

— Здесь будем ловить рыбу,— сказал Грэй, хлопая гребца по плечу.

Матрос неопределенно хмыкнул.

— Первый раз плаваю с таким капитаном,— пробормотал он.— Капитан дельный, но непохожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его.

Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух.

Грэй сел у костра.

— Ну-ка,— сказал он, протягивая бутылку,— выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.

— Простите, капитан,— ответил матрос, переводя дух.— Разрешите закусить этим...— Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: — Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную.

Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал:

— Правда ли, капитан, что, говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?

— Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.

— А вы?

— Я? Не знаю. Может быть. Но... потом.

Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды:

— Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист.— Затем он пощекотал пальцем в коробке

червей.— Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался — и его сомы съедят.

Наконец он ушел с пением:

— Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры, хлопнись в обморок, селедка,— удит Летика с горы!

Грэй лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли; в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намекам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был «где-то» — не здесь.

Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырел и затек. Бледно светились звезды; мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не долее тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам — что там? Но там, само собой, ничего не было.

Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва — с впечатлением, что под самой спиной Грэя — шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растекалась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть.

Летики не было; он увлекся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.

Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого темной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригибался к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Беклина.

Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее; ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.

Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке: спали темные волосы, спало платье и складки платья: даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: «Капитан, где вы?» — но капитан не слышал его.

Когда он наконец встал, склонность к необычайному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без

основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грэя с таким удивлением, с каким, верно, смотрел Иона на пасть своего меблированного кита.

— А, это ты, Летика! — сказал Грэй.— Посмотрика на нее. Что, хороша?

— Дивное художественное полотно! — шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения.— В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.

— Тише, Летика. Уберемся отсюда.

Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.

Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал:

— Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?

— Должно быть, вон та черная крыша,— сообразил Летика,— а, впрочем, может, и не она.

— Что же в этой крыше приметного?

— Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.

Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус.

Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположились три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым скучным лицом и тем

особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна.

Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грэе настоящего капитана — разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в суете людской скатертью, Меннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грэя, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее.

В то время как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грэй подозвал Меннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением, и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.

— Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей,— спокойно заговорил Грэй.— Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно-русой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?

Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренно завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал — единственно из бесплодного желания догадаться, в чем дело.

— Гм! — сказал он, поднимая глаза в потолок.— Это, должно быть, Корабельная Ассоль, больше быть некому. Она полоумная.

— В самом деле? — равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток.— Как же это случилось?

— Когда так, извольте послушать.— И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой.— С тех пор так ее и зовут,— сказал Меннерс — зовут ее Ассоль Корабельная.

Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар — одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнесся клинически. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись, Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал:

— Еще могу сообщить вам, что ее отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он...

Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением, и так свирепо, что все вздрогнули:

Корзинщик, корзинщик,
Дери с нас за корзины!..

— Опять ты нагрузился, вельбот проклятый! — закричал Меннерс. — Уходи вон!

...Но только бойся попадать
В наши палестины!.. —

взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.

Хин Меннерс возмущенно пожал плечами.

— Дрянь, а не человек, — сказал он с жутким достоинством скопидома. — Каждый раз такая история!

— Более вы ничего не можете рассказать? — спросил Грэй.

— Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитёй должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание...

— Ты врешь, — неожиданно сказал угольщик. — Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. —

Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грэю: — Он врет. Его отец тоже врал; врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься — как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. «Я тебе что скажу,— говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню,— моя работа не скучная, только все хочется придумать особенно. Я,— говорит,— так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают причал и честь честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я, это, захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: «Ну, Ассоль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке».— «Нет,— говорит она,— я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил».— «Ну а я?» — «А ты? — смеется она,— ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врет и денег не берет; я его знаю!

Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился:

— Прикажете подать что-нибудь?

— Нет,— сказал Грэй, доставая деньги,— мы встаем и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?

— Добрейший капитан,— сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом,— не понять э т о г о может только глухой.

— Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай!

Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда,— одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх — знойному солнцу,— как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.

IV

НАКАНУНЕ

Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с Алыми Парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить, и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала, рассеянно наблюдая море.

Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число.

— Вот сколько вы забрали с декабря,— сказал торговец,— а вот посмотри, на сколько продано.— И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков.

— Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы,

но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: «Мне, милая, это больше не выгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут». Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мною, так как посоветовал сходить в «Детский базар» и Аладдинову лампу».

Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лонгрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала с деланным оживлением:

— Ничего, это все ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшеннейший магазин; там куча народу. Меня затолкали; однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню; под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.

Лонгрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лонгрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые.

Ассоль была еще в «Аладдиновой лампе» и в двух других лавках, но ничего не добилась.

Оканчивая рассказ, она собрала ужинать: поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрен сказал:

— Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить — на «Фицроя» или «Палермо». Конечно, они правы,— задумчиво продолжал он, думая об игрушках.— Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнуть жить. Все

это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну.

— Я также могла бы служить вместе с тобой; скажем, в буфете.

— Нет! — Лонгрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу.— Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать.

Он хмуро умолк. Ассоль примостилась рядом с ним на углу табурета; он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться — значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала: «Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю». Пока она охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.

— Ты милая,— просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку.

Ассоль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкапу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чем с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз,— был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но, тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток; потом взглянула на свое отражение.

За ореховой рамой в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний;

каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль был совершенно оригинален, оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова «очарование».

Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.

Пока она шьет, посмотрим на нее ближе — во внутрь. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая — живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением — определенно человеческое, и — так же, как человеческое — различное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она еще сверх видимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда — и это продолжалось ряд дней — она даже перерождалась; физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами. Эти минуты были для нее счастьем; нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния.

В другое время, размышляя обо всем этом, она, икренно дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности; теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем, случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря: «Она тронутая, не в себе»; она привыкла и к этой боли; девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих — лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви,— здесь немыслимо. Так, в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильна вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.

Меж тем как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко; откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться.

Ее не теребил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась посвоему, дружелюбно лепеча утром: — «Здравствуй, Бог!», а вечером: «Прощай, Бог!»

По ее мнению, такого короткого знакомства с Богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: Бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мне-

нию, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам.

Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной, тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть: она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон действительно как бы лишь ждал этой подачки; он пришел, пошептался с Мери, стоящей у изголовья, и, повинуясь ее улыбке, сказал вокруг: «Ш-ш-ш-ш». Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села.

Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет — не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен; верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина; она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло духотой и землей.

Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто подобное отдаленному зову всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая,

слушаем мы речи людей, но, если повторить сказанное, поймем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней.

Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукою под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги; дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака; дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем,— тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку.

Она шла, чем далее, тем быстрей, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополи и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как «я» и «ты». Ассоль, посматривая в ее сообщительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперед, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.

Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки — позы, усилия, движения, черты и взгляды; ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. «Фук-фук»,— отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. «Здравствуй,

больной»,— сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем. «Необходимо посидеть дома» — это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. «Стряхни толстого пассажира»,— посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые — она знала это — говорят басом.

То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили ее чем могли — листьями — и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув средь золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.

Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на

горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого,— глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там — на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.

Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле.

Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула — по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.

Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грэя напомнило о себе, но, считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазами и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.

На ее пальце блестело лучистое кольцо Грэя, как на чужом,— своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой.— «Чья это шутка? Чья шутка? — стремительно вскричала она.— Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?» Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса

сердца сказали вещее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она — всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.

Так — случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать,— Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.

V

БОЕВЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Когда Грэй поднялся на палубу «Секрета», он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность — облачное движение чувств — отражалась в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы; увидев Грэя, он заметил странное состояние капитана.

— Вы, быть может, ушиблись? — осторожно спросил он.— Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт, с премией. Да что с вами такое?..

— Благодарю,— сказал Грэй, вздохнув, как развязанный.— Мне именно недоставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль десять отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все... Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.

— Что же случилось?

— Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких

расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят.

— Хорошо,— бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грэя.— Будет исполнено.

Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча: «Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грэй спустился в каюту, взял деньги и, переехав бухту, появился в торговых кварталах Лисса.

Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение — мысль, действие — грело его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии.

Грэй побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный; густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» — «прекрасно» — «великолепно» — «совершенно»; в складках таились намеки, не доступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец

один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.

Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков; не было также ни синевы, ни тени — ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.

— Довольно образцов,— сказал Грэй, вставая,— этот шелк я беру.

— Весь кусок? — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее.— В таком случае, сколько метров?

Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.

— Две тысячи метров.— Он с сомнением осмотрел полки.— Да, не более двух тысяч метров.

— Две? — сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный.— Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак, прошу вас. Две тысячи... две тысячи по...— Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да», но Грэй был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться.— Удивительный, наилучший шелк,— продолжал лавочник,— товар вне сравнения, только у меня найдете такой.

Когда он наконец весь изошел восторгом, Грэй договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо; его товарищ,

флейтист, осыпал пение струн лепетом горлового свиста; простая песенка, которою они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности; услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных, сообразно его характеру, этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Миновав переулок, Грэй прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить; высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина; тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.

— Ба, да это ты, Циммер! — сказал ему Грэй, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку».— Как же ты изменил скрипке?

— Досточтимый капитан,— самодовольно возразил Циммер,— я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли винцом, а? Виолончель — это моя Кармен, а скрипка...

— Ассоль,— сказал Грэй.

Циммер не расслышал.

— Да,— кивнул он,— соло на тарелках или медных трубочках — другое дело. Впрочем, что мне?! Пусть кривляются паяцы искусства — я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.

— А что скрывается в моем «тур-люр-лю»? — спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой.— Ну-ка, скажи?

— Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда — птица, иногда — спиртные пары. Капитан,

это мой компаньон Дусс; я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас.

— Да,— сказал Дусс,— я люблю жест и щедрость. Но я хитер, не верьте моей гнусной лести.

— Вот что,— сказал, смеясь, Грэй.— У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или — что еще хуже — в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами,— нет. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев; соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву *А*. Если вам нравится мое предложение, приезжайте по вечеру на «Секрет»; он стоит неподалеку от головной дамбы.

— Согласен! — вскричал Циммер, зная, что Грэй платит, как царь.— Дусс, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости! Капитан Грэй хочет жениться!

— Да,— просто сказал Грэй.— Все подробности я вам сообщу на «Секрете». Вы же...

— За букву *А*! — Дусс, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грэю.— Но... как много букв в алфавите! Пожалуйте что-нибудь и на фиту...

Грэй дал еще денег. Музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму — выполнить срочно, в течение шести дней. В то время как Грэй вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк; пять парусников, нанятых Грэем, поместились с матросами; еще не вернулся Летика и не прибыли музыканты; в ожидании их Грэй отправился потолковать с Пантеном.

Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок — иногда месячных — в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись «грэизмом» Грэя. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части

машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев: черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу; неудивительно, что команда «Секрета», воспитанная, таким образом, в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Все-таки в этот раз Грэй встретил вопросы в физиономиях; самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.

Пантен, конечно, сообщил им приказание Грэя; когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступал вечер; сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.

— Все готово,— мрачно сказал Пантен.— Если хотите, можно поднимать якорь.

— Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше,— мягко заметил Грэй.— Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря.

Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь.

— Это, конечно, так,— сказал он.— Впрочем, я ничего.

Когда он вышел, Грэй посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился, то, прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния; он повернул ключ, впустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.

— «Лети-ка, Летика»,— сказал я себе,— быстро заговорил он,— когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая

в ладони. У меня глаз как у орла. И я полетел; я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?

— Летика,— сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам,— я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?

— Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано.

— Говори.

— Не стоит говорить, капитан; вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.

— Куда?

— Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.

Он повернулся и вышел со странными движениями слепого. Грэй развернул бумажку; карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летика:

«Сообразно инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку; при нем огород. Означенная особа приходила два раза: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».

Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путем застольного разговора, так как меморий заканчивался несколько неожиданно словами: «В счет расходов приложил малость своих».

Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грэй положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантеном, но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава.

— Мы ошвартовались у дамбы,— сказал он.— Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят: на него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на «Секрет»? Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове.

— Да, Атвуд,— сказал Грэй,— я, точно, звал музыкантов; подите скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа.

Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, тоже послушаете меня.

Атвуд взвел, как курок, левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти десять минут Грэй провел, закрыв руками лицо; он ни к чему не приготовлялся и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.

— Ничего особенного,— сказал Грэй, присаживаясь на трап мостика.— Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк; из него под руководством парусного мастера Блента смастерят «Секрету» новые паруса. Затем мы отправимся, но куда — не скажу; во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.

— Да,— сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить.— Так вот в чем дело, капитан... Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.

— Благодарю! — Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел — нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел — его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен. Вяло подержав руку Грэя, он мрачно спросил:

— Как это вам пришло в голову, капитан?

— Как удар твоего топора,— сказал Грэй.— Циммер! Покажи своих ребятишек.

Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо.

— Вот,— сказал Циммер,— это — тромбон; не играет, а палит, как из пушки. Эти два безусых молодца — фанфары; как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-а-пистон и вторая скрипка. Все они — великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла — Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно — разочарованный вид, но этот бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грэй?

— Изумительно,— сказал Грэй.— Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными «скерцо», «адажио» и «фортиссимо». Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через два часа.

Этих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его наконец до того, что он стал считать мысленно: «Один... два... тридцать...» — и так далее, пока не сказал «тысяча». Такое упражнение подействовало: он был способен наконец взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно, хотя бы смутно, понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грэя начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.

Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: «Лево четверть румба, лево. Стой: еще четверть». «Секрет» шел с половиною парусов при попутном ветре.

— Знаете,— сказал Пантен Грэю,— я доволен.

— Чем?

— Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике.— Он хитро подмигнул, светя улыбке огнем трубки.

— Ну-ка,— сказал Грэй, внезапно догадавшись, в чем дело,— что вы там поняли?

— Лучший способ провезти контрабанду,— шепнул Пантен.— Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!

— Бедный Пантен! — сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться.— Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.

Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному.

VI

АССОЛЬ ОСТАЕТСЯ ОДНА

Лонгрен провел ночь в море; он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блужданья. Тишина, только тишина и безлюдье — вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время; кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг, и возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мери никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота.

Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца; на этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг

сразу увидел Ассоль; вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо — то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрену так непонятно, что он быстро спросил:

— Ты больна?

Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся наконец ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать — что именно. Она сказала:

— Нет, я здорова... Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это оттого, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.

— Что бы я ни надумал,— сказал Лонгрен, усаживая девушку на колени,— ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом.

— Да,— издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильна перестать радоваться.— Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей.— Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой.— Да, поскорей, милый, я жду.

— Ассоль! — сказал Лонгрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе.— Выкладывай, что случилось?

Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно-внимательной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь.— Ты странный,— сказала она.— Решительно ничего. Я собирала орехи.

Лонгрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок, перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов.

— Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: «Лонгрен скоро вернется». Не думай и не беспокойся обо мне, худого ничего не случится.

После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом, затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к ее ногам.

Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лисс. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идет, но не идти не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.

Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей наконец пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными

людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась.

— Здравствуй, Филипп,— сказала она,— что ты здесь делаешь?

— Ничего, муха. Свалилось колесо, я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?

Ассоль не ответила.

— Знаешь, Филипп,— заговорила она,— я тебя очень люблю и потому скажу только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.

— Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась?—изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.

— Не знаю.— Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила: — Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю куда. Больше ничего не скажу. Поэтому на всякий случай — прощай; ты часто меня возил.

Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.

— Чудеса,— сказал угольщик,— поди-ка пойми ее. Что-то с ней сегодня... такое и прочее.

— Верно,— поддержал второй,— не то она говорит, не то — уговаривает. Не наше дело.

— Не наше дело,— сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.

VII

АЛЫЙ «СЕКРЕТ»

Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет ее воздушных

пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.

Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию.

Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости.

Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.

Пока «Секрет» шел руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу — он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.

— Теперь,— сказал Грэй,— когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте — я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует, как старинное

представление о прекрасном несбыточном и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.

Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так:

— Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме нее, может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение и... вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем. Что до меня, то наше начало — мое и Ассоль — останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?

— Да, капитан. — Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. — Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку — свой он проиграл в карты.

Прежде чем Грэй, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грэй оглянулся, посмотрев вверх: над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. «Секрет» шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя — ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот; спокойно, как парус, рвался он

к восхитительной цели; полный тех мыслей, которые опережают слова.

К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера, крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал «лечь в дрейф».

— Братцы,— сказал Грэй матросам,— нас не обстреляют, не бойтесь; они просто не верят своим глазам.

Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел «Секрет» из ветра; судно остановилось, между тем как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Грэем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с простодушным Пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение; настроение было неслужебное, сбитое — под знаком любви, о которой говорили везде — от салона до машинного трюма, а часовой минного отделения спросил проходящего матроса: «Том, как ты женился?» — «Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно»,— сказал Том и гордо закрутил ус.

Некоторое время «Секрет» шел пустым морем, без берегов; к полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и действительно едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: «Опять жучишка... дурак!..» — и хотела решительно сдуть гостя в тра-

ву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами:

«Налейте, налейте бокалы — и выпьем, друзья, за любовь...» В ее просторе, ликуя, развертывалось и рокотало волнение.

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу кто в чем был; жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль.

Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уж которая начинала трещать — яд забирался

в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего — ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи,— она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича:

— Я здесь, я здесь! Это я!

Тогда Циммер взмахнул смычком — и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка — все двигалось, кружилось и опадало.

Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

— Совершенно такой.

— И ты тоже, дитя мое! — вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй.— Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета» — все было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте — в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все

это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки, и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, не доступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки наконец ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.

— Ты возьмешь к нам моего Лонгрена?—сказала она.

— Да.—И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.

Меж тем на палубе у грот-мачты, возле бочонка, изъеденного червем, с сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом, в песне золотых труб, святое вино.

— Ну, вот...—сказал он, кончив пить, затем бросил стакан.—Теперь пейте, пейте все; кто не пьет, тот враг мне.

Повторить эти слова ему не пришлось. В то время как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Каперны «Секрет», давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках.

— Как понравилось оно тебе?—спросил Грэй Летику.

— Капитан!—сказал, подыскивая слова, матрос.— Не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!

— Что?!

— Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива будет та, которую «лучшим грузом» я назову, лучшим призом «Секрета»!

Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой, да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье...

БЛИСТАЮЩИЙ МИР

Это — там...
Свифт

Часть I

ОПРОКИНУТАЯ АРЕНА

I

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» Человека Двойной Звезды; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба — любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала — отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара — негра из африканской Либерии,— раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал истинно-небывалое. Постояв с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду,— говорила афиша,— 23 июня 1913 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя Человеком Двойной Звезды.

Не имеющий веса
Летящий бег
Чудесный полет

Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до 3-х секунд полного времени.

Человек Двойной Звезды — величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены утроены».

Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения: несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изощренный глаз такого пройдохи, как Агассиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: *Э. Д.*— только; ни адреса, ни профессии...

Говоря так, Агассиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:

— Я видел несомненно образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но... да, он — редкость даже и для меня, испытавшего за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не мог выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно о д и н раз, ни больше ни меньше,— б е з гонорара, б е з угощения, б е з всякого иного вознаграждения.— Эти три «б е з» Агассица свистнули солидно и вкусно.— Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделясь в воздух, двинулся через стол, задержавшись над ним — над этой вот самой чернильницей — не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит. «Вот все, что я умею»,— сказал он, когда мы уселись опять,— но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».

Я спросил, что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами. «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они являются. Так это является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался и даже зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. «Время от времени,— сказал он,— слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастролера. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдосталь полюбовавшись интересным портретом, спросил: «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

Сам отвечая себе, он прибавил: «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится «царь природы». И капли пота покроют его лицо...»

II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что Двойная Звезда (как приказал он обозначить себя в афише) — граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанно-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, которую из них купит он подороже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку и бренчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом, до последнего момента, что таинственный гастролер — шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене — беглый преступник. Они же сочинили, что Двойная Звезда — карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмиревшего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь»,— особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о Двойной Звезде; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что его бедную жизнь может поразить нечто, о чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора — измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний — застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе

пыли за копытами коней Цезаря не важна отдельно каждая сущая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит... Пыль — и Цезарь.

III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея, в силу того что они вызвали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден стоя переминаться с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих, как люстры, на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит стрежи свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица — непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка — галерея; силясь

высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался со свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение a giorno, возбуждающе яркий свет такой силы, что все, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружало противоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля — и лица и выражения. Цирк, залитый светом, от укрепленных под потолком трапеций, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пюпитров, до свежих опилок, устилавших арену, был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза можно было по слуху намечать все точки пространства — скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий, взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды,— шелеста движений и дыхания десятитысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов — традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая неровным треском, перекатились аплодисменты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте флейт понесли воинственный марш, и представление началось.

IV

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агассиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление, с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь склопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился Двойная Звезда.

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони — клоунов, клоуны — акробатов; жонглеры и фокусники сле-

довали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остолбенение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны почесывались и острили, как наездник с наездницей на белых астурийских конях вылетели и понеслись вокруг арены. То были Вакх и вакханка — в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шальных тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унизил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свиданья» — с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее, Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал — нет.

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он остановил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

— Галль, все проходит! Вы — человек сильный. Мне искренно жаль, что это случилось с вами, что причиной вашего горя — я.

— Только вы и могли быть,— сказал Галль, ничего не видя, кроме нее.— Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили.

— Как?!

— Эта страна вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

— Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы как на несчастье на любовь, если поразит она меня без судьбы.

Руна покойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

— Любовь и судьба — одно...— Галль помолчал.— Или... что вы хотите сказать?

— Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю,— Руна скорбно двинула обнаженным плечом,— что такой судьбы я... недостойна.— Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке.— Но я все же хочу, чтобы эта судьба была особенная.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

— Конечно, я вам не пара,— сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом.— Вы достойны быть королевой. Я — обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «добрый ли я человек»? А нищему все равно.

— Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане,— сказала Руна.— Я ведь знаю людей.

должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз,— едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка... Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмыслено властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна произнесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

— Экстаз?

— Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немощи слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

— Я не меняю мнений, не меняю привязанностей,— сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая для полноты впечатления все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене, в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода — не любила ее. Она великолепно играла; ей по очереди пророчили то ту, то другую славу — она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру и садоводство, спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости, фигура веяла свежестью

и весельем ясного тела. Она была чуть пониже Галля; он же при среднем росте казался выше благодаря эполетам.

Галль — интеллигентный воин с немного расплывчатым лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, передумав о Руне Бегуэм все, что пришло на мысль, обратил внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья...» Конец фразы: «если бы — со мной...» — застрял в его горле. Он разгладил усы и приготовился смотреть представление.

V

Последний перед выходом Двойной Звезды номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечего, низкорослого человека связали по рукам и ногам толстенными веревками, опутали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его накрыли простыней; он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верхи, потрещав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; средина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой; задержась на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

— Сыграйте,— сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех,— сыграйте что-нибудь медленное и плавное, например «Мексиканский вальс».

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление; кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

Двойная Звезда — каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту — был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки, с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти, меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо вились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинуты.

Он отошел к барьеру, притопнул и не спеша побежал, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздались возгласы: «Смотрите, смотрите». Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения — на пустяки, может быть треть

секунды,— но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжкой гири против золотника — так необычно метнулось пред всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения: вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил, в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось? Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями. Балетный критик Фогард сказал: «Вот монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: «Я видел прыжки негров в Уганде; им далеко...», «Факирство, гипноз!». «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов»,— возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал Двойная Звезда, сея тревожные ожидания, разраставшиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже маньяки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах!», с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение; эти много видавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как Двойная Звезда выступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: «Мама, мама! Он летит... Смотри, он не задевает ногами!»

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. Двойная Звезда несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше.

Тогда внезапно за некоей неуловимой чертой, через которую, перескакнув и струсив, заметалось подкошенное внимание — зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее постранство с плавной быстротой птицы,— теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась внизу.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и как подстреленный оборвал медный крик.

Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завыла; крики «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие в припадке внезапной слабости или головокружения сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком выше трапеций и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе Двойная Звезда.

— Оркестр, музыку!! — кричал Агассиц, едва сознавая, что делает.

Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум быстро вошедшим к нему в ложу, прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд вверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги...» Каданс пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «зовущий в блистающий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

Галль подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

VI

Когда, вновь коснувшись земли, Двойная Звезда стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел через конюшни в аллею бульвара.

Он укрыл лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову; в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента; тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком,

но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

— Вот он умер,— сказал Друд,— погибла жизнь, и, без сомнения, великолепная награда. Меня хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью — безотчетной грустью горца, взирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным вещам — чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, теребя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц: и что́ там, в том мире, где он плывет и дышит свободно? И нельзя ли туда сопутствовать, закрыв от страха глаза?

Друд несся над городскими огнями в гневе и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить, или, если в том не успеют, окружат его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование — абсурд, явление нетерпимое. Есть положения, ясные без их логического развития: Венера Милосская в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрывы на расстоянии. Он вспомнил цирк — так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгрались во всем их безобразии сцены темного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками; один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился тоже наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударилась в грудь, забилась у лица и, издав стон ужаса, взмыла, сгинув во тьме. Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то поизошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая, главным образом, в облака. Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой;

он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадов миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь, подобно мартышкам. Все звуки, подымающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутил звездный луч; возница, махая бичом, ловил слетевший цилиндр. В стороне скользили освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а франт сосал тросточку, косясь на миловидное лицо соседки. Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, укрытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой газет; кошка стремглав перелезла по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком в тарелку величиной, вблизи же являли двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист, с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромные стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка заскрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби, гуркая и скрипя клювом. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили такт старинной мелодии, и устремился к гостинице, где временно жил.

VII

Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий «забыть» необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи — плоды бессонной ночи, — украшенные самыми заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить — лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил тонкое «но», в глубокомысленной бессмысленности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпульку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто приводил гипнотизм, факирство, кто чудеса техники; ссылались и на старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса с продувной машинкой в подкладке. Не были забыты ни синематограф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический человек Вебера обыгрывал искуснейших шахматистов своего времени. В силу того что всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара со сверхсметной прибавкой фантазии или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас божий», то есть вести с конюшен и галерей, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам

стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно; третьи добавляли, что малютка превратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел летательную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляла утром 24-го числа кухня гостиницы «Рим», в девятом часу. Здесь за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарка; поварята, гримасничая и наделяя у плиты друг друга щелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надеявшихся умилостивить контролера сигарой или проскочить, улучив момент, внутрь.

— Вздор! — сказал повар, выслушав описание повального бегства зрителей.— Хотя бы видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам, не было.

— Легко сказать «вздор»,— возразил лакей,— тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с тобой говорить... Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

— А что тогда будет? — воинственно спросил повар.— Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

— Я? Вру?

— Ну, не врешь, так сочиняешь, это одно и то же, а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обрушились столбы. Этого я, разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

— При чем тут подпорки,— возразил, вспотев от отчаяния, лакей,— когда побежала полная улица народа, двери трещали, и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

— Вздор! — сказал повар.— Как обломают тебе ноги, так закричишь, сам не зная что. Бывает, что с испугу человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

— Уж всем известно, что вы неверующий,— заголосила горничная в то время, как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке острого любопытства,— а я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек — дело было ночью — и просится ночевать...

— И я хорошо помню,— перебил лакей,— как вышел из двери солидный, вежливый господин. «Что там произошло?» — спросил я его и вижу, что он сильно взволнован. Он мне сказал: «Не ищите суетных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» И он ушел, этак помахивая рукой. Я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести «Вздор!», как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

— Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил, а на другой день мать говорила ему: «Что, разве не была я права?» Она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой никто не жил; туда сваливали обыкновенно овощи; там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы спать нашего странника. Я его как сейчас вижу: высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розовое, как вот у Бетси или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и... вы можете представить, что я увидела?

— Нет, нет! Не говорите! Не говорите! — воскликнули женщины.— Ай, что же вы там увидели?

— Он сидел на мешках. Я и теперь вся дрожу, как тогда. «Обожаемые мои члены! — сказал он и снял

правую ногу.— Мои любезные оконечности!..» Тут — ей-богу, я сама это видела — отнял он и поставил к стене левую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. Я смотрю, а он снимает одну руку, вешает ее на гвоздь, снимает другую руку, кладет ее этак небрежно, и... и...

— Ну?! — подхватили слушатели.

— И преспокойно снимает себе голову! Вот так! Бряк ее на колени!

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, вытаращив глаза, а затем, с видом изнеможения, вызванного тяжелым воспоминанием, картинно уронила руки и откинулась, переводя дух.

— Ну, уж это ты врешь,— сказал повар, интерес которого к повествованию заметно упал, как только горничная лишила нищего второй руки.— Чем же он снял голову, если у него не было рук?

Горничная обвела его ледяными глазами.

— Я давно замечаю,— хлестко возразила она,— что вы ведете себя как азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине. Кто вбил вам в голову, что старик был без рук? Я же говорю, что руки у него были.

Ум повара помутился; бессильно махнул он рукой и плюнул. В этот момент вошел, смотря поверх огромных очков, человек в переднике и войлочных туфлях. Это был коридорный с верхнего этажа.

— Странное дело,— сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь, но обводя всех по очереди мрачным, нездешним взглядом.— Что? Я говорю, что это странное дело, как и доложил я о том ночью же управляющему.

Наступила вязкая пауза.

— Какое же это странное дело? — спросил лакей.

— Как вспомню, мороз подирает,— сказал коридорный, когда новая пауза достигла неприятных размеров.— Слушайте. Сегодня во втором часу ночи, почистив все сапоги, проходил я мимо 137-го и, заметив, что дверь не заперта, а притворена, постучал; не за делом, а так. Мало ли что может быть. Было там тихо. Я вошел, убедился, что жильца нет, запер ключом дверь, а ключ положил в карман, потом повесил его на доску. После того как я задержался наверху минут пять, снова пошел вниз и, как дорога моя была мимо

того же 137-го, увидел, что дверная ручка качнулась. Кто-то изнутри пробовал отворить дверь. Я тихо подошел к ней и замер, еще раз дернулась ручка, затем раздались шаги. Тут я заглянул в скважину. В передней был свет, и я увидел спину отходящего человека. У портьеры, отведя ее, он остановился и повернулся, но это был не чужой, а тот самый Айшер, что там живет. Минут через пять, не больше, он взошел в коридор по лестнице, снял ключ и попал к себе.

Изложив эти обстоятельства, коридорный вновь по очереди осмотрел широко раскрытые рты и прибавил:

— Понимаете?

— Черт побери! — сказал лакей, ехидно взглянув на повара, который на этот раз не закричал «вздор», а лишь горько покачал головой над куском бараньего жира.— Как же он мог оказаться у себя дома?

— Если не через балкон, то разве что в образе комара или мухи,— пояснил коридорный,— даже мыши не пролезть в замочную скважину.

— А что сказал управляющий?

— Он сказал: «Гм... только, я думаю, не померещилось ли тебе?» Однако я видел, как он с легкостью побежал наверх, должно быть, затем, чтобы посмотреть самому в дырку; а спускался он назад с лицом втрое длиннее, чем оно было.

Тут все стали обсуждать поведение и личность таинственного жильца.

— Он редко бывает дома,— сказал коридорный, причем вспомнил, что Айшер предпочел номер в верхнем этаже, хотя эта комната хуже свободных номеров этажей нижних. Бетси пропела:

— Степенный молодой человек, на редкость кроткий и вежливый; никто еще не слышал от него замечаний, даже когда забудешь пройтись по комнате щеткой или, стоя перед зеркалом, помедлишь явиться на звонок.

Никто не знал, чем он занимается, никто не посетил его. Слышали иногда, как он разговаривает сам с собой или, смотря в книгу, тихо смеется. Бесполезно расставлять ему пепельницы, потому что окурки все равно валяются на полу.

Меж тем лакей как бы впал в транс; все созерцательнее, значительнее и рассеяннее становилось его лицо, и все выше возводил он глаза к потолку, где бодро жужжали мухи. Возможно, что эти насекомые

сыграли для него роль легендарного Ньютонова яблока, дав разрозненной добыче ума связь кристаллическую; подняв руку, чтобы привлечь внимание, он уставился нахмуренным взглядом в сизый нос повара и слабым голосом, за каким в таких случаях стоит гордая уверенность, что сказанное прозвучит поразительнее громовых возгласов, медленно произнес:

— А знаете ли вы, кто такой жилец 137-го номера, кто этот человек, попадающий домой без ключа, кто он, именуемый Симеон Айшер? Да, кто он, знаете вы это? А если не знаете, то желаете знать или не желаете?

Выяснилось, что желают все, но что некоторые недолюбливают, когда человек кривляется, а не говорит прямо.

— Прямо?! — воскликнул лакей. — Так вот! — Он встал, картинно опрокинул стул и, протянув правую руку к сетке для процеживания макарон, крикнул: — Человек, попадающий без ключа! Человек, требующий, чтобы ему непременно отвели верхнее помещение! Человек, о котором никто не знает, кто он такой, — этот человек есть тот, который полетел в цирке!

Раздалось женское «Ах!», и шум изумления заглушил раздражительный протест повара. В эту минуту вбежал тощий мальчуган, издали еще примахивая к себе рукой Бетси и крича: «Идите скорей, вас требует управляющий!»

— По-вашему, все мошенники! — вскричала, убегая с мальчиком, задетая в своих симпатиях, Бетси. — Это, может, вы летаете, а не Айшер!

VIII

В бешенстве человеческих отношений перебрасывается быстрый и тонкий луч холодного света — фонарь полиции. Когда коридорный донес управляющему гостиницей, что изнутри номера 137 дергалась ручка двери, луч фонаря пристально остановился на лице управляющего и, сверкнув приказательно, позвал к руке, державшей фонарь. Рука издали казалась обыкновенной рукой, в обшлаге с казенными пуговицами, но вблизи выразила всего человека, который владел ею. Ее пальцы были жестки и плоски. Она лежала, как каменная, на углу большого стола. Фонарь исчез, его заменил свет яркой зеленой лампы.

Ночь кончилась; этот свет также исчез, уступив блеску раннего солнца, в котором Бетси предстала пытливым и равнодушным глазам управляющего гостиницей. Он взял резкий тон крайнего неудовольствия:

— Вы обслуживаете верх, и так нерадиво, что на вас стали поступать жалобы. Мне это не нравится. Я выслушал неприятные вещи. Приборы не чищены, мебель расставлена неаккуратно, подаете тупые ножи, расплескиваете кофе и чай; приносите мятые салфетки. До сих пор я не делал вам замечаний, считая это простой оплошностью, но сегодня решил наконец покончить с ленью и безобразием.

— Сударь,— сказала пораженная девушка,— извините, я, честное слово, ничего ровно не понимаю. Грех вам, вы так меня обижаете...— Она подняла передник, тыкая им в глаза.— Я так стараюсь, не покладая рук, что не имею для себя свободной минуты. Вам, должно быть, насплетничали. Кто вам жаловался? Кто? Кто?

— Кто бы ни жаловался, почтенным жильцам я верю и ваши выкрики считаю истерикой. Не трудитесь оправдываться. Впрочем, я придумал взыскание, которое одновременно проучит вас и даст мне возможность убедиться, верны ли жалобы. С этого часа, прежде чем разнести что-либо по номерам, извольте показать мне приборы, кушанья и напитки: я сам посмотрю, так ли вы делаете то, что надо делать; а затем, прекращая наш разговор, предупреждаю, что в следующий раз вы дешево не отделаетесь.

Горничная вышла с тяжелым сердцем, в слезах и горьком недоумении, по-своему объясняя придирку.

«Он приставал ко мне,— решила она,— перещипал мне все руки, но без толку и теперь мстит; будь он, однако, проклят, я понесу ему на осмотр не только приборы, а все ковры и так тряхну перед его носом, что он съест фунтов пять пыли».

Простодушно изобличив таким образом свои отношения к коврам, она поднялась наверх, преследуемая звонками. На сигнальной доске выпали три номера и меж ними номер 137; осмотрев цифры, Бетси ощутила легкую, полную любопытства жуть, навеянную кухонной болтовней. Два жильца потребовали счет и извозчика; голос 137-го номера, осведомившись сквозь портьеру, который час, сообщил, что еще не одет, попросил кофе и рюмку ликера; затем Айшер зевнул.

«Ты, что ли, жаловался? — подумала Бетси, припоминая, как вчера убирала номер несколько второпях.— Фальшивая душа, если обращаешься, словно ни в чем не бывало; хорошо, я покажу тебе, как умею отвечать с достоинством».

Воспоминание о еще некоторых грешках внушило ее подозрению стальную уверенность.

«Все-таки он красив и кроток, как ангел; на первый раз, может быть, надо его простить».

И она тоном насильственного оживления, в котором, по ее мнению, проглядывал скорбный упрек, ответила, что на часах половина восьмого, что каждый одевается, когда хочет, а кофе она принесет немедленно.

— Прекрасно,— сказал Айшер,— вы, Бетси, не прислуга, а клад. Я очень доволен вами.

Бетси вознамерилась было сказать Айшеру о выговоре управляющего и спросить, не Айшер ли накликал на нее эту беду, но в последних его словах почудилось ей легкое издевательство. Она высунула язык и, довольная тем, что акт скрыт портьерой, кисло произнесла:

— Я *ужасно* рада, господин Айшер, если имею удовольствие вам угодить.— И вышла, твердо решив впредь держать сердце назаперти.

Она сошла вниз, где у плиты повар в белом колпаке уже колдовал среди облака пара. Взяв поднос с кофе, Бетси завернула к буфетчику, капнувшему ей в крошечную, как полевой колокольчик, рюмочку огненного жидкого бархата, и понеслась к управляющему. Она решила наказать его оглушительными ударами в дверь, но, к ее удивлению, управляющий открыл тотчас, едва она стукнула.

— А! — сказал он, окидывая беглым взглядом прибор.— Что это за кислая физиономия? Дайте сюда. Я рассмотрю посуду в свете окна. Подождите.— Он удалился, двигая над кофейником пальцами, словно соля хлеб, и через минуту вышел с улыбкой, передавая поднос горничной.— Ну, так помните: опрятность и чистота — лучшее украшение женщины.

Излишне говорить, что сервиз, всегда чистый, сверкал теперь ослепительно. Бетси, проворчав: «Наставляйте свою жену»,— ушла и отнесла кофе в 137-й номер.

Друд, потягиваясь, прихлебывал из белой с золотом чашки. За раздвинутыми занавесями в обольсти-

тельной чистоте и свежести раннего утра сверкал перед ним яркий балкон.

«Кажется, довольно быть здесь. Уже что-то заставляет прислушиваться к этим стенам».

Но легкая пыль, поднятая тайной работой, не задела его дыхания, и размышление сосредоточилось на сенсации. Хотя городские газеты обошли дело полным молчанием, он еще не знал этого. Его внутреннее зрение посетило все углы мира. Он видел, как несутся по телеграфным проволокам, в почтовых пакетах, на красных языках и в серых мозгах пучеглазые, вертлявые вести, пища от нетерпения сбыть себя как можно скорее другой проволоке, другому уму, пакету и языку, и как, людоеду подобно, жадно глотает их Легенда, окутанная дырявым плащом Путаницы, родной сестры всякой истории.

Гром грянул в обстановке и при условиях, какие неизбежно явятся началом отрицания. Места, подобные цирку, не слишком авторитетны; любое впечатление платного зрелища во времени и на расстоянии рассматривается как искусственное; улыбка и шутка — вечный его удел. Есть и будут существовать явления, призрачные без повседневности; о них выслушают и поговорят, но если они не повторятся — веры им не более, как честному слову, однажды уже нарушенному. Событие в цирке, исказив окраску и форму, умрет смутным эхом, растерзанное всевозможными толками на свои составные части, из коих самая главная — человек без крыльев под небом — станет басней минуты, пожертвованной досужему разговору о запредельных натуре человеческой чудесах. И может быть, лишь какой-нибудь отсталый любитель снов, облаков и птиц задумается над страницей развязного журнала с трепетом легкой грезы, закроет книгу и рассеянно посмотрит вокруг.

«Но, если...— Друд приподнял отяжелевшую голову, устраивая подушку выше,— если я решу жить открыто, с наукой произойдут корчи. Уж я слышу тысячу тысяч докладов, прочитанных в жаркой бане огромных аудиторий. Там постараются внушить резвую мысль, что рассмотренное явление, по существу, согласно со всяческими законами, что оно есть непредвиденный аккорд сил, доступных исследованию. А в тишине кабинета, мужественно обложась грудами книг, какой-нибудь растерянный седой человек, проживший жизнь

с гордо поднятой головой, в славе и уважении, станет искать среди страниц извилистую тропу, по которой можно залезть внутрь этого сожравшего его пропитанную пóтом систему «аккорда», пока не убедится в тщете усилий и не отмахнется словами: «Икс. Вне науки. Иллюзия»,— подобно досужему остроумцу, доказавшему, что Бонапарта никогда не было».

И перед ним с ясностью напряженного зрения встал круг седобородых мужчин в мантиях и париках, которые, ухватив друг друга за языки, пытались крикнуть нечто решительное. Тогда Друд понял, что засыпает и гибнет, но этот печальный момент раненого сознания тотчас затонул в слабости; с усилием поднял он веки и, повинуясь роковой лени, снова закрыл их. В синей тьме поплыли лучистые пятна; они угасли, и лицо спящего побледнело.

Следствием всего этого было небольшое собрание праздных людей у подъезда гостиницы, откуда четыре санитара вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. Управляющий, присутствуя при этой сцене, в ответ на соболезнующие вопросы сказал, что увозят больного, захворавшего неожиданно и тяжко; несчастный лишен сознания.

— Быть может, простой нервный припадок,— говорил он.— Я, впрочем, не доктор.

Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а на козлы к кучеру сел бледный человек в очках, с серым лицом. Он что-то шепнул кучеру. Тот, взяв полную рысь, заторопил лошадей, и карета, свернув за угол, скользнула к тюрьме.

IX

Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было одиннадцать, но Дауговет принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие.

Она сказала:

— Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть, увеличится в связи с тем, что я привезла.— И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению.

Красота красит и тех, кто созерцает ее; все ее оттенки и светы вызовут похожие на них чувства, а все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним, но и тогда ему обеспечена часть победы — улыбка задумчивости.

Поэтому, имея в виду все средства для достижения цели, красавица-девушка оделась как на выезд — в блестящее открытое платье, напоминающее летний цветок. Из кружев выходили ее нежные, белые плечи; обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания; лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность или скорей нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: «Что делать, если я так невозможно, непростительно хороша? Примиритесь с этим, помните и простите».

— Дитя,— сказал министр, усаживая ее,— я старик и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами — хотя бы — Галля охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз.

— И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?

Дауговет оживился, что случалось с ним неизменно, если затрагивали этот вопрос.

— Да, да,— сказал он,— меня заботят теперь «Эпитафии» 1748 года, изданные в Мадриде под инициалами Г. Ж.; два экземпляра проданы Верфесту и Гроссману, я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда: Верфест не прочь от переговоров. Однако,— он взглянул на книгу, которая была с Руной,— не фея ли вы и не драгоценность ли Верфеста с тобой?

Министр переходил на ты в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем.

— Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное, внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении.

— Нет, не «Эпитафии».— Руна мельком взглянула на свою книгу.— Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его.

Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание говорить об удивительном случае и странной выходке Руны.

— Я не понимаю — что понимать? Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в «Солейль». Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта, или, как ты выражаешься,— «чуда», я скажу: ухищрения цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу, к тому же в моем возрасте это опасно. Я, чего доброго, раскрою на ночь Шехерезаду. Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая?

Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запевшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот старик, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Дауговета возмутило ее; прикрыв гнев улыбкой рассеянности, Руна сказала:

— Я похудела, но причина тому вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги.

Министр поднял брови:

— Где ключ к загадкам? Объясни. Я уже делаюсь наполовину серьезен, так как ты тревожишь меня.

Девушка шутя положила веер на его руку.

— Смотрите мне в глаза, дядя. Смотрите внимательно, пока не заметите, что нет во мне желания подурачиться, что я настроена необычно.— Действительно, глаза ее сосредоточенно заблестели, а полуоткрытый рот, тронутый игрой смеха, вздрагивал с кротким и пленительным выражением.— Убедительно ли я говорю? Видите ли вы, что мне хорошо? В таком случае, потрудитесь проверить, способны ли вы вынести удар, потрясение, молнию? Именно — молнию, не потеряв сна и аппетита?

В ее словах, в звонкой неровности ее голоса чудилось торжество оглушительного секрета. Молча смотрел на нее министр, следуя невольной улыбкой всем тонким лучам игры прекрасного лица Руны, с предчувствием, что приступ скрывает нечто значительное. Наконец ему сообщилось ее волнение; он отечески нагнулся к ней, сдерживая тревогу.

— Но, боже мой, что? Дай опомниться! Я всегда достаточно владею собой.

— В таком случае,— важно сказала девушка,— что думаете вы о покупке Верфеста? Есть ли надежда «Эпитафиям» засиять в вашей коллекции?

— Милая, если не считать надеждой твои странные вопросы, твою экзальтацию — нет, нет, почти никакой. Правда, я заинтересовал одного весьма ловкого комиссионера, того самого, который обменял Грею золотой свиток Вед XI столетия на катехизис с пометками Льва VI, уверив владельца, что драгоценная рукопись приносит несчастье ее собственнику,— да, я намагнитил этого посредника вескими обещаниями, но Верфест, кажется, имеет предложения более выгодные, чем мои. Признаюсь, этот разговор глубоко волнует меня.

— В таком случае,— Руна весело вздохнула,— «Эпитафии» вам придется забыть?

— Как?! Лишь это ты сообщаешь мне, действуя почти страшно?!

— Нет, я раздумываю, не утешит ли вас что-либо равное «Эпитафиям»; что так же, как они, или еще сильнее того манит вас; над чем забылись бы вы, разгладив морщины?

Министр успокоился и воодушевился.

— Так, все ясно мне,— сказал он,— видимо, библиомания — твое очередное увлечение. Хорошо. Но с этого надо было начать. Я назову редкости, так сказать, неподвижные, ибо они составляют фамильное достояние. Истинный, но не всемогущий любитель думает о них с платоническим умилением влюбленного старца. Вот они: «Объяснение и истолкование Апокалипсиса» Нострадамуса, 1500 года, собственность Вейса; «Дон Кихот, великий и непобедимый рыцарь Ламанчский» Сервантеса, Вена, 1652 года, принадлежит Дориану Кемболл; издание целиком сгорело, кроме одного экземпляра. Затем...

Пока он говорил, Руна, склонив голову, задумчиво водила пальцами по обрезу своей книги. Она перебила:

— Что, если бы вам подарили «Объяснение и истолкование Апокалипсиса»? — невинно осведомилась она.— Вам это было бы очень приятно?

Министр рассмеялся.

— Если бы ты, как в сказке, превратилась в фею? — ответил он, ловя себя, однако, на том, что присмат-

ривается к рукам Руны, небрежно поворачивающим свою книгу, с суеверным чувством разгоряченного охотника, когда в сумерках тонкий узор куста кажется ветвисторогой головой затаившегося оленя.— А ты достойна быть феей.

— Да, вернее — я ужилась бы с ней. Но и вы достойны владеть Нострадамусом.

— Не спорю. Дай мне его.

— Возьмите.

И она протянула редкость с простотой человека, передающего собеседнику наскучившую газету.

Министр не понял. Он взял и прищурился на кожаный переплет, затем улыбнулся светлой улыбке Руны.

— Да? Ты это читаешь? А в самом деле, обернись мгновенно сей, надо думать, ученый опыт золотом Нострадамуса, я, пожалуй, окаменел бы на столько времени, на сколько так некстати окаменел Лот.

Без подозрения, хотя странно и тяжело сжалось сердце, откинул он переплет и увидел заглавный лист с знаменитой виньеткой, обошедшей все специальные издания и журналы Европы,— виньеткой, в выцветших штрихах которой, стиснутые столетиями, развернулись пружиной и прянули в его мозг вожделения библиофилов всех стран и национальностей. Все вздрогнуло перед ним, руки разжались, том упал на ковер, и он поднял его движениями помешанного, гасящего воображенный огонь.

— Как? — дико закричал Дауговет.— Нострадамус — и без футляра! Но ради всех святых твоей души,— какой джин похитил для тебя э т о? Боги! Землетрясение! Революция! Солнце упало на голову́!

— Го́лову,— спокойно поправила девушка.— Вы обещали не волноваться.

— Если не потеряю рассудок,— сказал ослабевший министр, припадая к сокровищу с помутившимся, бледным лицом,— я больше волноваться не буду. Но неужели Вейс пустил библиотеку с аукциона?

Говоря это, он перенес драгоценность на круглый столик под лампу с бронзовым изображением Гения, целующего Мечту, и опустил свет; затем несколько овладел чувствами. Руна сказала:

— Все это — результат моего извещения Вейсу, что я прекращаю двадцатилетний процесс Трех Дорог, чем отдаю лес и ферму со всеми ее древностями. Вейс

крайне самолюбив. Какое торжество для такого человека, как он! Мне не стоило даже особого труда настаивать на своем условии; условием же был Нострадамус.

Она рассказала, как происходили переговоры — через посредника.

— Безумный, сумасшедший Вейс,— сказал министр,— его отец развелся с женой, чтобы получить первое издание гуттенберговского молитвенника; короче, он променял жену Абстнеру на триста двадцать страниц древнего шрифта, и, может быть, поступил хорошо. Но прости мое состояние. Такие дни не часты в человеческой жизни. Я звоню. Ты ужинаешь со мной? Я хочу показать, что происходит в моей душе, особенным действием. Вот оно.

Он нажал звонок, вызвал из недр послушания отлично вылощенную фигуру лакея с неподвижным лицом.

— Гратис, я ужинаю дома. Немедленно распорядитесь этим. Ужин и сервиз должны быть совершенно те, при каких я принимал короля; прислуживать будете вы и Вельвет.

Смеясь, он обратился к племяннице:

— Потому что подарок, достойный короля, есть веяние державной власти, и оно тронуло меня твоими руками. А! ты задумчива?.. Да, странный день, странный вечер сегодня. Прекрасно волновать жизнь такими вещами, такими сладкими ударами. И я хотел бы, подражая тебе, свершить нечто равное твоему любому желанию, если только оно у тебя есть.

Руна, опустив руки, молча смотрела в его восторженное лицо.

— Так надо, так хорошо,— произнесла она тихо и странно, с видом вслух думающей,— веяние великой власти с нами, да будет оно отличено и озарено пышностью. И у меня — вы правы в своем порыве — есть желание; оно не материально; огромно оно, сложно и безрассудно.

— Ну, нет невозможного на земле; скажи мне. Если в отношении его ты не можешь быть Бегуэм, как было с подарком,— я стану лицом к нему как министр и... Дауговет.

Их глаза ясно и остро встретились.

— Пусть,— сказал министр.— Поговорим за столом.

X

Так начался ужин в честь короля-Книги. Стол был накрыт, как при короле. Гербы, лилии и белые розы покрывали его на белой атласной скатерти, в полном блеске люстр и канделябров, огни которых, отражаясь на фарфоре и хрустале, овевали зал вихрем золотых искр. Разговор пошел о сильных желаниях, и скоро наступил удобный момент.

— Дядя,— начала Руна, прикажите удалиться слугам. То, что я теперь скажу, не должен слышать никто, кроме вас.

Старик улыбнулся и выполнил ее просьбу.

— Начнем,— сказал он, наливая вино,— хотя, прежде чем открыть мне свое, по-видимому, особенное желание, хорошо подумай и реши, в силах ли я его исполнить. Я министр — это много больше, чем ты, может быть, думаешь, но в моей деятельности не редки случаи, когда именно звание министра препятствует поступить согласно собственному или чужому желанию. Если такие обстоятельства отпадают, я охотно сделаю для тебя все что могу.

Он оговорился из любви к девушке, отказать которой, во всяком случае, ему было бы трудно и горько, но Руне показалось уже, что он догадывается о ее замысле. Встревоженная, она рассмеялась.

— Нет, дядя, я сознаю, что своим решительным «нет» уже как бы обязываю вас; однако беру в свидетели Бога,— единственно от вас зависит оказать мне громадную услугу, и нет вам достаточных причин отказать в ней.

Взгляд министра выражал спокойное и осторожное любопытство, но после этих слов стал немного чужим; уже чувствуя нечто весьма серьезное, министр внутренне отдалился, приготовляясь рассматривать и взвешивать всесторонне.

— Я слушаю, Руна; я хочу слышать.

Тогда она заговорила, слегка побледнев от сознания, что силой этого разговора ставит себя вне прошлого, бросая решительную ставку беспощадной игре «общих соображений», бороться с которыми может лишь словами и сердцем.

— Желанию предшествует небольшой рассказ; вам, и вероятно очень скоро, по мере того как вы начнете догадываться, о чем речь, захочется перебить

меня, даже приказать мне остановиться, но я прошу, чего бы вам это ни стоило, выслушать до конца. Обещайте, что так будет, тогда, в крайнем, в том случае, если ничто не смягчит вас, у меня останется печальное утешение, что я отдала своему желанию все силы души, и я с трепетом вручаю его вам.

Ее волнение передалось и тронуло старика.

— Но, бог мой,— сказал он,— конечно, я выслушаю, что бы то ни было.

Она молча поблагодарила его прелестным движением вспыхнувшего лица.

— Итак, нет более предисловий. Слушайте: вчера моя горничная Лизбет вернулась с интересным рассказом; она ночевала у сестры — а может быть, у друга своего сердца, о чем нам не пристало доискиваться,— в гостинице «Рим»...

Министр слушал с настороженной улыбкой исключительного внимания, его глаза стали еще более чужими: глазами министра.

— Эта гостиница,— продолжала девушка, выговаривая отчетливо и нервно каждое слово, что придавало им особый, личный смысл,— находится на людной улице, где много прохожих были свидетелями выноса и поспешного увоза в карете из той гостиницы неизвестного человека, объявленного опасно больным; лицо заболевшего оставалось закрытым. Впрочем, Лизбет знала от сестры его имя; имя это Симеон Айшер, из 137-го номера. Горничная сказала, что Айшер, по глубокому убеждению служащих гостиницы, есть будто бы тот самый загадочный человек, выступление которого поразило зрителей ужасом. Не так легко было понять из ее объяснений, почему Айшера считают тем человеком. Здесь замешана темная история с ключом. Я рассказываю об этом потому, что слухи среди прислуги в связи с загадочной болезнью Айшера возбудили во мне крайнее любопытство. Оно разрослось, когда я узнала, что Айшер за четверть часа до увоза, или — согласимся в том — похищения, был весел и здоров. Утром он, лежа в постели, пил кофе, почему-то предварительно исследованный управляющим гостиницей под предлогом, что прислуга нечистоплотна и он проверяет, чист ли прибор.

Вечером вчера ко мне привели человека, указанного одним знакомым как некую скромную знаменитость всех частных агентурных контор,— его имя я скрою из

благодарности. Он взял много, но зато глубокой уже ночью доставил все справки. Как удалось ему получить их — это его секрет; по справкам и сличению времени мне стало ясно, что больной, вывезенный из гостиницы половина восьмого утра, и арестованный, посаженный в тайное отделение тюрьмы около девяти,— одно и то же лицо. Это лицо, последовательно превратясь из здорового в больного, а из больного в секретного узника, было передано тюремной администрации в том же бессознательном состоянии, причем комендант тюрьмы получил относительно своего пленника совершенно исключительные инструкции, узнать содержание которых, однако, не удалось.

Итак, дядя, ошибки нет. Мы говорим о летающем человеке, схваченном по неизвестной причине, и я прошу вас эту причину мне объяснить. Смутно и, быть может, неполно я догадываюсь о существе дела, но, допуская причину реальную, то есть неизвестное мне преступление, я желала бы знать все. Кроме того, я прошу вас нарушить весь ход государственной машины, разрешив мне, тайно или явно — как хотите, как возможно, как терпимо и допустимо,— посетить заключенного. Теперь все. Но, дядя,— я вижу, я понимаю ваше лицо — ответьте мне не сурово. Я еще не все сказала вам; это несказанное — о себе; я пока стиснута ожиданием ответа и ваших неизбежных вопросов; спрашивайте, мне будет легче, так как лишь понимание и сочувствие дадут некоторое спокойствие; иначе едва ли удастся мне объяснить мое состояние. Минуту, одну минуту молчания!

Минуту... Но прошло, может быть, пять минут, прежде чем министр вернулся из страшной дали холодного ослепительного гнева, в которую отбросило его это признание, заключенное столь ошеломительной просьбой. Он смотрел в стол, пытаясь удержать нервную дрожь рук и лица, не смея заговорить, стараясь побороть припадок бешенства, тем более ужасный, что он протекал молча. Наконец, ломая себя, министр выпил залпом стакан воды и, прямо посмотрев на племянницу, сказал с мертвой улыбкой:

— Вы кончили?

— Да,— она слабо кивнула.— О, не смотрите на меня так...

— Надо обратить особенное внимание на все частные конторы, агентства; на все эти шайки самояв-

ленных следопытов. Довольно. Нас хватают за горло. Я истреблю их! Руна, мои соображения в деле Айшера таковы! Будьте внимательны. Суть явления непостижима: ставим X, но, быть может, самый большой с тех пор, как человек не летает. Речь, конечно, не о бензине; бензин контролируется бензином. Я говорю о силе, способности Айшера; здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти не заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу.

Кто он — мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов — всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру — предположительно — злую волю, так как добрая доказана быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятия. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты; неуловимый Некто может распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех без исключения, рискуя лишь в крайнем случае, лишним передвижением.

Явление это подлежит беспощадному карантину, быть может — уничтожению. Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это — состояние общества. Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, вернула религию к ее первобытному состоянию — уделу простых душ; безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий оттенок мысли, ранее придававшей ему по крайней мере характер восстания; короче говоря, безверие — это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, не доступным исследованию, ибо они — в корне, в своей сущности — Ничто, давшее Все. Предоставим простецам называть их «энергией» или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу...

Говоря, он обдумывал в то же время все обстоятельства странного отступления в деле Айшера, вызванного просьбой девушки. Мысленно он решил уже позволить Руне это свидание, но решил также дополнить позволение тайной инструкцией коменданту, которая придавала бы всему характер эксцентричной необходимости, имеющей государственное значение; он сам надеялся узнать таким путем кое-что, что-нибудь, если не все.

— ...гранитную скалу. Глубоко важно то, что религия и наука сошлись вновь на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны; вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо.

Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, это потрясающее диво: человек, летящий над городами вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и все объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картинности зрелища. Оно создаст легковоспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств, подобную экстатическим настроениям Крестовых походов. Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используют этого Айшера, приводя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты; увлечение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода; легенды, поверья, слухи, предсказанья и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому — Равновесие. Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы. Поговорим о твоем желании; объясни мне его.

— Оно сродни вашей любви к редкой книге. Все необычайное привлекает меня. Был человек, который покупал эхо, — он покупал местности, где раздавалось многократное, отчетливое, красивое эхо. Я хочу видеть Айшера и говорить с ним по причине не менее сильной, чем те, какие заставляют искать любви или совершить подвиг. Это — вне рассудка; оно в душе и только в душе — как иначе объяснить вам? Это — я. Допустите, что живет человек, который никогда не слышал слова

«океан», никогда не видел его, никогда не подозревал о существовании этой синей страны. Ему сказали: «есть океан, он здесь, рядом; пройди мимо, и ты увидишь его». Что удержало бы в тот момент этого человека?

— Довольно,— сказал министр,— твое волнение искренне, а слова достойны тебя. Разрешение я даю, но ставлю два условия: молчание о нашей беседе и срок не более получаса; если нет возражений, я немедленно напишу приказ, который отвезешь ты.

— Боже мой! — сказала она, смеясь, вскакивая и обнимая его.— Мне ли ставить условия? Я на все согласна. Скорее пишите. Уже глубокая ночь. Я еду немедленно.

Министр написал пространное, подробное приказание, запечатал, передал Руне, и она, не теряя времени, поехала, как во сне, в тюрьму.

XI

Ту ночь, когда Друд всколыхнул тайные воды людских душ, Руна провела в острой бессоннице. К утру уже не помнила она, что делала до того часа, когда, просветлев от зари, город возобновил движение. Казалось ей, что она ходила в озаренных пустых залах, без цели, без размышления, в том состоянии, когда мысли возникают непроизвольно, без усилий и плана, отражая пожар огромного впечатления, как брошенный с крутизны камень, сталкивая и увлекая другие камни, чужд уже движению швырнувшей его руки, низвергаясь лавиной. В сердце ее возникла цель, показавшая за одну ночь все ее силы, доныне не обнаруженные, поразившие ее самое и легко двинувшие такие тяжести, о которых она не знала и понаслышке. Так, часто по незнанию, человек долго стоит спиной к тайно-желанному: кажется со стороны, что он дремлет или развлекает себя мелкими наблюдениями, но, внезапно повернув голову и задрожав, приветствует криком восторга чудесную близость сокровища, а затем, сосредоточив все возбуждение внутри себя, стремительно овладевает добычей. Она жила уже непобедимым видением, путающим все числа судьбы.

Подъезжая к тюрьме, Руна с изумлением вспомнила, что сделала за эти двадцать четыре часа. Она

не устала; хоть лошади несли быстро, ей беспрерывно хотелось привстать, податься вперед: это как бы, так ей казалось, пришпоривает движение. Она доехала в пятнадцать минут.

«Так вот — тюрьма!» Здесь на глухой площади бродили тени собак; фонари черных ворот, стиснутых башенками, озаряли решетчатое окошко, в котором показались усы и лакированный козырек. Долго гремел замок; по сложному мертвому гулу его казалось что раз в тысячу лет открываются эти ворота, обитые дюймовым железом. Она прошла в них с чувством Роланда, рассекающего скалу. Сторож, откинув клеенчатый капюшон плаща, повел ее огромным двором; впереди тускло блестели окна семи этажей здания, казавшегося горой, усеянной мерцающими кострами.

Дом коменданта стоял среди сада, примыкая к тюрьме. Его окна еще уютно светились, по занавесям скользили тени. Руну провела горничная; видимо, пораженная таким небывалым явлением в поздний час, она, открыв дверь приемной, почти швырнула посетительнице стул и порывисто унеслась с письмом в дальние комнаты, откуда проникал легкий шум, полный мирного оживления, смеха и восклицаний. Там комендант отдыхал в семейном кругу.

Он вышел тотчас, едва дочитал письмо. С прозорливостью крайнего душевного напряжения Руна увидела, что говорит с механизмом, действующим неукоснительно, но механизмом крупным, меж колес которого можно ввести тепло руки без боязни пораниться. Комендант был громоздок, статен, с проседью над крутым лбом; из его серых глаз высматривали солдат и ребенок.

Увидев Руну, он подавил волнение любопытства чувством служебной позиции, которую занимал. Несколько как бы вскользь, смутясь, он завел огромной ладонью усы в рот, выпустил их, крякнул и ровным густым голосом произнес:

— Мною получено приказание. Согласно ему, я должен немедленно сопровождать вас в камеру пятьдесят три. Свидание, как вам, верно, сообщено уже господином министром, имеет произойти в моем присутствии.

— Этого я не знала.— Сраженная, Руна села, внезапно почувствовав такой прилив настойчивого отчая-

ния, что мгновенно вскочила, собираясь с духом и мыслями.— Я вас прошу разрешить мне пройти одной.

— Но я не могу,— сказал комендант, неприятно потревоженный в простой схеме своих движений.— Я не могу,— строго повторил он.

Бледнея, девушка тихо улыбнулась.

— Тогда я вынуждена говорить с вами подробнее. Ваше присутствие исказит мой разговор с Айшером; исчезнет весь смысл посещения. Он и я — мы знаем друг друга. Вы поняли?

Она хотела, говоря так, лишь вызвать туманную мысль о ее личном страдании. Но странным образом смысл этой тирады совпал односторонне направленному уму коменданта с желанием министра.

— Я понял, да.— Не желая дальше распространяться об этом, из боязни перейти границы официальные, он тем не менее заглянул снова в письмо и сказал: — Вы думаете, что таким путем...— И, помолчав, добавил: — Объясните, так как я не совсем понял.

Но этого было Руне довольно. Из глубокой тени двусмысленности мгновенно скакнула к ней прозрачнейшая догадка. Она вспыхнула, как мак, что, между прочим, укрепило коменданта в его к ней, почтительно и глубоко затаенном, презрении; ей же принесло боль и радость. Она продолжала, опуская глаза:

— Так будет лучше.

Комендант, раздумывая, смотрел на нее с сознанием, что она права; по отношению же к скупости ее объяснений остался в простоте души совершенно уверен, что, не считая его тупицей, она предоставляет понимать с полуслова. Пока он размышлял, она повторила просьбу и, заметив, как растерянно пожал комендант плечами, прибавила:

— Останется между нами. Положение исключительно; не большее исключение совершите вы.

Хотя письмо министра устраняло всякие подозрения, комендант еще колебался, удерживаемый формальной добросовестностью по отношению к словам письма «в вашем присутствии». Его лично тяготила такая обязанность, и он подумал, что хорошо бы отделаться от навязанного ему положения, тем более что, видимо, не было никакого риска. Однако не эти соображения дали толчок его душе. Нечто между нашими действиями и намерениями, подобное отводящей удар руке, оказало решительное влияние на его

волю. Разно именуется эта непроизвольная черта: «что-то толкнуло», «дух момента», «сам не знаю, почему так произошло» — вот выражения, какими изображаем мы лицо могущественного советчика, действующего в отношениях наших неуловимыми средствами, тем более разительными, когда действуют они противу всех доводов рассудка и чувства, чего в данном случае не было.

Он подумал еще, еще и наконец, приняв решение, более не колебался:

— Если вы дадите мне слово...— сказал он.— Извините меня, но, как ответственное лицо, я обязан говорить так,— если вы дадите мне слово, что не употребите никаким образом во зло мое доверие, я оставлю вас в камере на указанный письмом срок.

С минуту, не меньше, смотрела она на него прямо и твердо, и тяжелая пауза эта придала ее словам весь вес, всю значительность нравственной борьбы, что комендант понял как изумление. Она не опустила глаз, не изменилось ее чудное лицо, когда он услышал глубокий и гордый голос:

— В этом я даю слово.— Она не сознавала сама, чего стоило ей сказать так, лишь показалось, что внутри, будто от взрыва, обрушилось стройное здание чистоты, но над дымом и грязью блеснул чистый огонь жертвы.

— В таком случае,— сказал после короткого молчания комендант,— прошу вас следовать за мной.

Он надел фуражку и направился через дверь, противоположную той, в какую вошла Руна. Они вышли в поворот ярко освещенного коридора; он был прям, длинен, как улица, прохладен и гулок. В его конце была решетчатая железная дверь; часовой, зорко блеснув глазами, двинул ключом; звук металла прогремел в безднах огромного здания грозным эхом. За этой дверью высился сквозь все семь этажей узкий пролет; по этажам с каждой стороны тянулись панели, ограждаемые железом перил. На равном расстоянии друг от друга панели соединялись стальными винтовыми лесенками, дающими сообщение этажам. Ряды дверей одиночных камер тянулись вдоль каждой галереи; все вместе казалось внутренностью гигантских сот, озаренной неподвижным электрическим светом. По панелям бесшумно расхаживали или, стоя на соединительных мостиках, смотрели вниз часовые. На головокру-

жительной высоте стеклянного потолка сияли дуговые фонари; множество меньших ламп сверкало по стенам между дверей.

Руна никогда раньше не бывала в тюрьме; тюрьма уже давила ее. Все поражало, все приводило здесь к молчанию и тоске; эта чистота и отчетливость беспощадно ломали все мысли, кроме одной: «Тюрьма». Асфальтовые, ярко натертые панели блестели, как лужи; медь поручней, белая и серая краска стен были вычищены и вымыты безукоризненно: роскошь отчаяния, рассчитанного на долгие годы. Она живо представила, что ей не уйти отсюда; кровь стукнула, а ноги потяжелели.

— Это не так близко,— сказал комендант,— еще столько же осталось внизу — и он подошел к повороту; открылась галерея, подобная пройденной. По ее середине крутая спираль стального трапа вела в нижний этаж. Здесь они прошли под сводчатым потолком подвального этажа к самому концу здания, где за аркой, в поперечном делении коридора были так называемые «секретные» камеры. У одной из них комендант круто остановился. Завидя его, от окна с табурета поднялся вооруженный часовой; он взял руку под козырек и отрапортовал.

— Откройте 53-й,— сказал комендант.

С суетливостью, изобличавшей крайнее, но молчаливое изумление, часовой привел в движение ключ и запор. Затем он оттянул тяжелую дверь.

— Пожалуйте,— обратился комендант к Руне, пропуская ее вперед; она и он вошли, и дверь плотно закрылась.

Руна видела обстановку камеры, но не сознавала ее, а припомнила лишь потом. На кровати, опустив голову, сидел человек. Его ноги и руки были в кандалах; крепкая стальная цепь шла от железного пояса, запертого на талии, к кольцу стены.

— Что же, меня хотят показывать любопытным?— сказал Друд, вставая и гремя цепью.— Пусть смотрят.

— Вам разрешено свидание в чрезвычайных условиях. Дама пробудет здесь двадцать минут. Такова воля высшей власти.

— Вот как! Посмотрим.— Лицо Друда, смотревшего на Руну, выражало досаду.— Посмотрим, на что еще вы способны.

Комендант смутился; он мельком взглянул на бледное лицо Руны, ответившей ему взглядом спокойного непонимания. Но он понял уже, что Друд не знает ее. В нем прянули подозрения.

— Я вижу, вы не узнаете меня,— значительно и свободно произнесла Руна, улыбнувшись так безмятежно, что едва скрыл улыбку и комендант, уступив самообладанию.— Но этот свет...— Она вышла на середину камеры, откинув кружево покрывала.— Теперь вы узнали? Да, я — Руна Бегуэм.

Друд понял, но из осторожности не сказал ничего, лишь, кивнув, сжал вздрогнувшую холодную руку. Камень кольца нажал на ладонь. Комендант, сухо поклонясь девушке, направился к двери; на пороге он задержался:

— Я предупреждаю вас, 53-й, что вы не должны пользоваться кратким преимуществом положения ни для каких целей, нарушающих тюремный устав. В противном случае будут приняты еще более строгие меры вашего содержания.

— Да, я не убегу за эти двадцать минут,— сказал Друд.— Мы понимаем друг друга.

Комендант молча посмотрел на него, крякнул и вышел. Дверь плотно закрылась.

Теперь девушка без помехи в двух шагах от себя могла рассматривать человека, внушившего ей великую мечту. Он был в арестантском костюме из грубой полосатой фланели; спутанные волосы имели заспанный вид; лицо похудело. Глубоко ушли глаза; в них пряталась тень, прикрывающая непостижимое мерцание огромных зрачков, в которых, казалось, движется бесконечная толпа или ходит, ворочая валами, море, или просыпается к ночной жизни пустыня. Эти глаза наваливали смотрящему впечатления, не имеющие ни имени, ни мерила. Так, может быть, смотрит кролик в глаза льва или ребенок — на лицо взрослого. Руну охватил холод, но гибкая душа женщины скоро оправилась. Однако все время свидания она чувствовала себя как бы под огромным колоколом в оглушительной власти его вибрации.

— Глухая ночь,— сказал Друд.— Вы — здесь — по разрешению? Кто вы? Зачем?

— Будем говорить тише. У нас мало времени. Не спрашивайте, я скажу сама все.

— Но я вам еще не верю.— Друд покачал головой.— Все это необыкновенно. Вы слишком красивы.

Быть может, мне устраивают ловушку. Какую? В чем? Я не знаю. Люди изобретательны. Но — торопитесь говорить; я не хочу давать вам времени для гайных соображений лжи.

— Лжи нет. Я искренна. Я хочу сделать вас снова свободным.

— Свободным,— сказал Друд, переступая к ней, сколько позволяла цепь.— Вы употребили не то слово. Я свободен всегда, даже здесь.— Беззвучно шевеля губами, он что-то обдумывал.— Но здесь я больше не хочу быть. Меня усыпили. Я проснулся — в железе.

— Мне все известно.

— Внимание! Я слушаю вас!

Руна высвободила из складок платья крошечный сверток толщиной в карандаш и разорвала его. Там блестели два жала, две стальные, тонкие, как стебелек, пилки — совершенство техники, обслуживающей секретные усилия. Эти изделия, закаленные сложным способом, употребляемым в Азии, распиливали сталь с мягкостью древесины, ограничивая дело минутами.

— Их я достала случайно, почти чудом, в последний час, как выехать; лицо, вручившее их, заверило, что нет лучшего инструмента.

Друд взял подарок, смотря на Руну так пристально, что она смутилась.

— Беру,— сказал он,— благодарю — изумлен,— и стало мне хорошо. Кто вы, чудесная гостья?

— Я принадлежу к обществу, сильному связями и богатством; все доступно мне на земле. Я была в цирке. С этого памятного вечера — знайте и разрастите в себе то, что не успею сказать — прошло две ночи; они стоят столетия. Я пришла к вам, как к силе необычайной; судьба привела меня. Я — из тех, кто верит себе. У меня нет мелких планов, тщедушных соображений, нет задних мыслей и хитрости. Вот откровенность... на которую вы вправе рассчитывать. Я хочу узнать вас в нестесненной и подробной беседе, там, где вы мне назначите. Я — одна из сил, вызванных вами к сознанию; оно увлекает; цель еще не ясна, но огромна. Может быть, также, что у вас есть цели, мне неизвестные: все должно быть сказано в следующей беседе. Для многого у меня сейчас нет выражений и слов. Они явятся. Главное — это знать, где найти вас.

Она разгорелась — медленно, изнутри,— как облако, уступающее, мгновение за мгновением, блеску

солнца. Ее красота нашла теперь высшее свое выражение — в позе, девственно-смелом взгляде и голосе, звучащем неотразимо. Казалось, пронеслись образы поэмы, выслушанной в мрачном уединении; все тоньше, все лучезарнее овладевают они душой, покоряя ее яркому воплощению прелестных тайн духа и тела; и Друд сознал, что в том мире, который покинул он для мира иного, не встречалось ему более гармонической силы женского ликования.

Снова хотела она заговорить, но Друд остановил ее взмахом скованных рук.

— Тогда это вы,— уверенно сказал он,— вы — и никто другой, крикнули мне. Я не расслышал слов. Руна Бегуэм — женщина, несущая освобождение с такой смелостью, может потребовать за это все, даже жизнь. Хотя есть нечто более важное. Но время уходит. Мы встретимся. Я утром исчезну, а вечером буду у вас; эти цепи, делающие меня похожим на пса или буйного сумасшедшего,— единственная помеха, но вы рассекли ее. О! Меня стерегут. Особо приставленный часовой всегда здесь, у двери, с приказом убить, если понадобится. Но — что вы задумали? Одно верно: стоит мне захотеть — а я знаю тот путь,— и человечество пошло бы все разом в Страну Цветущих Лучей, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха.

— Все сделав, узнав все, что нужно, я ухожу, но не оставляю вас. Уходите. Прощайте!

— Бог благословит вас,— сказал Друд,— это вне благодарности, но в сердце моем.

Он улыбнулся, как улыбаются всем лицом, если улыбка переполнила человека. Не в состоянии протянуть одну руку, он протянул обе — связанные и разделенные цепью наручников; обе руки протянула и Руна. Он сжал их, мягко встряхнув, и девушка отошла.

Тут же — как если бы они угадали срок — дверь скрипнула и открылась; на пороге встал комендант, пряча часы:

— Время прошло, я провожу вас.

Руна кивнула, вышла и тем же путем вернулась к своему экипажу.

Когда долго смотришь на ярко горящую печь, а затем обращаешь взор к темноте — она хранит запечатленный блеск углей, воздушное их сияние. Отъезжая, среди зданий и улиц Руна не переставала видеть тюрьму.

XII

Кто бодрствует в спящем доме, сон, окружая его, обволакивает и давит. Этот чужой сон подобен течению, в котором стоит человек, сопротивляющийся силе воды. Оно подталкивает, колышет, манит и увлекает; переступи шаг, и ты уже отнесен несколько. «Они спят,— думает бодрствующий.— Все спят»,— зевая, говорит он, и лениво-завистливая мысль эта, повторяясь множество раз представлениями уютной постели, нагнетает оцепенение. Члены тяжелы и чувствительны; движения рассеянны; утомленное сознание бессвязно и ярко бродит — где попало и как попало: то около скрипа подошвы, шума крови в висках, то заведет речь о вечности или причине причин. Голова держится на шее — это становится ясно от ее тяжести, а глаза налиты клеем; хочется задремать, перейти в то любопытное и малоисследованное состояние, когда сон и явь замирают в усилии взаимного сладкого сопротивления.

Стук, взламывающий такое состояние, не говорит ничего уму, только — слуху; если он повторится — дремота уже прозрачнее; в туманно-вопросительном настроении человек настраивает внимание и ждет нового стука. Когда он услышит его — сомнения нет; это — стук — там или там, некий безусловный акт, требующий ответного действия. Тогда, вздрогнув и зевнув, человек возвращается к бытию.

Тот стук, которому ответил глубокий вздох присевшего на табурет часового, раздался изнутри особо охраняемой камеры. Часовой выпрямился, поправил кожаный пояс с висевшим на нем револьвером и встал. «Может быть, больше не постучит»,— отразилось в его сонном лице. Но снова прозвучал стук — легкий и ровный, обезличенный эхом; казалось, стучит из всех точек своих весь коридор. И в стуке этом был интимный оттенок — некое успокоительное подзывание, подобное киванию пальцем.

Часовой, разминаясь, подошел к двери.

— Это вы стучите? Что надо? — сурово спросил он.

Но не сразу послышался изнутри ответ; казалось, узник сквозь железо и доски смотрит на часового, как в обычной беседе, медля заговорить.

— Часовой! — послышалось наконец, и тень улыбки померещилась часовому.— Ты не спишь? Открой

дверное окошко. Как и ты, я тоже не сплю; тебе скучно; так же скучно и мне; меж тем в разговоре у нас скорее побежит время. Оно застряло в этих стенах. Нужно пропустить его сквозь душу и голос да подхлестнуть веселым рассказом. У меня есть что порассказать. Ну же, открой; ты увидишь кое-что приятное для тебя!

Оторопев, часовой с минуту гневно набирал воздух, надеясь разразиться пальбой ярких и грозных слов, но не пошел далее обычной фразеологии, хотя все же повысил голос:

— Не разговаривать! Зачем по пустякам беспокоите? Вы пустяки говорите. Запрещено говорить с вами. Не стучите больше, иначе я донесу старшему дежурному.

Он умолк и насторожился. За дверью громко расхохотался узник,— казалось, рассмеялся он на слова не взрослого, а ребенка.

— Ну, что еще? — спросил часовой.

— Ты много теряешь, братец,— сказал узник.— Я плачу золотом. Любишь ты золото? Вот оно, послушай.

И в камере зазвенело, как будто падали на кучу монет — монеты.

— Открой окошечко; за каждую минуту беседы я буду откладывать тебе золотой. Не хочешь? Как хочешь. Но ты можешь разбогатеть в эту ночь.

Звон стих, и скоро раздалось вновь бархатное глухое бряцание; часовой замер. Наблюдая его лицо со стороны, подумал бы всякий, что, потягивая носом, внюхивается он в некий приятный запах, распространившийся неизвестно откуда. Кровь стукнула ему в голову. Не понимая, изумляясь и раздражаясь, он предостерегающе постучал в дверь ключом, крикнув:

— Эй, берегитесь! В последний раз говорю вам! Если имеете спрятанные деньги — объявите и сдайте; нельзя деньги держать в камере.

Но его голос прозвучал с бессилием монотонного чтения; сладко заныло сердце; рой странных мыслей, подобных маскам, ворвавшимся в напряженно улыбающуюся толпу, смешал настроение. В нем начал засыпать часовой, и хор любопытных голосов, кружа голову, жарко шепнул: «Смотри, слушай, узнай! Смотри, слушай, узнай!» Едва дыша, переступил он на цыпоч-

ках несколько раз возле двери в нерешительности, смущении и волнении.

Вновь раздался тот же ровный, мягко овладевающий широко раскрывшей глаза душой, голос узника:

— Надо, ты говоришь, сдать деньги начальству? Но как быть с полным мешком золота? И это золото — не то; не совсем то, каким ты платишь лавочнику. Им можно покупать все и везде. Вот я здесь; заперт и на цепи, как черный злодей, я — заперт, а мое золото всасывает сквозь стены эти чудесные и редкие вещи. Загляни в мое помещение. Его теперь уже трудно узнать; устлан коврами пол, огромный стол посреди; на нем — графины, бутылки, кувшины, серебряные кубки и вызолоченные стаканы; на каждом стакане — тонкий узор цветов, взятый как сновидение. Они привезены из Венеции; алое вино обнимается в них с золотыми цветами. На скатерти в серебряных корзинах лежит пухлый, как заспанная щека, хлеб; вишни и виноград, рыжие апельсины и сливы, подернутые сизым налетом, напоминающим иней. Есть здесь также сыры, налитые золотым маслом, испанские сигары; окорок, с разрезом, подобным снегу, тронутому земляничным соком; жареные куры и торт — истинное кружево из сластей,— залитый шоколадом,— но все смешано, все в беспорядке. Уже целую ночь идет пир, и я — не один здесь. Мое золото всосало и посадило сюда сквозь стены красавиц девушек; послушай, как звенят их гитары; вот одна звонко смеется! Ей весело — да, она подмигнула мне!

Как издалека, тихо прозвенела струна, и часовой вздрогнул. Уже не замечал он, что стоит, жарко и тяжело дыша, всем сердцем перешагнув за дверь, откуда долетал смех, рассыпанный среди мелодий невидимых инструментов, наигрывающих что-то волшебное.

— Матерь божия, помоги! — трясущимися губами шептал солдат.— Это я очарован; я, значит, пропал!

Но ни заботы, ни страха не принесли ему благочестивые мысли; как чужие возникли и исчезли они.

— Открой же, открой! — прозвучал женский голос, самый звук которого рисовал уже всю прелесть и грацию существа, говорящего так нежно и звонко.

В забвении часовой протянул руку, сбросил засов и, откинув черное окошечко двери, заглянул внутрь. Туман ликующей пестроты залил его; там сияли цветы и лица очаровательные, но что-то мешало

ясно расмотреть камеру — как бы сквозь газ или туман. Вновь ясно отозвались струны,— выразили любовь, тоску, песню, вошли в душу и связали ее.

— Стой, я сейчас,— сказал часовой, отмыкая дверь трясущейся рукой; но не он сказал это, а тот, кто был убит в нем колесом жизни,— воскресший мертвец — Дитя-Гигант веселой Природы.

— Это вы что делаете? — бормотал часовой, входя.— Это нельзя, я так и быть посижу тут; однако перестаньте буянить.

Тогда повел он глазами, и тяжело грохнулась на него серая тюремная пустота; как ветер, разорвав дым, показывает за исчезновением беглых и странных форм обычную перспективу крыш, так часовой вдруг увидел пустую койку, с обрывком цепи над ней и рассвет в железной решетке — ни души; он был и стоял один.

Нырнув над головой часового в открытую дверь, Друд скользнул под потолком гигантского коридора и, зигзагом огибая углы, пронесся, минуя несколько винтовых лестниц, в главный пролет тюремного корпуса. У него не было плана; он мчался, следуя развертывающейся пустоте. Здесь он посмотрел вверх и нашел выход, выход — вверху, единственный прямой выход Друда. Он взлетел с силой, давшей его движениям ту темную черту в воздухе, какая подобна быстрому взмаху палкой. Часовой третьего этажа присел; на пятом этаже другой часовой отшатнулся и прижался к стене; вся кровь хлынула от его лица в ноги. Они закричали потом. Почти одновременно с судорожными движениями их Друд, закрыв голову руками, пробил стеклянный свод замка, и освещенная крыша его понеслась вниз, угасая и суживаясь по мере того, как он овладевал высотой. Осколки стекол, порхая в озаренную глубину пролета, со звоном раздробились внизу; но быстрее падения стекла беглец был на вышине в двадцать раз большей.

Наконец он остановился, дыша с хрипом и болью, так как сдержал дыхание, без чего провизжавший в ушах его ветер мог разорвать сердце. Он посмотрел вниз. Не много огней было там — разбросанных, мерцающих, редких; и тьма тихо ступила на них черной ногой.

Друд распилил наручники, затем кандалы и пояс; затем бросил железо. Посвистывая, оно пошло вниз, он же сказал вдогонку: «Ты пригодишься там на заплаты!» Подарок этот, удаляясь со скоростью, возрастающей в арифметической прогрессии, воя и гудя, как снаряд, дошел до тюрьмы и раздробил дымовую трубу.

XIII

На утро другого дня дрогнули и упали три сердца. Часовой бежал; комендант подал в отставку; министр стиснул вне себя руки. Гром раздробил тюрьму.

— Погреб Ауэрбаха,— сказал наконец министр.— Не будет веры тому; тюрьма и так — сказка для многих.

Он рассчитал верно: недоказанное не существует; невероятное, рассказанное солдатами, подтверждает их репутацию, в основе которой издавна лежит суп из топора, а также срубленные в безмерном числе головы неприятеля. Министр, обвиняя Руну, поехал к ней, с ужасом ожидая, как встретятся его глаза с глазами девушки, отныне непостижимой. Но ему сказали, что ее нет; в конце недели она вернется из внезапной поездки.

Когда он отъехал, Руна посмотрела в окно. Его карета, казалось, скользит подавленно и угрюмо среди бешеного движения улиц. Со спокойной застывшей совестью Руна отошла от окна и стала играть с собакой.

Этот день она считала днем перелома жизни, ожидая наступления вечера со спокойствием отчетливой цели. Она стала особенно внимательна к себе и окружающему; подолгу смотрела в зеркало, неторопливо выбрала платье; часто, остановясь, в рассеянности рассматривала задевший внимание случайный предмет, как будто хотела ввести его в связь с тем, что переживала. Время от времени ей подавали визитные карточки; она бросала их в бронзовую корзину, отвечая: «Я не совсем здорова». Время тянулось медленно, но ей не было скучно. В будуаре она присела к письменному столу; на углу бумаги, задумавшись, нарисовала лицо, смотрящее с улыбкой из-за решетки. Затем она открыла дневник — золотообрезанный том в рельефных

крышках старого серебра и, внимательно перелистав все там написанное, перечеркнула страницы карандашом; на первой же следующей за текстом чистой странице поставила единственную резкую строку: «17-го мая 1887—23 июня 1911 г.—ничего не было».

Тем вывела она за дверь и выбросила всю свою жизнь — от детского лепета до страшного дня в «Солейль» — ради первого ожидания.

День проходил тихо. Так отдавшийся, сидя в лодке, течению человек спокоен и уронил весла, но движется — и в душе прибыл уже,— куда плывет и поворачивает течение; к цели несет оно.

Как смерклось — после обеда, тронутого ею весьма прихотливо, не в пример жажде, которую она время от времени успокаивала водой и чаем с вином,— лакей подал еще карточку. На этот раз она сказала: «Просите» — без беспокойства, но с напряжением, выраженным улыбкой.

XIV

Лакей ввел коменданта.

Еще не прошло суток, но его лицо выглядело таким, как если бы он перенес горе. Тяжело, прямыми солдатскими шагами приблизился он, смотря в лицо Руны, остановясь шагах в пяти от девушки, темные глаза которой по-детски свободно и мягко встретили его появление. Он поклонился, выпрямился, взял поданную руку, автоматически сжал ее, отпустил и сел против хозяйки. Все это проделал он как бы в темпе внутреннего ровного счета.

— Я пришел,— начал он и продолжал громче,— принести безмерную благодарность.— Комендант помолчал.— Все вышло так странно. Но о том не берусь судить.— Встав, он отвесил второй поклон, и невольная, видимо, бессознательная улыбка чрезвычайного довольства сверкнула под полуседыми его усами — на мгновенье; после чего лицо вновь отвердело, словно улыбнулся он про себя, беседуя сам с собой.— Да, этот день мне не забыть. Вся жизнь — моя и детей моих — спасена, устроена, обеспечена. Я могу не служить. Но есть обстоятельства. Я допустил вас к свиданию без меня согласно просьбе вашей, не прося, не требуя ничего. Прошу подтвердить это.

— Но я не понимаю.— Руна свела брови, давая понять легким движением руки, что речь посетителя изумила ее.— Нас не подслушивают, и я прошу говорить ясно. Подтвердить мне легко,— да, благодарю, вы навсегда обязали меня.

— Теперь положение изменилось. Я обязан вам или, если вы не соглашаетесь думать так, скажу, что мы — квиты.

Он разгладил усы, устремил рассеянный взгляд на диадему в волосах Руны и поймал в блеске алмазов отсвет *своего* счастья, что снова вдохновило его.

Произошло это в три часа дня. Я хотел закрыть окно в кабинете; мой взгляд упал на стол, где лежал приказ о лишении меня должности по причине, о которой догадаться нетрудно. Я пять часов пробыл на допросе и очень устал. Что мог я сказать им? Человек пробил крышу и улетел, но, согласитесь,— какое же это объяснение? Верить сам происшествию не могу и, считая обстоятельство невыясненным, складываю оружие своего ума. Что объяснить? Как понять? Чему верить? Загадочная история. Простите, я отвлекся. Итак, под бумагой лежал плоский шерстяной мешок, весом тридцать два фунта, полный золотых монет, запечатанных столбиками в белую бумагу синим сургучом. Кроме того, был там замшевый кошель с завалившимися в угол его тремя бриллиантами, весом всего сто десять карат. Не оставляло сомнений, что подарок предназначался мне, так как при нем оказалась записка — вот она.— Комендант подал, дернув из обшлага, небольшой обрывок, на котором, крупно и небрежно написанное, стояло: «Будьте свободны и вы».

Руна прочла, вернула; ее изумление стихло, благодаря верной догадке. Комендант продолжал:

— Так. Это чудо, конечно, из ваших рук. Сто десять карат. Считая стоимость их упавшей ныне, по курсу получаю двести пятьдесят тысяч плюс тридцать пять золотом, всего триста тысяч, то есть почти треть миллиона. Я сделал эти вычисления ночью, так как не спал. Простите мне их. Они есть результат минувших сильных волнений.

— Это не я,— сказала Руна, смеясь и радуясь, что человек счастлив.— Однако знайте, что, не случись этого, я сделала бы для вас все.

Комендант, мигая, пристально посмотрел на нее, улыбнулся, порозовел и протянул руку, с блеском

в глазах, заставлявшим думать, что соленая вода есть и в его сердце.

— Извините, что я первый протягиваю вам, даме и девушке, свою руку; это не принято, но мне надо пожать вашу. Я верю всегда, если говорят, смотря прямо в глаза. Я рад, что так. Теперь я совсем спокоен — между нас не было тени.

Она подала руку, но вспомнила свою ложь и отвернула лицо.

— Тень была,— сказала она,— но только во мне. Меж нас не было тени. Прощайте. Лучше нам уж не сказать, чем сказано, виной хорошему — вы. Идите, будьте счастливы и знайте, что осколки стекла могут стать бриллиантами, если на них взглянет тот, кто ушел так странно от вас.

Гость встал, поднес к губам нервную душистую руку, повернулся и вышел, как пришел, смотря прямо перед собой. Руна, отведя портьеру, взглядом проводила его. Он скрылся, и она вернулась к себе.

XV

Стемнело, но она не выразила ожидания беспокойством, тоской и не поднималась наверх. Она знала — знанием, доныне необъяснимым,— что Друд явится наверх; знала также, что он уведомит ее о своем появлении каким-то свойственным ему образом. Устав ждать, она села в ярко освещенной гостиной, читая книгу.

Как странно лелеять что-либо еще не наступившее всей правдой души, видя и предвосхищая то в книге, говорящей о постороннем! На тайном языке написана в мгновения те книга, какая бы ни была она; ее текст, пышная и тонкая аргументация и живописное действие спят неподвижно. Свое плавает по строкам, выжженным напряжением, оставляя зрению линии и скачки знаков, отныне — неведомых. Лишь изредка встанет ясным какое-нибудь одно слово, но тем сильнее кидается прочь стиснутая душа, подобно изменнику, очнувшемуся для чести. Как то пропадает, то послышится вновь стук часов, так временно может стать внятным текст, но скоро позовет хлынувшая волна тоски откинуться, закрыв глаза, к близкому будущему, призывая его стоном сердцебиения.

Долог такой день, и метит он человека вечным клеймом. Читая или, вернее, держа на коленях книгу, сама же смотря дальше ее, Руна провела так час и другой; на половине же третьего вверху неведомый музыкант начал играть рапсодию; остановился и заиграл вновь. Тогда все вернулось на свое место, ярче сверкнул свет, громче стал уличный шум, и, удерживаясь, чтобы не бежать, девушка поднялась наверх.

Из дальней двери выбегал в сумерки на озаренный ковер свет. Свет пересекала тень человека. Руна остановилась, забыв все, что хотела сказать, но, сжав руки, не пошла далее, пока не овладела собой.

Ей скоро удалось это; она вошла, и к ней, всматриваясь, с улыбкой подошел Друд. Он был в черном простом костюме, как человек самый обыкновенный; проще и тверже, чем в первый раз, чувствовала себя девушка, хотя, как и в тюрьме, на границе мира ошеломляющего. Однако в состояниях, нам доступных, есть спасительная слепая черта — ничего не видно за ней: туман, от него вбегаем мы в озаренный круг текущего действия.

Друд сказал:

— Не сомневались ли вы? Если меня зовут, я прихожу неизменно; я пришел, зажег свет и играл.

Руна жестом усадила его и медленно опустилась сама, не смотря никуда больше, как только в его глаза,— взглядом ночного путника, отметившего далекий огонь. С невольной и простой силой она сказала:

— Как я ждала — я, не ждавшая никогда!

— И мы — вместе,— продолжал он, так как это хотела она прибавить.— Руна, я много думал о вас. Оставим не главное; о главном надо говорить сразу, или оно заснет, как волна, политая с корабля маслом. Я пришел узнать и выслушать вас; я ждал этого дня. Да, я ждал его,— с раздумьем повторил он,— потому, что нашел красивую силу. Не должно быть меж нас стеснения; пусть наше внутреннее объятие будет легко. Говорите, я слушаю.

Она встала, протянув руки и бледнея, как от удара; удар прогремел в ней.

— Клянусь, день этот равен для меня воскресению или смерти.

И Галль молнией черкнул по ее душе. Она не понимала еще, что значит внезапно возникший его образ. В ней встало подлинное вдохновение власти —

ненасытной, подобной обвалу. В забытьи обратилась она к себе: «Руна! Руна!» — и, прошептав это как Богу, села с улыбкой, вырезавшей на чудном ее лице отражение всего состояния.

В этот момент вошел белый водолаз с человеческими глазами; устремив их на Друда, он потянул носом, завыл и стал, пятясь, дрожать.

Друд тихо сказал:

— Ложись. Лежи и слушай.

Тогда, словно поняв слова, великан кротко повалился на бок меж Руной и ним, свесив язык.

— Я думал о вас много и хорошо,— сказал Друд. Уже по внешности обычно спокойная, она рассматривала его лицо; остановилась на беспечной линии рта, решительном выражении подбородка, темных усах, массивном лбе, полном высокой тяжести, и заглянула в глаза, где, темнея и плавясь, стояло недоступное пониманию. Тогда во время не большее, чем разрыв волоска, все веяния и эхо сказок, которым всегда отдаем мы некую часть нашего существа,— вдруг, с убедительностью близкого крика глянули ей в лицо из страны райских цветов, разукрашенной ангелами и феями,— хором глаз, прекрасных и нежных. Схватив веер, она резко сложила его; свист перламутра отогнал странное состояние. Она сказала:

— Вам нужно овладеть миром. Если этой цели у вас еще нет, она рано или поздно появится; лучше, если теперь вы согласитесь со мной. Итак, я представляю: не в цирке или иных случаях, рожденных капризом, но с полным сознанием великой и легкой цели вы заявите о себе долгим воздушным путешествием, с расчетом поразить и увлечь. Что было в цирке — будет везде. Америка очнется от золота и перекричит всех; Европа помолодеет; исступленно завоет Азия; дикие племена зажгут священные костры и поклонятся неизвестному. Пойдет гром и гул; станут правилом бессонные ночи, а сумасшедшие в заточении своем начнут бить решетки; взрослые превратятся в детей, а дети будут играть в вас.

Если теперь, пока ново еще явление, клещи правительств не постеснялись бы раздавить вас, то после двух-трех месяцев всеобщего исступления вы станете под защиту общества. Возникнут надежды безмерные. Им отдадут дань все люди странного уклона души — во всех сферах и примерах дел человеческих. А вас

некоторое время снова не будет видно, пока не разлетится весть, где вы находитесь.

Согласно вашему положению, цели и характеру впечатления, вы должны будете повести образ жизни, действующий на воображение — центральную силу души. Я найду и дам деньги. Комендант знает о вашем богатстве, но оно может оказаться ничтожным. Поэтому гигантский дворец на берегу моря ответит всем ожиданиям. Он должен вмещать толпы, процессии, население целого города, без тесноты и с роскошью, полной светлых красок,— дворец, высокий, как небо, с певучей глубиной царственных анфилад.

Тогда начнут к вам идти, чтобы говорить с вами, люди всех стран, рас и национальностей. «Друд» будет звучать, как «воздух», «дыхание». Странники, искатели «смысла» жизни, мечтатели всех видов; скрытные натуры, разочарованные, страдающие сплином или тоской, кандидаты в самоубийцы; неуравновешенные и полубезумные; нежные — с детской религией цветов и птичек, добросовестные ученые; потерпевшие от всяческих бедствий; предприниматели и авантюристы; изобретатели и прожектеры; попрошайки и нищие,— и женщины, легионы женщин, с пораженным зрением и с взрывом восторгов, которых в жизни обычной им негде выразить. И то будет ваша великая армия.

Одновременно со всем тем у вас появятся сторонники, агенты и капиталы со слепым к вам доверием: самые разнообразные, противоречащие друг другу цели постараются сделать вас точкой опоры. Газеты в погоне за прибылью будут печатать все: и то, что сообщите им вы, и то, что сочинят другие, превосходя, быть может, нелепостью измышлений весь опыт прежних веков. Вы же напишете книгу, которая будет отпечатана в количестве экземпляров, довольном, чтобы каждая семья человечества читала ее. В той книге вы напишете о себе, всему придав тот смысл, что тайна и условия счастья находятся в воле и руках ваших,— чему поверят все, так как под счастьем разумеют несбыточное.

После этого к вам явится еще больше людей, и вы будете говорить с ними, появляясь внезапно. Самые простые слова ваши произведут не меньшее впечатление, как если бы заговорил каменный сфинкс. И из ничего, из пустой фразы, лишенной непрямого значения, вспыхнут легендарные обещания, катящиеся лавиной, опрокидывая с т а р о е настроение.

С т а р о е настроение говорит: «Игра и упорство». Н о в о е настроение будет выражаться словами: «Чудо и счастье». Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными, и решение возложат на вас. Меж тем в клу́бах вашего имени, в журналах, газетах и книгах, отмечающих ваш каждый шаг, каждое ваше слово и впечатление, в частных разговорах, соображениях, спорах, вражде и приветственных криках заблудится та беспредметная вера, которую так давно и бездарно ловят посредством систем, заслуживающих лишь грустной улыбки.

Тогда — без динамита, пальбы и сложных мозговых судорог постоянное, ровное сознание разумного чуда — в лице вашем — сделает всякую власть столь шаткой, что при первом же ясно выраженном условии: «я — или они», земля скажет: «ты». Ничто не остановит ее. Она будет думать, что овладевает блестящими крыльями.

Девушка умолкла, вся ликуя и светясь; стальное, но и прекрасное — во всей силе одушевлявших ее гигантских расчетов — выражение не покидало ее лица, но тише, медленнее прозвучали последние слова Руны. Тогда поняла она, что Друд внутренне отвернулся и что ее слова отброшены ей назад, с равной им силой. Ее нервы ломались. Еще не успела она почувствовать всю силу удара, как раздалось резкое и холодное:

— Нет.

Он продолжал:

— Мне следовало остановить вас. Слушайте. Без сомнения, путем некоторых крупных ходов я мог бы поработить всех, но цель эта для меня отвратительна. Она помешает жить. У меня нет честолюбия. Вы спросите — что мне заменяет его? Улыбка. Но страстно я привязан к цветам, морю, путешествиям, животным и птицам; красивым тканям, мрамору, музыке и причудам. Я двигаюсь с быстротой ветра, но люблю также бродить по живописным тропинкам. Охотно я рассматриваю книгу с картинками и доволен, когда, опустясь ночью на пароход, сижу в кают-компании, вызывая недоумение: «Откуда этот, такой?» Но я люблю все. Мне ли тасовать ту старую, истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра. Но укажите узор м о е г о м и р а, и я изъ-

ясню вам весь его сложный шифр. Смотрите: там тень; ее отбрасывает угол стола, кресло и перехват портьеры, абрис условного существа человеческих очертаний, но со складкой нездешнего выражения. Уже завтра, когда тень будет забыта, о д н а мысль, равная ей и ею рожденная, начнет жить бессмертно, отразив для несосчитанно малой части будущего некую свою силу, явленную теперь. Розы, что разделяют нас, начинают распускать лепестки,— почему? Недалек рассвет, и им это известно. Перед тем, как проститься, скажу вам, каких я ожидал от вас слов. Вот эти неродившиеся дети, вот их трупики; схороните их: «Возьми меня на руки и покажи мне все — сверху. С тобой мне будет не страшно и хорошо».

Встав, он подошел к окну, смотря, как реет темная предрассветная синева, а звезды, дрожа, готовятся скатиться за горизонт.

— Клянусь,— сказал Друд,— что не чувствую ни зла, ни обиды, но только печаль. Я мог бы любить вас.

— О! — произнесла Руна с выражением столь неизъяснимым, но точным, что он побледнел и быстро повернулся к ней, увидев иное — холодное, высокомерно поднятое лицо. Ничто не напоминало в ней только что горевшего возбуждения. Казалось, силой чудовищного самообладания мгновенно истребила она самую память о тех минутах, когда жила целью, бывшей, в страсти ее порыва, уже у ее гордой ноги, занесенной встать на вершину вершин. И Друд понял, что они расстались навек; во взгляде девушки, смерившем его мгновением холодного любопытства, было нечто ошеломляющее. Так смотрят на паяца.

Он вздрогнул, замер, потом быстро подошел к ней, взял за руки и принудил встать. Тогда что-то тронулось в ее чертах мучительным и горьким теплом, но скрылось, как искра.

— Смотри же,— сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, все повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массивный очерк окна.— Смотри! — повторил Друд, крепко прижимая оцепеневшую девушку.— О т э т о г о ты уходишь!

Они были среди пышных кустов — так показалось Руне; на деле же — среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, холод и удивление заставили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва

не вырвалась, со странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее.

— Дурочка! — сурово сказал он. — Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!

Но шуткой не рассеял он тяжести и быстро пошел вниз, чувствуя, что услышит уже очень немногое.

— Если нет власти здесь, я буду внизу. — С этими словами Руна, оттолкнув Друда, коснулась земли, где, прислонясь к дереву, пересилила дрожь в ногах; затем, не оглядываясь, стала всходить по ступеням террасы. Друд был внизу, смотря вслед.

— Итак? — сказал он.

Девушка обернулась.

— Все или ничего, — сказала она. — Я хочу власти.

— А я, — ответил Друд, — я хочу видеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утро простит тебя.

Он кивнул и исчез. Издалека свет загорался вверху, определяя смутный рисунок похолодевших аллей. Руна еще стояла там же, где остановилась, сказав: «Все». Но это «все» было вокруг нее, неотъемлемое, присущее человеку, чего не понимала она.

Свет выяснился, зажег цветы, позолотил щели занавесей и рассек сумеречную тишину роскошных зал густым блеском первого утреннего огня. Тогда, плача, с неподвижным лицом — медленно бегущие к углам рта крупные слезы казались росой, блещущей на гордом цветке, — девушка написала министру несколько строк, полных холодного, несколько виноватого радушия. И там значилось в последней строке:

«Я видела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь; это — мечтатель».

XVI

Два мальчика росли и играли вместе, потом они выросли и расстались, а когда опять встретились — меж ними была целая жизнь.

Один из этих мальчиков, которого теперь мы называем Друд или Двойная Звезда, проснувшись среди ночи, подошел к окну, дыша сырым ветром, полыхавшим из тьмы. Внизу среди тусклого отсвета, рассеянного вокруг башни маяка ее огненной головой, вспы-

хивая зеленой пеной, текли к черной стене хлещущие свитки валов; вздымаясь у огромного ствола башни, они рушили к ее основанию ливни и водопады с силой пальбы. Во тьме красный или желтый огонь, застилая звезду, указывал движение парохода. Выли, стонали сирены, сообщая моменту оттенок безумия. По левой стороне тьмы светилась пыль огней далекого города.

Если есть боль, зрелище, отвлекая, делает боль неистовее, когда, сломав созерцание, душа вновь сосредоточится на ране своей. Друд отошел от окна. Его душа гнулась и ныла, как спина носильщика под еле посильным грузом; он страдал, поэтому стал ходить, чтобы не прислушиваться к себе.

Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив в фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение.

— А! — сказал он.— Вы встали!

Друд обернулся, встретив грустными глаза своего товарища детских игр.

— Ты печален, болен, быть может? — сказал он, усаживая сторожа на кровать рядом с собой.— Ну, потолкуем, как раньше.

— Как раньше? — повторил Стеббс с горестным ударением.— Раньше я садился и слушал, удивлялся, хохотал, проводил ночи без сна, во тьме, расписанной после рассказов ваших ярчайшими красками. Пора ужинать.— Он взял из угла дров и присел к камину, раздувая огонь.

Друд перешел к нему, чувствуя себя скверно и виновато. Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко установил поленья, и пламя разгорелось.

— Стеббс,— сказал он,— с того дня, как я лежал при смерти, а ты сидел возле меня и капал в ложку сомнительное изобретение доктора Мармадука, прошло много времени, но было мало хороших минут. Давай делать хорошую минуту. Сядем и закурим, как прежде, индейскую трубку мира.

Сначала скажем про Стеббса, какой он был наружности. Стеббс был невелик ростом, длинноволос; волоса веером лежали на пыльном воротнике старенького мундира; разорванные штаны, из-под которых едва виднелись рыжие носки башмаков, мели своей бахромой пол. Худое лицо, все черты которого стремились вперед, имело острые пунцовые скулы;

тщедушный, но широкоплечий, казалось, отразился он, став таким, в кривом зеркале — из тех, что, подведи к ним верзилу, дают существо сплюснутое. Но у него были прекрасные собачьи глаза.

— Итак: «трубку мира»...

— Где она? — Притворяясь равнодушным, Стеббс медленно осмотрел полки и все углы помещения.— Нашел. Так давно не курил я ее, что из мундштука пахнет кислятиной. А какой табак?

— Возьми в жестяном ящике. Сядь рядом. Стой: не тронь спичек. Что это за книга? В углу?

— Это,— сказал Стеббс,— книжечка довольно серьезная; она сама упала туда.

Друд взял книгу.

— «Искусство как форма общественного движения»,— громко прочел он и выдрал из сочинения пук страниц, приговаривая: — Книги этого рода хороши для всего, кроме своей прямой цели.— Затем закурил текстом. Покурив, важно вручил он трубку молчавшему Стеббсу. Еще надутый, но уже со счастливой искрой в глазах, Стеббс стал расспрашивать о тюрьме.

— Приходил прокурор,— сказал Друд, смотря в огонь.— Он волновался, задал ряд нелепых вопросов. Я не отвечал; я выгнал его. Еще была...— Друд выпустил сложный клуб дыма.— В общем, маяк все-таки хорош, Стеббс, но я завтра уйду.

— Опять,— печально заметил сторож.

— Есть причины, почему я должен развлечься. Веселья, веселья, Стеббс! Ты знаешь уже, какое веселье произошло в цирке. Такое же затеял я в разных местах земли, а ты о том будешь читать в газетах.

— Воображаю! — сказал Стеббс.— Я, в сущности, мало говорю, потому что привык; но, как вспомню, кто вы, подо мной словно загорится стул.

Друд сдвинул брови, улыбку спрятав в усы.

— Солнце не удивляет тебя? — спросил он очень серьезно.— А этот удар волны? А ты сам, когда с удивлением, как бы отразясь в глубине собственного же сердца, говоришь: «Я, я, я»,— прислушиваешься к непостижимому мгновению этому и собираешь в дырочку твоего зрачка стомильный охват неба и моря,— тогда ты глупо и самодовольно спокоен?

— Ну, ладно,— возразил Стеббс.— А вот что скажите: не полюбили ли вы?

Он произнес эти слова с оттенком такой важной и наивной заботы, что Друд простил его проницательность.

— Едва ли...— пробормотал он, толкая ногой полено.— Но контраст был разителен. Все дело в контрасте. Понял ты что-нибудь?

— Все! — с ужасом прошептал Стеббс.— Кофе готов.

— Довольно об этом; бросил ты писать стихи или нет?

— Нет,— сказал Стеббс с апломбом; глаза его блеснули живо и жадно. Не раз видел он себя в образе чугунного памятника, простирающим вещую руку над солнечной площадью. Но в малой его душе поэзия лежала ничком, ибо негде ей было повернуться. Так град, рожденный электрическим вихрем, звонко стучит по тамбурину, но тупо по бочке.— Нет. В этом пункте мы разойдемся. Стихи мне стали даваться легче; есть прямо не скажу гениальные, но замечательные строки.

Лишь он заговорил о стихах (писать которые мог по нескольку раз в день), с уверенностью, что Друд дразнит его — так были очевидны Стеббсу их мифические достоинства,— как его скулы замалиновели, голос зазвенел, а руки, вонзясь в волосы, откинули их вверх страшным кустом.

— Хотите, я прочитаю «Телеграфиста из преисподней»?

— Представь — да,— смеясь, кивнул Друд,— да, и как можно скорее.

С довольным видом Стеббс выгрузил из сундука кипу тетрадей. Перелистывая их, он бормотал: «Ну... это не отделано...», «в первоначальной редакции», «здесь — недурно»,— и тому подобные фразы, имеющие значение приступа. Наконец он остановился на рукописи, пестрой от клякс.

— Слушайте! — сказал Стеббс.

— Слушаю! — сказал Друд.

Сторож заголосил нараспев:

В ветро-весеннем зное,
Облачась облаком белым,
Покину царство земное
И в подземное сойду смело.

Там — Ад. Там горят свечи
Из человечьего жира;
Живуча там память о встрече
С существом из другого мира.

На моей рыдающей лире
Депешу с берегов Стикса
Шлю тем, кто в подлунном мире
Ищет огневейного Икса.

Гремя подземным раскатом,
Демон...

— Теперь,— сказал Друд,— почитай другое.

Стеббс послушно остановился.

— Знаю,— кротко заметил он,— вам эта форма не нравится, а только теперь все пишут так. Какое же ваше впечатление?

— Никакого.

— Как? Совсем никакого впечатления?

— Да, то есть — в том смысле, какого ты жаждешь. Ты волнуешься, как влюбленный глухонемой. Твои стихи, подобно тупой пиле, дергают душу, не разделяя ее. Творить — это ведь *разделять*, вводя *свое* в массу чужой души. Смотри: читая Мериме, я уже не выну Кармен из ее сверкающего гнезда; оно образовалось неизгладимо; художник рассек душу, вставив алмаз. Чем он успел в том? Тем, что собрал *все* моей души, *подобное* этому стремительному гордому образу, хотя бы это *все* заключалось в мелькании взглядов, рассеянных среди толп, музыкальных воспоминаниях, резьбе орнамента, пейзаже, настроении или сне,— лишь бы *подобно* было цыганке Кармен качеством впечатления. Из крошек пекут хлеб. Из песчинок наливается виноград. Айвенго, Агасфер, Квазимодо, Кармен и многие, столь мраморные, другие сжаты творцом в нивах нашей души. Как стягивается туманность, образуя планету, так растет образ; он крепнет, потягивается, хрустя пальцами, и просыпается к жизни в рассеченной душе нашей, успокоив воображение, бессвязно и дробно томившееся по нем.

Если вставочка, которой ты пишешь, не перо лебедя или орла — *для тебя*, Стеббс, если бумага не живой, нежный и чистый друг — тоже *для тебя*, Стеббс, если нет мысли, что все задуманное и исполненное могло бы быть еще стократ совершеннее, чем теперь,— ты можешь заснуть, и сном твоим будет *простая* жизнь, творчество божественных сил. А ты скажешь Ему: «под складкой платья твоего пройду и умру; спасибо за все».

Довольно мне сечь тебя. Запомни: «депешу на вдохновенной лире» посылают штабные писаря прачкам.

«Живуча» — говорят о кошках. Кроме того, все, что я сказал, ты чувствуешь сам, но не повторишь по неумению и упрямству.

Выслушав это, Стеббс хмуро отложил тетрадь, вымыл кружки, насыпал на закопченный стол сухарей и отковырнул из бочки пласт соленой свинины. Разрубив ее тяжелым ножом, он, обдумав что-то, добродушно расхохотался.

Друд поинтересовался — не его ли безжалостная тирада подействовала так благотворно на пылкое сердце поэта.

— Вы угадали,— сказал Стеббс с тихо-победоносным блеском увлажнившихся глаз,— я просто вижу, что в поэзии мало вы понимаете.

— Действительно так; я никогда не писал стихов. А все-таки послушай меня: когда здесь, в этом скворечнике, появится улыбающееся женское лицо, оно, с полным пренебрежением к гениальности отберет у тебя штаны, приштопав к ним все пуговицы, и ты будешь тратить меньше бумаги. Ты будешь закутывать ее на ночь в теплое одеяло и мазать ей на хлеб масло. Вот что хотел бы я, Стеббс, для тебя. Дай мне еще сахара.

Стеббс было закатил глаза, но вдруг омрачился.

— Женщина губит творчество,— пробормотал он,— эти создания — они вас заберут в руки и слопают.— Отогнав рой белокурых видений, слетевшихся, как мухи на сахар, едва заговорили о них, Стеббс взбодрил пятерней волосы, затем простер руку.— Прислушайтесь! Разве плохо? Гремя подземным раскатом, демон разрывает ущелье; гранитом он и булатом справляет свое новоселье. О, если бы...

— Стой! — сказал Друд; здесь, хлынув в окно с силой внезапной, ветер едва не погасил лампу; фыркнули листы огромной тетради Стеббса, и что-то, подобно звуку стихающего камертона, пропело в углу.

— Что так нежно и тонко звенит там? — спросил Друд.— Не арфу ли потерял Эол?

Стеббс сказал:

— Сначала я объясню, потом покажу. В долгие ночные часы придумал и осуществил я машину для услаждения слуха. После Рождества, Нового года, дня рождения и многих иных дней, не столь важных, но имеющих необъяснимое отношение к веселью души, остается много пустых бутылок. Вот посмотрите, зрите: се — рояль Стеббса.

Говоря это, он вытащил из-за занавески вертикально установленную деревянную раму; под ее верхней рейкой висел на проволочках ряд маленьких и больших бутылок; днища их были отпилены. Качаясь в руках Стеббса, это музыкальное сооружение нестройно звенело; взяв палочку, сторож черкнул ею по всему ряду бутылок вправо и влево; раздалась трель, напоминающая тот средний меж смехом и завыванием звук, какой издает нервический человек, если его крепко пощекотать.

— Что же вам сыграть? — сказал Стеббс, выделывая своей палочкой «дринь-дринь» и «ди-ди-до-дон». Звук был неглубок, тих и приятен, как простая улыбка.— Что же сыграть? Танец, песню или, если хотите, оперную мелодию? Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати — двадцати вещей; мои любимые мелодии: «Ветер в горах», «Фанданго», «Санта-Лючия» и еще кое-что, например, вальс «Душистый цветок».

— Попробуем «Фанданго»,— сказал Друд, оживляясь и усаживаясь на стуле верхом с трубкой в зубах.— Начинай, я же буду насвистывать, таким образом у нас будет флейта, струна и звон.

Перебрасывая палочку среди запевших бутылок быстрой неутомимой рукой, Стеббс начал выводить знаменитую мелодию, полную гордого торжества огненной жизни. Но с первых же тактов свойство инструмента, созданного для лирики, а не для драмы, заставило концертантов отказаться от первого номера.

— Попробуем что-либо другое.— Друд стал свистать тихо, прислушиваясь.— Вот это...— И оно так же звенит в оркестре.

— Посвистите еще.— Стеббс, склонив ухо, понял и уловил мотив.— Ага! На средний регистр.

Он прозвенел палочкой; Друд взял тон, увлеченно насвистывая; то был электризующий свист гибкого и мягкого тембра. Свистал он великолепно. Стеббс был тоже в ударе. Они играли вальс из «Фауста». Прошла тихая тень Маргариты; ей вслед задумчиво, жестоко и нежно улыбнулся молодой человек в пышном костюме со старой и тщеславной душой.

— А это славно, это хорошо! — вскричал Стеббс, когда они кончили.— Теперь закурим. Что следующее?

Смеясь, болтая и тревожась, как бы Друд не вернулся из тихой страны звона к мрачной рассеянности,

он торопливо наигрывал, поддерживая в нем детское желание продолжать спасительную забаву. Так, переходя от одной вещи к другой, затеяли и разыграли они песенку «Бен-Бельт», которую поет Трильби у Дюмурье; «Далеко, далеко до Типерери»; «Южный Крест»; второй вальс Годара, «Старый фрак» Беранже и «Санта-Лючия».

Меж тем стало светать; первое усилие дня, намечающего свой путь в бурной громаде ночи, окружило желтое пятно лампы серым утренним беспорядком; уже видны были в окно волны и пена. Ветер стихал.

Друд как бы очнулся. Печально посмотрел он вокруг и встал:

— Ну, Стеббс, еще раз, перед тем как расстаться,— «Санта-Лючия».

Стеббс вытер глаза: стекло стало вызванивать:

Ясными звездами море сияет,
Вдаль веет ветер, вглубь увлекает;
К лодкам спешите все — в ночи такие.
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Друд тихо свистал. Уже видел он и то, что сказано во втором куплете:

Море чуть зыблется. Здесь, на просторе,
Как рыбаки, вы все сбросите горе,
И да покинут вас скорби людские...
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Он видел это, и тише становилось в его душе. Когда кончили, хлопнув по плечу Стеббса, Друд сказал:

— Спасибо! Ночь была хороша; сделали мы и хорошую минуту. Прощай!

Затем он оделся, как одеваются для ветра и холода: сапоги, толстая куртка и шапка с ремнем, проходящим под подбородком. Стеббс, без нужды в том, усердно помогал одеваться; он был совершенно расстроен.

Наконец заря вышла из облаков, рассеяв стальной, белый и алый оттенки на проясневшей воде. Друд подошел к окну. Тогда, плача откровенно и горько, как маленький, Стеббс ухватился за него, оттягивая назад.

— Хотите, я сожгу все тетрадки, если вы останетесь еще на один день? Клянусь, я сделаю это!

Друд, смеясь, обнял его.

— Зачем же,— мягко сказал он.— Нет, Стеббс, я был не совсем прав; играй, стихи — твоя игра. Каждый человек должен играть.— Он двинулся в пустоту,

но вернулся, хлопая себя по карману.— Я забыл спички.

Стеббс подал коробку.

— Жди, я вернусь,— сказал Друд.

Он сделал внутреннее усилие, подобное глубокому вздоху, вызванному восторгом,— усилие, относительно которого никогда не мог бы точно сказать, как это удается ему, и стал удаляться; с руками за спиной, сдвинув и укрепив на тайной опоре ноги. Лицо его было обращено к облачной стране, восходящей над зеленоватым утренним небом. Он не оглядывался. По мере того как уменьшалась его фигура, плывущая как бы по склону развеянного туманом холма, Стеббс невольно увидел призрачную дорогу, в которой имеющий всегда дело с тяжестью ум человека не может отказать даже независимому явлению. Дорога эта, эфирнее самого воздуха, вилась голубым путем среди шиповника, жимолости и белых акаций, среди теней и переливов невещественных форм, созданных игрой утра. По лучезарному склону восходила она, скрывая свое продолжение в облачных снегах великолепной плывущей страны, где хоры и разливы движений кружатся над землей. И в тех белых массах исчез Друд.

Часть II

УЛЕТАЮЩИЙ ЗВОН

I

Весной следующего года в газетной прессе появились удивительные и странные сообщения. Эти сообщения разрабатывали одно и то же явление, и будь репутация шестой державы немного почтеннее, чем та, какой она пользуется в глазах остальных пяти великих держав света, факты, рассказанные ее страницами, наверное, возбудили бы интерес чрезмерный. Не было сомнения, что эту сенсацию постигнет обычная судьба двухголовых детей или открытия, как превращать свинец в золото, что время от времени подается в виде свежего кушанья. Казалось, сами редакторы, тонко изучившие душу читателя, рассматривают монстральный материал свой не выше «Переплытия Ниагары

в бочонке» или «Воскресения замурованной христианки времен Калигулы», печатая его в сборных отделах с заголовком: «Человек-загадка», «Чудо или галлюцинация», «Невероятное происшествие», и с другими, более или менее снимающими ответственность ярлыками, чем как бы хотели сказать: «Вот, мы умываем руки: кушайте, что дают».

Однако, как сказал некто Э. Б., «не у всех рыжих одинаковая судьба», и это изречение кстати упомянуть здесь. Десять, пятнадцать, двадцать раз изумлялся читатель, пробегая в разных углах мира строки о неуследимом фантоме, явившемся кому-то из тех, кого не встретили мы, не встретим, и чьи имена нам — звук слов напрасных; ничего не изменило, не сдвинуло в его жизни им прочитанное и наконец было забыто, только иногда вспоминал он, как тронулась в нем случайным прикосновением редкая струна, какой он не подозревал сам. Что был это за звук? Как ни напрягается память, в тоскливейшем из капризов Причудливого — в глухом мраке снует мысль, бестолково бьется ее челнок, рвется основа, путая узел на узел. Ничего нет. Что же было? Газетный анекдот — и тоска.

Но перебросим мост от нас к *тому* печатному тексту. Литература *фактов* вообще самый фантастический из всех существующих рисунков действительности, то же, что глухому оркестр: взад-вперед ходит смычок, надувается щека возле медной трубы, скачет барабанная палка, но нет звуков, хотя видны те движения, какие рождают их. Примем в возражение факты, сущность которых так разительна, что мясо и дух события, иначе говоря — очевидство и проникновение в суть факта, немного прибавят к впечатлению, полученному путем сообщения. Действительно, *такой* факт возможен. Например, провались в Чикаго двадцатидвухэтажный дом, мы, поставленные о том в известность, внутренно подскочим, хотя скоро уже не будем думать об этом. Что это — так, что факты как факты, даже пропитанные удушливой смолой публицистических и партийных костров, никоим образом не смущают ни жизнь, ни мысль нашу, достаточно вспомнить то хладнокровное внимание, с каким просматриваем мы газету, не помня на другой день, что читали сегодня, а между тем держали в руках не что иное как трепет, борьбу и жизнь всего мира, предъявленные на манер ресторанного счета.

В этой тираде нашей тщетно было бы искать реформационных потуг или требований безмерных, к кому бы то и к чему бы то ни было. Мы просто отмечаем пустоту, куда не хотим идти. Как, в самом деле, перечислять где, когда и кто смутился и испугался, кто может быть близорук, а кто — склонен к галлюцинациям на почве неясных слухов?

Как устанавливать и решать, где проходит идеально прямая черта действительного события? Вообще поиски такого рода — дело специалистов. Однако, поступив проще, представив себя — в лице многих тех N. и С.— в положении выезжающего сразу из шести ворот Сен-Жермена, можно среди зигзагов и конусов странной корреспонденции увидеть нечто, равное всему общему разбросанного и сборного впечатления; для этого нужно лишь сказать «я». *Я* иду где-то, замечая тень или человека, скользящего высоко вверху, во всей странности подобного лицезрения; иные формы, иные положения той же встречи смутно выделяются одна из другой в графитовом полусвете сна; и я не знаю — мое ли яркое представление о том вводит всю муть в формы отчетливых сцен, было ли то мне рассказано или случилось со мной. Быть может, интереснее всего некоторые ошибки, возникшие под влиянием слухов о существе, не знающем расстояния.

Тот трубочист, которому выпало на долю заразить суеверным страхом нервных прохожих, будет, надо думать, до конца дней помнить захватывающее и глубокое впечатление, произведенное его дымной фигурой на фоне лилового вечернего неба. Он опомнился, когда увидел внизу огромную черную лужу толпы; постепенно смутный хор ее гула разросся в потрясающее смятение, и враг сажи спустился по требованию полиции с крыши шестиэтажного дома вниз, где немедленно стал причиной разочарования, насмешек и оскорблений. Быть может, среди этой толпы был и тот мальчик, фигурный китайский змей которого, дико урча трещоткой над башней ратуши в Эльте, привлек воспламененное внимание охотника Бурико, сразу поклявшегося, что убьет черта двойным зарядом из своей льежской двухстволки, опустив предварительно поверх картечных зарядов иглы ежа. Этой клятвы никто не слышал, но два оглушительных выстрела слышали посетители соседней кофейной, с интересом следившие за тем, как, потеряв бечеву, пересеченную дробинкой,

змей повертывался и нырял, подобно игральной карте, над острой крышей сумеречной Эльтской ратуши. То было под вечер, так что никто не видел естественной краски стыда в полном лице грозного Бурико, после того как ему было растолковано его заблуждение. В другом случае задрожал и долго читал молитвы крестьянин, шедший с котомкой на плечах по луговой тропе в окрестностях Нового Рима. Было утро, и над травой летел человек. Трава скрывала велосипед, поэтому крестьянин отшатнулся и ахнул. Вокруг него было так тихо, так много цветов, и так резко промчался неслышный в движении своем человек.

Теперь время упомянуть о том, что за девушкой, севшей в одном из скверов Лисса с книгой в руках, а скромную поклажу свою поместившей на траве рядом, задумавшись, наблюдал человек особой — отдельной от всех — жизни. Он смотрел на это молодое существо так, что она не могла видеть его, не могла даже подозревать о его присутствии. Она только что приехала. С неторопливой, спокойной внимательностью, подобной тому, как рыбаки рассматривают и перебирают узлы петель своей сети, вникал он во все мелочи впечатления, производимого на него девушкой, пока не понял, что перед ним человек, ступивший, не зная о том, в опасный глухой круг. Над хрусталем взвился молоток. И он подошел к ней.

II

Девушка, о которой зашла речь, прибыла в Лисс с ночным поездом. Ей было девятнадцать лет — почти полных, так как девятнадцать ровно должно было прийти на другой день, в десять часов вечера. Не без сожаления вспоминала она об этом: в беспечных условиях день ее рождения мог быть отмечен сладким пирогом и веселым домоседством среди подобных ей девочкообразных подруг с нетерпеливыми и пылкими головами. Между тем на ее объявление в «Лисской газете» последовало письмо Торпа, предлагающее место компаньонки и чтицы.

Париж стоит обедни. Газета ошиблась, тиснув скромное объявление по разряду смеси, что, в свою очередь, заставило ошибиться Торпа. «Как вас зовут?» — спросил юную путешественницу на вокзале

приветливый лысый человек преждевременной дряблости, со вздрагивающей ногой, заинтересованный ее манерой посматривать на маленькие свои ножки в лаковых туфельках, недавно купленных из последнего — выше хлеба и зрелищ девушка ценила хорошенькую, стройную обувь. «Тави»,— сказала она простосердечно, краснея тем тонким и обаятельно чистым румянцем, какой не продается под золотой пломбой, не вызывается искусственным душевным движением. «А ваша фамилия?» Полумесяцем вознеся левую бровь, девушка взглянула на него, с сердцем выпалив «Тум» так, что оно прозвучало, как «Бум»,— стальным тоном ясного желания прекратить разговор. «Тра-та-та!» — напевал франт, удаляясь с высоко закинутой головой, а Тави Тум — порешим звать ее просто Тави — села ожидать рассвета на мраморную скамью. Закусывая ветчиной с хлебом, читала она «Двух Диан»; к ней подходили комиссионеры, предлагая гостиницы, но, не видя в том надобности, так как уже этим утром должна была поселиться у Торпа, Тави оставалась сидеть средь гула и толпы вокзального здания.

Меж тем один за другим прибывали утренние поезда; волнуясь и перекликаясь, путешественники неслись шумным водоворотом; гром экипажей, свистки, звук посуды, разносимой буфетной прислугой, и лязг вагонных сцеплений проникали в высоту сводов отлетающим эхом. Когда Монгомери ухватил нижний конец веревочной лестницы, ведущей на форт Калэ[1], шум вокзала назойливо покрыл решительное его дыхание; Тави закрыла книгу, вздохнула и осмотрелась.

Застоявшись благодаря туману в недрах ночи, утро осилило наконец мрак. Электрический свет еще распространял свою вездесущую машинную желтизну, но к его застывшему блеску примешивался уже день, отсвечивая на полу и лицах свежим пятном. За окнами из паровоза хлестал пар, рассеиваясь по крышам станционных строений: на сером стекле синие облака и зеленая полоса раннего неба окутывали восход, готовый двинуться над просыпавшимся Лиссом.

Город просыпался, но Тави отчаянно зевала; усталость и улегшееся уже возбуждение приезда обернулись сонливостью. Стараясь очнуться, решила она пройтись по улицам. Как было ей все равно, куда идти,

---

[1] А. Дюма. Две Дианы. *(Примеч. автора.)*

она пошла прямо и скоро заметила небольшой сквер. Здесь, среди дубов, овеивавших лицо сыростью едва пошевеленной листвы, ее душа прояснилась; но не утомительный труд, не жестокую зависимость видела она впереди, а веселую семью, открытый щедрый дом, где как подруга или желанная гостья она будет жить, делая все посильное охотно и беззаботно. Так мечтая, торопилась она опередить время. Ей предстояло три часа в день читать Самуилу Торпу. Его письмо, подробно перечислявшее весьма выгодные условия найма, ничего не говорило о том, почему Торп не любит или не может читать сам; для Тави, любившей книги так, что она их целовала или отшвыривала, сердясь, как на человека, невозможно было понять странное удовольствие слышать чтение из вторых рук, с чужой интонацией и в определенные часы, как служба или работа. Устав думать о том, Тави хмыкнула, возвращаясь к Монгомери.

Каково лезть на высоту восьмидесяти футов ночью, по веревочной лестнице, не зная, ждет вверху дружеская рука или удар? Вся трепеща, взбиралась Тави с отважным графом, раскачиваясь и ударяясь о стену форта Калэ. Это происходило бурной ночью, но сквер дымился и сквозил солнечным светом; на верху форта гремели мечи, а по аллее скакали воробьи, самозабвенно треща о всем, что светилось и грело вокруг; потянул теплый ветер; на песке затрепетала тень листьев, и стало невозможно читать; забота о наступающем взяла верх.

В то время как она, сложив книгу, встала, осматриваясь, не увидит ли где открывающиеся двери кафе, к ней подошел человек, смотря так прямо и пристально, что она отступила, но тотчас признала в нем пассажира, севшего ночью на неизвестной станции. Запомнив его лицо, она ничем не отличила его тогда от других сонных фигур, дремавших, облокотясь на саквояж, или, стоя в проходе, разговаривавших вполголоса у окна, в дыму сигар. С уверенностью она могла лишь сказать, что он ехал в одном с нею вагоне. С живостью, отличавшей все ее решения и постановления, тотчас нашла она, что неизвестный — вылитый портрет графа Монгомери, и хотя костюм той эпохи и запыленное дорожное пальто неизвестного противоречили ее впечатлению, было ей все же приятно улыбнуться открыто хотя кому-нибудь в чужом

городе. Хотя Тави недавно перестала быть девочкой, она знала, как бывает хорошо улыбнуться или сказать что-нибудь с легким чувством, мимолетно, без задней мысли и связи с чем бы то ни было.

— Я вас узнала, узнала,— сказала она, подав руку,— кажется, вы сидели наискосок. Так мрачно. Сам с собой. Что хорошенького?

— Утром хорошо все,— сказал незнакомец. Тави удивилась богатству выражений его лица; они мгновенно, плавно меняясь, располагали внимать и вслушиваться; слова как бы приобретали цвет, форму и тождество с выраженными помощью их явлениями. Ей стало ясно, что «утром хорошо все», и она рассмеялась.— Мое имя Вениамин Крукс. Не бесцельно я подошел к вам. Вы, по-видимому, здесь одиноки, поэтому я хочу знать, где и у кого вы остановитесь, чтобы быть полезным вам, чем могу. Устроив дела, я тотчас сообщу вам свой адрес. Что бы ни случилось — я говорю о черных часах,— смело обратитесь ко мне.

Все это Крукс выразил без малейшего замешательства, неторопливо и покойно, как дома. Тави ждала, не прибавит ли он естественного в таком случае извинения; не назовет ли сам свое предложение навязчивостью, однако Вениамин Крукс молчал, ожидая ответа, так непринужденно, что девушка поспешно сказала:

— Ну да. То есть я не знаю, что... Разумеется, я вас благодарю, тронута и... еще что? Я все спутала. Меня наняли к Торпу. Самуил Торп живет на улице Виз, 7; я у него должна жить и читать. Извините, что вас задерживаю, но надо же поговорить по душам, раз уж так вышло. Он вызвал меня по объявлению. Не хотелось мне, скажу откровенно, ехать вчера, так как завтра... гм... день моего рождения, если позволите. В этот день я родилась. Между тем были присланы на дорогу деньги. А я — как бы это вам выразить — праздничку вот как рада, если есть деньги, не пожалею. Поэтому на что я могла бы ехать после рождения? Таков мой характер. Увы! Почему вы смеетесь?

— О нет,— медленно проговорил Крукс,— я только улыбнулся воспоминанию. Однажды мне подарили стайку колибри — в белой алюминиевой клетке, полной зелени. Я выпускал их. Эти птички должны быть вам известны по рисункам и книгам. Итак, я выпускал их, смотря, как над современной улицей, с ее треском кофейной мельницы и светом доменной печи, взлетали

ночью эти порхающие драгоценности — маленькие, как феи цветов.

— Неподражаемо! — вскричала Тави.— А слетались они потом к вам?

— Я сзывал их звуком особого свистка, короткой трелью; заслышав сигнал, они возвращались немедленно.

Девушка воодушевилась:

— Вот тоже восковые лебеди, пустые внутри, любят, если поводишь магнетизированной палочкой,— они плывут и расходятся, как живые. Это было давно. Мне кто-то подарил их. Я очень любила, бывало, водить палочкой.

Она внутренне поникла, взгрустнув тем уголком души, который следит за нами в прошлом и настоящем.

— Нда-с, старость не радость, так-то, господин Крукс, а впрочем, все образуется.

— Непременно,— подтвердил он,— желаю вам успеха и твердости. Ваша песенка хороша.

— Тави Тум не поет,— сказала, краснея и улыбаясь, девушка.— Тави Тум может только напевать про себя.

— Но слышно многим. Идите и не оглядывайтесь.

Тави с недоумением покорно повернулась и отошла, кипя желанием оглянуться; хотя стыдно было ей выказать любопытство, но странно произнес Крукс эти слова — что он хотел сказать? «Не могу»,— простонала Тави и обернулась.

За решеткой сквера слились тени, белые стены, блеск стекол. Она увидела смутное очертание экипажа, коней; к экипажу подошел Крукс, сел и сказал что-то рукой. Нельзя было рассмотреть ни его лица, ни темного кучера — сцена эта явилась как бы сквозь задымленное стекло. «Лучи солнца прямо в глаза»,— подумала Тави; тогда лошади побежали все быстрее, колеса завертелись, растаяли; растаял экипаж, Крукс; все исчезло, как бы уничтоженное собственным движением на одном месте, и за решеткой ветерок метнул пыль.

— Это я сплю среди белого дня,— сказала Тави, оторопев и протирая глаза.— Конечно! Глаза уже слиплись. Он ушел, и более ничего. Но как простенько хорошо может быть от пустякового разговора.

С чувством, что только что была в теплой руке, девушка услышала стук засовов — то против сквера открылось кафе. Толкнув его дверь, девушка

перескочила через полосу сора, подметавшегося сонной прислугой, заняла столик и стала пить чай, просматривая газеты. Она так устала, что просидела здесь в сладком оцепенении больше часа, затем вышла, медленно переходя от витрины к витрине и рассматривая с огромным удовольствием выставленные там вещи, чем самозабвенно увлеклась, и, лишь увидев часы со стрелками, готовыми ущемить цифру одиннадцать, встрепенулась, взяла извозчика и поехала к Торпу.

III

Не раз задумывались мы над вопросом, можно ли назвать *мыслями* сверкающую душевную вибрацию, какая переполняет юное существо в серьезный момент жизни. Перелет настроений, волнение и глухая песня судьбы, причем среди мелодии этой — совершенно отчетливые мысли подобны блеску лучей на зыби речной, — вот, может быть, более или менее истинный характер внутренней сферы, заглядывая в которую щурится ослепленный глаз. Отсюда не труден переход к улице, на которую, окончив путь, свернул извозчик, к сверкающей перспективе садов среди чугунных оград; эмаль, бронза и серебро сплели в них затейливый арабеск; против аллей, ведущих от ворот к белым и красноватым подъездам, полным зеркального стекла, сияли мраморные фасады, подобные невозмутимой скале. Этот мир еще спал, но утренний огонь неба средь пышных цветов уже сторожил позднее пробуждение.

Осматриваясь, Тави трепетала, как на экзамене. Видя, что окружает ее, скрылась она в самую глубину себя, подавленная робостью и досадой на робость. Она не могла быть *гостьей* среди этих роскошных гнезд, но лишь существом мира, чуждого великолепным решеткам, охраняющим сияющие сады; они были выведены, чтобы отделить ее жизнь от замкнутой в садах жизни красивой чертой. Это впечатление было сильно и тяжело.

Извозчик остановился, путь окончен. Звоня у ворот, Тави рассматривала сквозь их кованые железные листья в тени подъездной аллеи мавританский портик и вазы с остриями агав. Прошло очень немного време-

ни — казалось, только лишь опустилась ее рука, тронувшая звонок,— как из-за угла здания выскочил человек в лакейской куртке, направляясь бегом к воротам. Он стал возиться с замком, спрашивая:

— Из бюро? От какой конторы?

Пропустив Тави, тупо воззрился он на чемодан и коробку:

— А для чего вещи?

Девушка заметила, что его что-то смущает, что-то вертится на языке; взглянув на нее внимательнее, слуга решительно ухмыльнулся...

— Впрочем,— сказал он, беря багаж девушки, но загораживая ей дорогу,— если хотите получить заказ, нужно заплатить мне, а не то родственники обратятся в другое место.

— Вы думаете, что я шью платья? — гневно спросила Тави, раздраженная бестолковой встречей.— Я приехала служить в этот дом читательницей господину Торпу.

— Чтица? — сказал лакей, подперев бок рукой, которой держал саквояж.— Так бы вы и сказали.

— Ну да, читательницей,— поправила девушка, чувствуя к слову «чтица» серое отвращение. «Оно обстрижено»,— успела она подумать, затем вслух: — Несите и скажите, что я приехала, приехала Тави Тум.

— Господин Торп,— сказал лакей тоном официальной скорби,— божьей волей скончался сегодня утром; в семь с четвертью, скоропостижно. Он умер.

Девушка, отбежав, закрыла лицо, потом, опасливо вытянувшись и спрятав назад руки, как в игре, где могут поймать, уставилась на лакея взглядом ошеломления.

— Вы говорите, он умер? То есть скончался?

— И умер и скончался,— равнодушно ответил лакей.— Аорта. У нас знают, что вы приедете. Я провожу вас.

Он кивнул к дому, приглашая идти. Не печаль, не страх стеснили легкое дыхание девушки и не сожаление о блестящем заработке, так неудержимо рухнувшем в пустоту, откуда он щедро сверкнул, но красноречие совпадения — этот всегда яркий взволнованному уму звон спутанных голосов. Смятение и шум наполнили сердце Тави. Смотря на убегающий свой чемодан, шла она за лакеем так неровно, как, путаясь в густом хмеле, идет по заросли человек, разыскивая тропинку.

Лакей приостановился, напряженно ожидая девушку глазами, сузившимися от умильной надежды. Как Тави догнала его, он шепнул:

— Барышня, есть у вас какая-нибудь мелкая монета, самая мелкая?

Тупо взглянув, Тави погрузила руку в карман; схватив там вместе с ореховой скорлупой серебряную мелочь, она мрачно сунула монеты лакею.

— Очень вам благодарен,— сказал тот.— Вы думаете, это на чай? Ф-фи.— Как по ее лицу было видно, что она действительно так думает, лакей, помедлив, добавил: — Это — на счастье. Я вижу, вы счастливая, потому и спросил. Теперь я пойду в клуб и без промаха замечу банк.

— Я? Счастливая? — Но было нечто во взгляде лакея, подсказавшее ей не допытываться смысла подарка. После этого шествие окончилось при взаимном молчании; мелькнуло несколько мужских и женских фигур, стены и лестницы, переходы и коридоры; наконец Тави смогла сесть и сосредоточиться.

IV

Прежде всего вспомнила она, что среди взглядов, рассеянных на пути к этому синему с золотыми цветами креслу, мелькнули взгляды странного выражения, полные мниморавнодушной улыбки. Два-три человека холодно осмотрели ее, как бы прицениваясь ко всему ее существу,— быть может, из любопытства, быть может, лишь показалось ей, что их взгляды терпки по-уличному,— но ее чуткий духовный мир обнесло тончайшей паутиной двусмысленности. Как было ей сказано, что через некоторое время выйдет к ней хозяйка-вдова, Тави не много думала о взглядах и впечатлениях, строя и кружа мысли вокруг трагического события. Прикладывая вдруг остывшие руки ледяным тылом кистей к пылающему лицу, она вздрагивала и вздыхала. Ее оставили сидеть в одной из проходных зал, с высокими сквозными дверями; лучистые окна, открывающие среди ярких теней трогающую небеса пышную красоту сада, озаряли и томили нервно-напряженную девушку; в строгом просторе залы плыли лучи, касаясь стен дрожащим пятном. «Смерть!» Тави задумалась над ее опустошающей силой; боясь погру-

зиться в кресло, как будто его покойный провал был близок к страшной потере дома, сидела она на краю, удерживаясь руками за валики и хмурясь своему пугливому отражению в дали зеркального просвета, обнесенного массивной резьбой.

Тогда из дверей, на которые стала она посматривать с нетерпением, вышла черноволосая женщина сорока — сорока пяти лет. Она была пряма, высока и угловато-худа; ее фигура укладывалась в несколько резких линий, стремительных, как напряжение черного блеска глаз, стирающих все остальное лицо. Сухой разрез тонких губ, сжатых непримиримо и страстно, тяжело трогал сердце. Черное платье, стянутое под подбородком и у кистей узором тесьмы, при солнце, сеющем по коврам безметяжный дымок цветных отражений, напоминало обугленный ствол среди цветов и лучей.

— Так вы приехали? — громко сказала вдова, бесцеремонно оглянув девушку.— Вы приехали, конечно, в приятных расчетах на... удобное место.— Перерыв фразы, самый тон перерыва, уже испугал Тави, в нем блеснул злой, страстный удар.— Никто не ожидал, что он умрет,— продолжала вдова,— вероятно, вы менее всех ждали этого. Вы разве не слышали звонка? Нет? — она холодно улыбнулась.— Не поспешили? Прислуга вошла, закричала: он лежал на полу, раскинувшись, с рукой у воротника. Готов! У вас есть семья? сестры? братья? Может быть, у вас есть жених? Но, милая, как вас зовут?

Тави силилась говорить, спазма удерживала ее; наконец собственное имя заикающимся лепетом вырвалось из ее побледневших губ. По мере того как вдова, тягостно улыбаясь, пристально наблюдала приезжую, девушке становилось все хуже; уже слезы, неизменные спутники горьких минут — слезы и смех часто выражали всю Тави,— уже слезы обиженно попросились к ней на глаза, а лицо стало по-детски огорчаться и кукситься, но женщина движением инстинкта поймала некое указание. Она хмуро вздохнула; не сочувствие — горькая рассеянность, занятая вдали темной мыслью, отразилась в ее лице, когда, взяв девушку за дрогнувшую руку, она заговорила опять.

— Довольны ли вы тем, что случилось? Понимаете ли, что перед вами одной встала эта стена? Вы родились под счастливой звездой. Может быть, умерший слышит меня, тем лучше. Я устала от ненависти. Скоро наступит час, когда отдохну и я. Десять лет мучений

и ненависти, десять лет страха и отвращения — разве не заслужила я отдыха? Говорят, смерть примиряет,— как понять это, если сердце в злом торжестве радо смерти? Я ненавижу его, даже теперь.

Говоря так, она смотрела в окно, то притягивая руку Тави, то отталкивая, но не выпуская из жестких, горячих пальцев, как бы в борьбе меж гневом и лаской; казалось, потрясение рокового утра колыхнуло все чувства прошлого, оживив их кратким огнем.

— Не бойтесь,— сказала она, видя, что Тави мучается и дрожит,— о ненависти в день смерти вам не приходилось слышать еще, но я должна говорить с вами так: может быть, я должна сказать больше. Не знаю, чем тронули вы меня, но я вас прощаю. Да, прощаю! — крикнула она, заметив, как потемнели глаза Тави.— Вы гневаетесь, думая, что я не имею права, повода прощать вас, что первый раз мы видим друг друга. А знаете ли вы, что можно прощать дереву, камню, погоде, землетрясению, что можно прощать толпе, жизни? Простите меня и вы. Счастливому простить легче.

Задыхаясь, девушка вырвала руку, топнув ногой. Слезы и обида душили ее.

— Зачем я приехала? Зачем звали меня сюда? Что я сделала? Разве я виновата, что Торп умер? Объясните, я ничего, ничего не понимаю. Уже второй раз слышу я сегодня, что я «счастливая», и это мне так обидно, так горько...— Она заплакала, смачивая слезами платок, отдышалась и, вытерев глаза, засмеялась с виноватым лицом.— Теперь я вас слушаю. Только мне надо говорить по порядку, иначе я спутаюсь.

Рука вдовы легла на ее голову, поправив трогающий глаза локон.

— В том возрасте, в каком теперь вы, меня сломали,— она сжала лист пальмы, вытянув его изуродованное перо с легкой улыбкой,— так, как я сломала это растение; лист завянет, пожелтеет, но не умрет; не умерла и я. Потом... я видела, как ломают другие листья. Идите за мной.

V

Взяв Тави за руку, как будто эта случайная близость поддерживала ее решение, она прошла весь нижний этаж к лестнице и подняла голову.

— Там кабинет мужа,— сказала вдова,— там вы должны были исполнять ваши обязанности.

Они взошли по лестнице к темной, резной двери. Не сразу открыла ее вдова; прежде чем совершить это, еще раз пристально в глубину глубин глаз Тави заглянула она, как бы с сомнением и упрямством; на момент мстительная черта легла в ее потемневшем лице и, опасно сверкнув, исчезла. Не раз уже по пути заговаривала она сама с собой; теперь Тави услышала: «Господи Боже, помоги мне и научи не сказать лишнего». Как ни странно, молитвенный шепот этот решительно испугал Тави; она уже повернулась с желанием проворно сбежать вниз, но устыдилась. «Катриона была куда смелее меня,— сказала она, вспоминая чудесный роман автора «Новых Арабских ночей»,— и нисколько не старше. Чего же боюсь я? Эта женщина пострадала; наверное, жизнь ее была сплошным горем. Она расстроена, ничего более».

И в такт последнего слова Тави храбро перешагнула порог, несколько разочарованная тем, что вместо кладовой Синей Бороды или чего-нибудь отвечающего ее сердцебиению увидела всего лишь очень роскошную и очень большую комнату, дальние предметы которой, благодаря светлой и глубокой перспективе, казались видимыми через уменьшительные стекла бинокля.

— Здесь я оставлю вас,— сказала вдова,— а вы осмотритесь. Вот шкапы, в них книги — любимое и постоянное чтение моего покойного мужа. Что-нибудь вы поймете во всем этом и, когда надумаете уйти, дайте звонок. Я тотчас приду. Есть вещи, о которых тяжело говорить,— прибавила она, заметив, что Тави уже набирает, соответственно новому удивлению, приличное количество воздуха,— но которые нужно знать. Итак, вы остаетесь; будьте как дома.

Сквозь грусть ее слов вырезалась глухая усмешка. Пока Тави соображала, как отнестись ко всему этому, вдова Торпа, взяв со стола часть бумаг, вышла и притворила дверь; стало тихо, Тави была одна.

— Нас то ругают, то ласкают, то оставляют и...— она тронула дверь,— нет, не запирают; но короб загадок высыпан уже на мою голову. Все загадки крепкие, как лесные орехи.

Ее взгляд остановился на драгоценных рамах картин, затем на картинах. Их было более двадцати,

кроме панно, и все они казались иллюстрациями одного сочинения — так однородно-значительно было их содержание. Альковы, феи, русалки, символические женские фигуры времен года, любовные сцены разных эпох, купающиеся и спящие женщины; наконец, картины более сложного содержания, центром которого все же являлись поцелуй и любовь,— Тави пересмотрела так бегло, что едва запомнила их томные и томительные сюжеты. Она торопилась. Ее особенностью был нервный позыв схватить вниманием все сразу или сколько возможно больше. Поэтому, быстро переходя от столов к этажеркам, от этажерок к шкапам и статуям, везде так или иначе — в форме помпейской безделушки, этюда или изваяния — она наталкивалась на изображение обнаженной женщины, из чего вывела заключение, что покойный имел пристрастие к живописи; может быть, рисовал сам. «Но что я должна смотреть, что надо увидеть?» В недоумении повела она бровью, пожала плечом, задумчиво рассматривая сквозь стекло шкапов красивые переплеты книг, уже манившие ее страсть к чтению, и сказала себе: «Начнем с главного. Наверное, эти книги должна была бы я читать умершему. Посмотрим».

Открыв шкап, девушка схватила миниатюрный золотообрезный том; по привычке заглядывать в сердце книги, ее середину, что всегда делала с целью почувствовать, залюбопытствует ли страстно душа, она выделила ряд страниц наудачу и внимательно прочла их. По мере того как шрифт вел ее к темным местам, значение которых не поддавалось ее опыту, но говорило все же сотой частью своей нечто особенное, подобное лукавой исповеди или намеку, ее брови сжимались все мрачнее, рассекая белизну выпуклого и чистого лба морщиной сурового напряжения. И медленно, как от сильной боли, сдержанной чрезвычайным усилием, от самых ее плеч, по шее, ушам, по всему оставшемуся спокойным лицу поднялся, алея, густой румянец стыда.

Но она не уронила и не бросила удивительное издание. Закрыв том, Тави аккуратно вдвинула его на прежнее место, прикрыла дверь шкапа, медленно подошла к звонку и с наслаждением придержала палец на кнопке до тех пор, пока он не заныл. Все стало ясно ей; все загадки этого утра нашли точное объяснение, и хотя на ней не было никакой вины, она чувствовала себя

так, как если бы ее зеленая пальма была уже схвачена жесткой рукой. Но она не оскорбилась,— тень смерти стояла меж ней и судьбой этого дома, смерть унесла все.

VI

Не замедлив, пришла вдова; почти с ужасом смотрела на нее бледная и тихая Тави. «Так вот как ты жила!» На эту мысль девушки, как бы угадав ее, прозвучал ответ:

— Да, все мы не знаем, что нам придется делать на этом свете. Но — добавить ли что-нибудь?

— Нет, нет. Довольно,— поспешила сказать Тави.— Теперь я уйду. Стойте. Прежде чем распрощаться и уйти, я хочу видеть умершего.

— Вы?!

— Да.

Вдова, прищурясь, молча искала взглядом смысл этого желания; но обыкновенно подвижное и нервное лицо Тави стойко охраняло теперь свою мысль; и вообще была она уже не совсем та, прежняя; ее слова звучали добродушно и твердо, с неторопливостью затаенной воли. Чтобы рассечь молчание, Тави прибавила:

— Обыкновенная вежливость требует этого от меня. Уже нет того человека. Я приехала к нему, на его деньги, одним словом, *внутренне* мне нужно проститься и с ним.

— Быть может, вы правы, Тави. Идите сюда.

Сказав так, вдова прошла диагональ кабинета к портьере, подняв которую, открыла скрытую за нею дверь соседнего помещения. Занавеси были там спущены, и огонь высокой свечи отдаленно блеснул из сумерек в ливень дневного света, потопившего кабинет.

— Он там,— сказала вдова.— Скоро привезут гроб.

— А вы? — Тави, придерживая над головой складку портьеры, мягкой улыбкой позвала войти эту женщину, лицо которой мучительно волновало ее.— Разве вы не войдете?

— Нет. Это сильнее меня. Просто я не могу.— Она закусила губу, потом рассмеялась.— Если я войду, я буду смеяться — вот так — все время; смеяться

и ликовать. Но вы, когда взглянете на его лицо, вспомните, вспомните шестерых и помилосердствуйте им. Две отравились. Судьба остальных та самая, какой широко пользуются косметические магазины. Не сразу он достигал цели, о нет! Вначале он создавал атмосферу, настроение... привычку, потом — книги, но издалека, очень издалека; быть может, с «Ромео и Джульетты» — и далее, путем засасывания...

— Он умер, — сказала Тави.

Как будто вдова Торпа лишь ждала этого напоминания. Ее лицо исказило и потрясло гневом, но, удержась, она махнула рукой:

— Идите! — И девушка подошла одна к мертвому.

Торп лежал на возвышении, закрытый простынями до подбородка; огни свечей бродили по выпусклостям колен, рук и груди складками теней; мясистое лицо было спокойно, и Тави, едва дыша, в упор рассматривала его. По всему лицу мертвого уже прошло неуловимое искажение, меняющее иногда черты до полной несхожести с тем, каковы были они живыми; в данном случае перемена эта не была разительной, лишь строже и худее стало лицо. Умершему, казалось, было лет пятьдесят, пятьдесят пять; его довольно густые волосы, усы и борода чернели так ненатурально, как это бывает у крашеных; толстый, с горбиной нос; мертвенно-фиолетового оттенка губы неприятно ярко выделялись на тусклой коже дряблых, с ямками, щек. Глаза ввалились; под веками стояла их мертвая, белая полоса, смотрящая в невидимое. Как, почему остановилось внезапно гнилое, жирное сердце? Под этим черепом свернулись мертвые черви мыслей; последних, кто может узнать их? Тави могла бы видеть и развернуть комки мозговой слизи в их предсмертный, цветущий хаос — блеск умопомрачительной оргии, озарившей видением пахнущую духами спальню; видением — больше и острей сна, с вставшими у горла соблазнами всей жизни, перехватившими удар сердца сладкой электрической рукою своей. Та сила, которая равно играет чудесами машин и очарованием струн, нанесла твердый удар. С минуту здесь побыл Крукс. Но не было воздушных следов.

Тави смотрела, пока ее мысли, стремясь важным и особым путем, не задели слов «жизнь», «смерть», «рождение». «А завтра день моего рождения! Это так

приятно, что и сказать невозможно». Тогда в ней просияла улыбка.

— Я вас прощаю,— сказала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы соединить эти слова с взглядом на все лицо Торпа.— Торп, я прощаю вас. И я должна что-нибудь прочесть вам, что хочется мне.

Она вернулась в кабинет к шкапам, нахмуренная так серьезно, как хмурятся дети, вытаскивая занозу, и среди простых переплетов выдернула что попало. Книгу она раскрыла, лишь подойдя опять к мертвому. То был Гейне, «Путешествие на Гарц».

— Слушайте, Торп,— оттуда, где вы теперь.

Строки попутались в ее глазах, но наконец остановились, и, успокаиваясь сама, тихо, почти про себя, прочла Тави первое, что пересекло взгляд:

Я зовусь принцессой Ильзой,
В Ильзенштейне замок мой.
Приходи туда и будем
Мы блаженствовать с тобой...

— Больше я не буду читать,— сказала девушка, закрыв книгу,— а то мне захочется попросить ее на дорогу. И я ухожу. Прощайте.

Она снова приподнялась, легко поцеловала умершего в лоб поцелуем, подобным сострадательному рукопожатию. Потом торопливо ушла, метнув портьеру так быстро, что по ее разгоряченному лицу прошел ветер. И этот поцелуй был единственным поцелуем Торпа за всю его жизнь, ради которого ему стоило бы снова открыть глаза.

VII

Рассеянная и грустная вышла Тави на улицу. Она не взяла денег, несмотря даже на то, что остающейся у нее суммы не хватало купить билет; деньги были предложены ей без обиды, но сердце Тави твердо восстало.

— Благодарю вас,— сказала она вдове,— мне хочется одного — скорее уйти отсюда.

Так она ушла и очутилась среди сотрясающего грохота улиц жаркого Лисса со стесненно-замирающим сердцем.

Некоторое время то гневно, то удрученно, не замечая, как и куда идет, девушка была занята

распутыванием темной истории; хор противоречивых догадок, лишенных основы и связи, мучил ее сердце, и, устав, бросила она это, присматриваясь к уличному движению, чтобы легко вздохнуть. Понемногу ей удалось если не рассеяться, то восстановить равновесие; дрогнув последний раз в знобком отвращении плечиками, она стала осматриваться, заметив, что удалилась от центра. Улицы были серее и малолюднее, толпа неряшливее; громоподобные вывески сменились ржавыми листами железа с темными буквами, из-за оград свешивалась чахлая зелень. Открытые двери третьеразборного трактира приманили аппетит Тави; усталая и проголодавшаяся, войдя с сумрачным видом, села она к столу с грязной скатертью и спросила рагу, что немедленно и было ей подано,— неприглядно, но отменно горячо, так что заболели губы. Не обращая внимания на взгляды обычных посетителей заведения, Тави храбро занялась кушаньем, в котором соли и перцу было, может быть, больше всего прочего, и, залив жжение горла стаканом воды, вышла, настроенная практически.

Как быть? Как достать денег, чтобы вернуться обратно, и чем заняться до семи вечера? В семь отходил поезд. Но простодушный, великодушный Крукс мог теперь, ничем не утруждая себя, сообщить ей свой адрес туда, где ее нет. «Если сделать так...— рассуждала она, обрекая медальон, подарок покойной матушки, кассе ссуд и решаясь продать новую шляпу, картонка с которой покачивалась на ее локте,— ну, шляпу *можно* продать; а за медальон...» И, погрузясь в точный расчет пошла она, приговаривая:

— Если так и так, будет вот так и этак... Или не так? А как?

В чем-то не сошлись воображаемые ею цифры, и приостановилась она, подняв голову, с удивлением слушая странный золотой звон, тихий, как бред ручья в неведомой стороне. Пустынно было на улице, лишь далеко впереди смутные фигуры мелькали на перекрестке; справа же двигалась шагом извозчичья подвода; спал или дремал возница, опустив голову, накрытую рваной шляпой,— понять было мудрено. Казалось, выехала подвода из соседних ворот, из тех, что со стуком закрывались уже, показывая внизу чьи-то отходящие ноги. С каждым шагом понурой лошади подвода, трясясь, сеяла тот чистый кисей-

ный звон, к которому прислушивалась удивленная девушка.

Она пошла медленно, рассматривая и соображая, что бы это могло быть. Под холстом, свисавшим, касаясь колес, высилось подобие тиары, выставляя неопределенные очертания углами складок, мешающих собрать намеки форм странного груза в какое-либо достоверное целое. Эта, по-видимому, легкая поклажа тихо покачивалась из стороны в сторону, звуча, словно человек вез груду тамбуринов. Не вытерпев, Тави подошла ближе, спрашивая:

— Скажите вы мне, пожалуйста, что это у вас так звенит?

Возница апатично взглянул на нее из дали уединенных соображений, прерванных вопросом, достоинство которого было для него тупой и темной загадкой.

— Эх! — сказал он, отмахиваясь с досадой, что должен перевести кропотливо ползущие мысли на более быстрый ход. — Ну, звенит, а вам что до этого? Идите-ка себе с богом. — Здесь, по опыту доверия лошади, которой кнут был только приятен, так как отгонял оводов, апатично стегнул он животное, но оно только помахало хвостом, выразив гримасой задней ноги фальшивое оживление, и не быстрее, чем раньше, свернуло за угол, на шоссе.

Когда Тави, естественно, взглянула в ту сторону, то увидела за домами зеленый просвет. Все шоссе покрыто было народом, спешившим, как на пожар; размахивая листками, бежали газетчики; тележки торговцев фруктами и прохладительными напитками неслись среди экипажей полных дам и щегольски одетых мужчин; под ногами шныряли уличные собаки, лая на тех собратьев, чьи расчесанные тельца степенно следовали впереди шелковых юбок в меру длины цепочек, прикрепленных к ошейникам. Кричащий букет мелькнул в стеклах автомобиля, изрыгающего густые, жуткие заклинания; гарцуя, стремились всадники; костыли нищих, влекомые ради быстроты хода под мышками, резво колыхались среди зонтиков и тростей; матери тащили задыхающихся детей с неописуемым отчаянием в их раскрасневшихся личиках; поджимая губы, семенили старушки; мальчишки неистово голосили, мчась по мостовой, как в атаку. Здесь таинственная подвода скрылась и затерялась, а Тави спросила первого встречного: «Куда спешит весь этот народ?»

— Вы разве не здешняя? — проговорил тот, оборачиваясь на ходу. — Так вы, значит, не знаете: сегодня «мертвые петли»!! Полеты! Полеты! — в виде пояснения прокричал он, бесцеремонно опередив девушку.

Мигом воспряла она; воодушевясь, потому что любила всякие зрелища, забежала она в первую лавку, наскоро упросив взять до вечера на хранение свою мешающую поклажу, и двинулась с той же быстротой, как толпа, к неизвестному месту. Вспоминая время от времени о заботе по возвращению домой, успокаивалась она тем, что ощупывала под платьем медальон и мысленно открывала картонку.

— Вот они, деньги!.. — приговаривала неудачливая путешественница.

Толпа, солнце и сознание независимости развеселили ее. Тем временем шоссе свернуло под углом к полю; прямо же, если продолжить его линию, стояла высокая каменная стена, за которой среди сомлевших в жаре деревьев виднелся изгиб китайской крыши с флагом над ней; раскрытое пространство ворот пестрело движением спешивших людей. Кто уходил, кто входил, но больше входили, чем уходили, и, не зная порядков, Тави завернула туда. Внутренность двора пересекалась дощатым забором; у узкого прохода служитель проверял билеты.

— Ваш билет? — бросился он к девушке, уже прошедшей мимо него.

Она обернулась, не успев ничего сказать, как билетер занялся другими входящими, забыв о ней или сочтя ее «своим человеком», каких всегда много везде, где проверяют билеты. Довольная, что ей повезло, так как никаких билетов покупать она была не в состоянии, Тави прошла подальше и осмотрелась.

То был двор, или, вернее, маленький мощенный плитами плац, с двух сторон которого всходили амфитеатром скамьи павильонов с боковыми и горизонтальными тентами. Народа было довольно; присмотрясь к нему, Тави заметила, что то не смешанная толпа публичных зрелищ, но так называемая «отборная» публика, преимущественно интеллигентного типа. Меж трибунами помещались крытые синим сукном столы с чернильницами и листами писчей бумаги; здесь заседало человек тридцать в ленивых позах жаркого дня, с расстегнутыми жилетами и мокрыми волосами на лбу, в сдвинутых на затылки шляпах. «Куда же попала

ты, моя милая?» — недоумевающе отнеслась Тави, видя, что не здесь, должно быть, произойдут полеты. Но уже встал из-за стола, гремя колокольчиком, человек апоплексического сложения; его мощное, крутое лицо, почти безбровое, с бачками, которые, казалось, едва держатся на толстых щеках, раскрылось круглым «О» сочного рта; требовательно он закричал:

— К порядку! Внимание! Тише! Я открываю чрезвычайное заседание Клуба Воздухоплавателей.

Тем временем Тави увидела подошедшего к столу Крукса, того самого, который неожиданно исчез утром. Как будто отца родного встретила Тави — так обрадовалась она в чужой толпе незнакомого города этому успокоительно-прямому лицу — и, поспешно сев на ближайшую скамейку, закричала оттуда:

— Эй, Монгомери, что вы здесь делаете? Крукс! Крукс!

Тотчас его глаза направились к ней и сразу разыскали ее; узнав свою утреннюю встречу, он кивнул, прижал к губам палец и улыбнулся значительно. Тогда вдруг стало ей покойно, как дома; хотя кислые лица дам и поднятые с легкой улыбкой брови мужчин обратились к ней фронтом, выражая тем удивление или негодование, она лишь порозовела, но не смутилась.

Взяв свободный стул, Крукс сел, опустив глаза. На нем теперь была кожаная глухая куртка, высокие сапоги и черная фуражка; ее ремешок проходил от виска к виску под подбородком. Здесь любопытство Тави достигло зенита, который называется замиранием, и личность Крукса, и обстановка, и неожиданное для нее заседание воздухоплавателей — все было как разобранные части неизвестной машины, что, собирая на ее глазах, готовились пустить в ход. Она трепетала. Видели вы, как возится, не в состоянии покойно сидеть на месте, молоденькая, глупая девушка? Мир — еще зрелище для нее, а в зрелище этом, перебивая главное действие, роятся сцены всевозможных иных спектаклей. В эти минуты устойчивость ее внутреннего мира не более устойчивости видений, образуемых игрой дыма. Момента покоя нет ни в ее лице, ни в позе, ни в темпе дыхания, ей хочется затопать, привстать, смотреть впереди и по сторонам, торопить и шуметь.

Грузный человек был председатель. Добившись тишины, он сказал:

— Произошло следующее: в канцелярию Клуба поступило мотивированное заявление господина Крукса, являющегося изобретателем летательного аппарата нового типа, в котором просит он не только произвести испытание, но и предоставить ему, Круксу, место в сегодняшнем состязании. Согласно уставу Клуба, всякий моноплан, биплан, парашют, баллон или аэростат имеет быть, во избежание смешных и горьких недоразумений, предварительно оценен экспертами, дабы не иметь дела с попытками технически невозможными, или же, к чему немало примеров, абсурдными безусловно. Поэтому, так как имеется еще час времени до начала состязаний, президиум постановил: осмотрев аппарат Крукса, разрешить ему, при условии технической научности его изобретения, воспользоваться аэродромом для публичного опыта; и, если Крукс того пожелает, занести его в список авиаторов дня, с правом соискания призов на высоту, продолжительность и точность спуска.

По мере того, как текла и оканчивалась речь председателя, багровый стыд окутал лицо Тави; до слез, до полной растерянности смутилась она, поняв теперь, что бесцеремонно-приятельски окликнула не кого иного, как знаменитого — конечно! — изобретателя. Боясь, что он снова поглядит на нее, уселась девушка так, чтобы высматривать из-за чьей-то большой шляпы. «Господи, спаси, помилуй и укороти мой язык»,— шепнула она; однако раскаяться вполне не успела; поднялись шум, говор; тонкие или любопытствующие замечания перемешивались с криками нетерпения.

Тогда взгляды всех обратились на Крукса, вставшего и сделавшего рукой знак с желанием говорить. Вновь притих шум; люди, сидевшие вокруг стола, наморщили лбы с важностью, означавшей их совершенное и безошибочное всеведение.

— Вот что,— сказал Крукс негромко, но так отчетливо, что его слова прозвучали ясно для всех,— я соорудил аппарат, по конструкции и системе двигателя не имеющий ничего общего с современным аэропланом. У меня нет ни пара, ни газа, ни бензина, ни электричества; ни парящих плоскостей, ни винтов; нет также особой задумчивости при выборе материала, из которого аппарат выстроен. Как из полотна или шелка, так из простой бумаги или листового железа может быть сооружен он без всякой потери его двигательной

способности; он мчится силой звуковой вибрации, представленной четырьмя тысячами мельчайших серебряных колокольчиков, звук которых...

— Звук которых?! — перебил голос, выразивший тоном своим общее недоумение. — О чем вы говорите?

Прозвучал смех. Тишина сдвинулась. Равновесие внимания, получив удар по обеим чашам весов, исчезло, как исчезают все призраки условной общественности. Кто переглянулся; кто, оглядываясь, искал нетерпеливца, спросившего, к чему клонит странная речь загадочного изобретателя. Председатель, схватив звонок, готовился восстановить тишину; но ему что-то шепнули, и уже сам, с некоторым сомнением, в замешательстве, мельком посмотрел он на Крукса, стоявшего, ожидая возможности говорить дальше, с простотой сильного человека, затертого на углу улицы бегущей толпой. Тогда Тави стала бояться за Крукса; в чем бы ни потерпел человек этот поражение, ей было бы то несносно; у нее успело уже созреть решительное к нему пристрастие. Ей нравилось, что он будет, по-видимому, один против многих, но, зная силу осмеяния, боялась она, как бы сцена, без отношения к результатам ее, не приняла характер комический. Меж тем раздались еще восклицания; прошел и стих шум.

— Быть может, — сказал председатель Круксу, — вы утомлены несколько; может быть, вы нездоровы, взволнованы; в таком случае не будет для нас обидой отложить ваше крайне интересное объяснение до следующего хотя бы дня.

Крукс улыбнулся без смущения; с видом полного удовольствия слушал он эту осторожную и мягкую реплику.

— Я должен просить вас разрешить мне сказать все, что я хочу, могу и считаю нужным сказать. Но чтобы те, почти чудесные новости, которые открыты мной, возымели силу не голословную, должен буду представить аппарат свой перед собранием. Он не велик; и не имеет ничего общего с теми неуклюжими махаонами, в которых ездят с таким шумом и риском...

Высказав это с вразумительной твердостью, не позволяющей далее иметь двух мнений, как относительно состояния своих умственных способностей, так и намерений, Крукс снова взял тишину за волосы,

и внимание слушателей удвоилось. Тави слышала, что говорят вокруг нее.

— А вдруг? — сказал кто-то, подразумевая этим, что нет пределов открытиям. Несколько беглых споров утихли; возрастающий интерес заразительно перебегал по скамьям.

— Выслушать, выслушать! — закричали наконец с мест, видя, что жюри мнется.— Мы хотим слышать! — Председатель решился, но решение свое обозначил как некую дипломатическую уступку.

— Если вы настаиваете,— сказал он,— мы согласны. Однако есть увлечения, непредвиденная форма которых может заставить нас пожалеть об эксперименте; неудовлетворительные последствия оного отразятся как на вас, так и на всех нас, потому что мы крайне сожалели бы о всем ненаучном, о всем, так сказать, дилетантски смелом, не отвечающем задачам Клуба Воздухоплавания. Следовательно, если уверены вы, хотя бы отчасти, в положительных сторонах вашего изобретения, в основных принципах его — честь и место, господин Крукс. Не скрою, что начало изъяснения вашего показалось всем столь знаменательно странным... Итак, мы вас слушаем.

Настроив таким образом себя, Крукса и аудиторию в благожелательно предостерегающем смысле, председатель стал строг и весок лицом; он, а за ним все воззрились на Крукса, подобно экзаменаторам, затаенный помысл которых: «школьник, пади ниц!» — дышит каннибализмом.

— Наконец-то,— сказал Крукс,— слава богу! Вас смутили четыре тысячи колокольчиков; дополню это смущение: более четырех тысяч или менее, не играло бы никакой роли. Как детям, катающим снежное изваяние, мало заботы о том, чет или нечет снежинок поместится в человекоподобии зимы, метелей и холода, какое слепили они, так и я не настаиваю безусловно на четырех тысячах; охотно уступаю из них произвольное число или прибавляю к четырем столько, сколько вообще поместится на моем аппарате; мне нравится *много* колокольчиков; дело не в числе, а в действии.

Если бы он улыбнулся, если бы хоть на мгновение тронулось это отчетливое лицо лукавой игрой, разразились бы гром и хохот потехи неудержимые. Однако Крукс смотрел и говорил очень серьезно, что действовало, вразрез с его странными словами, самым

удручающим образом. Еще не было ни протестов, ни резкого вмешательства со стороны тех, кто принимает как издевательство или вызов всё лишенное готовой клетки в его мозгу, привыкшем к спокойной жвачке, прежде чем постичь суть явления, но уже означалось по выражениям лиц скопление атмосферы протеста. Всеуничижающая ирония кривила губы членов президиума, обреченных благодаря собственному легкомыслию трепетать за солидный темп дня, за должное уважение к месту и делу, которым занимались они, нацепив значки, изображающие колеса и крылья. Все это хорошо понимала, оценивая по-своему, Тави, девушка, ставшая на перепутье судьбы,— чувство судьбы коснулось ее настроения; невольно связывала она колокольчики, о которых говорил Крукс, с неистребимо-нежным воспоминанием о подводе и звоне, что слышала час назад. С подвешенным на золотой нитке юной тревоги сердцем ожидала она, как поступит наконец Крукс. Казалось, тот задумал уровнять ветер сбитого к себе отношения; его речь коснулась теперь многих вещей.

— Рассмотрим,— сказал он,— хотя бы неполно, анатомию и психологию движения в воздухе. До сих пор летают только птицы, насекомые и предметы; человек сопутствует летящим предметам, сам он лететь не может, кроме как в сновидении. Прицепясь к шару, имеющему значение как бы самостоятельного организма, двигающегося по произволу атмосферических изменений, не в более сложном он положении, чем тля, сидящая на семени одуванчика, когда его сорвало и несет ветром в пространство. Аэроплан как будто самостоятельнее приглашает посмотреть на эти затеи. Однако выясним суть, желания, идею полета, его мыслимое идеальное состояние. Неизбежно здесь сновидение; лишь его волнующий арабеск подскажет с отчетливостью прозрения, чем одушевлен чистый полет. Им правит легкий и глубокий экстаз; неведомые наяву чувства, столь странные, что им может быть уподоблено разве лишь пение на дне океана, звучат стройно в этих особенных условиях грезы, свергающей физическую тоску,— веками слоившееся отвращение к ногам, пойманным огромным магнитом. Вспомним, как мы летаем в то время, когда тело наше, завернутое одеялом, покорно своему ложу: само желание естественно отделяет нас, стремя и унося на безопасную

высоту. Нет иного двигателя, кроме пленительного волнения, и большего нет усилия, чем усилие речи. Приметьте, что в стране сна отсутствуют полеты практические: перевозка почты, пассажира или призовое соревнование исключены; то состояние манит лишь изумительным движением в высоте; оно — все в себе, ничего сбоку, ничего по ту сторону раскинутого в самой душе пространства; без усилий и вычислений.

Но как же в действительности летит он? Или, вернее, как движется над землей, когда вы, закинув голову, поспешно шлете вдогонку его судорожно скорчившейся фигуре имя «Царя природы»? Вот...

Здесь раздался характерный гул мотора; громкое однотонное пение потекло в вышине, и члены Клуба, посмотрев на небо, увидели аэроплан, пересекающий зрительное поле тяжким пятном.

— ...вот достижение, которое явилось нам кстати для демонстрации. Сколько сомнений! А опасений?! Не упадет ли оно? Быть может, не упадет. Сообразите, что это значит! Его движение свободно, как ход коня; его скорость обязательна; его двигатель ненадежен; его творец прикован к каторжному ядру равновесия ради жизни и денег; его падения ожидают; его спуск опасен, его поворот нелегок; его вид некрасив; его полет — полет мухи в бутылке: ни остановиться, ни парить; оглушительный шум, атмосфера завода, хлопотливый труд; сотни калек, трупов, и это — полет? Завидовать стрекозе, в математической точности движений которой светится ясность перебегающего луча; смотреть на вырезной узор ласточки, живописуемый ею над отражением своим в блестящей воде,— восхитительным ничтожеством совершенных усилий; вздыхать об орле, залегшем среди туманов со спокойствием самого облака,— не это ли удел наш? И не это ли тщета наша — вечный разрыв, залитый сиянием снов?

Не много надо было бы мне, чтобы доказать вам, как несовершенны и как грубы те аппараты, которыми вы с таким трудом и опасностью пашете воздух, к ним прицепясь, ибо движутся лишь аппараты, не вы сами; как ловко было бы ходить в железных штанах, плавать на бревне и спать на дереве, так — в отношении к истинному полету — происходит ваше летание. Оно — сами вы. Наилучший аппарат должен быть послушен, как легкая одежда при беге; в любой момент в любом

направлении и с любой скоростью — вот чего следует вам добиться. Рассчитывая поговорить долее, я встретил нетерпимость и издевательство; поэтому, не касаясь более технических суеверий ваших, перейдем к опыту. Ранее того во всеуслышание без жеста и сожаления заявляю, что не беру приза, хотя мной будут побиты решительно все рекорды. Смотрите и судите.

В глубине двора были приоткрыты ворота, их распахнули настежь, и двое рабочих внесли столь легкое сооружение, что никакого физического усилия не было заметно по их лицам. Нечто, окутанное холстом, покачивалось, тихо звеня. Тави, волнуясь, встала: «это оно, то, что везла подвода». Сев, она не могла сидеть и встала опять, как встали вкруг нее все, рассматривая диковину. Затем произошло общее движение; зрители бросились к Круксу, окружив изобретателя тесной толпой; и там же, так удачно, что меж ею и загадочно звенящим предметом было свободное пространство, очутилась наша беспокойная путешественница.

Резким движением Крукс смахнул холст. Часть зрителей, не зная, сердиться или смеяться, отступила в глубоком разочаровании серьезных людей, поддавшихся курьезной мистификации; громко возопила другая часть; третья окаменела; четвертая... но вернее будет сказать, что сколько было людей, столько частей; мы же говорим вскользь. Случалось ли вам бежать сломя голову, куда побежала уже, ржа и рыча, уличная толпа? Не бог весть что ожидаете вы увидеть, как, протолкнувшись в самую гущу смятения, видите всего-навсего малыша с обмусоленным пряником в руке и багровым от слез лицом; нянька потеряла его; «где ты живешь?» — спрашивают ребенка; и он с изумлением, что не отведен еще по своему точному адресу, слезливо говорит: «там!»

В то время, как со стороны крыш висели уже в дыму заводских труб на привязи три баллона; в то время, как напоминающий перетянутую бечевками колбасу грузный аэростат, махая какими-то перышками, двигался на высоте пятисот футов, и четыре бойких аэроплана, взрывая неровным гулом верхнюю тишину, носились над двором Воздухоплавательного Клуба с грацией крыш, сорванных ветром; в то время, как, следовательно, занавес аэропредставления взвился и совершались «успехи»,— пред глазами судей явилось сверкающее изобретение фантастической формы. Оно

было футов десять в длину и футов пять высоты. Его очертания спереди напоминали нос лодки, вытянутый и утонченный зигзагом лебединой шеи; причем точное подобие головы лебедя оканчивало эту шею-бугшприт. Корпус в профиль напоминал помпейский ладьеобразный светильник; корма странного судна, в том месте, где обыкновенно проходит руль, была, подобно передней части, вытянута и загнута вовнутрь, как бы над головой внутри сидящего, острым серпом. Тонкий, неизвестного материала, остов был, как каркас абажура, обтянут великолепным синим шелком, богато вышитым серебряным и цветным узором. Узор этот был так хорош, что многие, особенно женщины, дрогнули от восхищения; немедленно раздались их полные удовольствия, искренние, горячие восклицания. Борта аппарата были обшиты темно-зеленой с золотым лавром шелковой же материей; но самой замечательной и причудливой частью дива сверкнули целые гирлянды, фестоны, цепи и кисти мельчайших колокольчиков из чистого серебра, легких, как пузырьки; их кружевом было обнесено судно. Крукс тронул свое создание, и казалось, оно взвеселилось звоном, рассыпав мельчайший смех.

— Четыре тысячи колокольчиков,— сказал Крукс, когда умолкли крики, побежденные изумлением. И он посмотрел на Тави так внимательно-мягко, что простота и бодрость заряженного величайшим любопытством спокойствия тотчас вернулись к ней.— Изобретение это — тайна; скажу лишь, что согласованность звона и способ управления им производят воздушную вибрацию, двигающую аппарат в любом направлении и с любой скоростью. Теперь я сяду и полечу; вам же предоставляю на свободе делать технические догадки.

— Он полетит! — задорно двигая круглыми щеками, сказал, с сигарой в зубах, немец-пилот.

— «В театре; на канатах и блоках...» — добавил другой.

— Это сумасшедший! — раздался серьезный голос.

— Глупая мистификация! — определил юноша с пушком на губе.

Вдруг пронзительный свист разрезал смятение; как сигнал к свалке, вызвал он хор нестройного свиста, криков и оскорблений. Но Крукс лишь рассеянно осмотрелся; заметив вновь Тави, он сказал ей:

— Скоро увидимся, ведь Торп умер, и вам теперь не надо будет служить.

Эти неожиданные слова так поразили девушку, что она отступила. Лишь:

— А вы знаете? — успела она сказать, как сцена быстро развернулась к концу.

Видя, что Крукс усаживается внутри своего прибора, председатель, решительно оттолкнув мешавших, подошел к странному авиатору.

— Я не могу позволить вам совершать никаких опытов, явно и заранее бесполезных! — встревоженно закричал он. — Вы либо больны, либо имеете цель, совершенно нам постороннюю; кто в здравом уме допустит на момент мысль, что — тьфу! — можно полететь с этим... с этим... я не знаю что — с этой негодной ветошью! Потрудитесь уйти. Уйти и унести ваше приспособление!

— Мне дано право, — холодно сказал Крукс, отвечая одновременно ему и тем, звонкоголосым из толпы, кто, до хрипоты крича, поддерживал председателя. — Право! И я от этого права не откажусь.

— Не я, не я один; мое мнение, требование мое — общее мнение, общее требование! Вы слышите? Вот что вы натворили. Могли ли мы знать, с кем и с чем будем иметь дело? Оставьте собрание.

— Пусть скажут все, что хотят этого, — сказал Крукс.

— Прекрасно! — Председатель нервно расхохотался и так затряс колокольчиком, топая в то же время ногами, что тишина, улучив момент, встала стеной. — Господа! Милостивые государи! Помогите прекратить это! Господин Крукс, если хоть один-единственный человек, здесь присутствующий, нормальный и взрослый, скажет, что ожидает от вас действительного полета, — срамитесь или срамите до конца нас! Кто ожидает этого? Кто ждет? Кто верит?

Тут врассыпную, но так скоро, что утих снова было поднявшийся шум, так ненарушимо-предательски установилось молчание действительное, полное невидимо обращенных вниз больших пальцев, что Тави сжалась: «раз, два, три, восемь», отсчитывала она, терпя в счете до десяти, чтобы разгромить ставшую ей ненавистной толпу, и вынудила себя сказать «десять», хотя от девяти держала мучительную, как боль, паузу. Молчание, сложив локти на стол, тупо уставилось в них подбородком, смотря вниз; Крукс быстро взглянул на девушку. Тогда, вся внутренно зазвенев и став

до беспамятства легкой, шагнула она вперед, потрясая указательным пальцем, красная и сердитая на вынужденный героизм свой. Но лишь инстинкт двинул ее.

— Я! Я! Я! — закричала она со смехом и ужасом.

Тут все взгляды, как показалось ей, прошли сквозь ее тело; толпа двинулась и замерла, взрыв хохота окатил девушку ознобом и жаром, но, почти плача, увлекаемая порывом, она, сжав кулачок, двигала указательным пальцем, сердито и беспомощно повторяя:

— Да, да, я; я знаю, что полетит!

Сраженный председатель умолк; он растерялся. Члены совета, ухватив его за руки, яростно шептали нечто невразумительное, отчего он, совершенно не поняв их, сдался решительно нападению Тави.

— Я держу слово,— сказал он, отмахиваясь и расталкивая советников,— но я больше не председатель; пусть дитя и сумасшедший владеют клубом!

— Увы, мне не нужен клуб,— сказал Крукс,— не нужен он и моей заступнице. Отойдите! — И, как никто уже не противоречил завоеванию, он поместился внутри аппарата, оказавшегося, несмотря на хрупкую видимость, отменно устойчивым; как бы прирос он к земле, не скрипнув, не прозвенев; и белая голова лебедя гордо смотрела перед собой, дыша тайным молчанием. Сев, Крукс взял кисть бисерных нитей, прикрепленных к бортам, и потянул их; тогда, вначале тихо, а затем со стремительно возрастающей силой, тысячи мельчайших струн, от которых дрожит грудь, все вязи и гирлянды колокольцев стали звенеть, подобно знойным полям кузнечиков, где кричит и звенит каждый листок. Этой ли, или другой силой — совершилось движение: ладья мерно поднялась вверх на высоту дыма костра и остановилась; то место, где только что стояла она, блестело пыльным булыжником.

Что освободилось, что скрылось во вспотевшей душе толпы, как только грянул этот удар, разверзший все рты, выпучивший все глаза, перехвативший все горла короткой судорогой,— отметить не дано никаким перьям; лишь слабое сравнение с картонной цирковой гирей, ухватясь за которую профан заранее натуживает мускулы, но, вмиг брошенный собственным усилием навзничь, еще не в состоянии понять, что случилось, может быть уподоблено впечатлению, с каким отступили и разбежались все, едва Крукс поднялся вверх. Некоторое время он был неподвижен, затем

с правильностью нарезов винта и с быстротой велосипеда стал уходить вверх мощной спиралью, пока ладья и сам он не уменьшились до размеров букета. Но здесь, порвав наконец все путы, настиг его вой и рев такого восторга, такого остервенелого и дикого ликования, что шляпы, полетевшие вверх, казалось, не выдержали жара голов, накаленных самозабвением. Только мертвец, сохрани он из исчезнувших чувств своих единственное: чувство внимания, мог бы разобраться в бреде и слепоте криков, какие, перепутав друг в друге все концы и начала, напоминали скорее грохот грузовых телег, мчащихся вскачь, чем человеческие слова; уже не было ни скептиков, ни философов, ни претензий, ни самолюбий, ни раздражительности, ни иронии; как Кохинур, брошенный толпе нищих, взорвал бы наиопаснейшее из взрывчатых потемок души, так зрелище это, эта непобедимая очевидность ринулась на зрителей водопадом, перевернув все.

— Ура! Ура! Гип! Ура! — вопили энтузиасты, оглядываясь, вопят ли другие, и, видя, что, надрываясь, кричат все, били в ладоши, перебегая взад-вперед, толкая и тряся за руки тех, кто, в свою очередь, уже давно сам тряс их.— Новая эра! Новая эра воздухоплавания! Гип! ура! Власть, полная победа над воздухом!

— Я умираю, мне дурно! — кричали дамы.

Другие, с глазами полными торжественных слез, степенно утирали их, приговаривая, как в бреду:

— Выше электричества; может быть, больше радия... что мы знаем об этом?

— О боже мой,— слышалось везде, где не находили уже ни слов, ни мыслей и могли только стонать.

Над всем этим, искрясь, едва слышно звеня и цветя подобно драгоценному украшению, покачивался, остановясь, шелковый прибор Крукса. Он там сидел, как на стуле. Его губы пошевелились, он что-то сказал, и благодаря высоте внизу лишь через одно-два дыхания, как из самого воздуха, раздалось:

— Четыре тысячи колокольчиков. Но могло быть и меньше.

Ладья повернулась, двинулась по уклону кривой прочь, так быстро, что никто не уследил направления, стала точкой, побледнела и скрылась. Тогда, трепеща и плача от непонятной гордости, Тави сказала тем, кто успокаивал и утешал ее, допрашивая в то же время, кто такой Крукс, так как думали, что она близко знает его:

— Чему вы так удивляетесь? Аппарат тот изобретен и... имеет, конечно, ну... винты, и какие там надо двигатели. Летают же ваши аэропланы?! Я знала, что полетит. Уж очень мне понравились колокольчики!

VIII

Как часто, приветствуя покойный свет жизни, доверчиво отдаемся мы его успокоительной власти, не думая ни о чем ни в прошлом, ни в будущем; лишь настоящее, подобно листьям перед глазами присевшего под деревом путника, колышется и блестит, скрывая все дали. Но непродолжительно это затишье. Смолкла или нет та музыка, гром которой отрывал наше беспокойное «я» от уютных мгновений,— все равно; воскресает, усиливаясь, и заставляет встать, подобная крику, долгая звуковая дрожь. Она мощно звенит, и демон напоминания в образе ли забытом, любимом, в надежде ли, протянувшей белую руку свою из черных пустынь грядущего, в поразившем ли мысль остром резце чужой мысли садится, смежив крылья, у твоих ног и целует в глаза...

С того дня, как навсегда ушел Друд, жизнь Руны Бегуэм стала неправильной; не сразу заметила она это. Поначалу неизменной текла и внешняя ее жизнь, но, подтачивая спокойную форму, неправилен стал тот свежий, холодный тон самодержавной души, силой которого владела она днями и ночами своими. Не было в ней ни гнева, ни сожаления, ни разочарования, ни грусти, ни зависти; холодно отвернулась она от грез, холодно взглянула она на то, что встало непокорным перед ее волей, и оставила его вне себя. Она стала жить, как жила раньше; немного повеселее, немного лишь просторнее и общительнее. Галль уехал с полком в отдаленную колонию; она пожалела об этом. Все реже, все мертвеннее, как болезнь или причуду, о которой не с кем говорить так, чтобы понял то и правильно оценил собеседник, вспоминала она дни, павшие как разрыв в пену ее жизни, и Друда вспоминала скорее как наитие, сверкнувшее формой человеческой, чем как живое лицо, руку которого держала в своей. Но отдыхом лишь мелькнул этот спокойный один месяц; уже мрак был близко; он постучал и вошел.

Он вошел в серый день тумана — в мозг, нервы и кровь, сразу, как, чуть покрапав, льет затем дождь. То было после беспокойного сна. Еще чуть светало; Руна проснулась и села, не зная, чем вернуть сон; сна не было, ни мыслей не было, ни раздражения — ничего.

Взгляд ее блуждал размеренно, от пола и мебели направляясь вверх, как смотрим мы в поисках опорной точки для мысли. И вот увидела она, что спальня высока и светла, что музы и гении, сплетшиеся на фигурном плафоне, одержимы стройным полетом, и в чудовищной живости предстали ей неподвижные создания красок. «Они летят, летят»,— сказала, присмирев, девушка; широко раскрыв глаза, смотрела она душой, теперь еще выше и дальше, за отлетающие пределы здания, в ночную пустоту неба. Тогда, с остротой иглы, приставленной к самым глазам, Друд вспомнился ей сразу, весь; высоко над собой увидела она его тень, движения и лицо. Он мчался, как брошенный, свистя, нож. Тогда не стало уже и малейшего уголка памяти, в котором не запылал бы нестерпимый свет точного, в т о р о г о переживания; снова увидела она толпу, цирк и себя; хор музыки рванул по лицу ветром мелодии, и над озаренной ареной, поднявшись неуловимым толчком, всплыл, как поднятая свеча, т о т человек с прекрасным и ужасным лицом.

Она дрогнула, вскочила, опомнилась, и страх тесно прильнул к ее быстро задышавшей груди. В уверенной тишине спальни никла роскошная пустота; в пустоте этой всплыло и двинулось из ее души все, равное высоте,— тени птиц, дым облаков и существа, лишенные форм, подобные силуэтам, мелькающим вкруг каретного фонаря. Она держала руку у сердца, боясь посмотреть назад, где звонок,— с холодными и бесчувственными ногами. И вот прямо против нее, помутнев, прозрачной стала стена; из стены вышел, улыбнулся и, поманив тихо рукой, скрылся, как пришел, Друд.

Тогда словно из-под нее вынули пол; страх и кровь бросились в голову; как в темном лесу, средь блеска и тишины роскошного своего уюта, очутилась она, чувствуя кругом таинственную опасность, подкравшуюся неслышно. Боясь упасть, склонилась она к ковру, гордостью удержав крик. Но оцепеневшее сердце, вновь стукнув, пошло гудеть; мысли вернулись. Звонок! Спасительная точка фарфора! Она прижала ее, задыхаясь и изнемогая от нетерпения, боясь

обернуться, чтобы не увидеть того, что, чудилось, смотрит из всех углов в спину. С наслаждением усталого вздоха смотрела Руна на практично-здоровое лицо молодой женщины, прерванный сон которой был спокоен, как ее перина. Вихрь рассеялся, обычное вновь стало обычным — вокруг.

— Поговори со мной и посиди здесь,— сказала горничной Руна,— мне не спится, не по себе; расскажи что-нибудь.

И пока рассвет не окружил штор светлой чертой, служанка, слово за словом, перешла к того рода болтовне, которая не утомляет и не развлекает, а помогает самому думать. Как жила, где служила раньше; что было у хозяев смешно, плохо или отлично. Руна вполслуха внимала ей, прислушиваясь, как больная, к щемящему душу жалу угрозы; слушала и перемогалась.

Не много прошло дней, и люди света, встречаясь или отписывая друг другу, стали твердить: «Вы будете на вечере Бегуэм?», «Была ли у графа W. Руна Бегуэм?», «Кто был на празднике Бегуэм?», «Представьте меня Руне Бегуэм», «Расскажите о Руне Бегуэм». Как будто родилась вновь красавица Бегуэм и снова начала жить. Ее сумасшедшие заказы бросали в пот и азарт лучшие фирмы города; у ювелиров, портних, более важных и знаменитых, чем даже некоторые фамилии, у вилл и театров, у ярких, как пожар ночью, подъездов знати останавливалась теперь каждый день карета Бегуэм, смешавшей жизнь в упоительное однообразие праздника. Словно оглянувшись назад и спохватясь, вспомнила она, что ей лишь двадцать два года; что отчужденность, хотя бы и оригинального тона, гасит постепенно желания, лишая сердце золотого узора и цветных гирлянд бесчисленных наслаждений. Щедрой рукой она повернула ключи, и, шумно приветствуя ее, грянули из всех дверей хоры привета; королевой общества, счастьем и целью столь многих любвей стала она, что уже в одном пожатии мужской руки слышала целую речь — признание, или завистливый вздох, или же тот нервный трепет холодных натур, который обжигает как лед, действуя иногда сильнее всех монологов. Казалось, рауты и балы, приемы и вечера восприняли несравненный блеск, волнение тончайшего аромата, с тех пор как эта нежная и сильная красота стала улыбаться средь них; остроумнее становились остроумцы, наряднее — щеголи; особый свет,

отблеск восхитительного луча, сообщался даже некрасивым и старым лицам, если находились те люди в ее обществе. Все обращалось к ней, все отмечало ее. Каждый, внимая ей или следя, как кружит она в паре с красивым фраком, где пробор и осанка, гордый глаз и бархатный ус тлеют, уничтожаясь близостью этого молодого огня, развевающего белый шлейф свой среди богатой и свободной толпы, думал, что здесь предел жизнерадостному покою, озаренному крылом счастья, что нет счастливей ее; и, так думая, не знали ничего — все.

«Забудьте, забудьте!» — слышала иногда Руна во взрыве ликующих голосов, в вырезе скрипичного такта или стука колес, ветром уносящих ее к новому оживлению; но «забудьте!» само предательски напоминает о том, что тщится стереть. Не любовь, не сожаление, не страсть чувствовала она, но боль; нельзя было объяснить эту боль, ни про себя даже понять ее, как, в стороне от правильной мысли, часто понимаем мы многое, легшее поперек привычных нам чувств. Тоска губила ее. Куда бы ни приезжала она, в какое бы ни стала положение у себя дома или в доме чужом, не было ей защиты от впечатлений, грызущих ходы свои в недрах души нашей; то как молнии внезапно сверкали они, то тихо и исподволь, накладывая тяжесть на тяжесть, выщупывали пределы страданию. Смотря на купол театра, медленно поднимала она руку к глазам, чтобы закрыть начинающее возникать в высоте; высота кружилась; кружился, трепеща, свод; свет люстр, замирая или разгораясь, ослеплял, кроя туманом блестящий поворот ярусов, внизу которых, подобная обмороку, светилась отвесная бездна. Тогда все впечатления, вся наличность момента, зрелища, сцены и любезного за спиной полушепота спокойных мужчин, чья одна близость была бы уже надежной защитой при всякой иной опасности, делались невыносимой обузой; и, выждав удар сердца, удар, рождающийся одновременно в висках и душе, к барьеру соседней ложи подходил Друд.

Тогда, бледнея и улыбаясь, она говорила окружающим, что ей нехорошо, затем уезжала домой, зная, что не уснет. Всю ночь в спальне и остальных помещениях ее дома горел свет; прислушиваясь к себе, как к двери, за которой, тихо дыша, стоит враг, сидела или ходила она; то рассмеявшись презрительно, но таким

смехом, от которого еще холоднее и глуше в сердце, то плача и трепеща, боролась она со страхом, стремящимся сорвать крик. Но крик был только в душе.

— Довольно,— говорила она, когда несколько дней покоя и хорошего настроения давали уверенность, что бред этот рассеялся. Прекрасная, с прекрасной улыбкой, всходила она по лестнице, где на поворотах, отраженная зеркалами, сопровождала ее от рамы до рамы вторая Руна, или усаживалась в полукруг кресел, среди мелькающих вееров, или, опустя поводья, верхом двигалась по аллее, говоря спутникам те волнующие слова, в которых, как ни обманчиво близки они к счастливой черте скрытого обещания, незримой холодной гирей висит великое «нет»,— все с той же мыслью «довольно» и даже без мысли этой, лишь в настроении счастливой свободы, вся собранная в пену и сталь. Тогда, смотря в зеркало с внезапной тоской, видела она, что в его глубине рядом с ней идет задумчивый Друд; что подобные жемчужным крыльям веера со свистом бьют воздух; что все громаднее, белее они, и чувство полета, острой и стремительной быстроты наполняло ее чудным мученьем. Она гладила лошадь, но, отвернув голову и собрав ноги, та, задрожав, не шла более; пятясь на месте, животное, казалось, жило в этот момент нервами своей госпожи, сердце которой билось, как копыта били песок; опустив голову, стоял, спокойной рукой держась за узду, Друд. Он взглянул и исчез.

IX

Чем дальше, тем страшнее было ей жить. Не стерпев, она обратилась к Грантому — одному из тех положительных, но мало знаменитых людей, к которым привлекает окружающая их атмосфера ученой самоуверенности и практической чистоты; чья лысая голова с дарвиновским лицом и строго-человеческим взглядом поверх золотых очков как бы собирает нам тени и свет доверия в одном теплом порыве. Раздумывая о сумасшествии и опасаясь его, но не желая, однако, говорить все, Руна обошла это формой галлюцинации, сказав профессору, что иногда видит бесследно скрывшегося знакомого. Отношение свое к вымышленному лицу она перевела с подлинника, обозначив таким

образом все тонкости впечатлений рисунком обычных встреч. Одно прибавила она, дабы характеризовать общую форму: «Казалось мне, что в натуре его лежит нечто поразительное и тайное, до тех пор занимавшее мои мысли, пока не стало безосновательным, странным предубеждением». Но сеть волнистых линий ее объяснения была в чем-то не вполне правильна, неровна была линия передачи этой, и Грантом почувствовал ложь.

— Вам хуже, если вы не вполне искренни,— сказал он, впрочем, не настаивая знать подробнее; выслушав и осмотрев Руну, он, пристукивая карандашом, как бы подчеркивая стуком некоторые слова, сказал ей: — Вы здоровы. Все нормально в вас; нормальны душа и тело. Я скажу более: физически вы безукоризненны. Немного поговорив с вами, я вижу, что крайняя нервность, вызванная особыми обстоятельствами, проявляется тем более резко, что она находится в замкнутом кругу сильной воли, сдерживающей ее проявление. Об этом я хочу поговорить с вами подробнее; пока перейдем к лечению, поскольку вы в нем нуждаетесь.

Он испытующе взглянул на нее, но мельком; так смотрят, имея заднюю мысль; при мимолетности взгляда можно было счесть его смысл ошибкою беглого впечатления. Но тон, тон — этот безошибочный привкус речи — настроил Руну еще внимательнее, чем была она до сей минуты, если вообще может быть различно внимателен человек, ждущий спасения. Грантом продолжал:

— Брак. Вот первое, что — хотите вы или не хотите — уничтожит вторую сферу, дверь которой в мгновения, не подлежащие учету науки, раскрывается перед вами внезапно, являя таинственное сверкание двойственных образов психофизического мира, которым полно недоступное. Заметьте — оно открыто не всем.

Он замолчал, щурясь и всматриваясь сквозь очки глухим взглядом в бледные черты Руны; сведя брови, надменно улыбалась она, стараясь связать некоторые странные фразы Грантома с особенностью своего положения. Казалось, он заметил ее усилие: едва чувствуемый оттенок расположения, большего, чем вправе ожидать только клиент, разом исчез, едва он, откинувшись по глубине кресла в тень лампы, вернулся к практическому совету.

— Здоровый человек, любящей и сильной души — не может быть, чтобы вы не встретили такое простое, но с известной стороны полное счастье,— такой человек, говорю я, брак и дети — словом, семья — выведут вас теплой и верной рукой к мирному свету дня. Допустим, однако, что осуществлению этого мешают причины неустранимые. Тогда бегите в деревню, ешьте простую пищу, купайтесь, вставайте рано, пейте воду и молоко, забудьте о книгах, ходите босиком, чернейте от солнца, работайте до изнурения на полях, спите на соломе, интересуйтесь животными и растениями, смейтесь и играйте во все игры, где не обойтись без легкого синяка или падения в сырую траву вечером, когда душистое сено разносит свой аромат, смешанный с дымом труб,— и вы станете такой же, как все.

Спокойное слово развеселило и ободрило девушку.

— Да, я так сделаю, это прелестно,— сказала она с воодушевлением, полным живописных картин; как бы уже став полудикой, сильной и загорелой, отважно взмахнула она рукой.— Я вытрясу там все яблони! А лазить через забор? Девочкой я лазила по деревьям. Грантом! Добрый Грантом! Спасите меня!

— Я спасу.— Он сказал это с задумчивостью и суровой энергией, но так, что следовало ожидать еще слов, быть может, условий. Затем Грантом повернул лампу, выказавшись в ярком свете ее весь, с улыбающимся неподвижно лицом. Улыбка собрала к его мило прищуренным глазам бодрого и умного старика сетку морщин, эти глаза теперь блестели остро, как искры очков.— Но слушайте,— внезапно оживляясь, сказал он,— не многим я говорю то, что вы услышите; лишь тем, кто отвечает мне складом души. Вам будет понятно сказанное. Не поразитесь и не смутитесь вопросом: уверены ли вы, что это — галлюцинация?

Подозревая хитрое испытание, Руна, несколько волнуясь, сказала:

— Да, я вполне уверена; странно было бы думать иначе, не так ли?

— Думать,— сказал Грантом, смотря на ее лоб,— думать. Или — знать. Что знаем мы о себе? Однако мы действительно знаем нечто, стоящее за пределом чистого опыта. Не думаете ли вы, что нервность наша, общая сумма нервности, звучащей ныне таким знаменательным и высоким тембром, есть явление, свойственное и прежним векам? Отметим лишь эту

громадную разницу, не задевая причин. Человек пятнадцатого столетия знал силу душевного напряжения, но не разветвлений его; во всяком случае, столь бесчисленных, столь подобных дробимости нитей асбеста; там, где человек пятнадцатого столетия просто кричал «хочу», нынешнее это «хочу» облечено в тончайшие ткани изменчиво противоречивых душевных веяний и напевов, где самая основа его есть уже не желание, а — мировоззрение. Теперь возьмем ближе. Мы вздрагиваем от фальшивой ноты, морщимся от неточного или неверного жеста; заразиться или заразить других своим настроением так обычно, что распространено во всех классах и условиях жизни; слова «я знал, что вы это скажете», «это самое я подумал», понимание с полуслова или даже при одном взгляде; оборачивание на взгляд в спину; ощущение, что перед нами кто-то был там, куда мы едва вошли; смена и глубина настроений — есть лишь жалкие и обыденнейшие примеры могущества нервного восприятия нашего, принимающего размеры стихийные. Не думаете ли теперь вы, что, быть может, скоро наступит время, когда в этом сплетении, в этом сливающемся скоплении нервной силы исчезнут все условные преграды и средства общения? Что слово станет ненужным, ибо мысль будет познавать мысль молчанием, что чувства определятся в сложнейших формах; что в едином духовном том океане появятся души-корабли, двигаясь и правя наверняка? В какой же сфере действуют эти силы?

— Я пропущу,— продолжал он, понижая голос,— все соображения мои касательно этого пункта, как ни интересны они, чтобы подойти к главному в связи с вами. Есть сфера — или должна быть — подобно тому, как должна была быть Америка, когда стало это ясно Колумбу,— в которой все отчетливые представления наши несомненно реальны. Этим я хочу сказать, что они получают существование в момент отчетливого усилия нашего. Поэтому я рассматриваю галлюцинацию как феномен строгой реальности, способной деформироваться и сгущаться вновь. Хотя мне ваш покой дорог, я со стеснением сочувствовал вам; я вздрагивал от радости вашей усыпить душу деревней. Если только у вас есть сила — терпение; есть сознание великой избранности вашей натуры, которой открыты уже сокровища редкие и неисчислимые,— введите в свою жизнь тот мир, блестки которого уже

даны вам щедрой тайной рукой. Помните, что страх уничтожает реальность, рассекающую этот мир, подобно мечу в не окрепших еще руках.

Руна, опустив глаза, слушала и не могла вскинуть ресницы. Грантом говорил медленно, но свободно, со сдержанной простой силой точного убеждения; но не поднимала она глаз, ожидая еще чего-то, что, казалось, взгляни она, не будет никогда сказано. Благодаря способности, присущей весьма многим, и инстинкту она завязала рот всем впечатлениям, лишь умом отмечая периоды речи Грантома, но мысленно не отвечая на них. Грантом продолжал:

— Реальности, о которых говорю я,— реальности подлинные, вездесущие, как свет и вода. Так, например, я, Грантом, ученый и врач, есть не совсем то, что думают обо мне; я — Хозиреней, человек, забывший о себе в некоторый момент, уже не подвластный памяти; ни лицо, ни вкусы мои, ни темперамент, ни привычки не имеют решительно ничего общего с Грантомом данного типа. Но об этом мы поговорим в другой раз.

Тогда Руна почувствовала, что должна и может посмотреть теперь так, как выразилось ее настроение. Она взглянула — с впечатлительностью охотника, палец которого готов потянуть спуск, и увидела Грантома иначе: глаза с полосой белка над острым зрачком. Лицо, потеряв фокус — тот невидимый центр, к которому в гармонии тяготят все черты лица, напоминало грубый и жуткий рисунок, полный фальшивых линий. Перед ней сидел сумасшедший.

— Грантом,— мягко произнесла девушка,— так что же? Брак и деревня? Не соединить ли мне это — пока?

Грантом стронулся, пожал плечами, поднял брови и, вздохнув, поправил очки. Малейшего следа искажения не оставалось теперь на его лице, смотревшем из-под очков с вежливой сухостью человека, ошибшегося в собеседнике. Он наклонил голову и поднялся. Руна подала руку.

— Да,— подтвердил он,— все, как я сказал или в том духе. Лекарства не нужны вам. Будьте здоровы.

И она вышла, раздумывая: то ли говорил он, что поразило ее. Но он говорил то, именно то, и она не разгадала его особой минуты.

X

На другой день ей привезли розы из Арда; тот округ славился цветами, выращивая совершеннейшие сорта с простотой рая. Она разбиралась в их влажной красоте с вниманием и любовью матери, причесывающей спутанные кудри своего мальчика. Только теперь, когда все исключительное, как бы имея первый толчок в Друде, спокойно осиливало ее подобно магниту, располагающему железные опилки узором, прониклась и изумилась она естественным волшебством цветка, созданного покорить мир. Перед ней на круглом столе лежал благоухающий ворох, с темными зелеными листьями и покалывающей скользкой гладью твердых стеблей. Всепроникающий аромат, казалось, и был тем розовым светом, таящимся среди лепестков, какого лишены розы искусственные. Самые цветы покоились среди смелой листвы своей в чудесном разнообразии красоты столь прелестно-бесстыдной, какая есть в спящей, разметавшейся девушке. Бледный цвет атласисто завернувшихся лепестков нежно оттенял патрицианскую роскошь алого, как ночь, венчика, твердые лепестки которого, казалось связанные обетом, рдели не раскрываясь. Среди их пурпура и зари снегом, выпавшим в мае, пестрели белые розы, которым, невольно окрашивая их, слово «роза» сообщает уютную жизненность, дышащую белым очарованием. И желтые — назвать ли их так, повторяя давний грех неверного слова, — нет, н е золотые, н е желтые, но то, что в яркой особенности этих слов останется недосказанным, — были среди прочих цариц подобны редкому бархату, в складки которого лег густой луч.

Руна разобрала их, погрузив в вазы, и там, краше всех тонких узоров дорогого стекла, стали они по предназначенным им местам встречать взгляды.

Пока девушка занималась этим, в ней складывалось письмо; но не сразу поняла она, что это — письмо. Рассеянно погружаясь в цветы и аромат их, равный самой любви, слышала она слова, возникающие в рисунке усилий, в душе движения пальцев и роз, в самом прикосновении. Вот расцепились стебли, соединить которые хотелось ей ради эффекта, мешал же тому завернувшийся внутрь бутон, и без звука началась речь: «Я хочу встретиться с вами, проверить и пересмотреть себя». Слова эти были обращены к твердой и надежной

руке, не похожей на женственную руку Лидса, приславшего тот цветник, каким увлеченно занималась она теперь,— к воображенной руке обращалась она, несуществующей, но необходимой, и в такой руке мысленно видела свои розы. «Возьмите их,— сказал тот, чьего лица не видела Руна,— не бойтесь ничего рядом со мной». На руку ее упал лепесток. «Я жду, что вы мне напишете»,— подсказал он; тут же, уколов палец, от чего движение руки случайно соединило две розы, белую и бордо, она увидела их прижавшимися, в столь разной, но столь внутренно близкой и взаимно необходимой красе, что этого не могло не быть. «Что знаем мы о себе и, если я вам пишу,— случайно ли это? Быть вместе — пока все, о чем думаю я. Рады ли вы этим словам?» — так, без мысли о незримом резце, ваяющем настроение, импровизировала она речь твердой руке; здесь подали ей письмо.

Оставив цветы, Руна стала читать любезное и остроумное повествование бравого балагура: лесть, шутки, наблюдения, остроты и гимны — то легкое, лишь спокойному сердцу внятное давление мужского пара, каким действуют психологи сердечного спорта. Без улыбки прочла она привычную и искусную лесть, но был там постскриптум, где одно имя — Галль — тяжко взволновало ее: «Вот черная весть, естественно вызывающая почтительное молчание,— и я кладу перо; капитан Галль скончался в Азудже от лихорадки. Мир славной его душе».

Ее как бы хлестнуло по глазам, и, тронув их холодной рукой, еще раз прочла Руна красноречивый постскриптум. Все то же прочла она — ни больше, ни меньше; лишь больше — в своей душе, поняв, что письмо, едва родившееся в ней, пока она разбирала цветы, смято уже этим ударом; что думалось и назначалось оно в Азуджу — ради спасения — погибшему офицеру.

XI

К концу сентября Руна переехала в Гвинкль, где горы обступают долину небесным снегом, строго наказав прислуге не сообщать никому ее адрес, и всем запретила писать себе. Ее круг, узнав это, переглянулся с церемонной улыбкой, приветствующей каприз, ставший законом.

Она сняла в деревенской семье комнату с бедной обстановкой, живя, как жили окружавшие ее люди, преодолев насмешливые или недоброжелательные взгляды, работала она на виноградниках и в садах, в изнеможении таская корзины, полные винограда и слив, копая землю, умываясь в ручье, засыпая и вставая с зарей, питаясь кислым хлебом и молоком, не зная книг, далеко уходя в лес, в дикой громаде которого печально рассматривала внутренний мир свой, как смотрят на драгоценный сосуд, теряющий замкнутое свое единство от расколовшей его трещины. Как ни уставала, как ни томилась она среди этого мира, где одинаково звучат ласка и брань, где позыв заменяет желание, где никто не видит листьев и цветов так, как видим мы их, будто читая книгу,— ничто не утратила она ни из осанки, ни из выражений своих и, содрогаясь тонким плечом под тяжестью фруктовых корзин, шла так же, как входила на бал. Она загорела, ее руки покраснели и стали портиться, но следовала она намеченному с упорством страдающего бессонницей, который, повернувшись лицом к стене и отсчитывая до ста, готов еще и еще повторять счет, пока не заснет. Так шла неделя, другая,— на третьей почувствовала она, что хороша и мила ей эта раскинувшаяся цветущим трудом земля; что «я» и «она» можно соединить в «мы», без мысли, лишь вздохом успокоения. Она стала напевать, мирно улыбаться прохожим, шевелить носком прут, устойчивость и мера вещей снова окружали ее. Руна окрепла.

Раз вечером утих ветер; западное небо побледнело и выяснилось, как зеркало, отразившее пустоту. Три облака встали над красной полосой горизонта — одно другого громаднее, медленно валились они к тускнеющему зениту,— обрывок великолепной страны, не знающей посещений. Едва наделяло воображение монументальную легкость этих эфемерид земной формой пейзажа, полного белым светом, как с чувством путника бродило уже вверху, в сказочном одиночестве непостижимой и вечной цели. Легко было задуматься без желаний отчетливым сном раскрывшей глаза души над отблесками этой страны, но не легко вернуться к себе,— печально и далеко звеня, падало, теряясь при этом, что-то подобное украшению.

Не скоро заметила Руна, что к легкому ее созерцанию подошло беспокойство, но, различив среди

светлых теней вечера темную глухую черту, встала, как при опасности. Протянув руку, отталкивала она этот набег — вихрь, какой — сердце не обмануло ее — возник в облачных садах Гесперид. Звонкие голоса играющих детей стали вдруг смутны, как за стеной; силы оставили ее; беспомощно устремив взгляд на плавное движение облачного массива, увидела она, что прямо к ее лицу мчатся, подобно налетающей птице, блестящие задумчивые глаза — ни черт, ни линий тела не было в ужасной игре той,— одни лишь, получившие невозможную жизнь среди алой зари, падая и летя, близились с воздушных стремнин глаза Друда. Как при встрече, были уже близки и ясны они, но, едва сердце несчастной стало на краю обморока, мгновенно исчезли.

Два дня Руна была больна, на третий, с внезапным отвращением к тому, что так еще недавно поддерживало и веселило ее, возвратилась домой. Она не потеряла надежды. Напротив, в новой надежде этой, так просто протянувшей ей руку, встретила она как бы старого друга, о котором забыла. Но друг был тут, рядом,— стоило лишь с доверием обратиться к нему. Его голос был так же спокоен, как и в дни детства,— вечен, как шум реки, и прост, как дыхание. Следовало послушать, что скажет он, выслушать и поверить ему.

Тот день она провела тихо, не беспокоили ее ни мелочи жизни, ни страх, ни воспоминания. Прошлое двигалось как бы за прозрачной стеной, незыблемой и пропускающей душевные бедствия, и она тихо рассматривала его. Как стемнело, Руна вышла одна, калиткой сада, в сеть второстепенных улиц города; за ними был переулок с маленькой церковью, стоявшей на небольшой площади. Вечерняя служба кончилась; несколько прохожих миновали ее, выйдя из освещенных дверей, в глубине которых блестели серебро и свечи. Уже разошлись все, храм был полутемен и пуст; церковный сторож, подметая за колоннами пол, передвигал огромную свою тень из угла в угол, сам оставаясь невидимым; мерный шум его щетки, потрескивание горящего воска и тишина, еще полная теплого церковного запаха, казалось, всегда были и всегда будут здесь, маня внутренно отдохнуть.

Хотя свечи догорали в приделах, сообщая лиловеющими огнями лицам святых особенное выражение тайной, ушедшей в себя жизни, алтарь был освещен

ярко; блестели там цветные и золотые искры сосудов; огромные, снежной белизны свечи вздымали спокойное пламя к полутьме сводов, отблеск которого золотой водой струился по потемневшим краскам образа богоматери бурь, лет тридцать назад заказанной и пожертвованной моряками Лисса. Буйная братия украшала драгоценность свою как могла. Не один изъеденный тропическими чесотками, почерневший от спирта и зноя, начиненный болезнями и деяниями, о которых даже говорить надо, подумав, как это сказать, волосатый верзила, разучившись крестить лоб, а из молитв помня лишь «Дай»,— являлся сюда после многолетнего рейса, умытый и выбритый; дрожа с похмелья, оставлял он перед святой девушкой Назарета, что мог или хотел захватить. На деревянных горках лежали здесь предметы разнообразнейшие. Модели судов, океанские раковины, маленькие золоченые якоря, свертки канатов, перевитые кораллом и жемчугом, куски паруса, куски мачт или рулей — от тех, чье судно выдержало набег смерти; китайские ларцы, монеты всех стран; среди пестроты даров этих лежали на спине с злыми, топорными лицами деревянные идольчики, вывезенные бог весть из какой замысловатой страны. Смотря на странные эти коллекции, невольно думалось и о бедности, и о страшном богатстве тех, кто может дарить так, сам искренне любуясь подарком своим и ради него же лишний раз заходя в церковь, чтобы, рассматривая какого-нибудь засохшего морского ежа, повторить удовольствие, думая: «Ежа принес я; вот он стоит».

Среди этого вызывающего раздумье великолепия, воздвигнутого людьми, знающими смерть и жизнь далеко не понаслышке, взгляд божественной девушки был с кротким и важным вниманием обращен к лицу сидящего на ее коленях ребенка, который, левой ручонкой держась за правую руку матери, детским жестом протягивал другую к зрителю, ладошкой вперед. Его глаза — эти всегда задумчивые глаза маленького Христа — смотрели на далекую судьбу мира. У его ног, нарисованный технически так безукоризненно, что, несомненно, искупал тем общие недочеты живописи, лежал корабельный компас.

Здесь Руна стала на колени с опущенной головой, прося и моля спасения. Но не сливалась ее душа с озаренным покоем мирной картины этой; ни простоты, ни

легкости не чувствовала она; ни тихих, само собой возникающих, единственно нужных слов, ни — по иному — лепета тишины; лишь ставя свое бедствие мысленно меж алтарем и собой, как приведенного насильно врага. Что-то неуловимое и твердое не могло раствориться в ней, мешая выйти слезам. И страстно слез этих хотелось ей. Как мысли, как душа, стеснено было ее дыхание,— больше и прежде всего чувствовала она себя — такую, к какой привыкла,— и, рассеянно наблюдая за собой, не могла выйти из плена этого рассматривающего ее — в ней же — спокойного наблюдения. Как будто в теплой комнате босая на холодном полу стояла она.

— Так верю ли я? — спросила она с отчаянием.

— Верю,— ответила себе Руна,— верю, конечно, нельзя не знать этого, но отвыкла чувствовать я веру свою. Боже, окропи мне ее!

Измученная, подняла она взгляд, помня, как впечатление глаз задумавшегося ребенка подало ей вначале надежду увлекательного порыва. Выше поднялось пламя свечей, алтарь стал ярче, ослепительно сверкнул золотой узор церкви, как огненной чертой было обведено все по контуру. И здесь, единственный за все это время раз — без тени страха, так как окружающее самовнушенной защитой светилось и горело в ней,— увидела она сквозь золотой туман алтаря, что Друд вышел из рамы, сев у ног маленького Христа. В грязной и грубой одежде рыбака был он, словно лишь теперь вышел из лодки; улыбнулся ему Христос довольной улыбкой мальчика, видящего забавного дядю, и приветливо посмотрела Она. Пришедший взял острую раковину с завернутым внутрь краем и приложил к уху. «Вот шумит море»,— тихо сказал он. «Шумит... море...» — шепнуло эхо в углах. И он подал раковину Христу, чтобы слышал он, как шумит море в сердцах. Мальчик нетерпеливым жестом схватил ее, больше его головы была эта раковина, но, с некоторым трудом удержав ее при помощи матери, он стал так же, как прикладывал к уху Друд, слушать, с глазами, устремленными в ту даль, откуда рокотала волна. Затем палец взрослого человека опустился на стрелку компаса, водя ее взад и вперед — кругом. Ребенок посмотрел и кивнул.

Усмотрев неподвижно застывшую в земном, долгом поклоне женщину, сторож некоторое время ожи-

дал, что она поднимется — он собрался закрыть и запереть церковь. Но женщина не шевелилась. Тогда, окликнув, а затем тронув ее, испуганный человек принес холодной воды. Очнувшись, Руна отдала ему деньги, какие были с ней, и, сославшись на нездоровье, попросила позвать извозчика, что и было исполнено. Усталая и разбитая, как устают после долгого путешествия, она вернулась домой, спрашивая себя — стоит ли и можно ли теперь жить?

ЧАСТЬ III

ВЕЧЕР И ДАЛЬ

I

К двенадцатому часу ночи Тави вернулась в Сан-Риоль. Все мелкие и большие события этого дня, подобных которым не было еще ничего в ее жизни, ехали и высадились с ней, и она не могла прогнать их. Они жили и осаждали ее под знаком Крукса.

По стеклянной галерее старого дома, среди развешенного для сушки белья, ненужных ящиков и другого хлама, откатывая ногой пустую бутылку или спотыкаясь о кошку, Тави нащупала свою дверь и, усталой рукою вложив ключ, задумчиво повернула его. Здесь на нее напал малый столбняк, подобный большому столбняку в Лиссе, когда, приложив к губам кончик пальца, она выстояла не менее получаса у витрины в глубокой рассеянности Сократа, решая все и не решив ничего. Среди волнения и потуг малый столбняк этот разразился наконец многочисленными бурными вздохами, а также тщеславным взглядом на себя со стороны, как на бывалого человека — этакого тертого дядю, которого теперь трудно удивить чем-нибудь.

Получив наконец окончательное круговое движение, ключ пропахал таинственные внутренности замка, став теплым от горячей руки, и вырвался из железа с треском, наполнившим сердце Тави уважением к себе, а также желанием совершить рывком что-нибудь еще более отчетливое. Войдя, сумрачно осмотрелась она.

Запыленная электрическая лампочка, вокруг которой немедленно появились мухи, вспыхнула своей раскаленной петлей среди беспорядка, возвращаясь к которому после впечатлений иных, мы в первый раз замечаем его. Холодом и пустотой окружена каждая вещь; безжизненно, как засохший букет, в пыли и сору встречает нас покинутое жилище. Кажется, что год мы не были здесь — так резка нетерпеливая жажда уюта,— с неприглядностью, оставшейся после торопливых и полных надежд сборов.

Все этажи этого дома были окружены крытыми стеклянными галереями, с выходящим на них рядом дверей тесных полуквартир, имевших кухню при самой двери, с небольшою за ней комнатою, два окна которой обращены на полузасохшие кусты пыльного двора. Здесь ютилась ремесленная беднота, мелкие торговцы, благородные нищие и матросы. У Тави не было мебели, не было также никого родственников. Мебель в квартире осталась от прежнего жильца, пьяницы капитана, давно покинувшего свое ремесло; он умер собачьей смертью во время драки на Берадском мосту; шатнувшись, грузное тело багрового старика опрокинуло гнилые перила, и очевидцы могли рассказать только, что, падая, выругался он страшно и громко. Поток унес его тело, грехи и брань в острые расселины Ревущей щели; тело не было найдено. От него остались — комод, ящики которого распухали иногда по неизвестной причине, не закрываясь неделями: кровать, несколько ковровых складных стульев, шкап с тряпками и коробки из-под табаку, гипсовый раскрашенный сарацин да пара тарелок; остальное, если и было что получше,— исчезло.

Тави не помнила ни отца, ни матери; ее мать, бросив мужа, бежала с проезжим красивым казнокрадом; отец поступил на военную службу и погиб в сражении. Детство свое провела Тави у полуслепой двоюродной тетки, мучаясь более, чем старуха, ее болезнями и припарками, так как они отняли у нее много крови. На пятнадцатом году знакомый теткин книготорговец взял девушку в работу по лавке; она продавала книги и жила впроголодь. Потом он разорился и умер, а Тави напечатала объявление.

Вот биография, в какой больше смысла, чем в блистательном отщелкивании подошв Казановы по полусветским и дворцовым паркетам мира. Но не об этом

думала Тави, сев в кухне перед плитой и кипятя чай; так были резки новые ее впечатления, что она не отрывалась от них. Куда бы задумчиво ни посмотрела она, стена проваливалась в ночь светлым пятном и в его лучистом дыме над свечами страшного гроба неслись серебряные гирлянды странного аппарата. То представлялось ей, что, как бы тронутый гигантским пальцем, кружится, пестрея, огромный диск города; то чувство случайно попавшего в сражение и благополучно его покинувшего человека поднималось вместе с благодарственным дымом от наболевших пяток к утомленным глазам; то искренно дивилась она, что не произошло чего-нибудь еще более ошеломительного.

— Тави, моя дорогая,— говорила девушка,— как ты на это смотришь? Знала ли я, что существуют города, где от тебя могут остаться только рожки да ножки? Воистину, Торп — Синяя Борода. Кто же такой Крукс? Но это, видимо, вполне порядочный человек. Все-таки он прост, как теленок. Он мог бы прилететь в своем аппарате и сесть к ним прямо на стол.

Представив это, она залилась смехом, упав в ладони лицом; выразительная дрожь тихой забавы, смеха и удовольствия перебегала в заискрившихся ее глазах, посматривающих на воображаемое из-за пальцев, как из фаты. Она принадлежала к тем немногим поистине счастливым натурам, для которых все в мире так же просто, как их кроткое благодушие; аэроплан и бабочка едва ли сильно разнились, на взгляд Тави, разве лишь тем, что у бабочки нет винта. Поэтому более удивительным казался ей неистовый восторг зрителей, чем самый эксперимент.

— Он поднялся, но он сказал, что поднимется; и сказал — почему: вибрация звуков, производимых колокольчиками. Как вышло красиво! Правду сказал кто-то, что искусство воздухоплавания начинает новую эру! Давно пора делать эти вещи красивыми и разнообразными, как делают же, например, мебель.

Сквозь такие мысли, полные острого воспоминания, как она была окружена любопытными, вообразившими, что именно эта девушка все знает, и как бегством спаслась от них, неотступно мерещилось лицо самого Крукса; все еще слышала она его голос; как он сказал: «Мы скоро увидимся». Зачем он сказал это? Почему знает он, что Торп умер? Она стала наконец

раздражаться, так как ни объяснить, ни придумать ничего не могла, даже в спине заныло от размышлений. «Спросил ли он, по крайней мере, хочу ли я увидеть его?» — вот вопрос, о который споткнувшись, Тави начала повторять: «Хочу ли увидеть его?», «Хочу ли увидеть его?» — пока ей это не надоело. «Хочу. Да, хочу, и все тут; у него было ко мне хорошее отношение». От этой мысли почувствовала она себя сиротливо-усталой, обобранной и затерянной; к глазам подступили слезы. Тави всплакнула, съела кусок хлеба, выпила чай, утихла и легла спать, твердо решив оживить завтрашний день рождения весельем и угощением немногих своих знакомых.

Повертываясь лицом к стене, тронула она грудь, чувствуя, что чего-то нет. Не было медальона, оставленного ею в Лисском ломбарде.

«Но я выкуплю его, как продам шаль,— подумала девушка.— Заказываю себе видеть хороший сон, о-ч-чень интересный. Крукса хочу. Должно быть, увижу, как лечу с ним туда-сюда в этой его штуковине.

Ах, Крукс, не знаете вы, что одна думает о вас и ничего не понимает и спит... спит... ссп...»

Здесь трубочкой собрались губы, с приткнувшимся к ним указательным пальцем; затем Тави умолкла, видя все, чего не увидим мы.

II

В семь утра Тави проснулась, увидев все, что видим и мы. Минуты две возилась она с изгнанием ночной свежести, проникшей под одеяло, утыкала его вокруг себя, протерла глаза и восстановила момент. Он имел праздничный оттенок, с загадкой вчера и безденежьем сегодня. Меж настоящим и давно бывшим, отрывком непостижимой истории, лежало путешествие в Лисс.

Хотя, устав, спала она крепко, но проснулась так рано по внутреннему приказанию, какое бессознательно даем себе мы, если грядущий день ставит хлопотливые цели.

— Этого-то числа я родилась,— сказала девушка, вытаскивая из-под одеяла свои руки, гладя их и рассматривая как бы со стороны.

Со скорбью нашла она, что они достойны гримасы, во всяком случае, не хороши так, как у статуй или на

известных картинах. Но — ничего. Полюбовавшись на руки, с тревогой ощупала она ноги — не кривы ли они, вдруг они кривы? Одну вытащила она из-под одеяла, подняв вверх, но, кроме белизны, прямизны и маленькой ступни, не заметила ничего. Вдруг представила она, что кто-то видит эти поучительные занятия, и, взрыв постель, скрылась в ней, как в воде, таща тут же со стула брошенную вчера одежду, и оделась для уюта под одеялом.

С шалью, увязанной в газеты, вышла она из кухни. Ей стали встречаться соседи. Веселая горбатая прачка бойко загремела за ней по лестнице, схватив ее руку и крича, как глухой:

— Разве не уезжала? Когда приехала?

Супруги Пунктир, заезжие актеры без сцены, кокетливые старички, поливали из чайника цветочные горшки; завидев Тави, дружно ринулись они к ней с жеманным любопытством в глазах.

— Устроили ли вы ваши дела, Тави? — сказала старушка; старик, приподняв одну бровь, готовил соответствующее выражение, в зависимости от того, какой будет ответ.

— Да, ваши дела,— повторил он.— Откройте в себе талант, талант к сцене, при выигрышной вашей фигуре...

Супруга перебила его ледяным взглядом, отчего, собрав плечи к ушам, умолк он со сладостью и приятностью в лице, стряхивая с рукава ниточку.

— У кого же будете вы служить, моя милая? — осведомилась мадам Пунктир тоном легкого нездоровья.

Еще несколько лиц, в туфлях на босу ногу, с трубкой или шпилькой в зубах, задали Тави те же вопросы, и всем им отвечала она, что не согласилась на скаредные условия при трудной работе.

— Ну, как-нибудь! — был общий ответ.

Короче всего поговорила девушка с Квангом, массивная фигура которого, сидя на тюфяке у дверей и протянув ноги поперек галереи, не убрала бы их, шествуй тут эскадрон,— их требовалось обойти или перешагнуть. Кванг был кочегар. Увидев Тави, он только дрогнул ногой, но не убрал ее, а почесал спину. Вынув изо рта трубку, он сказал в разбегающееся кольцо дыма:

— Не вышло?

— Нет,— бросила на ходу Тави. При этом разговаривающие даже не посмотрели друг другу в лицо.

— Кикс? — сказал Кванг.

— Фью,— свистнула Тави.

Кванг продолжал курить.

Наступал один из тех упоенных блеском своим жарких и звонких дней, когда волнующаяся, легкая свежесть нарядного утра подобна приветливой руке, трогающей глаза, перед тем как взглянуть им за огненную черту чувств в полном и тяжелом цвету. Торопясь до наступления жары вернуться домой, Тави шла скоро, попав в центр к открытию магазинов. Ей приходилось уже иметь дело с лавками, торгующими случайными вещами самого разнообразного назначения; в одну такую лавку и обратилась она.

— Эту шаль я продаю,— сурово сказала она торговцу, бросившему свой завтрак ради наживы.

Жуя, стал он рассматривать шаль, вертя ее перед кисло-угрюмым своим лицом так тщательно, как едва ли вертели ее ткачи.

— Пока вы смотрите, я поговорю в ваш телефон,— сказала девушка и, припомнив нужные номера, стала звонить.

— Квартира доктора Эммерсона,— сказал ей в ухо издалека женский голос.

— Ну, и что же вы хотите за вашу вещь? — спросил лавочник.

— Рита дома? — сказала Тави.— Тридцать она стоила, может быть, двадцать пять не разорит вас? — Она дома, и я сейчас позову ее.

— Послушайте, барышня,— сказал торговец,— зачем говорить лишнее, когда я вам продам такую же и еще лучше за пятнадцать, две, три, сто штук продам.

— Ведь *я* продаю,— кротко ответила девушка.— Рита, ты? — Да, я, кто это? — голос был спокоен и глуховат.— Но это я, Тави.

— Берите двенадцать,— сказал лавочник.

— Лучше я брошу ее.— Тави, что ты говоришь? Я не поняла.— Не смущайся, Рита, я говорю с тобой и еще с одним. Приходи сегодня ко мне вечером с твоим пузиковатым Бутсом. Это? — День рождения.

— Берите пятнадцать! — крикнул торгаш.

— Ну, что там поздравлять,— хорошо, я возьму пятнадцать,— стареем мы с тобой, Рита, легко ли не-

сти почти два десятка?! Жду и угощу всякими штуками. Что? Ну, будь здорова.

Отойдя, подставила она руку, серьезно и грустно смотря, как хозяин лавки опускал в нее одну за другой серебряные монеты. Он делал это, осклабясь и засматривая в лицо девушке.

— Будьте здоровы,— сказал он,— приносите, что будет; мы все купим.

— Купить, перекупить, распроприторговать и распроперепродать,— рассеянно сказала Тави, став на порог и оборачиваясь с задорной улыбкой,— но одного вы не купите.

— Ну, что такое? — задетый в торговом азарте, спросил лавочник, взбодрясь и потирая руки.

— Вы не купите дня рождения, как я купила его. Вот! — она сжала деньги, подняла руку и рассмеялась.— Не купите! Трафагатор, Эклиадор и Макридатор!

С тем, выпалив эти слова в подражание оккультному роману, который прочла недавно, смеясь, выпорхнула и исчезла девушка на блеске раннего солнца, мешающего смотреть прямо белой слепотой в слезящихся глазах.

Купив, о чем мечтала еще вчера, красную розу и белую лилию, Тави приколола их к платью. В ее корзинке лежали уже яйца, мясо, масло и мука; среди провизии торчало серебряное горлышко темной винной бутылки; несколько апельсинов рдели под батистовым локтем. Так, вооруженная, с сознанием подвига, явилась она домой, присела, почмокала в хозяйственном раздумье и затопила плиту.

Разгоревшись, огонь вычертил щели чугунных досок. Комната и кухня пылали солнцем; уютен стал сам беспорядок; роза и лилия, в голубеньком молочном кувшине, поставленном на стол с оползшей скатертью, отрадно цвели. Смотря на них, Тави захотелось в сады, полные зеленого серебра лиственных просветов, где клумбы горят цветами и яркая, как громкое биение сердца, тишина властвует над чистой минутой. Опустив мясо в кастрюлю, посмотрела она вокруг и увидела простой одинокий час, пригретый утренним солнцем. Тогда захотелось ей, чтобы сердце билось больно и сладко; варварски расправилась она со своими припасами и, наспех, притопывая от нетерпения ногой, шлепнула на мясо кусок масла, решив посолить потом,

как будет готово; кипя и сердясь, протолкла в глиняной чашке муку, полив ее молоком и яйцами, размесила фарш и начинила пирог. По приближении к концу этих занятий представилось ей, как будет все вкусно; тогда, искательно посмотрев на пирог и мясо, уже несколько бережнее сунула она кушанье в духовой шкап; затем вымыла руки, схватила книгу и уселась против окна.

Тонкий запах розы противоречил убожеству. Жажда роскоши овладела Тави; опрокинув на платок из флакона каплю духов, вдохнула она аромат их с видом относительного удовлетворения и положила платок рядом на стол. Но было что-то в другой руке, и она разжала ее: упал на колени кусок старого сыра, схваченного попутно, в рассеянности. Как водится, сыр просил хлеба. Нехотя придвинула она ногой стул, на котором со вчерашнего вечера лежала краюха, ущипнула от корки. Сыр был так горек, что она плюнула, но, воодушевясь, старательно выскребла ножом плесень, снова уселась и стала жевать, не забывая прикладываться к платку; меж тем ее блестящие глаза быстро — взад-вперед — пересекали страницу.

В то время как в духовой яростно скворчало мясо, вздувался и опадал пирог, решив лучше подгореть, чем уступить какой-то литературе, всадник из Сен-Круа по каменистой дороге, взбивая пыль, мчался к Алансонскому герцогу с известием о нападении англичан, и, держась за всадника, сидела пропитанная духами Тави. В то время как лорд, губернатор Калэ, требовал от Дианы невозможных страстей,— соус полился через край, но Тави ледяным взглядом сказала лорду: — «О нет!» И когда рыцарь, герой всех времен и стран, освобождал пленницу, пирог, лопнув, выпустил часть начинки, а Тави, краснея, решила уже сказать рыцарю с огромным мечом: — «Да».

О вы, люди, умершие люди, с детской чертой глаз, омраченных жизнью! Вам улыбаются и вас приветствуют все, кто дышит воздухом беспокойным и сладким невозможной страны. Спала или нет Тави — не знала она; но, устав, видела, как среди армий англичан и французов появились индейцы. Переплет какой книги не удержал их? Все пропало. Проведя рукой по глазам, Тави очнулась и вернулась к хозяйству.

III

Убирая комнату, стирала она тряпкой пыль, гремела стульями, чистила и вытирала посуду, и от возни разгорелись ее нежные щеки. Чувствуя, что они горят, Тави подошла к зеркалу, фыркая и отплевываясь.

— Тьфу, тьфу! Как ведьма, как трубочист, не лучше я этого Сарацина!

Действительно, ее нос был в пыли, полоса сажи марала щеку, а шея засерела от пыли. Уже Тави схватила полотенце, чтобы вытереться, но, подавленная, со вздохом опустила руку, качая головой:

— Не для кого мне прибираться и умываться; хороша я и так.

Действительно, она была хороша и так.

Нет более удобного момента описать женщину, как когда она сама вспомнит об этом; описать, так сказать, при случае. Раз наступил такой случай, грешно было бы упустить его, ожидая нового случая. Вероятно, проницательный читатель заметил, что, подчеркивая наши слова — «она была хороша и так»,— то есть хороша, несмотря на запачканное пылью и сажей личико, мы разумеем не классическую гармонию очертаний, которой именно нельзя быть тронутой сажей, так как сажное пятно мгновенно обезобразит ее. Попробуйте произвести опыт со статуей, попачкав ее прекрасные, однако лишенные иного выражения, кроме выражения условного совершенства, черты чем-нибудь темным, хотя бы той же сажей,— мгновенно исчезнет очарование. Пятно или полоска придадут спокойствию совершенных форм мрамора гибельную черту, так же неумолимо поражающую законченность, как клякса на белом листе бумаги делает вдруг неопрятным весь лист. Равным образом красавица с головы до ног, женщина красоты безупречной и строгой, теряет все, если у ней запылится нос или осквернится щека чернильным пятном; такова природа всякого совершенства, могучего, но и беззащитного, если чему-нибудь в чем-нибудь резко уступило оно.

Однако живая и веселая девушка с неправильным, но милым и нежным лицом, с лучистым и теплым, как тихий звон, взглядом, выражение которого беспрерывно разнообразно; девушка, все время ткущая вокруг себя незримый след легких и беззаботных движений; худенькая, но хорошо сложенная, с открытым

и чистым голосом, с улыбкой, мелькающей, как трепет летней листвы,— может, не вредя себе ровно ничем, пачкаться и пылиться сколько душе угодно; ее вызывающая заботливую улыбку прелесть победит черное тягло сажи потому, что у нее более средств для этого, чем у неподвижной статуи или живой, но с медленным темпом излучаемых впечатлений богини. Может ли последняя запрыгать, хохоча и хлопая себя по бокам? Нет. Но это может всякая просто миловидная девушка, мало заботящаяся о том, как выглядит подобный эксперимент.

Вот все, что мы хотели сказать, воспользовавшись подходящим моментом. Меж тем, вытирая вещи, стоящие на комоде, Тави повела мысленную беседу с Сарацином из гипса. Не раз о его подножие пропавший капитан выколачивал трубку, чем сбил краску, окружив ноги Сарацина ужасными ямами. Сарацин, поднеся руку к глазам, смотрел вдаль, другой же рукой держался за рукоять ятагана.

— Ну, как у вас в Сарацинии?— спросила девушка.

— Да ничего, помаленьку.

— Вот, говорят, вы просветили Испанию,— продолжала Тави,— были вы, говорят, велики, но умалились. Почему это?

— Я гипсовый, я не знаю,— сказал Сарацин.

— Слушай,— подбоченясь, заговорила девушка,— вынь же наконец свой ятаган, свистни им в воздухе и издай боевой клич; сколько лет держишься ты за эфес, а вытащить клинок не можешь. Воспрянь и изобрази!

— Это не выйдет,— отвечал Сарацин,— но вот что я скажу тебе, белая христианская девушка: я смотрю вдаль, где вижу твою судьбу.

Так ясно прозвучали эти слова, как будто Тави сама произнесла их. И от неподвижного взгляда гипсовой фигуры, с думой о его направлении, невольно обратила она свой взгляд в сторону, куда смотрел мавр; смотрел он на стену. Но за ее скучной границей сияла громадная орифламма мира, с мелькающим голубым зигзагом, который был как бы будущее самой Тави. Так часто в тенях теней невидимого чертит неразгаданные знаки наша душа, внимая и обещая им на языке размышляющего молчания все, что лишено слов.

За уборкой, мытьем посуды, беготней в лавочку, стряпней и различными касающимися всего этого со-

бражениями прошел жаркий день, уступив душному вечеру. Но не было ничего забыто из происшествий памятного лисского дня; напротив, чем далее, чем упорнее и тяжелее катились мысли, тем непроницаемее становились события; была в них недоступная и непонятная связь. Как ни мучительно стягивала Тави узел из Крукса, знавшего, что Торп умер; из Крукса, сразившего толпу действиями, покрывшими оскорбительный гвалт воплем немедленного признания; из Крукса, сказавшего, что они скоро увидятся и что ей не надо будет больше служить,— вся сложная плетенка узла оставалась все же ничем иным, как неразделимым шнуром, стягивая который, лишь каменила она его, бессильная ни развязать, ни порвать. Смерть Торпа была, казалось, выбита двойным рельефом медали из одного с ней и Круксом куска. Размышляя о Круксе, не могла она отказать ему в силе и спокойной уверенности, наполняющих ожиданием, но, представляя себя с затерянной жизнью своей, она смущалась, недоумевая, что может быть общего у него с ней,— у человека, который не сегодня так завтра затмит, может быть, Эдисона.

IV

К восьми вечера, соскучившись уже быть одна, Тави стремглав кинулась открывать дверь, услышав сиротливо-приличный стук, с каким входит человек, оглядывающийся на свои следы.

— Я тебя угадала, - крикнула она,— это ты, Рита, мышка, тихоня, и твой, надо быть, похудевший Бутс!

Рыженькая, сухая девушка, с мелкими чертами лица, солидно переступила порог, оглядываясь на шествующего сзади поклонника.

— Это я,— протяжно сказала она,— но почему же Бутс похудел?

За ее спиной хихикнуло существо столь толстенькое и круглое, что, казалось, положенное набок, могло бы вращаться оно в таком положении, подобно волчку, без опасения задеть ложе какой-либо второй точкой фигуры.

— Почему же Бутс похудел? Он кушает, слава богу. Но, милая, поздравляю тебя. Бутс, поздравляйте. Это тебе торт, Тави.

Взяв одной рукой торт и приняв коротенький поцелуй в губы, на который ответила порывистым чмоком в ухо, другой рукой Тави уцепилась за Бутса, притянув его вплотную к себе. Бутс был человек двадцати двух лет, во всем цвете пышной полноты десятилетних великанчиков, при каждом повороте которых вспоминается младенец Гаргантюа.

— Так вы не хотите похудеть, Бутс?—сказал Тави, ущипнув его за вздрогнувший локоть.— Жаль, а тогда вы мне стали бы больше нравиться! Как вы вспотели! Это вам воротничок жмет. Рита, ты не следишь, чтобы он всходил по лестнице тихо, как у него сердце бьется, как дышит — бедный, бедный! Вам надо попудриться. Хотите, я вас попудрю?

Смеясь, она уже кинулась за пуховкой, но Бутс, подняв обе руки, защитился этим движением с самым жалким видом; искренний испуг и смятение выразились в побагровевшем его лице, а глаза стали влажны, но, поддавшись чему-то смешному, он неожиданно фыркнул, хихикнул и залился тихим смехом.

— По-пу... по-пудриться,— выговорил он наконец, задыхаясь и обтирая лицо платочком,— нет, нет, я никогда, никогда, никогда... не... не пудрюсь! Благодарю вас. Будьте здоровы!

Эти сказанные наспех, но с жаром отвращения к пудре слова Бутса заставили хозяйку шлепнуться на табурет, удерживая обессиливающий хохот руками, прижатыми к лицу; даже Рита рассмеялась с благодушным спокойствием.

— Однако, милочка,— осведомилась она,— ты так возбуждена, что мне стало тревожно. А? Что с тобой?

Новый стук в дверь перебил это замечание.

— Я весь вечер буду такая!—успела сказать Тави.— Видишь ли, моя милая, у меня нервы.

Все еще смеясь, открыла она дверь, приняв в объятия чернокудрявую, со смуглым лицом маленькой обезьянки, в огромной шляпе, Целестину Дюфор, некогда служившую вместе с ней в книжной торговле.

— Здравствуй, Целестиночка, здравствуй!

— Поздравляю, Тавушка, поздравляю!

— Да, старость не радость. Целестинка, негодная, с кем ты пришла? Ах, это твой брат!

Взявшись за руки, скакнули они друг перед другом разка три; затем Тави была изысканно и хлестко поздравлена Флаком, братом девушки; его манеры, насме-

шливое, самоуверенное лицо, особый лоск заученных и вертлявых жестов, популярных на публичных балах, делали этого юношу с пожившим лицом опытным кавалером, сметливым в любую минуту.

— Цвести и украшать собой жизненный путь, цветя с каждым годом все пышнее и ярче! — так кончил он поздравление.

Внимательно, с подвижной улыбкой выслушав, как выговор, эту тираду, Тави торжественно подала ему вытянутую палкой руку и, неистово тряся руку любезного поздравителя, со вздохом произнесла:

— Ах! Вы пронзили мне сердце! Пронзил он мне сердце или нет? — тут же обратилась она серьезной скороговоркой по очереди ко всем.— Пронзил или нет? Пронзил или нет? Пронзил или нет? — наткнувшись на учтиво посторонившегося Бутса. Умильно склонив голову, толстяк с азартом проклокотал:

— Нет, нет, нет! — И боязливо покосился на Риту, но его выходка была встречена милостивой гримасой.

Тут Тави собралась вытолкнуть гостей из кухни в освещенную, чистую комнату, но сквозь полуприкрытую дверь донеслась снизу металлическая трель мандолин, на что Флак, поведя бровью, заметил:

— О, вот идут Ральф и Муррей!

Точно, два рослых молодых человека, выдвинув вперед такую же рослую, крупную, мужественного вида девушку с некрасивым, но приятным лицом, стали против двери, выставив одну ногу и тронув рукой бархатные береты, вырвали из струн «безумно увлекательный» вальс. Так они и вошли с вальсом, так и раскланялись, не переставая играть. Тут самый очаровательный черт, который сидел когда-либо под юбкой, взвизгнув, дернул девушек за икры, со стоном кинулись они к кавалерам, приладились к их обнявшей руке и завертелись на одном месте, так как вертеться по кругу было бы немыслимо в такой тесноте даже цыплятам. Хотя Бутс более поворачивался, чем танцевал, Тави, казалось, была довольна.

— Но вы прелестно танцуете! — шепнула она.— Так легко, как пуховичок!

И добрый толстяк от всего сердца простил ей дерзновенную пудру. В это время высокая девушка, которую звали Алиса, прехладнокровно мяла и вертела в руках жеманно сияющую Риту; наконец Целестина стукнулась спиной об одного музыканта, и бал кончился.

— Как вы более живописны,— сказала Тави молодцам в беретах, чей одинаковый костюм состоял из голубых блуз с красными атласными воротниками,— то мы устроим пестринку. Что, если посажу я вас одного рядом с собой,— именно вас, Муррей, ибо вы приятно мне улыбаетесь, к тому же белое мое платье и черный пояс — одно к другому подходит?! Ральф, деточка, идите сюда! Алиса, дай, дружок, я к тебе немножко прижмусь.

Они обнялись и погладили друг друга по голове со смехом и теплотой.

— Вот, как-то теперь отраднее,— ну, идите, идите, садитесь, садитесь все, все, все! Этот стул хромой; этот, хотя и не хромой, но хрупок для вас, Бутс; ну, все сели? Уф!

Так, болтая, смеясь, проталкивая одного и усаживая-пересаживая другого, Тави поместила всех за круглым столом, сама усевшись меж Алисой и Мурреем. Не без гордости смотрела она на стол. Алиса принесла сладкий пирог, Рита торт, Ральф вытащил колбасу, а Муррей коробку цукат; кроме того, перемигнувшись, басом пообещали они друг другу «выпить как следует», отчего дамы, хмыкнув, пожали плечами, спрашивая друг друга:

— Ты понимаешь что-нибудь? — Нет.— А ты? — Еще меньше тебя!

С этого момента Тави можно было видеть в трех положениях: сидящей, ерзая на стуле, и помахивающей перед собой указательным пальцем, держа остальной кулачок сжатым, словно в нем был орех; вставшей, чтобы, топнув, усилить тем значение каких-либо ее стремительных слов, и парящей в полусогнутом виде над заставленным посудой столом. Смеялась и говорила она без умолку, но как камень лежало что-то под сердцем, мешая вольно вздохнуть. Так ноет иногда зуб — ноет, когда вспомнишь о нем.

Как едят и пьют — нам известно, разве лишь если звякнет оброненная ложка или поперхнется, брызнув изо рта кофеем, смешливый сосед, вызвав визг и отодвигание стульев,— стоит упомянуть об этом.

— Что же твоя поездка, Тави? — спросила Алиса, взглянув на ввернувшую словцо Риту.

— Ты не раздумала служить вообще? — сказала Рита.— Право, твой праздник хоть кому впору!

Тави перевернула блюдечко, подбросила, поймала его и стала еще подбрасывать, говоря:

— С этим делом прозевала, прозевала! Опоздала. Там нанялась другая.

Вдруг захотелось ей рассказать все, но, открыв рот и уже блеснув глазами, почувствовала, что не может. Есть минуты, которых нельзя коснуться без удивления, а может быть, и усмешки со стороны слушателя, во всяком случае, рассказывают их с глазу на глаз, а не в трепете веселого вечерка.

— А... э... э...— этими щебетовидными звуками ограничился ее слабый порыв; она порозовела и толкнула Муррея, написав ему пальцем на щеке: «Фью».

— Оставим это,— равнодушно сказала Тави,— сегодня мне не хочется говорить о моей неудаче.

— Ну, так и быть! — вскричал Ральф, хлопая себя по колену.— Займемся существенным. Неси бутылки, Муррей, а штопор у меня есть.

Ни слова не говоря, Муррей поднялся с лунатическим лицом, вышел и вернулся с бутылками, висящими у него горлышками меж пальцев, как гроздья.

— Вот так ручища,— сказал Флак.— Но где же было это добро?

— Боясь, что мы застанем всех пьяными,— сказал Муррей,— и не желая никому гибели, я оставил их в галерее.

Похохотав, компания стала рассматривать ярлыки. Целестина, обводя пальцами буквы, прочла: «Ром».

— Ром! — вскричала она с ужасом.— Но это нас убьет! Ты станешь пить эту гадость, Алиса? А ты, Рита? Я — нет, ни за что!

— Есть и мускат,— вежливо возразил Ральф,— вот он, водичка для канареек, позор пьющих и нищета философии!

— А что это такое? — спросила Рита, серьезно приглядываясь к бутылке.

— Простая касторка,— сказал Муррей.

Наконец переговорили и перешутили по этому поводу все, и Муррей стал наливать; дамы протягивали ему стаканы, прижимая отмеривающий пальчик почти к самому дну, но постепенно поднимая его выше, как повышался уровень булькающего из бутылки вина.

— А моя, моя, моя скромненькая бутылочка, что я купила,— сказала Тави,— мне подавать ли ее?

— Непременно, непременно! — вскричали мужчины. Бутс тихо потел, кланялся и сиял, вытирая лицо.

— Так выпьем! — предложил более других нетерпеливый Флак.

Тут кто пригубил, кто опрокинул, и стройные поздравления зашумели вкруг Тави, которая, поперхнувшись слегка вином, чихнула, нервно помахав рукой в знак благодарности.

— Всем, всем, всем! — сказала она, тут же подумав: «Интересно, как поздравил бы меня таинственный мой знакомый Крукс?»

Но мысли ее перебились возгласом:

— Так должен я рассказать,— продолжал возгласивший, это был Муррей,— что в преинтереснейшем номере сегодняшней газеты прочел я поразительнейшую вещь, и я думал, Тави, что вы, может быть, вчера слышали об этом, так как были в Лиссе.

— Я тоже читала. Глупости,— сказала, прожевывая пирог, Рита.— Что-то невероятное.

— Так вы не знаете? — закричал Муррей.— Со мной есть эта газета. Речь идет о новом изобретателе. Он полетел так, что все ахнули. Неужели вы не слыхали ничего?

Удерживая знаки тревожного волнения, Тави невинно обратила к нему лицо, мигая с внимающим недоумением, слегка окрашенным беззаботным усилием памяти.

— Я слышала,— протяжно сказала она,— я слышала что-то такое, что-то в этом роде, но, надо думать, я задремала и заспала что говорили в вагоне. Ну, почитайте!

Муррей развернул газету, отыскивая статью, поразившую его.

— Тише,— сказала Рита, хотя все молча ожидали чтения; Муррею же никак не удавалось сразу разыскать нужный столбец. Общество, покашливая, ожидало начала чтения. Было тихо; этой тишине ответила вдруг ставшая неприятно ясной внешняя тишина дома; как будто разом погрузился он в сон, как бы заснул и весь город.

— Что это, как тихо везде! — заметила, нервно оглядываясь, Алиса.— Неужели уже так поздно?

— Вот,— сказал, раскладывая газету, Муррей.— Судите сами, какое волнение произошло в Лиссе. Слушайте! — Но он остановился, как немедленно остано-

вили свое внимание на другом все: быстрый, громкий стук заставил оцепенеть чтеца и слушателей.

— Это что такое? — воскликнула Тави, но еще громче и требовательнее грянули новые удары, и, слабо побледнев, двинулась она с обеспокоенным лицом в кухню, жестом приглашая сидеть всех спокойно. У двери ее опередил Муррей; отстранив девушку, он сильно распахнул дверь; за ней, во тьме, пошевелилась толпа.

Кто понял, кто успел понять, в чем дело, уже вскрикнули и повскакали, грохоча стульями, но Тави, прижав рукой грудь, шаг за шагом отступала к комнате.

— Гром и молния! — сказал, оглядывая гостей, Флак; как он, оглядывались друг на друга все, видя, что бледны и поражены. Но Тави с упавшим сердцем могла только быстро дышать, не веря глазам. Шесть жандармов окружало ее; еще двое, войдя, остановились у двери; остальные, разъединив гостей, наполнили всю квартиру, став зорки и неподвижны, и в лицах их сверкнуло что-то цепное, готовое сорваться по приказанию.

Как вещь, которой только что любовались мы покойно и беззаботно, вырванная мгновенно из рук чужим, полным ненависти движением, исчезает со сразившей настроение болью внутреннего удара, так мгновенно вырван был, сломан и отброшен веселый цвет этого вечера. Страх вдвинул томительное жало в упавшие сердца бледных гостей; вскочив, вскрикнули и переглянулись они, видя по лицам других, как бледны сами, как схвачены и потрясены видом оружия.

— Тави! — вскричала Алиса.

— Я отказываюсь понимать что-нибудь, — с сердцем сказала девушка, мрачно рассматривая остановившегося на пороге человека в черном мундире, в свою очередь, пристально смотревшего на нее. У него был привычно отмечающий центр сцены взгляд; в руке он держал портфель, сжимая другой рукой острый свой подбородок.

— Так объясните, что это все значит, — сказала Тави, стараясь улыбнуться, — это вы привели их? Смотрите, как перепугали вы нас. Я еще вся дрожу. Ведь вы ошиблись, конечно? Тогда извинитесь и уйдите; и то еще я посмотрю, как прощу вас. Это помещение занимаю я. Меня зовут Тави Тум. Вот все, что вам было не нужно знать.

— Тави Тум,— сказал неизвестный,— установить вашу личность — как раз то, что нам нужно. Вы арестованы.

Эти слова вывели из оцепенения всех. Тави, двинув плечом, оттолкнула легшую на него руку жандарма и ушла в угол, повернувшись с тронутым слезами и надменной улыбкой лицом. Ральф и Муррей бросились к середине комнаты, мешая схватить хозяйку.

— Вы совершенно сошли с ума,— горячо заговорил Муррей, протягивая руки, чтобы задержать двинувшихся солдат,— стыдитесь!.. Нет более безобидного и кроткого существа, чем эта девушка, на которую вы нападаете всемером!

Его отбросило движение локтя.

— Здесь есть человек, который знает, что делает,— резко ответил чиновник.— Или вы хотите, чтобы я арестовал также и вас?

Целестина, бросившись на кровать, горько рыдала; Рита, трепеща, бессмысленно твердила, оглядываясь с жалким смехом:

— Уйдемте, уйдемте отсюда! Боже мой, какой ужас!

Но Бутс, вдруг налившись кровью, затопал ногами, схватил и швырнул стул.

— Не сметь, я не дам! — азартно закричал он.

— Молчать! — громко сказал жандарм. Но, уже струсив сам, Бутс умолк с негодующим видом, помялся и стих.

Теперь, когда сказано было все самое страшное, наступила, как это бывает в случаях быстрого и напряженного действия, краткая тишина, подобная ужасной картине, неподвижной, но красноречиво памятной навсегда. Все взгляды были устремлены на пленницу, пытавшуюся тщетно вырваться из четырех сильных рук, механически державших ее. Плача, с открытыми мстительными глазами, с презрительно стиснутым, но полным слез ртом, меж тем как лицо дергалось и тосковало совершенно уже по-детски, Тави перестала наконец рваться и выкручивать руки, но, сколько могла сжав руки, резко и внушительно потрясла ими. Она говорила и задыхалась:

— Я требую,— сказала она со всем пылом отчаяния,— чтобы вы объяснили мне вашу шутку! Сегодня мой праздник, день рождения моего, а вы взяли меня,

как уличную воровку! Вот мои гости, мои друзья,— что подумают они обо мне?!

— Тави, дурочка! — поспешила перебить ее, утирая слезы, Алиса.— Не говори глупостей!

— Подумаем, что ты ребячий кипяток,— сказал, сжимая ей руку, Муррей.— Послушай, с этими людьми препирательства бесполезны. Мы останемся ждать тебя. Не бей их и поезжай, когда так. Ошибка слишком груба. Черт их знает, что они там напутали.

— Одно слово,— сказала Тави человеку, руководившему арестом,— какая причина вашего мерзкого дела?

— Вам будут даны объяснения на месте,— сказал тот, двигая взглядом солдат по направлению к выходу.— Я действую по приказанию и ничего ровно не знаю.

— Лжете,— ответила Тави с гневом и горечью,— лжете, вы лгать привыкли. Что делать вам здесь с целым отрядом? Я снова вас спрашиваю: зачем эта подлость?

— Довольно,— сказал чиновник,— попрощайтесь и идите беспрекословно вниз. Вас отвезут. Ну, господа,— он обратился к гостям,— вас всех я задержу несколько времени. Предстоит обыск. Пока он не окончится, никто отсюда не выйдет.

— Дайте же мне обнять их,— сказала Тави жандармам. Ее отпустили; она обняла друзей, привстав на носки, когда дошло дело до Муррея и Ральфа, и, целуя, вымазала слезами всех. Солдаты не отходили от нее ни на шаг; ей подали шляпу, шарф, теплый жакет. Тыча в его затерявшиеся рукава дрожащими руками, она наспех собралась, ответила восклицаниям воздушными поцелуями, помахала рукой, вышла в громе сабель и сапогов и, заметив, что чиновник обернулся на замедление с таким видом, словно хотел прикрикнуть, спокойно показала язык.

V

Стиснув зубы, глотая слезы и трепеща, как бы толкаемая убийственным ветром, Тави быстро пошла по галерее, среди тесно шагавших вокруг солдат. На дворе, внизу, двигались фонари, стучали копыта; из дверей соседних квартир выглядывали

дети и женщины, уцепившись друг за друга, словно им тоже грозила беда. Со страхом и вопросом смотрели они на помутившееся лицо девушки. Тави из последних сил кивала или беспомощно улыбалась тем, кого знала. Когда шествие равнялось с такой выпускающей свет и голоса дверью, она резко прихлопывалась и из-за нее доносились глухие ругательства. Солдаты спешили; двое шли впереди, махая рукой убраться с дороги тем, кто шел случайно навстречу, и человек мигом прижимался к стене; лишь Кванг, ставший неподвижно по самой середине прохода, с пыхающей в зубах трубкой, отошел так медленно, что жандарм угрожающе потянул саблю.

— Я ничего не думаю! — успел крикнуть Кванг девушке.— До свиданья с торжеством!

Тави блеснула ему глазами так выразительно, что он понял все ее смятение.

— Ну да,— донеслось ей вслед,— схватили, как птицу, и ничего более.

Еще эти темные, но горячие слова грели ее порывом теплого ветра, как все внезапно остановились: на лестницу вбежал солдат, крича:

— Карета уехала! Там перебесились все лошади: дрожат и рвутся, кучер ничего не мог сделать. Рванул, и понесли!

Гул восклицаний покрыл эти слова; меж тем шествие сбилось в кучу и, когда выровнялось, уже прозвучали торопливые приказания. С глубоким наслаждением слушала Тави, как часть солдат, покинув ее, загремела по ступеням вниз — что-то улаживать и выяснять.

— Вот вам,— сказала она сквозь зубы.— Лошади-то умнее вас!

Оставшиеся с ней, подталкивая ее, свели девушку на озаренный окнами дома двор, где, повскакав в седла, с трудом удерживали чем-то напуганных лошадей; они ржали и били копытами, пятясь или шарахаясь с фырканьем, полным ужаса.

— Ну, что же делать? — сказал кто-то с досадой.

— Сажай девушку на седло,— крикнул другой.— Смотрите в оба и помните, что случай опасный!

— Оружие наготове!

— Стой, держи арестованную посередине!

— Чего он боится? — прозвучал осторожный шепот.

— Это никому не известно, тут сам черт не поймет ничего.

Тави подвели к лошади; к ней протянулась рука нагнувшегося в седле солдата; другой, сзади девушки, неожиданно и сильно приподнял ее. Она рванулась, ударив с отчаянием ногой в бок коня, отчего тот внезапно проскакал в ворота на улицу, откуда гулкий, раскалывающий треск подков по булыжнику дал понять всем, что всадник едва сдерживает готовое закусить удила животное; оно храпело и ржало. Тогда раздались крики бешенства кинувшихся кончать дело людей.

— Ну и черт эта девчонка,— сказал тот, кто держал Тави.

— Не хочу,— мрачно сказала она, борясь с увлекающим ее хаосом хватки и возни жестких рук, сопротивляться которым более почти не могла.

— Что за ночь! — раздалось над ее ухом.

— Давайте ближе фонарь! — кричали в стороне.

— Не могу справиться,— сказал жандарм в седле, с которым должна была ехать Тави.— Станьте по сторонам и придержите за узду этого дьявола.

Было темно, как человеку с завязанными глазами: ни звезд, ни луны; редкие фонари окраины мерцали издалека. Порывами налетал ветер. Казалось, в таком мраке навсегда забыт день и что пропало все, кроме стука и голосов. Фонарь, поданный торопливой рукой, озарил Тави каски державших ее солдат и задранную уздой вверх лошадиную голову, с безумием в огромных глазах; из ее рта текла пена. Теперь все крики и голоса были в затылок девушке; наконец ее почти бросили на седло, где, схваченная за талию неподатливой, как обруч, рукой, очутилась она сидящей с пылающим лицом, сожженным высохшими слезами.

— Скачи, Прост! — крикнули солдату, увозящему Тави.— Эй, расступись, все по седлам и догоняйте его; смотри в оба!

— Пусти лошадь,— сказал жандарм.

Державшие коня отбежали; солдат метнулся, ахнул и, прежде чем смолк в оцепеневшем слухе гром хлопнувшего как бы по лицу выстрела, разжал руки, валясь головой вниз, а Тави, потеряв равновесие, скользнула с седла; нога ее подвернулась, и, упав, она подумала, что убита. Лошадь, заржав, исчезла.

Взрыв криков, топот и лязг сабель рванулись со всех сторон. Встав, Тави прислонилась к стене, где тотчас ее схватили, тряся с исступлением и злобой, так как подумали, что выстрелила она.

— Обыщите, отнимите револьвер! — переговаривались перед ее лицом.— Свяжите ее!

Оскорбленная грубым прикосновением, Тави ловко вывернула руку, ударив по лицу ближайшего; в то же время три выстрела, гулко толкнув тьму, с блеском, секнувшим глаза как бы посреди самой свалки, перевернули все; качаясь, двое солдат отошли и повалились со стоном; остальные, вне себя, ринулись куда попало, хватая и отталкивая впопыхах друг друга.

— Нас убивают! Чего смотрите, надо оцепить дом и всю улицу! На лошадей! Где арестованная?!

Застыв, прижалась Тави к стене, с поднятой для защиты рукой; изнемогая от страха, стала она кричать, в то время как паника и грохот лошадиных копыт вместе с меловым мельканием сабель кружились кругом нее, подкашивая колени. Вдруг в самое ее ухо прозвучал быстрый шепот:

— Сдержитесь, в полном молчании повинуйтесь мне.

— А кто это? — таким же шепотом, задыхаясь, спросила девушка.

— Я — Крукс.

Она не успела опомниться, как вокруг ее спины обвилась резким и спокойным усилием твердо отрывающая от земли рука; в то же время шум свалки отдалился, как если бы на нее бросили большое сукно.

VI

Он поднял ее в руках, обвив ими легкое тело девушки так покойно, как будто ничто не угрожало ему, и неторопливо поправился, когда заметил, что ее плечо стиснуто его левой рукой. Но были уже притуплены ее чувства, и только глубокий вздох, вбирающий с болью новую силу изнемогшему сердцу, показал Друду, как было тяжело и как стало теперь легко ей. Она была потрясенно-тиха и бесконечно блаженно-слаба. Но чувство совершенной безопасности охватило уже ее ровным теплом; она как бы скрылась в сомкнувшейся за ней толще стены. Это впечатление поддерживалось

решительной тишиной, в далях которой мелькали лишь подобные шуму платья или плеску глухой струи неровные и ничтожные звуки, отчего подумала она, что скрыта где-то поблизости дома, в месте случайном, но недоступном. По ее лицу скользил, холодя висок, ветер, что могло быть только на открытом пространстве.

— Помогите же мне,— сказала она едва слышно,— все объясните мне, и как можно скорее, мне плохо; рассудок покидает меня. Вы ли это? Где я теперь?

— Терпи и верь,— сказал Друд.— Еще не время для объяснения, пока лучше молчи. Я без угрозы говорю это. Тебе очень неловко?

— Нет, ничего. Но не надо больше меня держать. Я встану, пустите.

— И этому будет время. Там, где мы стоим, сыро. Я по колено в воде.

Тави инстинктивно поджала ноги. «Ты» Друда не тронуло ничего в ее прижавшейся к спасению и защите душе; он говорил «ты» с простотой владеющего положением человека, не придавая форме значения. Она умолкла, но нестихающий ветер загадкой лился в лицо, и девушка не могла ничего понять.

— Я не буду говорить,— виновато сказала Тави,— но можно мне спросить вас об одном только, в два слова?

— Ну говори,— кротко согласился Друд.

— Отчего так тихо? Почему ветер в этих стенах?

— Ветер дует в окно,— сказал, помолчав, Друд,— мы в старом складе; окно склада разрушено; он ниже земли; вода и ветер гуляют в нем.

— Мы не потонем?

— Нет.

— Я только два слова, и ничего больше, молчу.

— Я это вижу.

Она затихла, покачивая ногой, висевшей на сгибе Друдова локтя, с целью испытать его настроение, но Друд сурово подобрал ногу, сказав:

— Чем меньше ты будешь шевелиться, тем лучше. Жди и молчи.

— Молчу, молчу,— поспешно отозвалась девушка; странное явление опрокинуло все ее внимание на круг световой пыли, неподвижно стоящей прямо под ней фосфорическим туманным взором; по нему с медленностью мух бродили желтая и красная точки.

— Что светится? — невольно спросила она. — Как угольки рассыпаны там; объясните же мне, наконец, Крукс, дорогой мой, — вы спасли и добры, но зачем не сказать сразу?

Думая, что она заплачет, Друд осторожно погладил ее засвеженную ветром руку.

— В сыром погребе светится, гниет свод; гнилые балки полны микроскопических насекомых; под ними вода, и, поблескивающая светом, в ней отражена гниль. Вот все, — сказал он, — скоро конец.

Она поверила, посмотрела вверх, но ничего не увидела; стоял ветреный мрак, скованный тишиной, меж тем отражения в воде, о которых говорил Друд, меняясь и переходя из узора в узор, вычертились рассеянным полукругом. Ее томление наконец достигло предела; жажда уразуметь происходящее стала болью острого исступления — еще немного, и она разразилась бы рыданиями и воплем безумным. Ее дрожь усилилась, дыхание было полно стона и тоски. Поняв это, Друд стиснул зубы, каменея от напряжения, увеличившего быстроту вдвое; наконец мог он сказать:

— Смотри. Видишь это окно?

Глотая слезы, Тави протерла глаза, смотря по некоторому уклону вниз, где, без перспективы, что придавало указанному Друдом явлению мнимо доступную руке близость, сиял во тьме узкий вертикальный четырехугольник, внутренность которого дымилась смутными очертаниями; всмотревшись, можно было признать четырехугольник окном; оно увеличивалось с той незаметной ощутительностью, какую дает пример часовой стрелки, если не отрывать от нее глаз. Момент этот, прильнув к магниту опрокинутого сознания, расположился, как железные опилки, неподвижным узором; страх исчез; веселое, бессмысленное «ура!», хватив через край, грянуло в уши Друда ликованием все озарившей догадки, и Тави заскакала в его руках подобно схваченному во время игры козленку.

— Ничего больше, как страннейший распричудливый сон, — сказала она, посмеиваясь, — ну-с, теперь мы с вами поговорим. Во сне не стыдно; никто не узнает, что делаешь и говоришь. Что хочу, то и выпалю; жаль, что я вижу вас только во сне. А не проснуться ли мне? Но сон не страшен уже... Нам кое-что надо бы выяснить, уважаемый Монте-Кристо. Не смейте, не смейте прижимать крепко! Но держать можете. Во сне я не

постесняюсь, велика важность! Знайте, что вы приятны моему сердцу. А я вам приятна? Где ваша машина с колокольчиками? Почему знали вы, что умер старик? Кто вы, скажите мне, таинственный человек? И как вы живете? Не скучно ли, не тяжело ли вам среди бездарных глупцов?

Говоря так, смеялась и трясла она его послушную руку, прижимаясь к его груди, где чувствовала себя уютно, размышляя в то же время о правах сновидения не без упрека себе, но в лени и усталости чрезвычайной.

— Краснею ли я? — думала она вслух.

— Так это твой сон? — спросил Друд так особенно, как звучат голоса во сне.

— Ну да, сон,— беззаботно твердила девушка, держа его руку и смотря на налетающее окно.— Сон,— повторила она, подняв голову, чтобы рассмотреть кирпичную кладку. Окно охватило их и перебросилось взад.

— Сон,— растирая глаза, сказала, топнув ногой, Тави — Друд уже опустил ее. Отекшие ноги заставили ее опереться на стол, и от движения, звякнув, жестяная кружка перекатилась по плите пола. Стеббс молча поднял ее, светясь и улыбаясь всем своим существом.

Она вздрогнула, выпрямилась и перевела взгляд со Стеббса на Друда; отступила, волнуясь, взяла кружку и бросила вновь, прислушиваясь, как звякнула жесть. Неразложимый на призраки голос предмета открыл истину.

— Это не сон,— медленно выговорила, садясь и складывая руки, девушка; сверкнуло все и раздалось в ней чудным ударом.

Друд посмотрел на Стеббса, сказав рукой, что надо уйти. Тави, сжав руки, переступила шага два ближе, так что Друд был с ней теперь рядом.

— Посмотрите на меня долго!

Он посмотрел с тем выражением, желание какого угадал в ней,— покорно и просто.

— Теперь не смотрите на меня.

— Бог с тобой, я не смотрю,— взволнованно проговорил Друд,— сядь и овладей сердцем своим. В себе ты найдешь все.

— Не трогайте, не разговорите меня,— чуть слышно сказала Тави.— Иначе что-то спутается...

Но не по силам было ей происшедшее во всем размахе его. Она встрепенулась.

— Очень много всего,— сказала Тави, взглядывая на Друда с бледным и тяжелым лицом.

Факты были сильнее ее, и она не могла одолеть их ни рассуждением, ни волнением; так резко жизнь бросила ее на другой берег, с которого прежний виден только в тумане, а этот поразителен, но молчит.

— Еще болят руки, так стиснул меня солдат. Спрашивается — за что?

— За тобой следили, думая, что узнают, где найти Друда. Мы перекинулись словами, когда мои колокольчики были еще потехой, когда ты славным сердцем своим встала на защиту осмеянного. Поэтому за тобой шел, а потом ехал приличный человек с умным лицом. Меня зовут Друд — ты слышала обо мне?

С ее лица не сходила задумчивость и покорность, а взгляд, блуждая с тихой рассеянностью, был полон тени,— он не играл, не блестел. Ее впечатления остановились, застилая сознание огромным слепым пятном, и Друд понимал это, но не тревожился.

— Нет, не слышала,— сказала по-прежнему безучастно девушка,— а вы кто?

— Я человек такой же, как ты. Я хочу, чтобы тебе было покойно.

— Мне покойно. Мне хорошо с вами. Здесь так хорошо сидеть. А это — что? — Тави слабо повела рукой.— Ведь это — старинный замок?

— Это маяк, Тави; но он, а также все приюты мои — их много — для тебя за́мки и будут за́мками. Все это для тебя и тебе.

Она подумала, потом улыбнулась.

— Вот как! Но что же... что же... чем же я отличилась?

— Наверное, тем, что ты сама не знаешь этого. Но я шел, а ты остановила меня. Правда, немного прошло времени, однако пора мне заботиться о тебе и с открытым сердцем слушать тебя. Мы, одинокие среди множества нам подобных, живем по другим законам. Час, год, пять или десять лет — не все ли равно? Ошибался и я, но научился не ошибаться. Я тебя зову, девушка, сердце, родное мне, идти со мной в мир, не доступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно. Но тяжело одному сердцу отражать блеск этот; он делается как блеск льда. Будешь ли ты со мной топить лед?

— Я все скажу... Я скажу все; но я сейчас не могу.— Она дышала слабо и тихо: ее взгляд был странно покоен; временами она шептала про себя или покачивала головой.— Я ведь нетребовательна; мне все равно; мне только чтобы не было горести.

— Тави,— сказал Друд так громко, что кровь вернулась к ее лицу,— Тави, очнись!

Она посмотрела на свои руки, провела пальцами по глазам.

— Разве я сплю?! Но верно,— все в тумане кругом. Что это? Что со мной? Очните меня!

Он положил руку на ее голову, потом погладил, как разволновавшегося ребенка.

— Сейчас ты станешь сама собой, Тави; туман рассеется, и все будет не чудесным, не странным; все просто, когда двое думают об одном. Смотри,— стол; на нем хлеб, яичница, кофейник и чашки; в помещении этом живет смотритель маяка, Стеббс; плохой поэт, но хороший друг. Он, правда, друг мне, и я это ценю. Здесь родился и твой образ — год назад, ночью, когда играли мы на стеклянной арфе из пузырьков; а потом я уже видел тебя всегда, пока не нашел. Вот и все; такое же, как и у других, и люди такие же. Только одному из них — мне — суждено было не знать ни расстояний, ни высоты; во всем остальном значительно уступаю я Стеббсу; он и сильнее и проворнее, а также отлично ныряет, чему я не могу научиться, а потому иногда завидую. Хочешь, я позову Стеббса?

— Хочу.— Она взглянула снизу на стоящего перед ней Друда, потом схватила его руку своими обеими ручками и, зажмурясь, крепко потрясла ее, натужив лицо; открыла глаза и рассмеялась смехом, полным тихого удовольствия.— Вы еще мне много покажете?

— Довольно, чтобы тебе не было никогда скучно. Стеббс!

Он стал звать, открыв дверь.

— Иду, иду!— сказал Стеббс с лестницы, где стоял, ожидая зова. Он был причесан, был вымыт, и, хотя дело происходило ночью, его брюки были отчищены бензином и мылом.

— Как хорошо!— сказал он.— Какая отличная ночь! Не хочется оторвать глаз от звездных миров, и я рассматривал их... Что вы сказали?

— Стеббс,— перебил его Друд,— сядь; второй раз мы прощаемся с тобой так внезапно. Но со мной

жизнь, которую я искал, и ей нужен глубокий отдых. Есть также сведения о маяке у тех, кого мы не любим. Поэтому я не задержусь, только поем. Но ты будешь извещен скоро и явишься навсегда.

— Спасибо, Гора,— сказал Стеббс.— Как зовут нового друга?

Друд засмеялся:

— «Великий маленький друг» — зовут его,— «Тави» зовут ее, «Быстрый ручей», «Пленительный звон»...

— Да, нас четырнадцать,— прибавила Тави,— но не все пересчитаны. Остальных, впрочем, вы знаете... А это правда, я — друг вам, друг, но только ведь навсегда?!

— Он знает это. Он — Гора,— сказал Стеббс, наполняя тарелку девушки. Но она не могла есть, лишь выпила, торопясь, кофе и снова стала смотреть поочередно на Друда и Стеббса, в то время как Стеббс спрашивал, куда отправится теперь Друд. Его мучило любопытство. Девушка была не совсем в его вкусе, но Друд принес и берег ее, поэтому Стеббс рассматривал Тави с недоумением почтальона, вскрывшего шифрованное письмо. Но ему было суждено привыкнуть и привязаться к ней очень скоро, гораздо скорее, чем думал в эту минуту он, мысленно сопоставлявший всегда с Друдом Венеру Тангейзера, какой изображена она на полотне, меньше — Диану, еще меньше — Психею; его психологическое разочарование было все же приятным.

Любопытный, как коза, Стеббс остерегся, однако, спрашивать о событиях, зная вперед, что не получит ответа, так как никогда Друд не торопился открывать душу тем, кто не теперь тронул ее. Но он сказал все же немного:

— Ты будешь думать, что я ее спас, как узнаешь впоследствии, что было; нет — она спасение носила в груди своей. Мы шли по одной дороге, я догнал, и она обернулась, и так пойдем вместе теперь.

Затем он встал, принес большое одеяло и подошел к девушке, говоря:

— Не будем медлить, здесь не место засиживаться, воспользуемся темнотой и этим отдыхом, чтобы продолжать путь. Утром не будет уже загадок тебе, я скажу все, но дома. Да, у меня есть дом, Тави, и не один; есть также много друзей, на которых я могу положить-

ся, как на себя. Не бойся ничего. Время принесет нам и простоту, и легкость, и один взгляд на все, и много хороших дней. Тогда эту резкую ночь мы вспомним, как утешение.

Красная, как пион, с отважными слезами в глазах, Тави скрестила руки, и Друд плотно укутал ее, обвязав, чтобы не свалилось одеяло, вязаным шарфом Стеббса. Теперь имела она забавный вид и чувствовала это, слегка шевеля руками, чтобы ощутить взрослость.

— Все гудит внутри,— призналась она,— о-о! Сердче стучит, руки холодные. Каково это — быть птицей?! А?

Все трое враз начали хохотать до боли в боках, до спазм, так что нельзя было ничего сказать, а можно только трясти руками. Тут, более от страха, чем от естественной живости, на Тави напало озорство, и она стала покачиваться, приговаривая:

— Сезам, Сезам, отворись! Избушка на курьих ножках, стань к лесу задом, а ко мне передом!— С нежностью и тревогой посмотрел на нее Друд.— О, не сердитесь, милый!— пламенно вскричала она, пытаясь протянуть руки.— Не сердитесь, поймите меня!

— Как же сердиться,— сказал Друд,— когда стало светло? Нет.— Он застегнул пояс, накрыл голову и махнул рукой Стеббсу.— Я тороплюсь. Сколько раз прощался уже я с тобой, но все-таки мы встречаемся и будем встречаться. Не грусти.

Он подошел к Тави; невольно отступила она, обмерла и очнулась, когда Друд легко поднял ее. Но уже двинулось кругом все подобно обвалу; замораживая и щекоча, от самых ног поднялся к сердцу лед, пространство раздалось, гул сказки покрыл ропот далекой внизу воды, и ветер застрял в ушах.

— Тави?— вопросительно сказал Друд, чувствуя, что он вновь равен для нее летящей стремглав ночи, что он — Гора.

— Ау!— слабо выскочило из одеяла. Но тотчас с восторгом освободила и подняла она голову, крича, как глухому: — Что это светится там, внизу? Это гнилые балки, дерево гниет, светится, вот это что! И пусть никто не поверит, что можно жить так, пусть даже и не знает никто! Теперь не отделить меня от вас, как носик от чайника. Это так в песне поется...— Она оборвала, но сквозь зубы взволнованно и сердито окончила: —

«Ты мне муж будешь, а я буду твоя жена»,— а перед тем так: «Если меня не забудешь, как волну забывает волна... та-та-та-та-та-та-та-та будешь и... та-та-та, та-та-та... жена».

Она уже плакала, так печально показалось ей вдруг, что «волну забывает волна». Затем стал говорить Друд и сказал все, что нужно для глубокой души.

Как все звуки земли имеют отражение здесь, так все, прозвучавшее на высоте, таинственно раздается внизу. В тот час, в те минуты, когда два сердца терпеливо учились биться согласно, седой мэтр изящной словесности, сидя за роскошным своим столом в сутане а-ля Бальзак и бархатной черной шапочке, среди описания великосветского раута, занявшего четыре дня и выходящего довольно удачно, почувствовал вдруг прилив томительных и глухих строк мелькающего стихотворения. Бессильный отстранить это, он стал писать на полях что-то несвязное. И оно очертилось так:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна,
Ты мне мужем приветливым будешь,
А я буду твоя жена.

Он прочел, вспомнил, что жизнь прошла, и удивился варварской версификации четверостишия, выведенной рукой, полной до самых ногтей почтения, с каким пожимали ее.

Не блеск ли ручья, бросающего веселые свои воды в дикую красоту потока, видим мы среди водоворотов его, рассекающего зеленую страну навеки запечатленным путем? Исчез и не исчез тот ручей, но, зачерпнув воду потока, не пьем ли с ней и воду ручья? Равно — есть смех, похожий на наш, и есть печали, тронувшие бы и нашу душу. В одном движении гаснет форма и порода явлений. Ветер струит дым, флюгер и флаг рвутся, вымпел трепещет, летит пыль; бумажки, сор, высокие облака, осенние листья, шляпа прохожего, газ и кисея шарфа, лепестки яблонь — все стремится, отрывается, мчится и — в этот момент — одно. Глухой музыкой тревожит оно остановившуюся среди пути душу и манит. Но тяжелей камня душа: завистливо и бессильно рассматривает она ожившую вихрем даль, зевает и закрывает глаза.

VII

В течение пяти месяцев шесть замкнутых, молчаливых людей делали одно дело, связанные общим планом и общей целью; этими людьми двигал руководитель, встречаясь и разговаривая с ними только в тех случаях, когда это было совершенно необходимо. Они получали и расходовали большие суммы, мелькая по всем путям сообщения с неутомимостью и настойчивостью, способными организовать великое переселение или вызвать войну. Если у них не хватало денег или встречались препятствия, рассекаемые единственно золотым громадным мечом,— треск телеграмм перебегал по стране, вручая замкнутый трепет своей белой руке, открывавшей нетерпеливым женским движением матовые стекла банковых кабин, где причесанный человек нумеровал, подписывал и методично оканчивал дело превращения еще не высохшей подписи в цветные брикеты ассигнаций или золотых свертков, оттягивающих руку к земле.

Вначале маршруты шестерых, посвятивших, казалось, всю жизнь свою тому делу, для которого их призвал руководитель, охватывали огромные пространства. Их пути часто пересекались. Иногда они виделись и говорили о своем, получая новые указания, после чего устремлялись в места, имеющие какое-либо отношение к их задаче, или возвращались на старый след, устанавливая новую точку зрения, делающую путь заманчивее, задачу — отчетливее, приемы — просторнее. Они были все связаны и в то же время каждый был одинок.

Постепенно их путешествия утрачивали грандиозный размах, сосредоточиваясь вокруг нескольких линий, отмеченных на своеобразной карте, в которой мы не поняли бы ничего, сложными знаками. От периферии они стягивались, кружась, к некоему центру или, вернее, к территории с неустойчивыми границами, в пределах которых цель чувствовалась более отчетливо, более вероятно, хотя и определяясь немногими шансами простой случайности, но все же возбуждая решительные надежды.

Уже мерещилась некая глухая развязка. Уже факты, несколько раз проверенные, повторялись блестящей, беглой чертой, подобной отдаленной вспышке беззвучного выстрела; уже прямой след кинулся под ноги,

мгновенно сцепив все тщательные соображения в одно последнее действие... действие развернулось, руки, схватив пустоту, дрогнули, немея в изнеможении, и обратный удар вдребезги разнес таинственные тенета. Затем наступил день, в свете которого ошеломляюще ясно стало на свои места все, видимое обыкновенными глазами обыкновенных людей,— как не было ничего.

Мы возвращаемся к Руне Бегуэм, душа которой подошла к мрачной черте. Ее голос стал сух, взгляд неподвижно спокоен, движения усталы и резки. Но ни разу за все время, что искала смерти пламенному сердцу невинного и бесстрашного человека, она не назвала вещи их настоящими именами и не подумала о них в ужасной тоске. Она гибла и защищалась с холодным отчаянием, найдя опору в уверенности, что смерть Друда освободит и успокоит ее. Эта уверенность, подобная наитию или порыву, вызванному нестерпимой мукой, но длящемуся бесконечно, создала цель, доверенную руководителю, и только с ним говорила она об этом, но всегда с просьбой как можно менее беспокоить ее.

Нет дела и цели, какие рано или поздно не овладели бы всей мыслью и всей душой какого-нибудь одного человека, дотоле, быть может, живущего без особых планов, но с предчувствием и настроением своей роли. Его надо было извлечь из ровной травы голов, узнать и отметить среди множества подобных ему лицом, среди двойников с обманчивым впечатлением оригинала. Казалось, ничто подобное не совместимо с силами и опытом девушки, отъезд и приезд которой отмечался светской газетной хроникой в повышенном тоне. Действительно, она не могла совершить это при всем сознании особенностей задачи и ясном отчете самой себе, что надо было бы сделать; предстоял публичный вызов или пересмотр населения нескольких городов с испытаниями, занявшими бы не один год.

Нужный человек пришел сам, как будто бы ловил минуту изнеможения, чтобы постучать, войти и заговорить. Был слышен по пустынной ночной улице стук колес, звучавший все громче, и Руна, отогнав сон — вернее, мертвую неподвижность мысли, с какой пыталась забыться на жегшей щеку подушке,— прислушивалась к шуму невидимого экипажа.

— Кто едет ночью? Куда?— спрашивала она, невольно замечая, что прислушивается со странным ожида-

нием, что кровь дико стучит; казалось, к ней именно направлен был этот одинокий стук ночи. Все громче звучал он, отчетливее и поспешнее становилась его трескучая трель; кто-то спешил, и Руна приподнялась, вслушиваясь, не загремят ли снова колеса. Но шум стих против ее дома; другой шум, возникающий лениво и смутно, коснулся напряженного слуха; тихий, как пение комара, далекий звонок, еще звонок — ближе, стук отдаленной двери, шорох и замирание смутных шагов. Не выдержав, она позвонила сама, с облегчением чувствуя, как это самостоятельное действие выводит ее из оцепенения.

Тихо постучав, вошла горничная.

— К вам приехали,— сказала она,— и мы не могли ничего сделать. Карета с гербами: из нее вышел человек, настойчиво приказавший передать вам письмо. «Едва его прочтут,— сказал он,— как вы получите приказание немедленно провести меня к госпоже вашей». Мы посоветовались. Видя, что не решаются беспокоить вас, он роздал нам, смеясь, по несколько золотых монет. Нам стало ясно, что такое, по-видимому, важное лицо не решится беспокоить вас по-пустому. «Рискнем!» — подумали мы...

— Как!— невольно возмутясь, сказала Руна.— Лишь несколько золотых монет... Я посмотрю это письмо. Горе вам, если оно недостаточно серьезно для такого неслыханно дерзкого посещения.

Она разорвала конверт, мрачно смотря на горничную, успевшую, запинаясь, пролепетать:

— Никто не знает, почему мы пустили его. В нем что-то есть, будто он знает, что делает. Он так спокоен.

Руна уже не слышала ее. Устремив взгляд на атласный листок, она видела и переживала слово — одно слово: «Друд»; сама фраза могла показаться бессмыслицей всякой иной душе. Она прочла: «По следам Друда» — более ничего не было в той записке, но этого оказалось довольно.

— Подайте одеться,— быстро сказала девушка, мгновенно сжав письмо, как сжимают платок,— ведите этого человека в мраморную гостиную.

Тогда, среди ночи, вспыхнули обращенные к саду окна. Ярко озарил свет статуи и ковры; неестественным оживлением веяло от этого часа ночной тревоги, замкнутой в беззвучное колесо тайны. Болезненно владея

собой, вошла Руна с холодным и неподвижным лицом, увидев там человека, обратившего к ней полуприкрытый взгляд узких тяжелых глаз. Эти глаза выражали острую, почти маниакальную внимательность, равную неприятно резкому звуку; вокруг скул темного лица вились седые, падающие локонами на грудь волосы, оживляя восемнадцатое столетие. Кривая линия бритого рта окрашивала все лицо мрачным светом, напоминающим улыбку Джоконды. Такое лицо могло бы заставить вздрогнуть, если, напевая, беззаботно обернуться к нему. Он был в черном сюртуке и шляпу держал в руках.

Руна вошла с вопросом, но лишь взглянула на посетителя, как понятно стало ей, что не нужен вопрос. Это было как бы продолжением только что примолкшего разговора.

— Я не назову себя,— сказал неизвестный,— а также не объясню вам, почему только теперь, но не позже, не раньше, вхожу сюда. Но вы ждали меня, и я пришел.

Дрожа, знаком пригласила она его сесть и, стиснув руки, села сама, по праву ожидая неслыханного. Без жестов и улыбки продолжал свою речь гость; он сложил на остром колене желтые руки, став более неподвижен, чем мраморные Леандр и Геро сзади него со скорбью и смертью своей. Он сказал:

— Я знаю, как вы живете, знаю, что ваша жизнь полна вечного страха, что ваша молодость гаснет. И я также знаю, что думая в одном направлении, всегда думая об одном и том же, без тени надежды победить этот след молнии, опалившей вас среди вашего прекрасного голубого дня, вы пришли к спокойному и задумчивому решению.

Этими словами ее состояние было схвачено и показано ей самой.

— Ваше имя?— сказала она, отшатываясь и так хрипло, что было близко к вскрику.— Первый раз я вас вижу. Который раз видите вы меня? Разве я говорила с вами? Где? Скажите, кто предал меня? Да, я уже не живу; я грежу и погибаю.

— Кто бы я ни был,— сказал неизвестный, изменив своей неподвижности и слегка покачиваясь с глубокой и зловещей рассеянностью,— я, как и вы,— враг ему, следовательно, друг ваш. Отныне, если наш разговор соединит нас, вы будете звать меня просто — «Руково-

дитель». Друд более жить не должен. Его существование нестерпимо. Он вмешивается в законы природы, и сам он — прямое отрицание их. В этой натуре заложены гигантские силы, которые, захоти он обратить их в любую сторону, создадут катастрофы. Может быть, я один знаю его тайну; сам он никогда не откроет ее. Вы встретили его в момент забавы — сверкающего вызова всем, кто, встречая его в толпе, далек от иных мыслей, кроме той, что видит обыкновенного человека. Но его влияние огромно, его связи бесчисленны. Никто не подозревает, кто он,— одно, другое, третье, десятое имя открывают ему доверчивые двери и уши. Он бродит по мастерским молодых пьяниц, внушая им или обольщая их пейзажами неведомых нам планет, насвистывает поэтам оратории и симфонии, тогда как жизнь вопит о неудобовваримейшей простоте; поддакивает изобретателям, тревожит сны и вмешивается в судьбу. Неподвижную, раз навсегда данную как отчетливая картина жизнь волнует он, и меняет, и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни, обреченные суровым законом бедности и страданию безысходным; холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой. Мир полон его слов, тонких острот, убийственных замечаний и душевных движений без ведома относительно источника, распространившего их. Этот человек должен исчезнуть.

Где слабый ненавидит — сильный уничтожает. Воля и золото говорят теперь между собой. Совершите траты необходимые, быть может, безумные; но помните, что нет спасения без борьбы; не вы нанесете этот удар. Начнем издалека, уверенно сжимая кольцом. По свету бродят цыгане, и они знают многое, что никому не доступно, кроме их грязных кочевий. Они жадны и скрытны. Однако под рукой у меня есть несколько людей особой породы, углубленных, как и я, в рассматривание дымных фигур жизни, в мелькающий и едва слышный трепет ее. Мы сходим по золотой тропе к этим оборванным, волосатым кочевникам, где под полами цветных шатров таятся хитрая красота и сведения самого различного свойства, по тем линиям, на какие нам надо ступить. Но не будем пренебрегать также помощью официальной,

лишь с осторожностью и выбором чрезвычайными, если не хотим, чтобы поиски наши стали достоянием всех. В этом случае наши карты будут смешаны и поражены тем противоречием, в какое станем мы с задачей своей к прочей действительности.

Чем более слушала его Руна, тем яснее возникала ее надежда; и уже не хотелось ей ни о чем спрашивать, но лишь единственно действовать. Глухая пелена укрыла ее душу; без жестокости, без ясного отчета себе, на что решается, блаженно смеясь, сказала она:

— Будьте Руководителем. Я ничего не пожалею на это, ни о чем не вздохну, но буду ждать терпеливо и дам все, что нужно.

Она вышла и принесла все деньги, какие были у нее в этот момент, также принесла чек на крупную сумму.

— Довольно ли этого?

— Пока довольно,— сказал гость,— теперь я могу отлично провести время. А что, безумная девушка, скажете вы, если одно из самых замечательных мошенничеств разыгралось только что на ваших глазах?

Но она улыбнулась — так слабо, как слабо подействовала на нее шутка.

— Вы правы,— сказал посетитель, вставая и отвешивая глубокий поклон.— Когда придет время, я извещу вас обо всем важном. Спокойной ночи.

Он сказал это с резкой улыбкой, пристально посмотрев на нее.

Выразилась ли в жестких словах этих ее собственная жажда отлетевшего в бред и ужас покоя, или было задето что-нибудь еще более значительное — но мгновенной болью исказилось лицо девушки. Вздрогнув, выпрямилась и овладела она собой.

— Идите,— сказала она, быстро и тяжело дыша,— вас зовет пославшая сюда ночь. Идите и убейте его.

— Я выйду и стану на его след; и буду идти по следу не отрываясь,—сказал Руководитель.— Я спешу, ухожу.

Он вышел; его карета отъехала; быстро отлетающий стук колес, прогремев у подъезда, стал вскоре смутным жужжанием. Прислушиваясь к нему, Руна говорила с собой, сжимая руку, смеялась и плакала.

С той ночи стало медленнее идти время. Ее тревога росла; неподвижное упорство человека, вынужденного ожидать пассивно и, может быть, в те часы, когда

ломаются самые острые углы тайного действия, скользящего по земле, росло в ней костенеющей массой, мрачно сжимая губы всякий раз, когда ясно представляла она конец. По-прежнему мелькали среди ее дней улыбка или лицо Друда, данного как бы навсегда в спутники, но уже не так потрясая, не так сбрасывая могучим толчком, как то было недавно. Теперь смутно мерещилось ей рядом с ним другое лицо, но с неуловимыми и тонкими очертаниями, едва выраженным намеком беспокойного света; то пропадало, то появлялось это лицо, и она не могла отчетливо уловить его. Меж тем ее пораженная мысль двигалась по кругу, стиснувшему в себе чувство безотчетной утраты и тупой страх душевной болезни. Это состояние, усиливаясь, ослабевая и вновь усиливаясь, достигло наконец мрачных пустынь, в свинцовом свете которых гнется и кричит жизнь.

На второй день после того, как Друд, смеясь, перешел границу, раскинутую страшной охотой, Руководитель посетил Руну в последний раз. Как приговор выслушала она его слова, не поднимая взгляда, лишь тихо перебирая рукой кисть веера; бледней жемчуга было ее лицо. Казалось, сама ненависть, принявшая жуткий человеческий облик, сидит с ней. Его слова шипели и жгли, и он с трудом, сквозь разорванное злобой дыхание, быстро, как выстрелы, бросал их:

— Не было ни одного момента в связи всех действий и слов наших, не проверенного с точностью астрономического хронометра. Друзья были приведены к молчанию; предатели выслежены и убиты; все негодное, бездарное в этом деле было обречено ничтожеству и бездействию. Мы предусмотрели случайности, высчитали миллионные части шансов,— больше, чем исчисляет сама природа, производя живое существо, сделали мы, но лучший момент упущен. Как, где, кем допущена ошибка? Еще не ясно это, но что в том? Какую черту, какой оттенок мысли кого-либо из связанных с нами людей упустили мы или придали ей неточное значение? А! Я опять спрашиваю этот пустой воздух, когда он уже пуст и невинен! Когда можно смотреть вверх только на птиц! Когда струсившее, или слабое, или сманенное им сердце, покойно улыбаясь, ложится спать, тихо вздохнув!

Он умолк, и Руна подняла глаза. Но более испугалась она теперь, чем когда-либо в худшие минуты

своего бреда. Само бешенство с дергающимся синим лицом сгибалось перед ней, и залитые мраком глаза неистово ссекали острым блеском своим вздрогнувший взгляд девушки.

— Мне нехорошо,— сказала она,— идите; все кончено. И все кончено между нами.

Вдруг слабым стал его голос; плечи поникли, взгляд потух, руки, растерянно и беспомощно дрожа, как будто искали опоры. Он встал, осунувшись; вяло и тускло осмотревшись, скорбно повел он бровью и направился к выходу.

— Я только старик,— услышала девушка,— силы оставляют меня, слабеет зрение, и жизнь, данная на один порыв, восстанет ли опять стальным блеском своим? Я сломан: борьба вничью.

Он удалился, шепча и покачивая головой в свете огромных дверей, делающих его старинную фигуру легкой, как марионетка; забыв о нем, Руна сошла вниз. Ее вело желание двигаться, в то время как смерть была уже решена уснувшей ее душой. Но Руна не знала этого.

Она оделась и вышла, рассеянно кивнув слуге на вопрос, которого и не поняла и не слышала. У нее не было цели, но двигаться среди вечерней толпы манило ее холодным отдыхом шумного и пестрого одиночества. Обычно сияли окна; дрожащие лучи моторов, обгоняя лошадей и людей, то ослепляли спереди прямо в глаза, то брызгали из-за спины, двигаясь и исчезая среди пересекающихся теней. Густая толпа двигалась ей навстречу, раскалываясь перед этим бледным и прекрасным лицом с точностью водораздела, обливающего скалу; небрежно и тихо шла девушка, не замечая ничего, кроме золотых цепей вечерней иллюминации, рассеивающей под небом прозрачный голубой газ. Временами ее внимание отмечало что-нибудь, немедленно принимающее гигантские размеры, как если бы это явление подавляло все остальное: газету, величиной в дом, женское или мужское лицо со страниц «Пищи богов», ширину улицы, казавшейся озаренной пропастью, щель или плиту тротуара, делавшиеся немедленно центром, вокруг которого гремел город.

Постепенно толпа становилась гуще и шире, в ней замечался некоторый беспорядок, разраставшийся в легкую давку. Слышались вопросы и возгласы. Сколько могла, Руна продвигалась вперед, пока не

была вынуждена остановиться. Под ее рукой шмыгали дети; ряды спин, сомкнутых перед ней, скрывали сцену или событие, вокруг которого установилось цепляющееся за любопытство молчание; если кто на мгновение оборачивался из переднего ряда, в его лице светилось сдержанное волнение.

С сознанием, что происходящее или происшедшее там каким-то особым образом относится к ней, хотя никак не могла бы сказать, почему это, а не другое чувство вызвано было уличным внезапным затором, Руна громко и спокойно произнесла:

— Пропустите меня.

Этот тон, выработанный столетиями, действовал всегда одинаково. Часть людей отскочила, часть, изогнувшись, вытолкнута была раздавшейся массой, и девушка вошла в круг.

Она не замечала теперь, что привлекла больше внимания, чем человек, лежавший ничком в позе прильнувшего к тротуару, как бы слушая подземные голоса. У самых ее ног блестел расползающийся кровяной развод, с терпким, сырым запахом. Лежащий был прекрасно одет, его темные волосы мокли в крови и на ней же лежали полусогнутые пальцы левой руки.

Безмолвно, глубоко и тяжко вздыхая, смотрела Руна на этого человека, уступая одну мысль другой, пока, молниями сменяя друг друга, не разразились они полной и веселой отрадой. В этот момент девушка была совершенно безумна, но видела, для себя, с истиной, не подлежащей сомнению,— того, кто так часто, так больно, не ведая о том сам, вставал перед ее стиснутым сердцем. Вдруг смолкли и отступили все, едва заговорила она.

— Вы говорите,— тихо сказала Руна, уловив часть беглого разговора,— что этот человек — самоубийца? Что он бросился из окна? О нет! Вот он — враг мой. Земля сильнее его; он мертв, мертв, да; и я вновь буду жить, как жила.

Улыбаясь, осмотрела она всех, кто, внимательно шепча что-то соседу, сам пристально смотрел на нее, и, встав на колени, прижала к губам теплую, тяжелую руку умершего. Со стуком упала рука, когда девушка поднялась.

— Прости,— сказала она.— Все прости. В том мире, где теперь ты, нет ненависти, нет страстей; ты мертв, и я отдохну.

Она откинулась, обмерла и, потеряв сознание, стала биться в руках тех, кто, подскочив, успел ее удержать. Обычная в таких случаях суматоха окончилась появлением врача и вызовом собственного экипажа Руны, так как некоторые из толпы узнали ее.

Вот все, что надо, что можно, что следовало сказать об этой крупной душе, легшей ничком. Но еще несколько слов, может быть, совершенно удовлетворят пытливого читателя, думающего дальше, чем автор, и в одной истории отыскивающего другую, пока не будут исчерпаны все жизни, все любви, все встречи и случаи, пока кроткие могильные холмы, пестреющие зеленью и цветами, не прикроют жизни и дела всех героев, всех людей этого скромного повествования о битвах и делах душевных. Так, следуя за выздоровевшей, но совершенно забывшей все девушкой, отметим мы и ее брак с Квинсеем, твердой рукой протянувшим ей новые, не менее чудесные цветы жизни, и возвращение жизнерадостности,—и все, чем дышит и живет человек, когда судьба благоприятна ему. Только иногда, обращая взгляд к небу, где вольные черты птиц от горизонта до горизонта ведут свой невидимый голубой путь, Руна Квинсей пыталась припомнить нечто, задумчиво сдвигая тонкие брови свои; но момент гас, и лишь его тень, светлым эхом возвращаясь издали, шептала слова — подслушанные ли где или возникшие чужой волей? — быть может, слышанные еще в детстве:

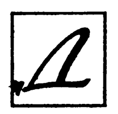
Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна...

14 ноября 1921 г.
28-го марта 23 г.

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ



I



ул ветер...» — написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн, на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи я занимался рассматриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло:

«Дик Фарменон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова: «Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела — Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги,— прочел

много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова «Я все знаю»; затем развеселился и стал хохотать — понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий, как щелчки, дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»; там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел.

Моольс сказал:

— Он нашел клад.

— Нет,— возразил Патрик.— Он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

— А я слышал,— заговорил ленивый, укравший у меня складной нож Каррель — Гусиная шея,— что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

— А я думаю, что продал он душу дьяволу,— заявил Болинас, повар,— иначе так сразу не построишь дворцов.

— Не спросить ли у Головы с дыркой,— осведомился Патрик (это было прозвище, которое они дали мне),— у Санди Пруэля, который все знает?

Гнусный — о, какой гнусный! — смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие — в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньолы» ушел к любовнице, а шкипер и его брат сидели в трактире,— но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой-столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, как будете встревожены

вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пень.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами.

«Почему ему так повезло,— думал я,— почему?..» Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу,— с 17 октября, когда я поступил на «Эспаньолу», по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты: разбитая чашка с голубой надписью «Дорогому мужу от верной жены»; утопленное дубовое ведро, которое я же сам по требованию шкипера украл на палубе «Западного зерна»; украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое — все мной — стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос: кто я — мальчик или мужчина? Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина» — мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь,— она сказала: «Ну-ка, посторонись, мальчик»,— то почему я думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить: «Эй вы, мясо акулы!» Если же я мужчина — что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя!» — то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неуютно. Выл ветер. «Вой!» — говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. «Лей!» — говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно, не только мой счет со шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаянное тело...

II

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно»,— ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну, кто там?! — громче сказал первый.— В кубрике свет. Эй, молодцы!»

Тогда я вылез и увидел — скорее различил во тьме — двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал:

— Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал — густо, окладисто, с хрипотой,— что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!» — или: «Пусть перелопаются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!»

Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные.

— В таком случае,— заявил спутник высокого человека,— не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро.

Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик — песня — шепот: «Тайна — очарование! Тайна — очарование!» «Неужели н а ч а л о с ь?» — спрашивал я себя. Мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей — они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились, каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению,

годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским,— увы! — имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги.

— Поговорим, молодой друг! — сказал старший.— Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

— Клянусь громом! — ответил я.— Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

— Ну,— сказал первый,— мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного выпили.— И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньолы», я хорошенько не понял,— так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими. «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело требует их на мыс Гардена, или, как мы назвали его, «Троячка» — по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

— Сухопутная дорога,— сказал старший, которого звали Дюрок,— отнимает два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше... И ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать. Сколько ты хочешь получить, Санди?

— Так вам надо поговорить со шкипером,— сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув

бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону.

— Вот твой заработок сегодняшней ночи,— сказал он,— здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива, ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой — «спрыснуть» отплытие — и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула — стать к рулю. Вообще, будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать.

— Разве вы его знаете? — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

— О нет! — сказал Эстамп.— Но мы... гм... слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

— Плывем... О рай земной! — Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренне и со всем согласясь, так как все было правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

— В таком случае... Вы, конечно, знаете... Вы не подведете меня,— пробормотал я.

Все переменилось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса — два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер, и, когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал

Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет? Не пойму».

«Верно, то,—должен сказать брат,—это то самое место и есть,—вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит «Мелузина»... да и вообще...»

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, одна нога отставлена далеко, другая—под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем запирал), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

— Клянусь брамселем,—сказал я,—славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

— Что ж, это дело!—сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто.— Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

— Отлично, дайте,—донесся ответ.—Я думаю, не опоздаем ли мы?

— А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой,—крикнул, полуобернувшись, Дюрок.—Миновали ли мы Флиренский маяк?

— Маяк виден справа, проходим под бейдевинд.

Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал:

— Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

— В моей семье не было трусов,— сказал я со скромной гордостью. На самом деле никакой семьи у меня не было.— Море и ветер — вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его, он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

— Ты, Санди, или большой плут или странный характер,— сказал он, подавая мне папиросу.— Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

— Вы должны любить,— ответил я.

— Почему?

— У вас такой вид.

— Никогда не суди по наружности,— сказал, улыбаясь, Дюрок.— Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я как мог взросло покачал головой и ногой.

— У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

— Ну, это как сказать,— ответил Дюрок рассеянно.— Боюсь, что нам будет не до тебя.— Он повернулся к окну и крикнул: — Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая закоченевшие руки, сказал:

— Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты!

— Что я сделаю? — переспросил я.— Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

— Вот как?!— сказал Эстамп.— А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька — вырезанная из журнала женская голо-

ва, страшно пленившая меня,— лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязненькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть по рассеянности, «Томми», и я басом поправил его, сказав:

— Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захохотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал:

— Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите? — закричал он в окно.— Подругу Санди зовут Лукреция!

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

— Не дразните мальчика, Эстамп,— ответил Дюрок.

Новое унижение — от человека, которого я уже сделал своим кумиром! Я вздрогнул, обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда со всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так

держать»,— сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так держать!»

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон, он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что «надо точно узнать». Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньолу», как качель, поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

— Ну что? — сказал он, хлопая меня по плечу.— Вот мы подплываем. Смотри!

Слева, во тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

— Так это и есть тот дом? — спросил я.

— Да. Ты никогда не бывал здесь?

— Нет.

— Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет — вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон; напротив, резко, болезненно-весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

— Что Ганувер? — спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего.— Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы,

Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие.— И он объяснил, куда отвести судно.— Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня.

III

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды.

— Ты капитан, что ли?—сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть.— У, какой синий! Замерз?

— Черт побери!—сказал я.— И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

— Это какую же такую историю?

Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца.

— Какую же это такую историю? Пойдем-ка поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся—словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и, когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх; еще ступени—мы прошли дальше—указывали

поворот влево, я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем; три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

— Постой-ка,— сказал Том,— я поговорю тут с одним человеком.— И отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю,— меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара — в другую и проборoздили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

— Пойдем-ка,— сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко; мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов.

— Я думаю, нам не помешают,— сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три.— Ну-ка выпей, а там принесут, что тебе надо.— И Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, так было все

это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой; вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек со сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

— Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а, взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

— Ты в лохмотьях,— говорил он,— вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс,— прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе.— Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову вбок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

— Ты все знаешь? — пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо.— Санди! — кричал он, тряся злополучную мою руку.— А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?! Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю»!

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения: «В чем дело?» А я только поворачивался, взглядом разя насмешников: человек десять набилось в комнату. Стоял гам: «Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек», «Как варят соус тортю?», «Эй, эй, что у меня в руке?», «Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?», «Ваше образование, объясните течение звезд и прочих планет!». Наконец какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?»

Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не много надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся — горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.

— Кто бросил деньги? — сухо спросил он.

Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история.

— В самом деле, есть у него на руке эти слова,— сказал Том,— покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после.

— Соберите ему деньги,—сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку.— Это вы написали сами?

— Я был бы последний дурак,— сказал я.— Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

— Так... а все-таки, может быть, хорошо все знать.— Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.

— Когда вы поужинаете,— сказал Поп,— пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек,— прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

— При случае в грязь лицом не ударю,— сказал я, упрятывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я — на него. Что-то мелькнуло в его глазах — искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да...» — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда подвели меня за

рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли,— я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю — и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что, «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо готовых подхватить, «вилок», выйду и вернусь на «Эспаньолу», где на всю жизнь случай этот так и останется «случаем», о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно «могшего быть» и «неразъясненного сущего». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску и действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло — напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной — а, как я сказал, помещение было без двери — ее заменял сводчатый широкий проход,— несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор непонятный, но интересный,— вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

— Ну что, опять, говорят, свалился?!

— Было дело, попили. Споят его, как пить дать, или сам сопьется.

— Да уж спился.

— Ему пить нельзя, а все пьют, такая компания.

— А эта шельма Дигэ чего смотрит?

— А ей-то что?!

— Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амуры, а может быть, он на ней женится.

— Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое, вы, говорит, очень здоровый человек, не то что я».

— Значит,— пей, значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

— Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

— Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях.

— А что? Видел ты что-нибудь?

— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи — нигде ничего нет.

— Да, поэтому это есть секрет.

— А зачем секрет?

— Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

— Стану ли я еще тебя спрашивать?!

Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

— Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел — и он клянется — Кваль; Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая уховертка и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил:

— Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни. Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне,— спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал:

— Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу.

Паркер был лакей,— я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный

подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

— Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

— Нет,— сказал он,— но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино,— среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуто чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии в соединении с цветом и светом могут улыбаться, останавливать, задержать вздох; изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал:

— Санди, которого вы желали видеть,— вот он,— затем исчез. Я обернулся — его не было.

— Подойдите-ка сюда, Санди,— устало сказал кто-то.

Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам, с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя — немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

— Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. — Они, как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер; садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел, не сразу, так как оно все подавалось и подавалось подо мной, но наконец укрепился.

— Итак, — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — ты любишь море и ветер!

Я молчал.

— Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах?! — сказал Ганувер молодой даме. — Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один — нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, брит и в очках.

— Волны и эскадрильи! — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокочущим басом.— Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны; цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался — с несколько мрачным лицом — безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мною и Ганувером.

— Что ж,— сказал он, кладя мне на плечо руку,— Санди служит своему призванию как может. Мы еще поплывем, а?

— Далеко поплывем,— сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, легонько подсмеиваясь или серьезно — я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

— А помнишь, как ты меня напоил?

— Разве вы напились?

— Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку. Признавайся, «огненная вода», «клянусь Лукрецией!»,— вскричал он,— честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же он «все знает»,— честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, тем хуже для них: опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя как

часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал:

— Если я что-нибудь «знаю», так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное,— здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку,— я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

— Он мне нравится,— сказал Ганувер,— однако не надо ссориться, Санди.

— Посмотри на меня,— сурово сказал Дюрок; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю.— С тобой шутили, и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянул на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба!» — и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

— Экий вы горячий, Санди,— сказал он.— Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедшей с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей, но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне настроением и что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте.

Мне знакомо преломление воспоминаний,— значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи состояний отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

— С вами говорит Ганувер,— сказал Дюрок.

Встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

— Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать...— Он не договорил, что разбирать.— Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй; все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

— Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики:

— Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках — так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда», «сюда», не говорил ничего. Очутившись в библиотеке — круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле,— мы стали друг к другу лицом и уставились смотреть, каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

— Вы отличились,— сказал он,— похитили судно.— Славная штука, честное слово!

— Едва ли я рисковал,— ответил я,— мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не в накладе. А скажите, почему они так торопились?

— Есть причины! — Поп подвел меня к столу с книгами и журналами.— Не будем говорить сегодня о библиотеке,— продолжал он, когда я уселся.— Правда, что я за эти дни все запустил — материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... вы... одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

— Как же,— сказал я, радуясь, что могу наконец удивить этого изящного юношу.— Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор», потом «Всадник без головы»...

— Простите,— перебил он,— я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу или лучше — послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

— Но где же я и что это за дом?

— Не бойтесь, вы в хороших руках,— сказал Поп.— Имя хозяина Эверест Ганувер, я — его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

— Может ли быть,— вскричал я,— что болтовня на «Мелузине» сущая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

— Могу вас заверить,— сказал Поп,— что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменой судьбы.

«Творится невероятное»,— подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

— Здесь помещаюсь я,— сказал Поп, указывая на одну дверь, и, открыв другую, прибавил: — А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах,— сказал он, видя, что я, смущенный, отстал.— Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги (а я как раз так и думал)? Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

— Я думаю, вы устроитесь,— сказал Поп, оглядывая помещение.— Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

— О да,—сказал я, нервно хихикнув.— Пожалуй, что так. И чемодан и все прочее.

— У вас много вещей? — благосклонно спросил он.

— Как же! — ответил я.— Одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

— Пять?..— Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка.— Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз, по лифту, устроенному

в стене, поднимется завтрак. Два раза — обед, три раза — ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном.— Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: — Алло! Что? Ого, да, здесь новый жилец.— Поп обернулся ко мне.— Что вы желаете?

— Пока ничего,— сказал я со стесненным дыханием.— Как же едят в стене?

— Боже мой! — Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12.— Я должен идти. В стене не едят, конечно, но... но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно как для вас, так и для слуг... Решительно ухожу, Санди. Итак, вы на месте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел; еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

V

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул; перевел дыхание. Потикиванье часов вело многозначительный разговор с тишиной.

Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история».

Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появилась связная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери!» — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жаждя вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: «Кресло, диван, стол, шкап, ковер, картина, шкап, зеркало». Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь, с новым смятением моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины — отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущени-

ями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты — тридцать пять золотых монет,— но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения.

Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: «Никого нет»,— и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался, метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкап окажется полон. Шкап должен был быть полон — в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкап моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная

геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ,— с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина — догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

— Я хочу взять книгу,— сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.

— Но здесь действительно нет никого,— проговорил Галуэй.

— Да. Так вот,— она словно продолжала оборванный разговор,— это непременно случится.

— Ого!

— Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.

— Если это не самомнение.

— Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.

— Так. Дальше! — сказал Галуэй.— А обещание?

— Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томсону.— Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня.— Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу... на всякий случай... Прелестное издание,— продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон: — Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят... эти... эти.

— Кажется, старые друзья. Кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде,—сказал Галуэй.— Что могут они сделать, во всяком случае?!

— Ничего, но это сбивает.

Далее я не расслышал.

— Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

— Идиот!

— Я задал неделовой вопрос, только и всего.

— Если хочешь знать. Даже скажу больше: не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб — страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно.

— В таком случае,— заметил Галуэй,— я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

— То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка «Вас-ис-дас». Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

— Он влопается.

— Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего по своей линии.

— Идем. Что ты взяла?

— Я поищу, нет ли... Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

— Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылущил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода — куда! — хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, со смелой надеждой, что пространство расширится,— безрезультатно. Наконец я повернул ее влево. И произошло — ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? — произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкафа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако,

чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

VI

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме,— сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований: перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликование) — быть одному в таинственных запретных местах. Если я чего опасался, то единственно — большого труда выбраться из тайного к явному; обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди ради целей — откуда мне знать каких? — беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться. Я испытывал огромное удовольствие, более — глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаясь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо,

не слыша ничего, кроме трений о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои опередили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, вдосталь насладиться исследованиями. Как только искушение завиляло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногсшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно — чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра, да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в вышину же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты — двери или сторонние проходы, стынущие в немом свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол — серым и черным в шашечном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен до кафеля, на правильном расстоянии друг от друга блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая лестница со сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения похождений в дальнейшем, я поторопился

достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние от конца до конца прохода в 250 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось, следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой, ничего, что могло бы обусловить выбор — они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного подобного пустяка, чтобы решение «куда идти» выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчался, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усилие; она покатилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевать второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроясь, что еще слышал сердцебиение.

Однако, придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение замысловатее прежнего,— ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако, когда я ее толкнул, она подалась, впустив меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверху тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений я, разумеется, не мог знать, но, имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть выключатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом, обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив коробку, нагнулся. Что это?! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним вверх к самому стеклу, торчало устремленное на меня множество глаз со зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более диковинные, всплывали снизу, как утыканные гвоздями пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отскакивая и кидаясь, как мяч,— все их движения были страшны и дики. Цепенея, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое, взорванная таким образом мысль поспешила соединить

указания вещественных отношений, и я сразу понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтобы выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам в виде мести за их пучеглазое наваждение, растянулся и стал жадно смотреть. Свет не проникал через всю массу воды; значительная часть ее — нижняя — была затенена внизу, отделяя вверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное висячим растениям, привешенным к потолку. Подо мной всплывали и погружались фантастические формы, светя глазами и блестя заостренными со всех сторон панцирями. Я теперь не боялся; вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

Как было светло там, где я шел раньше, так было светло и здесь, но вид прохода существенно отличался от скрещений нижнего коридора. Этот проход, имея мраморный пол из серых с синими узорами плит, был значительно шире, но заметно короче; его совершенно гладкие стены были полны шнуров, тянущихся по фарфоровым скрепам, как струны, из конца в конец. Потолок шел стрельчатыми розетками; лампы, блестя в центре клинообразных выемок свода, были в оправе красной меди. Ничем не задерживаясь, я достиг загораживающей проход створчатой двери не совсем обычного вида; она была почти квадратных размеров, а половины ее раздвигались, уходя в стены. За ней оказался род внутренности большого шкапа, где можно было стать троим. Эта клетка, выложенная темным орехом, с небольшим зеленым диванчиком, как показалось мне, должна составлять некий ключ к моему дальнейшему поведению, хотя и загадочный, но все же ключ, так как я никогда не встречал диванчиков там, где, видимо, не было в них нужды; но раз он стоял, то стоял, конечно, ради прямой цели своей, то есть чтоб на него сели. Не трудно было сообразить, что сидеть здесь, в тупике, должно лишь ожидая — кого? или чего? — мне это предстояло узнать. Не менее внушителен был над диванчиком ряд белых костяных кнопок. Исходя опять-таки из вполне разумного соображения, что эти кнопки не могли быть устроены для вредных

или вообще опасных действий, так что, нажимая их, я могу ошибиться, но никак не рискую своей головой,— я поднял руку, намереваясь произвести опыт...

Совершенно естественно, что в моменты действия с неизвестным воображение торопится предугадать результат, и я, уже нацелив палец, остановил его тыкающее движение, внезапно подумав: не раздастся ли тревога по всему дому, не загремит ли оглушительный звон? Хлопанье дверей, топот бегущих ног, крики: «Где? Кто? Эй! Сюда!» — представились мне так отчетливо в окружающей меня совершенной тишине, что я сел на диванчик и закурил. «Н-да-с! — сказал я.— Мы далеко ушли, дядюшка Гро, а ведь как раз в это время вы подняли бы меня с жалкого ложа и, согрев тумаком, приказали бы идти стучать в темное окно трактира «Заверни к нам», чтоб дали бутылку...» Меня восхищало то, что я ничего не понимаю в делах этого дома, в особенности же совершенная неизвестность, как и что произойдет через час, день, минуту,— как в игре. Маятник мыслей моих делал чудовищные размахи, и ему подвертывались всяческие картины, вплоть до появления карликов. Я не отказался бы увидеть процессию карликов — седобородых, в колпаках и мантиях, крадущихся вдоль стены с хитрым огнем в глазах. Тут стало мне жутко; решившись, я встал и мужественно нажал кнопку, ожидая, не откроется ли стена сбоку. Немедленно меня качнуло, клетка с диванчиком поехала вправо так быстро, что мгновенно скрылся коридор и начали мелькать простенки, то запирая меня, то открывая иные проходы, мимо которых я стал кружиться безостановочно, ухватясь за диван руками и тупо смотря перед собой на смену препятствий и перспектив.

Все это произошло в том категорическом темпе машины, против которого ничто не в состоянии спорить внутри вас, так как протестовать бессмысленно. Я кружился, описывая замкнутую черту внутри обширной трубы, полной стен и отверстий, правильно сменяющих одно другое, и так быстро, что не решался выскочить в какой-нибудь из беспощадно исчезающих коридоров, которые, явясь на момент вровень с клеткой, исчезали, как исчезали, в свою очередь, разделяющие их глухие стены. Вращение было заведено, повидимому, надолго, так как не уменьшалось и, раз начавшись, пошло гулять, как жернов в ветреный день.

Знай я способ остановить это катание вокруг самого себя, я немедленно окончил бы наслаждаться сюрпризом, но из девяти кнопок, еще не испробованных мной, каждая представляла шараду. Не знаю, почему представление об остановке связалось у меня с нижней из них, но, решив после того, как начала уже кружиться голова, что невозможно вертеться всю жизнь, я со злобой прижал эту кнопку, думая: будь что будет. Немедленно, не останавливая вращения, клетка поползла вверх, и я был вознесен высоко по винтовой линии, где моя тюрьма остановилась, продолжая вертеться в стене с ровно таким же количеством простенков и коридоров. Тогда я нажал третью по счету сверху — и махнул вниз, но, как заметил, выше, чем это было вначале, и так же неумолимо вертелся на этой высоте, пока не стало тошнить. Я всполошился. Поочередно, почти не сознавая, что делаю, я начал нажимать кнопки как попало, носясь вверх и вниз с проворством парового молота, пока не ткнул — конечно, случайно — ту кнопку, которую требовалось задеть прежде всего. Клетка остановилась как вкопанная против коридора на неизвестной высоте, и я вышел, пошатываясь.

Теперь, знай я, как направить обратно вращающийся лифт, я немедленно вернулся бы стучать и ломиться в стену библиотеки, но был не в силах пережить вторично вертящийся плен и направился куда глаза глядят, надеясь встретить хотя какое-нибудь открытое пространство. К тому времени я очень устал. Ум мой был помрачен: где я ходил, как спускался и поднимался, встречая то боковые, то пересекающие ходы,— не дано теперь моей памяти восстановить в той наглядности, какая была тогда; я помню лишь тесноту, свет, повороты и лестницы, как одну сверкающую запутанную черту. Наконец, набив ноги так, что пятки горели, я сел в густой тени короткого бокового углубления, не имевшего выхода, и уставился в противоположную стену коридора, где светло и пусто пережидала эту безумную ночь яркая тишина. Назойливо, до головной боли был напряжен тоскующий слух мой, воображая шаги, шорох, всевозможные звуки, но слышал только свое дыхание.

Вдруг далекие голоса заставили меня вскочить — шло несколько человек, с какой стороны — разобрать я еще не мог; наконец шум, становясь слышнее, стал

раздаваться справа. Я установил, что идут двое, женщина и мужчина. Они говорили немногословно, с большими паузами; слова смутно перелетали под сводом, так что нельзя было понять разговор. Я прижался к стене, спиной в сторону приближения, и скоро увидел Ганувера рядом с Дигэ. Оба они были возбуждены. Не знаю, показалось мне это или действительно было так, но лицо хозяина светилось нервной каленой бледностью, а женщина держалась остро и легко, как нож, поднятый для удара.

Естественно, опасаясь быть обнаруженным, я ждал, что они проследуют мимо, хотя искушение выйти и заявить о себе было сильно,— я надеялся остаться снова один, на свой риск и страх и, как мог глубже, ушел в тень. Но, пройдя тупик, где я скрывался, Дигэ и Ганувер остановились — остановились так близко, что, высунув из-за угла голову, я мог видеть их почти против себя.

Здесь разыгралась картина, которой я никогда не забуду.

Говорил Ганувер.

Он стоял, упираясь пальцами левой руки в стену и смотря прямо перед собой, изредка взглядывая на женщину совершенно больными глазами. Правую руку он держал приподнято, проводя ею в такт слов. Дигэ, меньше его ростом, слушала, слегка отвернув наклоненную голову с печальным выражением лица, и была очень хороша теперь — лучше, чем я видел ее в первый раз; было в ее чертах человеческое и простое, но как бы обязательное, из вежливости или расчета.

— В том, что неосязаемо,— сказал Ганувер, продолжая о неизвестном.— Я как бы нахожусь среди множества незримых присутствий.— У него был усталый грудной голос, вызывающий внимание и симпатию.— Но у меня словно завязаны глаза, и я пожимаю, беспрерывно жму множество рук, до утомления жму, уже перестав различать, жестка или мягка, горяча или холодна рука, к которой я прикасаюсь; между тем я должен остановиться на одной и боюсь, что не угадаю ее.

Он умолк. Дигэ сказала:

— Мне тяжело слышать это.

В словах Ганувера (он был еще хмелен, но держался твердо) сквозило необъяснимое горе. Тогда со мной произошло странное, вне воли моей, нечто,

не повторявшееся долго, лет десять, пока не стало натурально свойственным,— это состояние, которое сейчас опишу. Я стал представлять ощущения беседующих, не понимая, что держу это в себе, между тем я вбирал их как бы со стороны. В эту минуту Дигэ положила руку на рукав Ганувера, соразмеряя длину паузы, ловя, так сказать, нужное, не пропустив должного биения времени, после которого, как ни незаметно мала эта духовная мера, говорить будет уже поздно, но и на волос раньше не должно быть сказано. Ганувер молча продолжал видеть то множество рук, о котором только что говорил, и думал о руках вообще, когда его взгляд остановился на белой руке Дигэ с представлением пожатия. Как ни был краток этот взгляд, он немедленно отозвался в воображении Дигэ физическим прикосновением ее ладони к таинственной невидимой струне: разом поймав такт, она сняла с рукава Ганувера свою руку и, протянув ее вверх ладонью, сказала ясным убедительным голосом:

— Вот эта рука!

Как только она это сказала — мое тройное ощущение за себя и других кончилось. Теперь я видел и понимал только то, что видел и слышал. Ганувер, взяв руку женщины, медленно всматривался в ее лицо, как ради опыта читаем мы на расстоянии печатный лист — угадывая, местами прочтя или пропуская слова, с тем, что, связав угаданное, поставим тем самым в линию смысла и то, что не разобрали. Потом он нагнулся и поцеловал руку — без особого увлечения, но очень серьезно, сказав:

— Благодарю. Я верно понял вас, добрая Дигэ, и я не выхожу из этой минуты. Отдадимся течению.

— Отлично,— сказала она, развеселясь и краснея,— мне очень, очень жаль вас. Без любви... это странно и хорошо.

— Без любви,— повторил он,— быть может, она придет... Но и не придет — если что...

— Ее заменит близость. Близость вырастает потом. Это я знаю.

Наступило молчание.

— Теперь,— сказал Ганувер,— ни слова об этом. Все в себе. Итак, я обещал вам показать зерно, из

которого вышел. Отлично. Я — Аладдин, а эта стена — ну, что вы думаете, что это за стена? — Он как будто развеселился, стал улыбаться. — Видите ли вы здесь дверь?

— Нет, я не вижу здесь двери, — ответила, забавляясь ожиданием, Дигэ. — Но я знаю, что она есть.

— Есть, — сказал Ганувер. — Итак... — Он поднял руку, что-то нажал, и невидимая сила подняла вертикальный стенной пласт, открыв вход. Как только мог, я вытянул шею и нашел, что она гораздо длиннее, чем я до сих пор думал. Выпучив глаза и выставив голову, я смотрел внутрь нового тайника, куда вошли Ганувер и Дигэ. Там было освещено. Как скоро я убедился, они вошли не в проход, а в круглую комнату; правая часть ее была от меня скрыта — по той косой линии направления, как я смотрел, но левая сторона и центр, где остановились эти два человека, предстали недалеко от меня, так что я мог слышать весь разговор.

Стены и пол этой комнаты — камеры без окон — были обтянуты лиловым бархатом, с узором по стене из тонкой золотой сетки с клетками шестигранной формы. Потолка я не мог видеть. Слева у стены на узорном золотистом столбе стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога которой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу свободно раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь средней якорной толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов в двадцать пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть глаза — так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту тонкий звон начался в ушах, назойливый, как пение комара, и я догадался, что это — золото, чистое золото, брошенное к столбу женщины с завязанными глазами.

— Вот она, — сказал Ганувер, засовывая руки в карманы и толкая носком тяжело отодвинувшееся двойное кольцо. — Сто сорок лет под водой. Ни ржавчины, ни ракушек, как и должно быть. Пирон был затейливый буканьер. Говорят, что он возил с собой поэта

Касторуччио, чтобы тот описывал стихами все битвы и попойки; ну, и красавиц, разумеется, когда они попадались. Эту цепь он выковывал в 1777 году, за пять лет перед тем, как его повесили. На одном из колец, как видите, сохранилась надпись: «6 апреля 1777 года, волей Иеронима Пирона».

Дигэ что-то сказала. Я слышал ее слова, но не понял.

Это была строка или отрывок стихотворения.

— Да,— объяснил Ганувер,— я был, конечно, беден. Я давно слышал рассказ, как Пирон отрубил эту золотую цепь вместе с якорем, чтобы удрать от английских судов, настигших его внезапно. Вот и следы — видите, здесь рубили.— Он присел на корточки и поднял конец цепи, показывая разрубленное звено.— Случай или судьба, как хотите, заставила меня купаться очень недалеко отсюда, рано утром. Я шел по колено в воде, все дальше и дальше от берега, на глубину и споткнулся, задев что-то твердое большим пальцем ноги. Я наклонился и вытащил из песка, подняв муть, эту сияющую тяжеловесную цепь до половины груди, но, обессилев, упал вместе с ней. Одна только гагара, покачиваясь в зыби, смотрела на меня черным глазом, думая, может быть, что я поймал рыбину. Я был блаженно пьян. Я снова зарыл цепь в песок и приметил место, выложив на берегу ряд камней по касательной моему открытию линии, а потом перенес находку к себе, работая пять ночей.

— Один?! Какая сила нужна!

— Нет, вдвоем,— сказал Ганувер, помолчав.— Мы распиливали ее на куски по мере того, как вытягивали, обыкновенной ручной пилой. Да, руки долго болели. Затем переносили в ведрах, сверху присыпав ракушками. Длилось это пять ночей, и я не спал эти пять ночей, пока не разыскал человека настолько богатого и надежного, чтобы взять весь золотой груз в заклад, не проболтавшись при этом. Я хотел сохранить ее. Моя... Мой компаньон по перетаскиванию танцевал ночью, на берегу, при лунном...

Он замолчал. Хорошая, задумчивая улыбка высекла свет в его расстроенном лице, и он стер ее, проведя от лба вниз ладонью.

Дигэ смотрела на Ганувера молча, прикусив губу. Она была очень бледна и, опустив взгляд к цепи, казалось, отсутствовала, так не к разговору выгля-

дело ее лицо, похожее на лицо слепой, хотя глаза отбрасывали тысячи мыслей.

— Ваш... компаньон — сказала она очень медленно,— оставил всю цепь вам?

Ганувер поднял конец цепи так высоко и с такой силой, какую трудно было предположить в нем, затем опустил.

Трос грохнулся тяжелой струей.

— Я не забывал о нем. Он умер,— сказал Ганувер,— это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. Дальше было так. Я поручил верному человеку распоряжаться, как он хочет, моими деньгами, чтоб самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что возросло до пятнадцати миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек пас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалял мое золото где хотел — в нефти, каменном угле, биржевом поту, судостроении и... я уже забыл где. Я только получал телеграммы. Как это вам нравится?

— Счастливая цепь,— сказала Дигэ, нагибаясь и пробуя приподнять конец троса, но едва пошевелила его.— Не могу.

Она выпрямилась. Ганувер сказал:

— Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор как я выкупил ее и спаял, вы — первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем, и я закрою эту золотую змею.

Он повернулся, думая, что она идет, но, взглянув и уже отойдя, позвал снова:

— Дигэ!

Она стояла, смотря на него пристально, но так рассеянно, что Ганувер с недоумением опустил протянутую к ней руку. Вдруг она закрыла глаза, сделала усилие, но не двинулась. Из-под ее черных ресниц, поднявшихся страшно тихо, дрожа и сверкая, выполз помраченный взгляд — странный и глухой блеск; только мгновение сиял он. Дигэ опустила голову, тронула глаза рукой и, вздохнув, выпрямилась, пошла, но пошатнулась, и Ганувер поддержал ее, вглядываясь с тревогой.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, так. Я... я представила трупы; людей, привязанных к цепи; пленников, которых опускали на дно.

— Это делал Морган,— сказал Ганувер,— Пирон не был столь жесток, и легенда рисует его скорее пьяницей, чудаком, чем драконом.

Они вышли, стена опустилась и стала на свое место, как если бы никогда не была потревожена. Разговаривавшие ушли в ту же сторону, откуда явились. Немедленно я вознамерился взглянуть им вслед, но... хотел ступить и не мог. Ноги окоченели, не повиновались. Я как бы отсидел их в неудобном положении. Вертясь на одной ноге, я поднял кое-как другую и переставил ее, она была тяжела и опустилась как на подушку, без ощущения. Проволочив к ней вторую ногу, я убедился, что могу идти так со скоростью десяти футов в минуту. В глазах стоял золотой блеск, волнами поражая зрачки. Это состояние околдованности длилось минуты три и исчезло так же внезапно, как появилось. Тогда я понял, почему Дигэ закрыла глаза, и припомнил чей-то рассказ о мелком чиновнике-французе в подвалах Национального банка, который, походив среди груд золотых болванок, не мог никак уйти, пока ему не дали стакан вина.

— Так вот что,— бессмысленно твердил я, выйдя наконец из засады и бродя по коридору. Теперь я видел, что был прав, пустившись делать открытия. Женщина заберет Ганувера, и он на ней женится. Золотая цепь извивалась предо мной, ползая по стенам, путалась в ногах. Надо узнать, где он купался, когда нашел трос; кто знает — не осталось ли там и на мою долю? Я вытащил свои золотые монеты. Очень, очень мало! Моя голова кружилась. Я блуждал, с трудом замечая, где, как поворачиваю, иногда словно проваливался, плохо сознавал, о чем думаю, и шел, сам себе посторонний, уже устав надеяться, что наступит конец этим скитаниям в тесноте, свете и тишине. Однако моя внутренняя тревога была, надо думать, сильна, потому что сквозь бред усталости и выжженного ею волнения я, остановясь, резко, как над пропастью, представил, что я заперт и заблудился, а ночь длится. Не страх, но совершенное отчаяние, полное бесконечного равнодушия к тому, что меня здесь накроют, владело мной, когда, почти падая от изнурения, подкравшегося всесильно, я остановился у тупика, похожего на все остальные, лег перед ним и стал бить в стену ногами так, что эхо, завыв гулом, пошло грохотать по всем пространствам, вверху и внизу.

VII

Я не удивился, когда стена сошла со своего места и в яркой глубине обширной, роскошной комнаты я увидел Попа, а за ним — Дюрока в пестром халате. Дюрок поднял, но тотчас опустил револьвер, и оба бросились ко мне, втаскивая меня за руки, за ноги, так как я не мог встать. Я опустился на стул, смеясь и изо всей силы хлопая себя по колену.

— Я вам скажу,— проговорил я,— они женятся! Я видел! Та молодая женщина и ваш хозяин. Он был подвыпивши. Ей-богу! Поцеловал руку. Честь честью! Золотая цепь лежит там, за стеной, сорок поворотов через сорок проходов. Я видел. Я попал в шкап, и теперь судите как хотите, но вам, Дюрок, я буду верен, и баста!

У самого своего лица я увидел стакан с вином. Стекло лязгало о зубы. Я выпил вино, во тьме свалившегося на меня сна еще не успев разобрать, как Дюрок сказал:

— Это ничего, Поп! Санди получил свою порцию; он утолил жажду необычайного. Бесполезно говорить с ним теперь.

Казалось мне, когда я очнулся, что момент потери сознания был краток, и шкипер немедленно стащит с меня куртку, чтоб холод заставил быстрее вскочить. Однако не исчезло ничто за время сна. Дневной свет заглядывал в щели гардин. Я лежал на софе. Попа не было. Дюрок ходил по ковру, нагнув голову, и курил.

Открыв глаза и осознав отлетевшее, я снова закрыл их, придумывая, как держаться, так как не знал, обдадут меня бранью или все благополучно сойдет. Я понял все-таки, что лучшее — быть самим собой. Я сел и сказал Дюроку в спину:

— Я виноват.

— Санди,— сказал он, встрепенувшись и садясь рядом,— виноват-то ты виноват. Засыпая, ты бормотал о разговоре в библиотеке. Это для меня очень важно, и я поэтому не сержусь. Но слушай: если так пойдет дальше, ты действительно будешь все знать. Рассказывай, что было с тобой.

Я хотел встать, но Дюрок толкнул меня в лоб ладонью, и я опять сел. Дикий сон клубился еще во мне. Он стягивал клещами суставы и выламывал скулы зевотой; и сладость, не утоленная сладость мякла

во всех членах. Поспешно собрав мысли, а также закурив, что было моей утренней привычкой, я рассказал, припомнив как мог точнее разговор Галуэя с Дигэ. Ни о чем больше так не расспрашивал и не переспрашивал меня Дюрок, как об этом разговоре.

— Ты должен благодарить счастливый случай, который привел тебя сюда,— заметил он наконец, очень, по-видимому, озабоченный,— впрочем, я вижу, что тебе везет. Ты выспался?

Дюрок не расслышал моего ответа: задумавшись, он тревожно тер лоб; потом встал, снова начал ходить. Каминные часы указывали семь с половиной. Солнце резнуло накуренный воздух из-за гардины тонким лучом. Я сидел осматриваясь. Великолепие этой комнаты, с зеркалами в рамах слоновой кости, мраморной облицовкой окон, резной, затейливой мебелью, цветной шелк, улыбки красоты в сияющих золотом и голубой далью картинах, ноги Дюрока, ступающие по мехам и коврам,— все это было чрезмерно для меня, оно утомляло. Лучше всего дышалось бы мне теперь в море, когда стоишь на палубе, жмурясь под солнцем на острый морской блеск. Все, на что я смотрел, восхищало, но было непривычно.

— Мы поедем, Санди,— сказал, перестав ходить, Дюрок,— потом... но что предисловие? Хочешь отправиться в экспедицию?..

Думая, что он предлагает Африку или другое какое место, где приключения неистощимы, как укусы комаров среди болот, я сказал со всей поспешностью:

— Да! Тысячу раз — да! Клянусь шкурой леопарда, я буду всюду, где вы.

Говоря это, я вскочил. Может быть, он угадал, что я думаю, так как устало рассмеялся:

— Не так далеко, как ты, может быть, хочешь, но — в «страну человеческого сердца». В страну, где темно.

— О, я не понимаю вас,— сказал я, не отрываясь от его сжатого, как тиски, рта, надменного и снисходительного, от серых резких глаз под суровым лбом.— Но мне, право, все равно, если это вам нужно.

— Очень нужно, потому что мне кажется, ты можешь пригодиться, и я уже вчера присматривался к тебе. Скажи мне, сколько времени надо плыть к Сигнальному Пустырю?

Он спрашивал о предместье Лисса, называвшемся так со старинных времен, когда города почти не было,

а на каменных столбах мыса, окрещенного именем «Сигнальный Пустырь», горели ночью смоляные бочки, зажигавшиеся с разрешения колониальных отрядов, как знак, что суда могут войти в Сигнальную бухту. Ныне Сигнальный Пустырь был довольно населенное место со своей таможней, почтой и другими подобными учреждениями.

— Думаю,— сказал я,— что полчаса будет достаточно, если ветер хорош. Вы хотите ехать туда?

Он не ответил, вышел в соседнюю комнату и, провозясь там порядочно времени, вернулся, одетый как прибрежный житель, так что от его светского великолепия осталось одно лицо. На нем была кожаная куртка с двойными обшлагами, красный жилет с зелеными стеклянными пуговицами, узкая лакированная шляпа, напоминающая опрокинутый на сковороду котелок; вокруг шеи — клетчатый шарф, а на ногах — поверх коричневых, верблюжьего сукна брюк — мягкие сапоги с толстой подошвой. Люди в таких вот нарядах, как я видел много раз, держат за жилетную пуговицу какого-нибудь раскрашенного вином капитана, стоя под солнцем на набережной среди протянутых канатов и рядов бочек, и рассказывают ему, какие есть выгодные предложения от фирмы «Купи в долг» или «Застрахуй без нужды».

Пока я дивился на него, не смея, конечно, улыбнуться или отпустить замечание, Дюрок подошел к стене между окон и потянул висячий шнурок. Часть стены тотчас вывалилась полукругом, образовав полку с углублением за ней, где вспыхнул свет; за стеной стало жужжать, и я не успел толком сообразить, что произошло, как вровень с упавшей полкой поднялся из стены род стола, на котором были чашки, кофейник с горящей под ним спиртовой лампочкой, булки, масло, сухари и закуски из рыбы и мяса, приготовленные, должно быть, руками кухонного волшебного духа,— столько поджаристости, масла, шипенья и аромата я ощутил среди белых блюд, украшенных рисунком зеленоватых цветов. Сахарница напоминала серебряное пирожное. Ложки, щипцы для сахара, салфетки в эмалированных кольцах и покрытый золотым плетеньем из мельчайших виноградных листьев карминовый графин с коньяком — все явилось, как солнце из туч. Дюрок стал переносить посланное магическими существами на большой стол, говоря:

— Здесь можно обойтись без прислуги. Как видишь, наш хозяин устроился довольно затейливо, а в данном случае просто остроумно. Но поторопимся.

Видя, как он быстро и ловко ест, наливая себе и мне из трепещущего по скатерти розовыми зайчиками графина, я сбился в темпе, стал ежеминутно ронять то нож, то вилку; одно время стеснение едва не замучило меня, но аппетит превозмог, и я управился с едой очень быстро, применив ту уловку, что я будто бы тороплюсь больше Дюрока. Как только я перестал обращать внимание на свои движения, дело пошло как нельзя лучше, я хватал, жевал, глотал, отбрасывал, запивал и остался очень доволен собой. Жуя, я не переставал обдумывать одну штуку, которую не решался сказать, но сказать очень хотел и, может быть, не сказал бы, но Дюрок заметил мой упорный взгляд.

— В чем дело? — сказал он рассеянно, далекий от меня, где-то в своих горных вершинах.

— Кто вы такой? — спросил я и про себя ахнул.

«Сорвалось-таки! — подумал я с горечью.— Теперь держись, Санди!»

— Я?! — сказал Дюрок с величайшим изумлением, устремив на меня взгляд, серый, как сталь. Он расхохотался и, видя, что я оцепенел, прибавил: — Ничего, ничего! Однако я хочу посмотреть, как ты задашь такой же вопрос Эстампу. Я отвечу твоему простосердечию. Я — шахматный игрок.

О шахматах я имел смутное представление, но поневоле удовлетворился этим ответом, смешав в уме шашечную доску с игральными костями и картами. «Одним словом — игрок!» — подумал я, ничуть не разочаровавшись ответом, а, напротив, укрепив свое восхищение. Игрок — значит, молодчинище, хват, рисковый человек. Но, будучи поощрен, я вознамерился спросить что-то еще, как портьера откинулась и вошел Поп.

— Герои спят,— сказал он хрипло; был утомлен, с бледным, бессонным лицом и тотчас тревожно уставился на меня.— Вторые лица все на ногах. Сейчас придет Эстамп. Держу пари, что он отправится с вами. Ну, Санди, ты отколол штуку, и твое счастье, что тебя не заметили в тех местах. Ганувер мог тебя просто убить. Боже сохрани тебя болтать обо всем этом! Будь на нашей стороне, но молчи, раз уж попал в эту историю. Так что же было с тобой вчера?

Я опять рассказал о разговоре в библиотеке, о лифте, аквариуме и золотой цепи.

— Ну, вот видите!—сказал Поп Дюроку.— Человек с отчаяния способен на все. Как раз третьего дня он сказал при мне этой самой Дигэ: «Если все пойдет в том порядке, как идет сейчас, я буду вас просить сыграть самую эффектную роль». Ясно, о чем речь. Все глаза будут обращены на нее, и она своей автоматической, узкой рукой соединит ток.

— Так. Пусть соединит!—сказал Дюрок.— Хотя... да, я понимаю вас.

— Конечно!—горячо подхватил Поп.— Я положительно не видел такого человека, который так верил бы, был бы так убежден. Посмотрите на него, когда он один. Жутко станет. Санди, отправляйтесь к себе. Впрочем, вы опять запутаетесь.

— Оставьте его,— сказал Дюрок,— он будет нужен.

— Не много ли?—Поп стал водить глазами от меня к Дюроку и обратно.— Впрочем, как знаете.

— Что за советы без меня?—сказал, появляясь, сверкающий чистотой Эстамп.— Я тоже хочу. Куда это вы собрались, Дюрок?

— Надо попробовать. Я сделаю попытку, хотя не знаю, что из этого выйдет.

— А! Вылазка в трепещущие траншеи! Ну, когда мы появимся—два таких молодца, как вы да я,— держу сто против одиннадцати, что не устоит даже телеграфный столб! Что?! Уже ели? И выпили? А я еще нет? Как вижу,— капитан с вами и суемудрствует. Здорово, капитан Санди! Ты, я слышал, закладывал всю ночь мины в этих стенах?!

Я фыркнул, так как не мог обидеться.

Эстамп присел к столу, хозяйничая и накладывая в рот что попало, также облегчая графин.— Послушайте, Дюрок, я с вами!

— Я думал, вы останетесь пока с Ганувером,— сказал Дюрок.— Вдобавок при таком щекотливом деле...

— Да, вовремя ввернуть слово!

— Нет. Мы можем смутить...

— И развеселить! За здоровье этой упрямой гусеницы!

— Я говорю серьезно,— настаивал Дюрок,— мне больше нравится мысль провести дело не так шумно...

— ...как я ем!—Эстамп поднял упавший нож.

— Судя по всему, что я знаю,— вставил Поп,— Эстамп очень вам пригодится.

— Конечно! — вскричал молодой человек, подмигивая мне.— Вот и Санди вам скажет, что я прав. Зачем мне вламываться в ваш деликатный разговор? Мы с Санди присядем где-нибудь в кусточках, мух будем ловить... ведь так, Санди?

— Если вы говорите серьезно,— ответил я,— я скажу вот что: раз дело опасное, всякий человек может быть только полезен.

— Что? Дюрок, слышите голос капитана? Как он это изрек!

— А почему вы думаете об опасности? — серьезно спросил Поп.

Теперь я ответил бы, что опасность была необходима для душевного моего спокойствия. «Пылающий мозг и холодная рука» — как поется в песне о Пелегрине. Я сказал бы еще, что от всех этих слов и недомолвок, приготовлений, переодеваний и золотых цепей веет опасностью точно так же, как от молока — скукой, от книги — молчанием, от птицы — полетом, но тогда все неясное было мне ясно без доказательств.

— Потому что такой разговор,— сказал я,— и клянусь гандшпугом, нечего спрашивать того, кто меньше всех знает. Я спрашивать не буду. Я сделаю свое дело, сделаю все, что вы хотите.

— В таком случае вы переоденетесь,— сказал Дюрок Эстампу.— Идите ко мне в спальню, там есть кое-что.— И он увел его, а сам вернулся и стал говорить с Попом на языке, которого я не знал.

Не знаю, что будут они делать на Сигнальном Пустыре, я тем временем побывал там мысленно, как бывал много раз в детстве. Да, я там дрался с подростками и ненавидел их манеру тыкать в глаза растопыренной пятерней. Я презирал эти жестокие и бесчеловечные уловки, предпочитая верный, сильный удар в подбородок всем тонкостям хулиганского измышления. О Сигнальном Пустыре ходила поговорка: «На пустыре и днем — ночь». Там жили худые, жилистые бледные люди с бесцветными глазами и перекошенным ртом. У них были свои нравы, мировоззрения, свой странный патриотизм. Самые ловкие и опасные воры водились на Сигнальном Пустыре, там же процветали пьянство, контрабанда и шайки — целые товарищества взрослых парней, имевших каждое своего

предводителя. Я знал одного матроса с Сигнального. Пустыря — это был одутловатый человек с глазами в виде двух острых треугольников; он никогда не улыбался и не расставался с ножом. Установилось мнение, которое никто не пытался опровергнуть, что с этими людьми лучше не связываться. Матрос, о котором я говорю, относился презрительно и с ненавистью ко всему, что не было на Пустыре, и, если с ним спорили, неприятно бледнел, улыбаясь так жутко, что пропадала охота спорить. Он ходил всегда один, медленно, едва покачиваясь, руки в карманы, пристально оглядывая и провожая взглядом каждого, кто сам задерживал на его припухшем лице свой взгляд, как будто хотел остановить, чтобы слово за слово начать свару. Вечным припевом его было: «У нас там...», «Мы не так», «Что нам до этого»,— и все такое, отчего казалось, что он родился за тысячи миль от Лисса, в упрямой стране дураков, где, выпячивая грудь, ходят хвастуны с ножами за пазухой.

Немного погодя явился Эстамп, разряженный в синий китель и синие штаны кочегара, в потрепанной фуражке; он прямо подошел к зеркалу, оглядев себя с ног до головы.

Эти переодевания очень интересовали меня, однако смелости не хватило спросить, что будем мы делать трое на Пустыре. Казалось, предстоят отчаянные дела. Как мог, я держался сурово, нахмуренно поглядывая вокруг со значительным видом. Наконец Поп объявил, что уже девять часов, а Дюрок — что надо идти, и мы вышли в светлую тишину пустынных, великолепных стен, прошли сквозь набегающие сияния перспектив, в которых терялся взгляд; потом вышли к винтовой лестнице. Иногда в большом зеркале я видел себя, то есть невысокого молодого человека, с гладко зачесанными назад темными волосами. По-видимому, мой наряд не требовал перемены, он был прост: куртка, простые новые башмаки и серое кепи.

Я заметил, когда пожил довольно, что наша память лучше всего усваивает прямое направление, например улицу; однако представление о скромной квартире (если она не ваша), когда вы побыли в ней всего один раз, а затем пытаетесь припомнить расположение предметов и комнат,— есть наполовину собственные ваши упражнения в архитектуре и обстановке, так что, посетив снова то место, вы видите его иначе. Что же

сказать о гигантском здании Ганувера, где я, разрываемый непривычкой и изумлением, метался, как стрекоза среди огней ламп, в сложных и роскошных пространствах? Естественно, что я смутно запомнил те части здания, где была нужда самостоятельно вникать в них, там же, где я шел за другими, я запомнил лишь, что была путаница лестниц и стен.

Когда мы спустились по последним ступеням, Дюрок взял от Попа длинный ключ и вставил его в замок узорной железной двери; она открылась на полутемный канал с каменным сводом. У площадки, среди других лодок, стоял парусный бот, и мы влезли в него. Дюрок торопился; я, правильно заключив, что предстоит спешное дело, сразу взял весла и развязал парус. Поп передал мне револьвер; спрятав его, я раздулся от гордости, как гриб после дождя. Затем мои начальники махнули друг другу руками. Поп ушел, и мы вышли на веслах в тесноте сырых стен на чистую воду, пройдя под конец каменную арку, заросшую кустами. Я поднял парус. Когда бот отошел от берега, я догадался, отчего выплыли мы из этой крысиной гавани, а не от пристани против дворца: здесь нас никто не мог видеть.

VIII

В это жаркое утро воздух был прозрачен, поэтому против нас ясно виднелась линия строений Сигнального Пустыря. Бот взял с небольшим ветром приличный ход. Эстамп правил на точку, которую ему указал Дюрок; затем все мы закурили, и Дюрок сказал мне, чтобы я крепко молчал не только обо всем том, что может произойти в Пустыре, но чтобы молчал даже и о самой поездке.

— Выворачивайся как знаешь, если кто-нибудь пристанет с расспросами, но лучше всего скажи, что был отдельно, гулял, а про нас ничего не знаешь.

— Солгу, будьте спокойны,— ответил я,— и вообще положитесь на меня окончательно. Я вас не подведу.

К моему удивлению, Эстамп меня более не дразнил. Он с самым спокойным видом взял спички, которые я ему вернул, даже не подмигнул, как делал при всяком удобном случае; вообще он был так серьезен,

как только возможно для его характера. Однако ему скоро надоело молчать, и он стал скороговоркой читать стихи, но, заметив, что никто не смеется, вздохнул, о чем-то задумался. В то время Дюрок расспрашивал меня о Сигнальном Пустыре.

Как я скоро понял, его интересовало знать, чем занимаются жители Пустыря и верно ли, что об этом месте отзываются неодобрительно.

— Отъявленные головорезы,— с жаром сказал я,— мошенники, не приведи бог! Опасное население, что и говорить.— Если я сократил эту характеристику в сторону устрашительности, то она была все же на три четверти правдой, так как в тюрьмах Лисса восемьдесят процентов арестантов родились на Пустыре. Большинство гулящих девок являлось в кабаки и кофейные оттуда же. Вообще, как я уже говорил, Сигнальный Пустырь был территорией жестоких традиций и странной ревности, в силу которой всякий нежитель Пустыря являлся подразумеваемым и естественным врагом. Как это произошло и откуда повело начало, трудно сказать, но ненависть к городу, горожанам в сердцах жителей Пустыря пустила столь глубокие корни, что редко кто, переехав из города в Сигнальный Пустырь, мог там ужиться. Я там три раза дрался с местной молодежью без всяких причин, только потому, что я был из города и парни «задирали» меня.

Все это с небольшим умением и без особой грации я изложил Дюроку, недоумевая, какое значение могут иметь для него сведения о совершенно другом мире, чем тот, в котором он жил.

Наконец он остановил меня, начав говорить с Эстампом. Было бесполезно прислушиваться, так как я понимал слова, но не мог осветить их никаким достоверным смыслом. «Запутанное положение»,— сказал Эстамп. «Которое мы распутаем»,— возразил Дюрок. «На что вы надеетесь?» — «На то же, на что надеялся он».— «Но там могут быть причины серьезнее, чем вы думаете».— «Все узнаем!» — «Однако, Дигэ...» Я не расслышал конца фразы. «Эх, молоды же вы!» — «Нет, правда,— настаивал на чем-то Эстамп,— правда то, что нельзя подумать».— «Я судил не по ней,— сказал Дюрок,— я, может быть, ошибся бы сам, но психический аромат Томсона и Галуэя довольно ясен».

В таком роде размышлений вслух о чем-то хорошо им известном разговор этот продолжался до берега

Сигнального Пустыря. Однако я не разыскал в разговоре никаких объяснений происходящего. Пока что об этом некогда было думать теперь, так как мы приехали и вышли, оставив Эстампа стеречь лодку. Я не заметил у него большой охоты к бездействию. Они условились так: Дюрок должен прислать меня, как только выяснится дальнейшее положение неизвестного дела, с запиской, прочтя которую, Эстамп будет знать, оставаться ли ему сидеть в лодке или присоединиться к нам.

— Однако почему вы берете не меня, а этого мальчика?— сухо спросил Эстамп.— Я говорю серьезно. Может произойти сдвиг в сторону рукопашной, и вы должны признать, что на весах действия я кое-что значу.

— По многим соображениям,— ответил Дюрок.— В силу этих соображений, пока что я должен иметь послушного живого подручного, но не равноправного, как вы.

— Может быть,— сказал Эстамп.— Санди, будь послушен. Будь жив. Смотри у меня!

Я понял, что он в досаде, но пренебрег, так как сам чувствовал бы себя тускло на его месте.

— Ну, идем,— сказал мне Дюрок, и мы пошли, но должны были на минуту остановиться.

Берег в этом месте представлял каменистый спуск, с домами и зеленью наверху. У воды стояли опрокинутые лодки, сушили сети. Здесь же бродило несколько человек, босиком, в соломенных шляпах. Стоило взглянуть на их бледные заросшие лица, чтобы немедленно замкнуться в себе. Оставив свои занятия, они стали на некотором от нас расстоянии, наблюдая, что мы такое и что делаем, и тихо говоря между собой. Их пустые, прищуренные глаза выражали явную неприязнь.

Эстамп, отплыв немного, стал на якорь и смотрел на нас, свесив руки между колен. От группы людей на берегу отделился долговязый человек с узким лицом; он, помахав рукой, крикнул:

— Откуда, приятель?

Дюрок миролюбиво улыбнулся, продолжая молча идти, рядом с ним шагал я. Вдруг другой парень, с придурковатым, наглым лицом, стремительно побежал на нас, но, не добежав шагов пяти, замер как вкопанный, хладнокровно сплюнул и поскакал обратно на одной ноге, держа другую за пятку.

Тогда мы остановились. Дюрок повернул к группе оборванцев и, положив руки в карманы, стал молча смотреть. Казалось, его взгляд разогнал сборище. Похохотав между собой, люди эти вернулись к своим сетям и лодкам, делая вид, что более нас не замечают. Мы поднялись и вошли в пустую узкую улицу.

Она тянулась меж садов и одноэтажных домов из желтого и белого камня, нагретого солнцем. Бродили петухи, куры с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса — смех, брань, надоедливый, протяжный зов. Лаяли собаки, петухи пели. Наконец стали попадаться прохожие: крючковатая старуха, подростки, пьяный человек, шедший, опустив голову, женщины с корзинами, мужчины на подводах. Встречные взглядывали на нас слегка расширенными глазами, проходя мимо, как всякие другие прохожие, но, миновав некоторое расстояние, останавливались; обернувшись, я видел их неподвижные фигуры, смотрящие вслед нам сосредоточенно и угрюмо. Свернув в несколько переулков, где иногда переходили по мостикам над оврагами, мы остановились у тяжелой калитки. Дом был внутри двора; спереди же, на каменной ограде, через которую я мог заглянуть внутрь, висели тряпки и циновки, сушившиеся под солнцем.

— Вот здесь,— сказал Дюрок, смотря на черепичную крышу,— это тот дом. Я узнал его по большому дереву во дворе, как мне рассказывали.

— Очень хорошо,— сказал я, не видя причины говорить что-нибудь другое.

— Ну, идем,— сказал Дюрок, и я ступил следом за ним во двор.

В качестве войска я держался на некотором расстоянии от Дюрока, а он прошел к середине двора и остановился, оглядываясь. На камне у одного порога сидел человек, чиня бочонок; женщина развешивала белье. У помойной ямы тужился, кряхтя, мальчик лет шести, увидев нас, он встал и мрачно натянул штаны.

Но лишь мы явились, любопытство обнаружилось моментально. В окнах показались забавные головы; женщины, раскрыв рот, выскочили на порог и стали смотреть так настойчиво, как смотрят на почтальона.

Дюрок, осмотревшись, направился к одноэтажному флигелю в глубине двора. Мы вошли под тень навеса, к трем окнам с белыми занавесками. Огромная рука приподняла занавеску, и я увидел толстый, как у быка,

глаз, расширивший сонные веки свои при виде двух чужих.

— Сюда, приятель? — сказал глаз.— Ко мне, что ли?

— Вы —Варрен? — спросил Дюрок.

— Я — Варрен. Что хотите?

— Ничего особенного,— сказал Дюрок самым спокойным голосом.— Если здесь живет девушка, которую зовут Молли Варрен, и если она дома, я хочу ее видеть.

Так и есть! Так я и знал, что дело идет о женщине, пусть она девушка — все едино! Ну, скажите, отчего это у меня было совершенно непоколебимое предчувствие, что, как только уедем, явится женщина? Недаром слова Эстампа «упрямая гусеница» заставили меня что-то подозревать в этом роде. Только теперь я понял, что угадал то, чего ждал.

Глаз сверкнул, изумился и потеснился дать место второму глазу, оба глаза не предвещали, судя по выражению их, радостной встречи. Рука отпустила занавеску, кивнув пальцем.

— Зайдите-ка,— сказал этот человек сдавленным ненатуральным голосом, тем более неприятным, что он был адски спокоен.— Зайдите, приятель!

Мы прошли в небольшой коридор и стукнули в дверь налево.

— Войдите,— повторил нежно тот же спокойный голос, и мы очутились в комнате. Между окном и столом стоял человек в нижней рубашке и полосатых брюках, человек так себе, среднего роста, не слабый, по-видимому, с темными гладкими волосами, толстой шеей и перебитым носом, конец которого торчал, как сучок. Ему было лет тридцать. Он заводил карманные часы, а теперь приложил их к уху.

— Молли? — сказал он.

Дюрок повторил, что хочет видеть Молли.

Варрен вышел из-за стола и стал смотреть в упор на Дюрока.

— Бросьте вашу мысль,—сказал он.— Оставьте вашу затею. Она вам не пройдет даром.

— Затей у меня нет никаких, но есть только поручение для вашей сестры.

Дюрок говорил очень вежливо и был совершенно спокоен. Я рассматривал Варрена. Его сестра представилась мне похожей на него, и я стал угрюм.

— Что это за поручение? — сказал Баррен, снова беря часы и бесцельно прикладывая их к уху.— Я должен посмотреть, в чем дело.

— Не проще ли,— возразил Дюрок,— пригласить девушку?

— А в таком случае не проще ли вам выйти вон и прихлопнуть дверь за собой! — проговорил Варрен, начиная тяжело дышать. В то же время он подступил ближе к Дюроку, бегая взглядом по его фигуре.— Что это за маскарад? Вы думаете, я не отличу кочегара или матроса от спесивого идиота, как вы? Зачем вы пришли? Что вам надо от Молли?

Видя, как страшно побледнел Дюрок, я подумал, что тут и конец всей истории и наступит время палить из револьвера, а потому приготовился. Но Дюрок только вздохнул. На один момент его лицо осунулось от усилия, которое сделал он над собой, и я услышал тот же ровный, глубокий голос:

— Я мог бы ответить вам на все или почти на все ваши вопросы, но теперь не скажу ничего. Я вас спрашиваю только: дома Молли Варрен?

Он сказал последние слова так громко, что они были бы слышны через полураскрытую в следующую комнату дверь, если бы там был кто-нибудь. На лбу Варрена появился рисунок жил.

— Можете не говорить! — закричал он.— Вы подосланы, и я знаю кем — этим выскочкой, миллионером из ямы! Однако проваливайте! Молли нет. Она уехала. Попробуйте только производить розыски, и, клянусь черепом дьявола, мы вам переломаем все кости.

Потрясая рукой, он вытянул ее свирепым движением. Дюрок быстро взял руку Варрена выше кисти, нагнул вниз, и... и я неожиданно увидел, что хозяин квартиры с яростью и мучением в лице брякнулся на одно колено, хватаясь другой рукой за руку Дюрока. Дюрок взял эту другую руку Варрена и тряхнул его — вниз, а потом — назад. Варрен упал на локоть, сморщившись, закрыв глаза и прикрывая лицо.

Дюрок потер ладонь о ладонь, затем взглянул на продолжавшего лежать Варрена.

— Это было необходимо,— сказал он,— в другой раз вы будете осторожнее. Санди, идем!

Я выбежал за ним с обожанием, с восторгом зрителя, получившего высокое наслаждение. Много я слышал о силачах, но первый раз видел сильного человека,

казавшегося не сильным,— не таким сильным. Я весь горел, ликовал, ног под собой не слышал от возбуждения. Если таково начало нашего похода, то что же предстоит впереди?

— Боюсь, не сломал ли я ему руку,— сказал Дюрок, когда мы вышли на улицу.

— Она срастется!— вскричал я, не желая портить впечатления никакими соображениями.— Мы ищем Молли?

Момент был таков, что сблизил нас общим возбуждением, и я чувствовал, что имею теперь право кое-что знать. То же, должно быть, признавал и Дюрок, потому что просто сказал мне как равному:

— Происходит запутанное дело: Молли и Ганувер давно знают друг друга, он очень ее любит, но с ней что-то произошло. По крайней мере, на завтрашнем празднике она должна была быть, однако от нее нет ни слуху ни духу уже два месяца, а перед тем она написала, что отказывается быть женой Ганувера и уезжает. Она ничего не объяснила при этом.

Он так законченно выразился, что я понял его нежелание приводить подробности. Но его слова вдруг согрели меня внутри и переполнили благодарностью.

— Я вам очень благодарен,— сказал я как можно тише.

Он повернулся и рассмеялся:

— За что? О, какой ты дурачок, Санди! Сколько тебе лет?

— Шестнадцать,— сказал я,— но скоро будет уже семнадцать.

— Сразу видно, что ты настоящий мужчина,— заметил он, и, как ни груба была лесть, я крякнул, осчастливленный свыше меры. Теперь Дюрок мог, не опасаясь непослушания, приказать мне обойти на четвереньках вокруг залива.

Едва мы подошли к углу, как Дюрок посмотрел назад и остановился. Я стал тоже смотреть. Скоро из ворот вышел Варрен. Мы спрятались за углом, так что он нас не видел, а сам был виден нам через ограду, сквозь ветви. Варрен посмотрел в обе стороны и быстро направился через мостик поперек оврага к поднимающемуся на той стороне переулку.

Едва он скрылся, как из этих же ворот выбежала босоногая девушка с завязанной платком щекой и спешно направилась в нашу сторону. Ее хитрое лицо

отражало разочарование, но, добежав до угла и увидев нас, она застыла на месте, раскрыв рот, потом метнула искоса взглядом, прошла лениво вперед и тотчас вернулась.

— Вы ищете Молли? — сказала она таинственно.

— Вы угадали,— ответил Дюрок, и я тотчас сообразил, что нам подвернулся шанс.

— Я не угадала, я слышала,— сказала эта скуластая барышня (уже я был готов взреветь от тоски, что она скажет: «Это — я, к вашим услугам»), двигая перед собой руками, как будто ловила паутину,— так вот, что я вам скажу: ее здесь действительно нет, а она теперь в бордингаузе, у своей сестры. Идите,— девица махнула рукой,— туда по берегу. Всего вам одну милю пройти. Вы увидите синюю крышу и флаг на мачте. Варрен только что убежал и уж наверно готовит пакость, поэтому торопитесь.

— Благодарю, добрая душа,— сказал Дюрок.— Еще, значит, не все против нас.

— Я не против,— возразила особа,— а даже наоборо. Они девушкой вертят как хотят; очень жаль девочку, потому что, если не вступиться, ее слопают.

— Слопают? — спросил Дюрок.

— А вы не знаете Лемарена? — вопрос прозвучал громовым упреком.

— Нет, не знаем.

— Ну, тогда долго рассказывать. Она сама расскажет. Я уйду, если меня увидят с вами...

Девица всколыхнулась и исчезла за угол, а мы, немедленно следуя ее указанию, и так скоро, как только позволяло дыхание, кинулись на ближайший спуск к берегу, где, как увидели, нам предстоит обогнуть небольшой мыс — в правой стороне от Сигнального Пустыря.

Могли бы мы, конечно, расспросив о дороге, направиться ближайшим путем, по твердой земле, а не по скользкому гравию, но, как правильно указал Дюрок, в данном положении было невыгодно, чтобы нас видели на дорогах.

Справа по обрыву стоял лес, слева блестело утреннее красивое море, а ветер дул на счастье в затылок. Я был рад, что иду берегом. На гравии бежали, шумя, полосы зеленой воды, отливаясь затем назад шепчущей о тишине пеной. Обогнув мыс, мы увидели вдали, на изгибе лиловых холмов берега, синюю

крышу с узким дымком флага, и только тут я вспомнил, что Эстамп ждет известий. То же самое, должно быть, думал Дюрок, так как сказал:

— Эстамп потерпит. То, что впереди нас, важнее его.— Однако, как вы увидите впоследствии, с Эстампом вышло иначе.

IX

За мысом ветер стих, и я услышал слабо долетающую игру на рояле — беглый мотив. Он был ясен и незатейлив, как полевой ветер. Дюрок внезапно остановился, затем пошел тише, с закрытыми глазами, опустив голову. Я подумал, что у него сделались в глазах темные круги от слепого блеска белой гальки; он медленно улыбнулся, не открывая глаз, потом остановился вторично с немного приподнятой рукой. Я не знал, что он думает. Его глаза внезапно открылись, он увидел меня, но продолжал смотреть очень рассеянно, как бы издалека; наконец, заметив, что я удивлен, Дюрок повернулся и, ничего не сказав, направился далее.

Обливаясь потом, достигли мы тени здания. Со стороны моря фасад был обведен двухэтажной террасой с парусиновыми навесами; узкая густая стена со слуховым окном была обращена к нам, а входы были, надо полагать, со стороны леса. Теперь нам предстояло узнать, что это за бордингауз и кто там живет.

Музыкант кончил играть свой кроткий мотив и начал переливать звуки от заостренной трели к глухому бормотанию басом, потом обратно, все очень быстро. Наконец он несколько раз кряду крепко ударил в прелестную тишину морского утра однотонным аккордом и как бы исчез.

— Замечательное дело! — послышался с верхней террасы хриплый, обеспокоенный голос.— Я оставил водки в бутылке выше ярлыка на палец, а теперь она ниже ярлыка. Это вы выпили, Билль?

— Стану я пить чужую водку,— мрачно и благородно ответил Билль.— Я только подумал, не уксус ли это, так как страдаю мигренью, и смочил немного платок.

— Лучше бы вы не страдали мигренью, а научились...

Затем, так как мы уже поднялись по тропинке к задней стороне дома, спор слышался неясным единоборством голосов, а перед нами открылся вход с лестницей. Ближе к углу была вторая дверь.

Среди редких, очень высоких и тенистых деревьев, росших здесь вокруг дома, переходя далее в густой лес, мы не были сразу замечены единственным человеком, которого тут увидели. Это была девушка или девочка — я не смог бы сказать сразу, но склонялся к тому, что девочка. Она ходила босиком по траве, склонив голову и заложив руки назад, взад и вперед с таким видом, как ходят из угла в угол по комнате. Под деревом был на вкопанном столбе круглый стол, покрытый скатертью, на нем лежали разграфленная бумага, карандаш, утюг, молоток и горка орехов. На девушке не было ничего, кроме коричневой юбки и легкого белого платка с синей каймой, накинутого поверх плеч. В ее очень густых, кое-как замотанных волосах торчали длинные шпильки.

Походив, она нехотя уселась к столу, записала что-то в разграфленную бумагу, затем сунула утюг между колен и стала разбивать на нем молотком орехи.

— Здравствуйте,— сказал Дюрок, подходя к ней.— Мне указали, что здесь живет Молли Варрен!

Она повернулась так живо, что все ореховое производство свалилось в траву; выпрямилась, встала и, несколько побледнев, оторопело приподняла руку. По ее очень выразительному, тонкому, слегка сумрачному лицу прошло несколько беглых, странных движений. Тотчас она подошла к нам, не быстро, но словно подлетела с дуновением ветра.

— Молли Варрен! — сказала девушка, будто что-то обдумывая, и вдруг убийственно покраснела.— Пожалуйте, пройдите за мной, я ей скажу.

Она понеслась, щелкая пальцами, а мы, следуя за ней, прошли в небольшую комнату, где было тесно от сундуков и плохой, но чистой мебели. Девочка исчезла, не обратив больше на нас никакого внимания, в другую дверь и с треском захлопнула ее. Мы стояли, сложив руки, с естественным напряжением. За скрывшей эту особу дверью послышалось падение стула или похожего на стул, звон, какой слышен при битье посуды, яростное «черт побери эти крючки», и, после некоторого резкого громыхания, внезапно вошла очень стройная девушка,

с встревоженным улыбающимся лицом, обильной прической и блистающими заботой, нетерпеливыми, ясными черными глазами, одетая в тонкое шелковое платье прекрасного сиреневого оттенка, туфли и бледно-зеленые чулки. Это была все та же босая девочка с утюгом, но я должен был теперь признать, что она девушка.

— Молли — это я,— сказала она недоверчиво, но неудержимо улыбаясь,— скажите все сразу, потому что я очень волнуюсь, хотя по моему лицу этого никогда не заметят.

Я смутился, так как в таком виде она мне очень понравилась.

— Так вы догадались,— сказал Дюрок садясь, как сели мы все.— Я — Джон Дюрок, могу считать себя действительным другом человека, которого назовем сразу: Ганувер. Со мной мальчик... то есть просто один хороший Санди, которому я доверяю.

Она молчала, смотря прямо в глаза Дюрока и неспокойно двигаясь. Ее лицо дергалось. Подождав, Дюрок продолжал:

— Ваш роман, Молли, должен иметь хороший конец. Но происходят тяжелые и непонятные вещи. Я знаю о золотой цепи...

— Лучше бы ее не было! — вскричала Молли.— Вот уж именно тяжесть. Я уверена, что от нее — все!

— Санди,— сказал Дюрок,— сходи взглянуть, не плывет ли лодка Эстампа.

Я встал, задев ногой стул, с тяжелым сердцем, так как слова Дюрока намекали очень ясно, что я мешаю. Выходя, я столкнулся с молодой женщиной встревоженного вида, которая, едва взглянув на меня, уставилась на Дюрока. Уходя, я слышал, как Молли сказала: «Моя сестра Арколь».

Итак, я вышел на середине недопетой песни, начинавшей действовать обаятельно, как все, связанное с тоской и любовью, да еще в лице такой прелестной стрелы, как та девушка, Молли. Мне стало жалко себя, лишенного участия в той истории, где я был у всех под рукой, как перочинный ножик — его сложили и спрятали. И я, имея оправдание, что не преследовал никаких дурных целей, степенно обошел дом, увидел со стороны моря раскрытое окно, признал узор занавески и сел под ним спиной к стене, слыша почти все, что говорилось в комнате.

Разумеется, я пропустил много, пока шел, но был вознагражден тем, что услышал дальше. Говорила, очень нервно и горячо, Молли:

— Да как он приехал? Но что за свидания?! Всего-то и виделись мы семь раз, ф-ф-у-у! Надо было привезти меня немедленно к себе. Что за отсрочки? Из-за этого меня проследили и окончательно все стало известно. Знаете, эти мысли, то есть критика, приходят, когда задумаешься обо всем. Теперь еще у него живет красавица... ну и пусть живет, и не сметь меня звать!

Дюрок засмеялся, но невесело.

— Он сильно пьет, Молли,— сказал Дюрок,— и пьет потому, что получил ваше окончательное письмо. Должно быть, оно не оставляло ему надежды. Красавица, о которой вы говорите,— гостья. Она, как мы думаем, просто скучающая молодая женщина. Она приехала из Индии с братом и приятелем брата; один — журналист, другой, кажется, археолог. Вы знаете, что представляет дворец Ганувера. О нем пошел далеко слух, и эти люди явились взглянуть на чудо архитектуры. Но он оставил их жить, так как не может быть один — совсем один. Молли, сегодня... в двенадцать часов... вы дали слово три месяца назад...

— Да, и я его забрала обратно.

— Слушайте,— сказала Арколь,— я сама часто не знаю, чему верить. Наши братцы работают ради этого подлеца Лемарена. Вообще мы в семье распались. Я жила долго в Риоле, где у меня было другое общество, да, получше компании Лемарена. Что же, служила и все такое, была еще помощницей садовника. Я ушла, навсегда ушла душой от Пустыря. Этого не вернешь. А Молли — Молли, бог тебя знает, Молли, как ты выросла на дороге и не затоптали тебя! Ну, я поберегла, как могла, девочку... Братцы работают — два брата; который хуже, трудно сказать. Уж наверно не одно письмо было скрадено. И они вбили девушке в голову, что Ганувер с ней... не так чтобы очень хорошо. Что у него есть любовницы, что его видели там и там в распутных местах. Надо знать мрачность, в которую она впадает, когда слышит такие вещи!

— Лемарен? — сказал Дюрок.— Молли, кто такой Лемарен?

— Негодяй! Я ненавижу его!

— Верьте мне, хоть стыдно в этом признаться,— продолжала Арколь,— что у Лемарена общие дела

с нашими братцами. Лемарен — хулиган, гроза Пустыря. Ему приглянулась моя сестра, и он с ума сходит, больше от самолюбия и жадности. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Все сложилось скверно, как нельзя хуже. Вот наша семья: отец в тюрьме за хорошие дела, один брат тоже в тюрьме, а другой ждет, когда его посадят. Ганувер четыре года назад оставил деньги,— я знала только, кроме нее, у кого они; это ведь ее доля, которую она согласилась взять,— но, чтобы хоть как-нибудь пользоваться ими, приходилось все время выдумывать предлоги — поездки в Риоль: то к тетке, то к моим подругам и так далее. На глазах нельзя было нам обнаружить ничего: заколотят и отберут. Теперь Ганувер приехал, и его видели с Молли, стали за ней следить, перехватили письмо. Она вспыльчива. На одно слово, что ей было сказано тогда, она ответила, как это она умеет: «Люблю, да, и подите к черту!» Вот тут перед ними и мелькнула нажива. Брат сдуру открыл мне свои намерения, надеясь меня привлечь: отдать девушку Лемарену, чтобы он запугал ее, подчинил себе, а потом — Гануверу, и тянуть деньги, много денег, как от рабыни. Жена должна была обирать мужа ради любовника. Я все рассказала Молли. Ее согнуть нелегко, но добыча была заманчива. Лемарен прямо объявил, что убьет Ганувера в случае брака. Тут началась грязь — сплетни, и угрозы, и издевательства, и упреки, и я должна была с боем взять Молли к себе, когда получила место в этом бордингаузе, место смотрительницы. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Одним словом — кумир дур. Приятели его подражают ему в манерах и одежде. Общие дела с братцами. Плохие это дела! Мы даже не знаем точно, какие дела... Только если Лемарен сядет в тюрьму, то и семейство наше уменьшится на оставшегося братца. Молли, не плачь! Мне так стыдно, так тяжело говорить вам все это! Дай мне платок. Пустяки, не обращайте внимания. Это сейчас пройдет.

— Но это очень грустно — все, что вы говорите,— сказал Дюрок.— Однако я без вас не вернусь, Молли, потому что за этим я и приехал. Медленно, очень медленно, но верно Ганувер умирает. Он окружил свой конец пьяным туманом, ночной жизнью. Заметьте, что не уверенными, уже дрожащими шагами дошел он к сегодняшнему дню, как и назначил,— дню торжест-

ва. И он все сделал для вас, как было то в ваших мечтах, на берегу. Все это я знаю и очень всем расстроен, потому что люблю этого человека.

— А я — я не люблю его?! — пылко сказала девушка.— Скажите «Ганувер» и приложите руку мне к сердцу! Там — любовь! Одна любовь! Приложите! Ну, слышите? Там говорит «да», всегда «да»! Но я говорю «нет»!

При мысли, что Дюрок прикладывает руку к ее груди, у меня самого сильно забилось сердце. Вся история, отдельные черты которой постепенно я узнавал, как бы складывалась на моих глазах из утреннего блеска и ночных тревог, без конца и начала, одной смутной сценой. Впоследствии я узнал женщин и уразумел, что девушка семнадцати лет так же хорошо разбирается в обстоятельствах, поступках людей, как лошадь в арифметике. Теперь же я думал, что если она так сильно противится и огорчена, то, вероятно, права.

Дюрок сказал что-то, чего я не разобрал. Но слова Молли все были ясно слышны, как будто она выбрасывала их в окно и они падали рядом со мной.

— ...вот как все сложилось несчастно. Я его, как он уехал, два года не любила, а только вспоминала очень тепло. Потом я опять начала любить, когда получила письмо, потом много писем. Какие же это были хорошие письма! Затем — подарок, который надо, знаете, хранить так, чтобы не увидели,— такие жемчужины...

Я встал, надеясь заглянуть внутрь и увидеть, что она там показывает, как был поражен неожиданным шествием ко мне Эстампа. Он брел от берегов выступа, разгоряченный, утирая платком пот, и, увидев меня, еще издали покачал головой, внутренно осев; я подошел к нему не очень довольный, так как потерял — о сколько я потерял и волнующих слов и подарков! — прекратилось мое невидимое участие в истории Молли.

— Вы подлецы! — сказал Эстамп.— Вы меня оставили удить рыбу. Где Дюрок?

— Как вы нашли нас? — спросил я.

— Не твое дело. Где Дюрок?

— Он — там! — Я проглотил обиду, так я был обезоружен его гневным лицом.— Там они, трое: он, Молли и ее сестра.

— Веди!

— Послушаите,— возразил я скрепя сердце,— можете вызвать меня на дуэль, если мои слова будут вам обидны, но, знаете, сейчас там самый разгар. Молли плачет, и Дюрок ее уговаривает.

— Так,— сказал он, смотря на меня с проступающей понемногу улыбкой.— Уже подслушал! Ты думаешь, я не вижу, что ямы твоих сапог идут прямехонько от окна? Эх, Санди, капитан Санди, тебя нужно бы прозвать не «Я все знаю», а «Я все слышу»!

Сознавая, что он прав, я мог только покраснеть.

— Не понимаю, как это случилось,— продолжал Эстамп,— что за одни сутки мы так прочно очутились в твоих лапах?! Ну, ну, я пошутил. Веди, капитан! А что, эта Молли хорошенькая?

— Она...— сказал я.— Сами увидите.

— То-то! Ганувер не дурак.

Я пошел к заветной двери, а Эстамп постучал. Дверь открыла Арколь.

Молли вскочила, поспешно вытирая глаза. Дюрок встал.

— Как?— сказал он.— Вы здесь?

— Это свинство с вашей стороны,— начал Эстамп, кланяясь дамам и лишь мельком взглянув на Молли, но тотчас улыбнулся, с ямочками на щеках, и стал говорить с iень серьезно и любезно, как настоящий человек. Он назвал себя, выразил сожаление, что помешал разговаривать, и объяснил, как нашел нас.

— Те же дикари,— сказал он,— которые пугали вас на берегу, за пару золотых монет весьма охотно продали мне нужные сведения. Естественно, я был обозлен, соскучился и вступил с ними в разговор. Здесь, по-видимому, все знают друг друга или кое-что знают, а потому ваш адрес, Молли, был мне сообщен самым толковым образом. Я вас прошу не беспокоиться,— прибавил Эстамп, видя, что девушка вспыхнула,— я сделал это как тонкий дипломат. Двинулось ли наше дело, Дюрок?

Дюрок был очень взволнован. Молли вся дрожала от возбуждения, ее сестра улыбалась насильно, стараясь искусственно спокойным выражением лица внести тень мира в пылкий перелет слов, затронувших, по-видимому, все самое важное в жизни Молли.

Дюрок сказал:

— Я говорю ей, Эстамп, что, если любовь велика, все должно умолкнуть, все другие соображения. Пусть

другие судят о наших поступках как хотят, если есть это вечное оправдание. Ни разница положений, ни состояние не должны стоять на пути и мешать. Надо верить тому, кого любишь — сказал он,— нет высшего доказательства любви. Человек часто не замечает, как своими поступками он производит невыгодное для себя впечатление, не желая в то же время сделать ничего дурного. Что касается вас, Молли, то вы находитесь под вредным и сильным внушением людей, которым не поверили бы ни в чем другом. Они сумели повернуть так, что простое дело соединения вашего с Ганувером стало делом сложным, мутным, обильным неприятными последствиями. Разве Лемарен не говорил, что убьет его? Вы сами это сказали. Находясь в кругу мрачных впечатлений, вы приняли кошмар за действительность. Много помогло здесь и то, что все пошло от золотой цепи. Вы увидели в этом начало рока и боитесь конца, рисующегося вам в подавленном состоянии вашем как ужасная неизвестность. На вашу любовь легла грязная рука, и вы боитесь, что эта грязь окрасит собой все. Вы очень молоды, Молли, а человеку молодому, как вы, довольно иногда созданного им самим призрака, чтобы решить дело в любую сторону, а затем — легче умереть, чем признаться в ошибке.

Девушка начала слушать его с бледным лицом, затем раскраснелась и просидела так, вся красная, до конца.

— Не знаю, за что он любит меня,— сказала она.— О, говорите, говорите еще! Вы так хорошо говорите! Меня надо помять, умягчить, тогда все пройдет. Я уже не боюсь. Я верю вам! Но говорите, пожалуйста!

Тогда Дюрок стал передавать силу своей души этой запуганной, стремительной, самолюбивой и угнетенной девушке.

Я слушал — и каждое его слово запоминал навсегда, но не буду приводить всего, иначе на склоне лет опять ярко припомню этот час, и, наверно, разыграется мигрень.

— Если даже вы принесете ему несчастье, как уверены в том, не бойтесь ничего, даже несчастья, потому что это будет общее ваше горе, и это горе — любовь.

— Он прав, Молли,— сказал Эстамп,— тысячу раз прав. Дюрок — золотое сердце!

— Молли, не упрямься больше,— сказала Арколь,— тебя ждет счастье!

Молли как бы очнулась. В ее глазах заиграл свет, она встала, потерла лоб, заплакала, пальцами прикрывая лицо, но скоро махнула рукой и стала смеяться.

— Вот мне и легче,— сказала она, сморкаясь.— О, что это?! Ф-фу-у-у, точно солнце взошло! Что же это было за наваждение? Мрак какой! Я и не понимаю теперь. Едем скорей! Арколь, ты меня пойми! Я ничего не понимала, и вдруг — ясное зрение.

— Хорошо, хорошо, не волнуйся,— ответила сестра.— Ты будешь собираться?

— Немедленно соберусь! — Она осмотрелась, бросилась к сундуку и стала вынимать из него куски разных материй, кружева, чулки и завязанные пакеты; не прошло и минуты, как вокруг нее валялась груда вещей.— Еще и не сшила ничего! — сказала она горестно.— В чем я поеду?

Эстамп стал уверять, что ее платье ей к лицу и что так хорошо. Не очень довольная, она хмуро прошла мимо нас, что-то ища, но когда ей поднесли зеркало, развеселилась и примирилась. В это время Арколь спокойно свертывала и укладывала все, что было разбросано. Молли, задумчиво посмотрев на нее, сама подобрала вещи и обняла молча сестру.

X

— Я знаю...— сказал голос за окном.

Шаги нескольких людей, удаляясь, огибали угол.

— Только бы не они,— сказала, вдруг побледнев и бросаясь к дверям, Арколь. Молли, закусив губы, смотрела на нее и на нас. Взгляд Эстампа Дюроку вызвал ответ последнего:

— Это ничего, нас трое.

Едва он сказал, по двери ударили кулаком. Я, бывший к ней ближе других, открыл и увидел молодого человека небольшого роста, в щегольском летнем костюме. Он был коренаст, с бледным, плоским, даже тощим лицом, но выражение нелепого превосходства в тонких губах под черными усиками и в резких черных глазах было необыкновенно крикливым. За ним шли Варрен и третий человек — толстый, в грязной блузе, с шарфом вокруг шеи. Он шумно дышал, смотрел, выпучив глаза, и, войдя, сунул руки в карманы брюк, став как столб.

Все мы продолжали сидеть, кроме Арколь, которая подошла к Молли. Став рядом с ней, она бросила Дюроку отчаянный, умоляющий взгляд.

Новоприбывшие были заметно навеселе. Ни одним взглядом, ни движением лица не обнаружили они, что, кроме женщин, есть еще мы; даже не посмотрели на нас, как будто нас здесь совсем не было. Разумеется, это было сделано умышленно.

— Вам нужно что-нибудь, Лемарен? — сказала Арколь, стараясь улыбнуться.— Сегодня мы очень заняты. Нам надо пересчитать белье, сдать его, а потом ехать за провизией для матросов.— Затем она обратилась к брату, и это было одно слово: — Джон!

— Я с вами поговорю,— сказал Варрен.— Что же, нам и сесть негде?!

Лемарен, подбоченясь, взмахнул соломенной шляпой. Его глаза с острой улыбкой были обращены к девушке.

— Привет, Молли! — сказал он.— Прекрасная Молли, сделайте милость, обратите внимание на то, что я пришел навестить вас в вашем уединении. Взгляните, это я!

Я видел, что Дюрок сидит, опустив голову, как бы безучастно, но его колено дрожало, и он почти незаметно удерживал его ладонью руки. Эстамп приподнял брови, отошел и смотрел сверху вниз на бледное лицо Лемарена.

— Убирайся! — сказала Молли.— Ты довольно преследовал меня! Я не из тех, к кому ты можешь протянуть лапу. Говорю тебе прямо и начистоту — я более не стерплю! Уходи!

Из ее черных глаз разлетелась по комнате сила отчаянного сопротивления. Все это почувствовали. Почувствовал это и Лемарен, так как широко раскрыл глаза, смигнул и, нескладно улыбаясь, повернулся к Варрену.

— Каково? — сказал он.— Ваша сестра сказала мне дерзость, Варрен. Я не привык к такому обращению, клянусь костылями всех калек этого дома. Вы пригласили меня в гости, и я пришел. Я пришел вежливо, не с худой целью. В чем тут дело, я спрашиваю?

— Дело ясное,— сказал, глухо крякнув, толстый человек, ворочая кулаки в карманах брюк.— Нас выставляют.

— Кто вы такой? — рассердилась Арколь. По наступательному выражению ее кроткого даже в гневе лица я видел, что и эта женщина дошла до предела.— Я не знаю вас и не приглашала. Это мое помещение, я здесь хозяйка. Потрудитесь уйти!

Дюрок поднял голову и взглянул Эстампу в глаза. Смысл взгляда был ясен. Я поспешил захватить плотнее револьвер, лежавший в моем кармане.

— Добрые люди,— сказал, посмеиваясь, Эстамп,— вам лучше бы удалиться, так как разговор в этом тоне не доставляет решительно никому удовольствия.

— Слышу птицу! — воскликнул Лемарен, мельком взглядывая на Эстампа и тотчас обращаясь к Молли: — Это вы заводите чижиков, Молли? А есть у вас канареечное семя, а? Ответьте, пожалуйста!

— Не спросить ли моего утреннего гостя,— сказал Паррен, выступая вперед и становясь против Дюрока, неохотно вставшего навстречу ему.— Может быть, этот господин соблаговолит объяснить, почему он здесь, у моей, черт побери, сестры?!

— Нет, я не сестра твоя! — сказала, словно бросила тяжкий камень, Молли.— А ты не брат мне! Ты — второй Лемарен, то есть подлец!

И, сказав так, вне себя, в слезах, с открытым, страшным лицом, она взяла со стола книгу и швырнула ее в Варрена.

Книга, порхнув страницами, ударила его по нижней губе, так как он не успел прикрыться локтем. Все ахнули. Я весь горел, чувствуя, что отлично сделано, и готов был палить во всех.

— Ответит этот господин,— сказал Варрен, указывая пальцем на Дюрока и растирая другой рукой подбородок, после того как вдруг наступившее молчание стало невыносимо.

— Он переломает тебе все кости! — вскричал я.— А я пробью твою мишень, как только...

— Как только я уйду,— сказал вдруг сзади низкий, мрачный голос, столь громкий, несмотря на рокочущий тембр, что все сразу оглянулись.

Против двери, твердо и широко распахнув ее, стоял человек с седыми баками и седой копной волос, разлетевшихся, как сено на вилах. Он был без руки — один рукав матросской куртки висел; другой, засученный до локтя, обнажал коричневую пружину мускулов, оканчивающихся мощной пятерней с толстыми пальцами.

В этой послужившей на своем веку мускульной машине человек держал пустую папиросную коробку. Его глаза, глубоко запрятанные среди бровей, складок и морщин, цедили тот старческий блестящий взгляд, в котором угадываются и отличная память, и тонкий слух.

— Если сцена,— сказал он, входя,— то надо закрывать дверь. Кое-что я слышал. Мамаша Арколь, будьте добры дать немного толченого перцу для рагу. Рагу должно быть с перцем. Будь у меня две руки,— продолжал он в том же спокойном деловом темпе,— я не посмотрел бы на тебя, Лемарен, и вбил бы тебе этот перец в рот. Разве так обращаются с девушкой?

Едва он проговорил это, как толстый человек сделал движение, в котором я ошибиться не мог: он вытянул руку ладонью вниз и стал отводить ее назад, намереваясь ударить Эстампа. Быстрее его я протянул револьвер к глазам негодяя и нажал спуск, но выстрел, толкнув руку, увел пулю мимо цели.

Толстяка отбросило назад, он стукнулся об этажерку и едва не свалил ее. Все вздрогнули, разбежались и оцепенели; мое сердце колотилось, как гром. Дюрок с не меньшей быстротой направил дуло в сторону Лемарена, а Эстамп прицелился в Варрена.

Мне не забыть безумного испуга в лице толстого хулигана, когда я выстрелил. Тут я понял, что игра временно остается за нами.

— Нечего делать,— сказал, бессильно поводя плечами, Лемарен.— Мы еще не приготовились. Ну, берегитесь! Ваша взяла! Только помните, что подняли руку на Лемарена. Идем, Босс! Идем, Варрен! Встретимся еще как-нибудь с ними, отлично увидимся. Прекрасной Молли привет! Ах, Молли, красотка Молли!

Он проговорил это медленно, холодно, вертя в руках шляпу и взглядывая то на нее, то на всех нас по очереди. Варрен и Босс молча смотрели на него.

Он мигнул им; они вылезли из комнаты один за другим, останавливаясь на пороге; оглядываясь, они выразительно смотрели на Дюрока и Эстампа, прежде чем скрыться. Последним выходил Варрен. Останавливаясь, он поглядел и сказал:

— Ну, смотри, Арколь! И ты, Молли!

Он прикрыл дверь. В коридоре шептались, затем, быстро прозвучав, шаги утихли за домом.

— Вот,— сказала Молли, бурно дыша.— И все, и ничего более. Теперь надо уходить. Я ухожу, Арколь. Хорошо, что у вас пули.

— Правильно, правильно и правильно! — сказал инвалид.— Такое поведение я одобряю. Когда был бунт на «Альцесте», я открыл такую пальбу, что все легли брюхом вниз. Теперь что же? Да, я хотел перцу для...

— Не вздумайте выходить,— быстро заговорила Арколь.— Они караулят. Я не знаю, как теперь поступить.

— Не забудьте, что у меня есть лодка,— сказал Эстамп,— она очень недалеко. Ее не видно отсюда, и я поэтому за нее спокоен. Будь мы без Молли...

— Она? — сказал инвалид Арколь, устремляя указательный палец в грудь девушке.

— Да, да, надо уехать.

— Ее? — повторил матрос.

— О, какой вы непонятливый, а еще...

— Туда? — Инвалид махнул рукой за окно.

— Да, я должна уехать,—сказала Молли,— вот придумайте, ну, скорее, о боже мой!

— Такая же история была на «Гренаде» с юнгой; да, вспомнил. Его звали Санди. И он...

— Я — Санди,— сказал я, сам не зная зачем.

— Ах, и ты тоже Санди? Ну, милочка, какой же ты хороший, ревунок мой. Послужи, послужи девушке! Ступайте с ней. Ступай, Молли. Он твоего роста. Ты дашь ему юбку и — ну, скажем, платьишко, чтобы закутать то место, где лет через десять вырастет борода. Юбку дашь приметную, такую, в какой тебя видали и помнят. Поняла? Ступай, скройся и переряди человека, который сам сказал, что его зовут Санди. Ему будет дверь, тебе окно. Все!

XI

— В самом деле,— сказал, помолчав, Дюрок,— это, пожалуй, лучше всего.

— Ах, ах! — воскликнула Молли, смотря на меня со смехом и жалостью.— Как же он теперь? Нельзя ли иначе? — Но полное одобрение слышалось в ее голосе, несмотря на притворные колебания.

— Ну, что же, Санди? — Дюрок положил мне на плечо руку.— Решай! Нет ничего позорного в том,

чтобы подчиниться обстоятельствам, нашим обстоятельствам. Теперь все зависит от тебя.

Я воображал, что иду на смерть, пасть жертвой за Ганувера и Молли, но умереть в юбке казалось мне ужасным концом. Хуже всего было то, что я не мог отказаться; меня ждал в случае отказа моральный конец, горший смерти. Я подчинился с мужеством растоптанного стыда и смирился перед лицом рока, смотревшего на меня нежными черными глазами Молли. Тотчас произошло заклание. Худо понимая, что делается кругом, я вошел в комнату рядом и, слыша, как стучит мое опозоренное сердце, стал, подобно манекену, неподвижно и глупо. Руки отказывались бороться с завязками и пуговицами. Чрезвычайная быстрота четырех женских рук усыпила и ошеломила меня. Я чувствовал, что смешон и велик, что я — герой и избавитель, кукла и жертва. Маленькие руки поднесли мне зеркало; на голове очутился платок, и, так как я не знал, что с ним делать, Молли взяла мои руки и забрала их вместе с платком под подбородком, тряся, чтобы я понял, как прикрывать лицо. Я увидел в зеркале искаженное расстройством подобие себя и не признал его. Наконец тихий голос сказал: «Спасибо тебе, душечка!» — и крепкий поцелуй в щеку вместе с легким дыханием дал понять, что этим Молли вознаграждает Санди за отсутствие у него усов.

После того все пошло как по маслу, меня быстро вытолкнули к обществу мужчин, от которого я временно отказался. Наступило глубокое, унизительное молчание. Я не смел поднять глаз и направился к двери, слегка путаясь в юбке; я так и ушел бы, но Эстамп окликнул меня:

— Не торопись, я пойду с тобой,— нагнав меня у самого выхода, он сказал:

— Иди быстрым шагом по той тропинке так скоро, как можешь, будто торопишься изо всех сил, держи лицо прикрытым и не оглядывайся; выйдя на дорогу, поверни вправо, к Сигнальному Пустырю. А я пойду сзади.

Надо думать, что приманка была хороша, так как едва прошел я две-три лужайки среди светлого леса, невольно входя в роль и прижимая локти, как делают женщины, когда спешат, как в стороне послышались торопливые голоса.

Шаги Эстампа я слышал все время позади, близко от себя. Он сказал:

— Ну, теперь беги, беги во весь дух!

Я полетел вниз с холма, ничего не слыша, что сзади, но, когда спустился к новому подъему, раздались крики.

— Молли! Стой, или будет худо! — это кричал Варрен.

Другой крик, Эстампа, тоже приказывал стоять, хотя я и не был назван по имени. Решив, что дело сделано, я остановился, повернувшись лицом к действию.

На разном расстоянии друг от друга по дороге двигались три человека. Ближайший ко мне был Эстамп, он отступал вполуоборот к неприятелю. К нему бежал Варрен, за Варреном, отстав от него, спешил Босс.

— Стойте! — сказал Эстамп, целясь в последнего. Но Варрен продолжал двигаться, хотя и тише. Эстамп дал выстрел. Варрен остановился, нагнулся и ухватился за ногу.

— Вот как пошло дело! — сказал он, в замешательстве оглядываясь на подбегающего Босса.

— Хватай ее! — крикнул Босс. В тот же момент обе мои руки были крепко схвачены сзади, выше локтя, и с силой отведены к спине, так что, рванувшись, я ничего не выиграл, а только повернул лицо назад, взглянуть на вцепившегося в меня Лемарена. Он обошел лесом и пересек путь. При этих движениях платок свалился с меня. Лемарен уже сказал: «Мо...» — но, увидев, кто я, был так поражен, так взбешен, что, тотчас отпустив мои руки, замахнулся обоими кулаками.

— Молли, да не та! — вскричал я злорадно, рухнув ниц и со всей силой ударив его головой между ног, в самом низу,— прием вдохновения. Он завопил и свалился через меня. Я на бегу разорвал пояс юбки и выскочил из нее, потом, отбежав, стал трясти ею, как трофеем.

— Оставь мальчишку,— закричал Варрен,— а то она удерет! Я знаю теперь: она побежала наверх, к матросам. Там что-нибудь подготовили. Брось все! Я ранен!

Лемарен не был так глуп, чтобы лезть на человека с револьвером, хотя бы этот человек держал в одной руке только что скинутую юбку, револьвер был у меня в другой руке, и я собирался пустить его в дело, чтобы

отразить нападение. Оно не состоялось — вся троица понеслась обратно, грозя кулаками. Варрен хромал сзади. Я еще не опомнился, но уже видел, что отделался дешево. Эстамп подошел ко мне с бледным и серьезным лицом.

— Теперь они постоят у воды,— сказал он,— и будут так же, как нам, грозить кулаками боту. По воде не пойдешь. Дюрок, конечно, успел сесть с девушкой. Какая история! Ну, впишем еще страницу в твои подвиги и... свернем-ка на всякий случай в лес!

Разгоряченный, изрядно усталый, я свернул юбку и платок, намереваясь сунуть их где-нибудь в куст, потому что, как ни блистательно я вел себя, они напоминали мне, что условно, не по-настоящему, на полчаса, но я был все же женщиной. Мы стали пересекать лес вправо, к морю, спотыкаясь среди камней, заросших папоротником. Поотстав, я приметил два камня, сошедшихся вверху краями, и сунул меж них ненатуральное одеяние, от чего пришел немедленно в наилучшее расположение духа.

На нашем пути встретился озаренный пригорок. Тут Эстамп лег, вытянул ноги и облокотился, положив на ладонь щеку.

— Садись,— сказал он.— Надо передохнуть. Да, вот это дело!

— Что же теперь будет? — осведомился я, садясь по-турецки и раскуривая с Эстампом его папиросы.— Как бы не произошло нападения!

— Какого нападения?!

— Ну, знаете... У них, должно быть, большая шайка. Если они захотят отбить Молли и соберут человек сто...

— Для этого нужны пушки,— сказал Эстамп,— и еще,пожалуй, бесплатные места полицейским в качестве зрителей.

Естественно, наши мысли вертелись вокруг горячих утренних происшествий, и мы перебрали все, что было, со всеми подробностями, соображениями, догадками и особо картинными моментами. Наконец мы подошли к нашим впечатлениям от Молли; почему-то этот разговор замялся, но мне все-таки хотелось знать больше, чем то, чему был я свидетелем. Особенно меня волновала мысль о Дигэ. Эта таинственная женщина непременно возникала в моем уме, как только я вспоминал Молли. Об этом я его и спросил.

— Хм...— сказал он.— Дигэ... О, это задача! — И он погрузился в молчание, из которого я не мог извлечь его никаким покашливанием.

— Известно ли тебе,— сказал он наконец, после того как я решил, что он совсем задремал,— известно ли тебе, что эту траву едят собаки, когда заболеют бешенством?

Он показал острый листок, но я был очень удивлен его глубокомысленным тоном и ничего не сказал. Затем, в молчании, усталые от жары и друг от друга, мы выбрались к морской полосе, пришли на пристань и наняли лодочника. Никто из наших врагов не караулил нас здесь, поэтому мы благополучно переехали залив и высадились в стороне от дома. Здесь был лес, а дальше шел огромный, отлично расчищенный сад. Мы шли садом. Аллеи были пусты. Эстамп провел меня в дом через одну из боковых арок, затем по чрезвычайно путаной, сурового вида лестнице в большую комнату с цветными стеклами. Он был заметно не в духе, и я понял отчего, когда он сказал про себя: «Дьявольски хочу есть». Затем он позвонил, приказал слуге, чтобы тот отвел меня к Попу, и, еле передвигая ноги, я отправился через блестящие недра безлюдных стен в настоящее путешествие к библиотеке. Здесь слуга бросил меня. Я постучал и увидел Попа, беседующего с Дюроком.

XII

Когда я вошел, Дюрок доканчивал свою речь. Не помню, что он сказал при мне. Затем он встал и в ответ многочисленным молчаливым кивкам Попа протянул ему руку. Рукопожатие сопровождалось твердыми улыбками с той и другой стороны.

— Как водится, герою уступают место и общество,— сказал мне Дюрок,— теперь, Санди, посвяти Попа во все драматические моменты. Вы можете ему довериться,— обратился он к Попу,— этот ма... человек — сущий клад в таких положениях. Прощайте! Меня ждут.

Мне очень хотелось спросить, где Молли и давно ли Дюрок вернулся, так как хотя из этого ничего не вытекало, но я от природы любопытен во всем. Однако на что я решился бы под открытым небом, на то не ре-

шался здесь, по стеснительному чувству чужого среди высоких потолков и прекрасных вещей, имеющих свойство оттеснять непривычного в его духовную раковину.

Все же я надеялся много узнать от Попа.

— Вы устали и, наверное, голодны? — сказал Поп.— В таком случае пригласите меня к себе, и мы с вами позавтракаем. Уже второй час.

— Да, я приглашаю вас,—сказал я, малость недоумевая, чем могу угостить его, и не зная, как взяться за это, но не желая уступать никому ни в тоне, ни в решительности.— В самом деле, идем стрескаем, что дадут.

— Прекрасно, стрескаем,— подхватил он с непередаваемой интонацией редкого иностранного слова,— но вы не забыли, где ваша комната?

Я помнил и провел его в коридор второй дверью налево. Здесь, к моему восхищению, повторилось то же, что у Дюрока: потянув шнур, висевший у стены, сбоку стола, мы увидели, как откинулась в простенке меж окон металлическая доска и с отверстием поравнялась никелевая плоскость, на которой были вино, посуда и завтрак. Он состоял из мясных блюд, фруктов и кофе. Для храбрости я выпил полный стакан вина, и, отделавшись таким образом от стеснения, стал есть, будучи почти пьян.

Поп ел мало и медленно, но вина выпил.

— Сегодняшний день,— сказал он,— полон событий, хотя все главное еще впереди. Итак, вы сказали, что произошла схватка?

Я этого не говорил и сказал, что не говорил.

— Ну, так скажете,— произнес он с милой улыбкой.— Жестоко держать меня в таком нетерпении.

Теперь происшедшее казалось мне не довольно поразительным, и я взял самый высокий тон.

— При высадке на берегу дело пошло на ножи,— сказал я и развил этот самостоятельный текст в виде прыжков, беганья и рычанья, но никого не убил. Потом я сказал: — Когда явился Варрен и его друзья, я дал три выстрела, ранив одного негодяя...— Этот путь оказался скользким, заманчивым; чувствуя, должно быть от вина, что я и Поп как будто описываем вокруг комнаты нарез, я хватил самое яркое из утренней эпопеи.

— Давайте, Молли,— сказал я,— устроим так, чтобы я надел ваше платье и обманул врагов, а вы за это меня поцелуете. И вот...

— Санди, не пейте больше вина, прошу вас,— мягко перебил Поп.— Вы мне расскажете потом, как все это у вас там произошло, тем более что Дюрок, в общем, уж рассказал.

Я встал, засунул руки в карманы и стал смеяться. Меня заливало блаженством. Я чувствовал себя Дюроком и Ганувером. Я вытащил револьвер и пытался прицелиться в шарик кровати. Поп взял меня за руку и усадил, сказав:

— Выпейте кофе, а еще лучше закурите.

Я почувствовал во рту папиросу, а перед носом увидел чашку и стал жадно пить черный кофе. После четырех чашек винтообразный нарез вокруг комнаты перестал увлекать меня, в голове стало мутно и глупо.

— Вам лучше, надеюсь?

— Очень хорошо,— сказал я,— и чем скорее вы приступите к делу, тем будет лучше.

— Нет, выпейте, пожалуйста, еще одну чашку.

Я послушался его и наконец стал чувствовать себя прочно сидящим на стуле.

— Слушайте, Санди, и слушайте внимательно. Надеюсь, вам теперь хорошо?

Я был страшно возбужден, но разум и понимание вернулись.

— Мне лучше,— сказал я обычным своим тоном,— мне почти хорошо.

— Раз почти, следовательно, контроль на месте,— заметил Поп.— Я ужаснулся, когда вы налили себе целую купель этого вина, но ничего не сказал, так как не видел еще вас в единоборстве с напитками. Знаете, сколько этому вину лет? Сорок восемь, а вы обошлись с ним, как с водой. Ну, Санди, я теперь буду вам открывать секреты.

— Говорите, как самому себе!

— Я не ожидал от вас другого ответа. Скажите мне...— Поп откинулся к спинке стула и пристально взглянул на меня.— Да, скажите вот что: умеете вы лазить по дереву?

— Штука не хитрая,— ответил я,— я умею и лазить по нему, и срубить дерево, как хотите. Я могу даже спуститься по дереву головой вниз. А вы?

— О нет,— застенчиво улыбнулся Поп,— я, к сожалению, довольно слаб физически. Нет, я могу вам только завидовать.

Уже я дал многие доказательства моей преданности, и было бы неудобно держать от меня в тайне общее положение дела, раз требовалось уметь лазить по дереву. По этим соображениям Поп, как я полагаю, рассказал многие обстоятельства. Итак, я узнал, что позавчера утром разосланы телеграммы и письма с приглашениями на сегодняшнее торжество и соберется большое общество.

— Вы можете, конечно, догадаться о причинах,— сказал Поп,— если примете во внимание, что Ганувер всегда верен своему слову. Все было устроено ради Молли. Он думает, что ее не будет, однако не считает себя вправе признать это, пока не пробило двенадцать часов ночи. Итак, вы догадываетесь, что приготовлен сюрприз?

— О да,— ответил я,— я догадываюсь. Скажите, пожалуйста, где теперь эта девушка?

Он сделал вид, что не слышал вопроса, и я дал себе клятву не спрашивать об этом предмете, если он так явно вызывает молчание. Затем Поп перешел к подозрениям относительно Томсона и Галуэя.

— Я наблюдаю их две недели,— сказал Поп,— и надо вам сказать, что я имею аналитический склад ума, благодаря чему установил стиль этих людей. Но я допускал ошибку. Поэтому, экстренно вызвав телеграммой Дюрока и Эстампа, я все-таки был не совсем уверен в точности своих подозрений. Теперь дело ясно. Все велось и ведется тайно. Сегодня, когда вы отправились в экспедицию, я проходил мимо аквариума, который вы еще не видели, и застал там наших гостей, всех троих. Дверь в стеклянный коридор была полуоткрыта, и в этой части здания вообще почти никогда никто не бывает, так что я появился незамеченным. Томсон сидел на диванчике, покачивая ногой; Дигэ и Галуэй стояли у одной из витрин. Их руки были опущены и сплетены пальцами. Я отступил. Тогда Галуэй нагнулся и поцеловал Дигэ в шею.

— Ага! — вскричал я.— Теперь я все понимаю. Значит, он ей не брат?!

— Вы видите,— продолжал Поп, и его рука, лежавшая на столе, стала нервно дрожать. Моя рука тоже лежала на столе и так же задрожала, как рука Попа. Он нагнулся и, широко раскрыв глаза, произнес: — Вы понимаете? Клянусь, что Галуэй ее любовник, и мы даже не знаем, чем рисковал Ганувер, попав в такое

общество. Вы видели золотую цепь и слышали, что говорилось при этом! Что делать?

— Очень просто,— сказал я.— Немедленно донести Гануверу, и пусть он отправит всех их вон в десять минут!

— Вначале я так и думал, но, размыслив о том с Дюроком, пришел вот к какому заключению: Ганувер мне просто-напросто не поверит, не говоря уже о всей щекотливости такого объяснения.

— Как же он не поверит, если вы это видели?

— Теперь я уже не знаю, видел ли я,— сказал Поп,— то есть видел ли так, как это было. Ведь это ужасно серьезное дело. Но довольно того, что Ганувер может усомниться в моем зрении. А тогда что? Или я представляю, что я сам смотрю на Дигэ глазами и расстроенной душой Ганувера,— что же вы думаете, я окончательно и вдруг поверю истории с поцелуем?

— Это правда,— сказал я, сообразив все его доводы.— Ну, хорошо, я слушаю вас.

Поп продолжал:

— Итак, надо увериться. Если подозрение подтвердится — а я думаю, что эти три человека принадлежат к высшему разряду темного мира,— то наш план, такой план есть, развернется ровно в двенадцать часов ночи. Если же далее не окажется ничего подозрительного, план будет другой.

— Я вам помогу в таком случае,— сказал я.— Я ваш. Но вы, кажется, говорили что-то о дереве.

— Вот и дерево, вот мы и пришли к нему. Только это надо сделать, когда стемнеет.

Он сказал, что с одной стороны фасада растет очень высокий дуб, вершина которого поднимается выше третьего этажа. В третьем этаже, против дуба, расположены окна комнат, занимаемых Галуэем, слева и справа от него, в том же этаже, помещаются Томсон и Дигэ. Итак, мы уговорились с Попом, что я влезу на это дерево после восьми, когда все разойдутся готовиться к торжеству, и употреблю в дело таланты, так блестяще примененные мной под окном Молли.

После этого Поп рассказал о появлении Дигэ в доме. Выйдя в приемную на доклад о прибывшей издалека даме, желающей немедленно его видеть, Ганувер явился, ожидая услышать скрипучий голос благотворительницы лет сорока, с сильными жестами и блистающим, как ланцет, лорнетом, а вместо того встретил

искусительницу Дигэ. Сквозь ее застенчивость светилось желание отстоять причуду всем пылом двадцати двух лет, сильнейшим, чем рассчитанное кокетство, смесь трусости и задора, вызова и готовности расплакаться. Она объяснила, что слухи о замечательном доме проникли в Бенарес и не дали ей спать. Она и не будет спать, пока не увидит всего. Жизнь потеряла для нее цену с того дня, когда она узнала, что есть дом с исчезающими стенами и другими головоломными тайнами. Она богата и объездила земной шар, но такого пирожного еще не пробовала.

Дигэ сопровождал брат, Галуэй, лицо которого во время этой тирады выражало просьбу не осудить молодую жизнь, требующую повиновения каждому своему капризу. Закоренелый циник улыбнулся бы, рассматривая пленительное лицо со сказкой в глазах, сияющих всем и всюду. Само собой, она была теперь средневековой принцессой, падающей от изнеможения у ворот волшебного замка. За месяц перед этим Ганувер получил решительное письмо Молли, в котором она сообщала, что уезжает навсегда, не дав адреса, но он временно уже устал горевать — горе, как и счастливое настроение, находит волной. Поэтому все пахнущее свежей росой могло найти доступ к левой стороне его груди. Он и Галуэй стали смеяться. «Ровно через двадцать один день,— сказал Ганувер,— ваше желание исполнится, этот срок назначен не мной, но я верен ему. В этом вы мне уступите, тем более что есть на что посмотреть». Он оставил их гостить; так началось. Вскоре явился Томсон, друг Галуэя, которому тоже отвели помещение. Ничто не вызывало особенных размышлений, пока из отдельных слов, взглядов — неуловимой, но подозрительной психической эманации всех трех лиц — у Попа не создалось уверенности, что необходимо экстренно вызвать Дюрока и Эстампа.

Таким образом, в основу сцены приема Ганувером Дигэ был положен характер Ганувера — его вкусы, представления о встречах и случаях; говоря с Дигэ, он слушал себя, выраженного прекрасной игрой.

Запахло таким густым дымом, как в битве Нельсона с испанским флотом, и я сказал страшным голосом:

— Как белка или змея! Поп, позвольте пожать вашу руку и знайте, что Санди, хотя он, может быть, моложе вас, отлично справится с задачей и похитрее!

Казалось, волнениям этого дня не будет конца.

Едва я, закрепляя свои слова, стукнул кулаком по столу, как в дверь постучали и вошедший слуга объявил, что меня требует Ганувер.

— Меня?—струсив, спросил я.

— Санди. Это вы—Санди?

— Он—Санди,—сказал Поп,—и я иду с ним.

XIII

Мы прошли сквозь ослепительные лучи зал, по которым я следовал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера в картинной галерее. С ним был Дюрок, он ходил наискось от стола к окну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок в сложенные на столе руки, и задумчиво следил, как ходит Дюрок. Две белые статуи в конце галереи и яркий свет больших окон из целых стекол, доходящих до самого паркета, придавали огромному помещению открытый и веселый характер.

Когда мы вошли, Ганувер поднял голову и кивнул. Взглянув на Дюрока, ответившего мне пристальным взглядом понятного предупреждения, я подошел к Гануверу. Он указал стул, я сел, а Поп продолжал стоять, нервно водя пальцами по подбородку.

— Здравствуй, Санди,—сказал Ганувер.—Как тебе нравится здесь? Вполне ли тебя устроили?

— О да!—сказал я.—Все еще не могу опомниться.

— Вот как?!—задумчиво произнес он и замолчал. Потом, рассеянно поглядев на меня, прибавил с улыбкой:—Ты позван мной вот зачем. Я и мой друг Дюрок, который говорит о тебе в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбирай, если хочешь, не теперь, а строго обдумав: кем ты желаешь быть. Можешь назвать любую профессию. Но только не будь знаменитым шахматистом, который, получив ночью телеграмму, отправился утром на состязание в Лисс и выиграл из шести пять у самого Капабланки. В противном случае ты привыкнешь покидать своих друзей в трудные минуты их жизни ради того, чтобы заехать слоном в лоб королю.

— Одну из этих партий,—заметил Дюрок,—я назвал партией Ганувера и, представьте, выиграл ее всего четырьмя ходами.

— Как бы там ни было, Санди осудил вас в глубине сердца,—сказал Ганувер.—Ведь так, Санди?

— Простите,— ответил я,— за то, что ничего в этом не понимаю.

— Ну, так говори о своих желаниях!

— Я моряк,— сказал я,— то есть я пошел по этой дороге. Если вы сделаете меня капитаном, мне больше, кажется, ничего не надо, так как все остальное я получу сам.

— Отлично. Мы пошлем тебя в адмиралтейскую школу.

Я сидел, тая и улыбаясь.

— Теперь мне уйти? — спросил я.

— Ну нет. Если ты приятель Дюрока, то, значит, и мой, а поэтому я присоединю тебя к нашему плану. Мы все пойдем смотреть кое-что в этой лачуге. Тебе, с твоим живым соображением, это может принести пользу. Пока, если хочешь, сиди или смотри картины. Поп, кто приехал сегодня?

Я встал и отошел. Я был рассечен натрое: одна часть смотрела картину, изображавшую рой красавиц в туниках у колонн, среди роз, на фоне морской дали, другая часть видела самого себя на этой картине, в полной капитанской форме, орущего красавицам: «Левый галс! Подтянуть грот, рифы и брасы!» — а третья, по естественному устройству уха, слушала разговор.

Не могу передать, как действует такое обращение человека, одним поворотом языка приказывающего судьбе перенести Санди из небытия в капитаны. От самых моих ног до макушки поднималась нервная теплота. Едва принимался я думать о перемене жизни, как мысли эти перебивались картинами, галереей, Ганувером, Молли и всем, что я испытал здесь, и мне казалось, что я вот-вот полечу.

В это время Ганувер тихо говорил Дюроку:

— Вам это не покажется странным. Молли была единственной девушкой, которую я любил. Не за что-нибудь — хотя было за что,— но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не знаем. Теперь все наболело во мне и уже как бы не боль, а жгучая тупость.

— Женщины догадливы,— сказал Дюрок,— а Дигэ наверно проницательна и умна.

— Дигэ...— Ганувер на мгновение закрыл глаза.— Все равно Дигэ лучше других, она, может быть, совсем хороша, но я теперь плохо вижу людей. Я внутренне утомлен. Она мне нравится.

— Так молода, и уже вдова,— сказал Дюрок.— Кто был муж?

— Ее муж был консул, в колонии, какой — не помню.

— Брат очень напоминает сестру,— заметил Дюрок,— я говорю о Галуэе.

— Напротив, совсем не похож!

Дюрок замолчал.

— Я знаю, он вам не нравится,— сказал Ганувер,— но он очень забавен, когда в ударе. Его веселая юмористическая злость напоминает собаку-льва.

— Вот еще! Я не видал таких львов.

— Пуделя,— сказал Ганувер, развеселившись,— стриженого пуделя! Наконец мы соединились! — вскричал он, направляясь к двери, откуда входили Дигэ, Томсон и Галуэй.

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи, довелось видеть теперь Дигэ в замкнутом образе молодой дамы, отношение которой к хозяину определялось лишь ее положением милой гостьи. Она шла с улыбкой, кивая и тараторя. Томсон взглянул сверх очков; величайшая приятность расползлась по его широкому, мускулистому лицу; Галуэй шел, дергая плечом и щекой.

— Я ожидала застать большое общество,— сказала Дигэ.— Горничная подвела счет и уверяет, что утром прибыло человек двадцать.

— Двадцать семь,— вставил Поп, которого я теперь не узнал. Он держался ловко, почтительно и был своим, а я — я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза.

— Благодарю вас, я скажу Микелетте,— холодно отозвалась Дигэ,— что она ошиблась.

Теперь я видел, что она не любит также Дюрока. Я заметил это по ее уху. Не смейтесь! Край маленького, как лепесток, уха был направлен к Дюроку с неприязненной остротой.

— Кто же навестил вас? — продолжала Дигэ, спрашивая Ганувера.— Я очень любопытна.

— Это будет смешанное общество,— сказал Ганувер.— Все приглашенные — живые люди.

— Морг в полном составе был бы немного мрачен для торжества,— объявил Галуэй.

Ганувер улыбнулся:

— Я выразился неудачно. А все-таки лучшего слова, чем слово *живой*, мне не придумать для человека, умеющего наполнять жизнь.

— В таком случае, мы все живы,— объявила Дигэ,— применяя ваше толкование.

— Но и само по себе,— сказал Томсон.

— Я буду принимать вечером,— заявил Ганувер,— пока же предпочитаю бродить в доме с вами, Дюроком и Санди.

— Вы любите моряков,— сказал Галуэй, косясь на меня,— вероятно, вечером мы увидим целый экипаж капитанов.

— Наш Санди один стоит военного флота,— сказал Дюрок.

— Я вижу, он под особым покровительством, и не осмеливаюсь приближаться к нему,— сказала Дигэ, трогая веером подбородок.— Но мне нравятся ваши капризы, дорогой Ганувер, благодаря им вспоминаешь и вашу молодость. Может быть, мы увидим сегодня взрослых Санди, пыхтящих, по крайней мере, с улыбкой.

— Я не принадлежу к светскому обществу,— сказал Ганувер добродушно,— я — один из случайных людей, которым идиотически повезло и которые торопятся обратить деньги в жизнь, потому что лишены традиции накопления. Я признаю личный этикет и отвергаю кастовый.

— Мне попало,— сказала Дигэ,— очередь за вами, Томсон.

— Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю, если он хочет.

— Мы, журналисты, неуязвимы,— сказал Галуэй,— как короли, и никогда не точим ножи вслух.

— Теперь тронемся,— сказал Ганувер,— пойдем послушаем, что скажет об этом Ксаверий.

— У вас есть римлянин?— спросил Галуэй.— И тоже живой?

— Если не испортился; в прошлый раз начал нести ересь.

— Ничего не понимаю,— Дигэ пожала плечом,— но, должно быть, что-то захватывающее.

Все мы вышли из галереи и прошли несколько комнат, где было хорошо, как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад был. Поп и я шли сзади. При повороте он удержал меня за руку:

— Вы помните наш уговор? Дерево можно не трогать. Теперь задумано и будет все иначе. Я только что узнал это. Есть новые соображения по этому делу.

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслушивания, и кивнул так усердно, что подбородком стукнулся в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери, сказав: «Поп!» Юноша поспешил с ключом открыть помещение. Здесь я увидел странную, как сон, вещь. Она произвела на меня, но, кажется, и на всех, неизгладимое впечатление: мы были перед человеком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценой, умеющей говорить.

XIV

Это помещение, не очень большое, было обставлено, как гостиная, с глухим мягким ковром на весь пол. В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел откинув голову молодой человек, одетый как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него. Галуэй сказал:

— Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит, в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный процесс.

— Вот новости! — раздался резкий, отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул.— Довольно, если вы обвините себя в неуместной шутке!

— Ах! — сказала Дигэ и увела голову в плечи. Все были поражены. Что касается Галуэя, — тот положительно струсил, я это видел по беспомощному лицу, с которым он попятился назад. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

— Уйдемте! — вполголоса сказала Дигэ.— Дело страшное!

— Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений? — шепнул Галуэй.

— Останьтесь, я незлобив,— сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

— Ксаверий! — произнес Ганувер.— Позволь рассказать твою историю!

— Мне все равно,— ответила кукла.— Я — механизм.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал:

— Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус, и я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, равно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизличимо больного Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека со своим подобием. «Ты спас меня!» — сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в ответ: «Я тебя убил». Действительно, Экус, организм которого был разрушен длительными видениями тонкостей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомату, услышал такое замечание: «Он продал свою жизнь так же дешево, как стоит моя!»

— Ужасно! — сказал Дюрок.— Ужасно! — повторил он в сильном возбуждении.

— Согласен.— Ганувер посмотрел на куклу и спросил: — Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающего «да», после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил:

— Я — Ксаверий, ничего не чувствую, потому что ты говоришь сам с собой.

— Вот ответ, достойный живого человека! — заметил Галуэй.— Что, что в этом болване? Как он устроен?

— Не знаю,— сказал Ганувер,— мне объясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радий, логическая система, разработанная с помощью чувствительных цифр,— вот, кажется, все, что сохранилось в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении произносить «Ксаверий», иначе он молчит.

— Самолюбив,— сказал Томсон.

— И самодоволен,— прибавил Галуэй.

— И самовлюблен,— определила Дигэ.— Скажите ему что-нибудь, Ганувер, я боюсь!

— Хорошо. Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

— Вот это называется спросить основательно! — расхохотался Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ:

— Разве я прорицатель? Все вы умрете; а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

— Довольно, довольно! — вскричала Дигэ.— Он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер! Это непростительное изобретение.

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: «Сердись на саму себя!»

— Правда,— сказал Ганувер, пришедший в заметно нервное состояние,—иногда его речи огорошивают, бывает также, что ответ невпопад, хотя редко. Так, однажды я произнес: «Сегодня теплый день»,— и мне выскочили слова: «Давай выпьем!»

Все были взволнованы.

— Ну что, Санди? Ты удивлен? — спросил Поп.

Я был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых невероятных явлений и теперь убедился, что мои взгляды на жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал:

— Это ли еще встретишь в загадочных дворцах?!

Все рассмеялись. Лишь одна Дигэ смотрела на меня, сдвинув брови, и как бы спрашивала: «Почему ты здесь? Объясни?»

Но мной не считали нужным или интересным заниматься так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предположения идти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропические бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины старых мастеров и статую, раскопанную в Тибете, но после «Ксаверия» не было ни у кого настоящей охоты ни к каким развлечениям. О нем начали говорить с таким увлечением, что спорам и восклицаниям не предвиделось конца.

— У вас много монстров? — сказала Гануверу Дигэ.

— Кое-что. Я всегда любил игрушки, может быть, потому, что мало играл в детстве.

— Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал до вашего совершеннолетия,— объявил Томсон.

— В самом деле,— продолжала Дигэ,— такая масса денег на... гм... прихоти. И какие прихоти!

— Вы правы,— очень серьезно ответил Ганувер.— В будущем возможно иное. Я не знаю.

— Так спросим Ксаверия! — вскричал Галуэй.

— Я пошутила. Есть прелесть в безубыточных расточениях.

После этого вознамерились все же отправиться смотреть тибетскую статую. От усталости я впал в одурь, плохо соображая, что делается. Я почти спал, стоя с открытыми глазами. Когда общество тронулось, я в совершенном безразличии пошел было за ним, но, когда его скрыла следующая дверь, я, готовый упасть на пол и заснуть, бросился к дивану, стоявшему у стены широкого прохода, и сел на него в совершенном изнеможении. Я устал до отвращения ко всему. Аппарат моих восприятий отказывался работать. Слишком много было всего! Я опустил голову на руки, оцепенел, задремал и уснул. Как оказалось впоследствии, Поп возвратился, обеспокоенный моим отсутствием, и пытался разбудить, но безуспешно. Тогда он совершил настоящее предательство — он вернул всех смотреть, как спит Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного дворца. И следовательно, я был некоторое время зрелищем, но, разумеется, не знал этого.

— Пусть спит,— сказал Ганувер,— это хорошо — спать. Я уважаю сон. Не будите его.

XV

Я забежал вперед только затем, чтобы указать, как был крепок мой сон. Просто я некоторое время не существовал.

Открыв глаза, я повернулся и сладко заложил руки под щеку, намереваясь еще поспать. Меж тем сознание тоже просыпалось, и, в то время как тело молило о блаженстве покоя, я увидел в дремоте Молли, раскалывающую орехи. Вслед нагрянуло все; холодными струйками выбежал сон из членов моих — и в оцепенении неожиданности, так как после провала воспоминание явилось в потрясающем темпе, я вскочил, сел, встревожился и протер глаза.

Был вечер, а может быть, даже ночь. Огромное лунное окно стояло передо мной. Электричество не

горело. Спокойная полутьма простиралась из дверей в двери, среди теней высоких и холодных покоев, где роскошь была погружена в сон. Лунный свет проникал глубину, как бы осматриваясь. В этом смешении сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем днем,— подменившим материальную ясность призрачной лучистой тревогой. Линия света, отметив по пути блеск бронзовой дверной ручки, колено статуи, серебро люстры, распыливалась в сумраке, одна на всю мраморную даль сверкала неизвестная точка — зеркала или металлического предмета... Почем знать? Вокруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный тем, что только деликатность оставила спать Санди Пруэля здесь, вместо того чтобы волочить его полузаснувшее тело через сотню дверей.

Когда мы высыпаемся, нет нужды смотреть на часы,— внутри нас если не точно, то с уверенностью сказано уже, что спали мы долго. Без сомнения, мои услуги не были экстренно нужны Дюроку или Попу, иначе за мной было бы послано. Я был бы разыскан и вставлен опять в ход волнующей опасностью и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я направился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. Я заспал указания памяти относительно направления, как шел сюда,— блуждал мрачно, наугад и так торопясь, что не имел ни времени, ни желания любоваться обстановкой. Спросонок я зашел к балкону, затем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой части здания, прошел к лестнице и, опустясь вниз, пополз на широкую площадку с запертыми кругом дверьми. Поднявшись опять, я предпринял круговое путешествие около наружной стены, стараясь видеть все время с одной стороны окна, но никак не мог найти галерею, через которую шел днем; найди я ее, можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хотя на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова пришел к запертой двери и должен повернуть вспять или рискнуть погрузиться во внутренние проходы, где совершенно темно.

Устав, я присел и, сидя, рвался идти, но выдержал, пока не превозмог огорчения одиночества, лишавшего меня стойкой сообразительности. До этого я не трогал электрических выключателей, не из боязни, что озарится все множество помещений или раздастся звон тревоги — это приходило мне в голову вчера,— но пото-

му, что не мог их найти. Я взял спички, светил около дверей и по нишам. Я был в прелестном углу среди мебели такого вида и такой хрупкости, что сесть на нее мог бы только чистоплотный младенец. Найдя штепсель, я рискнул его повернуть. Мало было мне пользы; хотя яркий свет сам по себе приятно освежил зрение, озарились лишь эти стены, напоминающие зеркальные пруды с отражениями сказочных перспектив. Разыскивая выключатели, я мог бродить здесь всю ночь. Итак, оставив это намерение, я вышел вновь на поиски сообщения с низом дома и, когда вышел, услышал негромко доносящуюся сюда прекрасную музыку.

Как вкопанный я остановился: сердце мое забилось. Все заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами. Если до этого моя влюбленность в Дюрока, дом Ганувера, Молли была еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили, и чувства мои заиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и звал. Я слушал, мучаясь. Одна музыкальная фраза — какой-то отрывистый перелив флейт — манила и манила меня, положительно она описывала аромат грусти и увлечения. Тогда, взволнованный, как будто это была моя музыка, как будто все лучшее, обещаемое ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь, сам не зная чего, надеясь и трепеща, разыскивать проход вниз.

В моих торопливых поисках я вышагал по неведомым пространствам, местами озаренным все выше восходящей луной, так много, так много раз останавливался, чтобы наспех сообразить направление, что совершенно закружился. Иногда поблизости к центру происходящего внизу, на который попадал случайно, музыка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью мелодии. Тогда я приходил в еще большее возбуждение, совершая круги через все двери и повороты, где мог свободно идти. От нетерпения ныло в спине. Вдруг с зачастившим сердцем я услышал животрепещущий взрыв скрипок и труб прямо где-то возле себя, как мне показалось, и, миновав колонны, я увидел разрезанную сверху донизу огненной чертой портьеру. Это была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, я отвел нетерпеливой рукой тяжелую материю, тронувшую по голове, и начал сходить вниз подгибающимися

от душевной бури ногами. Та музыкальная фраза, которая пленила меня среди лунных пространств, звучала теперь прямо в уши, и это было как в день славы, после морской битвы у острова Ката-Гур, когда я много лет спустя выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа среди золотых труб и синих цветов.

XVI

Довольно было мне сойти по этой белой, сверкающей лестнице, среди художественных видений, под сталактитами хрустальных люстр, озаряющих растения, как бы только что перенесенные из тропического леса цвести среди блестящего мрамора, как мое настроение выровнялось по размерам происходящего. Я уже не был главным лицом, которому казалось, что его присутствие самое важное. Блуждание наверху помогло тем, что, изнервничавшийся, стремительный, я был все же не так расстроен, как могло произойти обыкновенным порядком. Я сам шел к цели, а не был введен сюда. Однако то, что я увидел, разом уперлось в грудь, уперлось всем блеском своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и, изрядно оробев, остановился, как пень, посреди паркета огромной, с настоящей далью залы, где расхаживало множество народа, мужчин и женщин, одетых во фраки и красивейшие бальные платья. Музыка продолжала играть, поднимая мое настроение из робости на его прежнюю высоту.

Здесь было человек сто пятьдесят, может быть двести. Часть их беседовала, рассеявшись группами, часть проходила через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом. Но благодаря зеркалам казалось, что здесь еще много других дверей; в их чистой пустоте отражалась вся эта зала с наполняющими ее людьми, и я, лишь всмотревшись, стал отличать настоящие проходы от зеркальных феерий. Вокруг раздавались смех, говор; сияющие женские речи, восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум — ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин, двигающих веерами и поворачивающихся друг к другу, стояли, скло-

няясь, как шмели вокруг ясных цветов, черные фигуры мужчин в белых перчатках, душистых, щеголеватых, веселых. Мимо меня прошла пара стройных, мускулистых людей с упрямыми лицами; цепь девушек, колеблющихся и легких,— быстрой походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг тонкой шеи. Направо сидела очень толстая женщина со взбитой седой прической. В круге расхохотавшихся мужчин стоял плотный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в кольцах, он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили среди движения гостей, лавируя и перебегая с ловкостью танцоров. А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну.

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, что я тут делаю, и, не получив достаточного ответа, уведут прочь. Однако я вспомнил, что Ганувер назвал меня гостем, что я поэтому равный среди гостей, и, преодолев смущение, начал осматриваться, как попавшая на бал кошка, хотя не смел ни уйти, ни пройти куда-нибудь в сторону. Два раза мне показалось, что я вижу Молли, но — увы! — это были другие девушки, лишь издали похожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, сердито прищурился, а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже кивнул. Несколько мужчин и женщин, проходя, взглядывали на меня так, как оглядывают незнакомого, поскользнувшегося на улице. Но я чувствовал себя глупо не с непривычки, а только потому, что был в полном неведении. Я не знал, соединился ли Ганувер с Молли, были ли объяснения, сцены, не знал, где Эстамп, не знал, что делают Поп и Дюрок. Кроме того, я никого не видел из них и в то время, как стал думать об этом еще раз, вдруг увидел входящего из боковых дверей Ганувера.

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то шедшему с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ, руку которой нес в сгибе локтя. К ним сразу подошло несколько человек. Седая дама, которую я считал прилепленной навсегда к своему креслу, вдруг встала, избоченясь, с быстротой гуся и понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став самой большой из всех групп зала, и мое сердце сильно забилось, когда я увидел приближающегося к ней, как бы из зеркал или воздуха — так неожиданно оказался он здесь,— Эстампа. Я был уверен, что сейчас явится

Молли, потому что подозревал, не был ли весь день Эстамп с ней.

Поколебавшись, я двинулся из плена шумного вокруг меня движения и направился к Гануверу, став несколько позади седой женщины, говорившей так быстро, что ее огромный бюст колыхался, как пара пробковых шаров, кинутых утопающему.

Ганувер был кроток и бледен. Его лицо страшно осунулось, рот стал ртом старого человека. Казалось, в нем беспрерывно вздрагивает что-то при каждом возгласе или обращении. Дигэ, сняв свою руку в перчатке, складывала и раздвигала страусовый веер; ее лицо, ставшее еще красивее от смуглых голых плеч, выглядело властным, значительным. На ней был прозрачный дымчатый шелк. Она улыбалась. Дюрок первый заметил меня и, продолжая говорить с худощавым испанцем, протянул руку, коснувшись ею моего плеча. Я страшно обрадовался; вслед за тем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеянным взглядом, но тотчас узнал меня и тоже протянул руку, весело потрепал мои волосы. Я стал, улыбаясь из глубины души. Он, видимо, понял мое состояние, так как сказал:

— Ну что, Санди, дружок?

И от этих простых слов, от его прекрасной улыбки и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных только вчера, вся робость моя исчезла. Я вспыхнул, покраснел и возликовал.

— Что же, поспал? — сказал Дюрок.

Я снова вспыхнул. Несколько людей посмотрели на меня с забавным недоумением. Ганувер втащил меня в середину.

— Это мой воспитанник,— сказал он.— Вам, дон Эстебан, нужен будет хороший капитан лет через десять, так вот он, и зовут его Санди... э, как его, Эстамп?

— Пруэль,— сказал я,— Санди Пруэль.

— Очень самолюбив,— заметил Эстамп,— смел и решителен, как Колумб.

Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

— Через десять лет, а если я умру, мой сын даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось жела-

ние поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

— Очень приятно,— заявил я, кланяясь с наивозможной грацией.— Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

— Вы не ошиблись! — сказал дон Эстебан Гануверу.

— О! Ну нет, конечно,— ответил тот, и я был оставлен при триумфе и сердечном веселье. Группа перешла к другому концу зала. Я повернулся, лишь первый раз свободно вздохнув, прошел между всем обществом, как дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, откуда был виден весь зал, но где никто не мешал думать.

Вскоре увидел я Томсона и Галуэя с тремя дамами, в отличном расположении духа. Галуэй, дергая щекой, заложив руки в карманы и покачиваясь на носках, говорил и смеялся. Томсон благосклонно вслушивался; одна дама, желая перебить Галуэя, трогала его по руке сложенным веером, две другие, переглядываясь между собой, время от времени хохотали. Итак, ничего не произошло. Но что же было с Молли, девушкой Молли, покинувшей сестру, чтобы сдержать слово, с девушкой, которая милее и краше всех, кого я видел в этот вечер, должна была радоваться и сиять здесь и идти под руку с Ганувером, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Какие причины удержали ее? Я сделал три предположения: Молли раздумала и вернулась; Молли больна и Молли уже была. «Да, она была,— говорил я, волнуясь, как за себя,— и ее объяснения с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. Поэтому он страдает, пережив сцену, глубоко всколыхнувшую его, но бессильную вновь засветить солнце над его помраченной душой». Если бы я знал, где она теперь, то есть будь она где-нибудь близко, я, наверно, сделал бы одну из своих сумасшедших штучек,— пошел к ней и привел сюда; во всяком случае, попытался бы привести. Но, может быть, произошло такое, о чем нельзя догадаться. А вдруг она умерла и от Ганувера все скрыто?

Как только я это подумал, страшная мысль стала неотвязно вертеться, тем более что немногое известное

мне в этом деле оставляло обширные пробелы, допускающие любое предположение. Я видел Лемарена; этот сорт людей был мне хорошо знаком, и я знал, как изобретательны хулиганы, одержимые манией или корыстью. Решительно мне надо было увидеть Попа, чтобы успокоиться.

Сам себе не отдавая в том отчета, я желал радости в сегодняшний вечер не потому только, что хотел счастливой встречи двух рук, разделенных сложными обстоятельствами,— во мне подымалось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием, таким красивым в этих необычайных условиях. Дело обстояло и развертывалось так, что никакого другого конца, кроме появления Молли — появления, опрокидывающего весь темный план,— веселого плеска майского серебряного ручья, я ничего не хотел, и ничто другое не могло служить для меня оправданием тому, в чем, согласно неисследованным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и поверхностное участие.

Не надо, однако, думать, что мысли мои в то время выразились такими словами,— я был тогда еще далек от привычного искусства взрослых людей обводить чертой слова мелькающие, как пена, образы. Но они не остались без выражения; за меня мир мой душевный выражала музыка скрытого на хорах оркестра, зовущая в Замечательную Страну.

Да, всего только за двадцать четыре часа Санди Пруэль вырос, подобно растению индийского мага, посаженному семенем и через тридцать минут распускающему зеленые листья. Я был старее, умнее — тише. Я мог бы, конечно, с великим удовольствием сесть и играть, катая вареные крутые яйца, каковая игра называется «съешь скорлупку», но мог также уловить суть несказанного в сказанном. Мне положительно был необходим Поп, но я не смел еще бродить где хочу, отыскивая его, и когда он наконец подошел, заметив меня случайно, мне как бы подали напиться после соленого. Он был во фраке, перчатках, выглядя оттого по-новому, но мне было все равно. Я вскочил и пошел к нему.

— Ну вот,— сказал Поп и, слегка оглянувшись, тихо прибавил: — Сегодня произойдет нечто. Вы увидите. Я не скрываю от вас, потому что возбужден, и вы много сделали нам. Приготовьтесь: еще неизвестно, что может быть.

— Когда? Сейчас?

— Нет. Больше я ничего не скажу. Вы не в претензии, что вас оставили выспаться?

— Поп,— сказал я, не обращая внимания на его рассеянную шутливость,— дорогой Поп, я знаю, что спрашиваю глупо, но... но... я имею право. Я думаю так. Успокойте меня и скажите: что с Молли?

— Ну что вам Молли?! — сказал он, смеясь и пожимая плечами.— Молли,— он сделал ударение,— скоро будет Эмилия Ганувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правда ли?

— Как! Она здесь?

— Нет.

Я молчал с сердитым лицом.

— Успокойтесь,— сказал Поп,— не надо так волноваться. Все будет в свое время. Хотите мороженого?

Я не успел ответить, как он задержал шествующего с подносом Паркера, крайне озабоченное лицо которого говорило о том, что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног.

— Паркер,— сказал Поп,— мороженого мне и Санди, большие порции.

— Слушаю,— сказал старик, теперь уже с чрезвычайно оживленным, даже заинтересованным видом, как будто в требовании мороженого было все дело этого вечера.— Какого же? Земляничного, апельсинового, фисташкового, розовых лепестков, сливочного, ванильного, крем-брюле или...

— Кофейного,— перебил Поп.— А вам, Санди?

Я решил показать «бывалость» и потребовал ананасового, но — увы! — оно было хуже кофейного, которое я попробовал из хрустальной чашки у Попа. Пока Паркер ходил, Поп называл мне имена некоторых людей, бывших в зале, но я все забыл. Я думал о Молли и своем чувстве, зовущем в Замечательную Страну.

Я думал также: как просто, как великодушно по отношению ко мне было бы Попу — еще днем, когда мы ели и пили,— сказать: «Санди, вот какое у нас дело...» — и ясным языком дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. Осторожность, недолгое знакомство и все прочее, что могло Попу мешать, я отбрасывал, даже не трудясь думать об этом,— так я доверял сам себе.

Поп молчал, потом от великой щедрости воткнул в распухшую мою голову последнюю загадку.

— Меня не будет за столом,— сказал он,— очень вас прошу, не расспрашивайте о причинах этого вслух и не ищите меня, чтобы на мое отсутствие было обращено как можно меньше внимания.

— Я не так глуп,— ответил я с обидой, бывшей еще острее от занывшего в мороженом зуба,— не так я глуп, чтобы говорить мне это, как маленькому.

— Очень хорошо,— сказал он сухо и ушел, бросив меня среди рассевшихся вокруг этого места привлекательных, но ненужных мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в самом углу. Если бы я мог сосчитать количество удивленных взглядов, брошенных на меня в тот вечер разными людьми, их, вероятно, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого развязного оратора. Что до этого?! Я сидел, окруженный спинами с белыми и розовыми вырезами, вдыхал тонкие духи и разглядывал полы фраков, мешающие видеть движение в зале. Моя мнительность обострилась припадком страха, что Поп расскажет о моей грубости Гануверу и меня не пустят к столу; ничего не увидев, всеми забытый, отверженный, я буду бродить среди огней и цветов, затем Томсон выстрелит в меня из тяжелого револьвера, и я, испуская последний вздох на руках Дюрока, скажу плачущей надо мной Молли: «Не плачьте. Санди умирает, как жил, но он никогда не будет спрашивать вслух, где ваш щеголеватый Поп, потому что я воспитан морем, обучающим молчанию».

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так разволновала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою комнату, потянуть шнурок стенного лифта и сесть мрачно вдвоем с бутылкой вина. Вдруг появился человек в ливрее с галунами и что-то громко сказал. Движение в зале изменилось. Гости потекли в следующую залу, сверкающую голубым дымом, и, став опять любопытен, я тоже пошел среди легкого шума нарядной оживленной толпы, изредка и не очень скандально сталкиваясь с соседями по шествию.

XVII

Войдя в голубой зал, где на великолепном паркете отражались огни люстр, а также и мои до колен ноги, я прошел мимо оброненной розы и поднял ее на

счастье, что, если в цветке будет четное число лепестков, я увижу сегодня Молли. Обрывая их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных глаз с румяного кокетливого лица. «Любит, не любит,— сказала мне эта женщина,— как у вас вышло?» Ее подруги окружили меня, и я поспешно сунул руку в карман, озираясь среди красавиц, поднявших Санди, правда очень мило, на смех. Я сказал: «Ничего не вышло» — и, должно быть, был уныл при этом, так как меня оставили, сунув в руку еще цветок, который я машинально положил в тот же карман, дав вдруг от большой злости клятву никогда не жениться.

Я был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, куда попал. Между прочим, я прошел три или четыре двери. Если была очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву громадной. Она была обита зеленым муаром, с мраморным полом, углубления которого, тонкой причудливой резьбы, были заполнены отполированным серебром. На стенах отсутствовали зеркала и картины; от потолка к полу они были вертикально разделены, в равных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим серебряным узором. Шесть люстр висело по одной линии, проходя серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала блестели живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; в нишах стояли статуи. Все гости, вошедши сюда, помельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь — так высок и просторен был размах помещения. Добрую треть пространства занимали столы, накрытые белейшими, как пена морская, скатертями; столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов. Столы, или, вернее, один стол в виде четырехугольника, пустого внутри, с проходами внутрь на узких концах четырехугольника, образовывал два прямоугольных «С», обращенных друг к другу и не совсем плотно сомкнутых. На них сплошь, подобно узору цветных камней, сверкали огни вин, золото, серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, обитые оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов столового четырехугольника высоко вздымались витые бронзовые колонны с гигантскими канделябрами, и в них

горели настоящие свечи. Свет был так силен, что в самом отдаленном месте я различал с точностью черты людей; можно сказать, что от света было жарко глазам.

Все усаживались, шумя платьями и движением стульев; стоял рокот, обвеянный гулким эхом. Вдруг какое-нибудь одно слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. Я пробирался к тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и Дигэ, но, как ни искал, не мог заметить Эстампа и Попа. Ища глазами свободного места на этом конце стола — ближе к двери, которой вошел сюда, я видел много еще не занятых мест, но скорее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от знакомых лиц. В это время Дюрок увидел меня и, покинув беседу, подошел с ничего не значащим видом.

— Ты сядешь рядом со мной,— сказал он,— поэтому сядь на то место, которое будет от меня слева.

Сказав это, он немедленно удалился, и в скором времени, когда большинство уселось, я занял кресло перед столом, имея по правую руку Дюрока, а по левую — высокую, тощую, как жердь, даму лет сорока с лицом рыжего худого мужчины и такими длинными ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться без вилки. На этой даме бриллианты висели, как смородина на кусте, а острый голый локоть чувствовался в моем боку даже на расстоянии.

Ганувер сел напротив, будучи и от меня наискось, а против него, между Дюроком и Галуэем, поместилась Дигэ. Томсон сидел между Галуэем и тем испанцем, карточку которого я собирался рассмотреть через десять лет.

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора перелетал от одного лица к другому, от одного к двум, опять к одному, трем, двум, и так беспрерывно, что казалось, все говорят, как инструменты оркестра, развивая каждый свои ноты — слова. Но я ничего не понимал. Я был обескуражен стоящим передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей под стеклянный колпак. Худая дама, приложив к глазам лорнет, тщательно осмотрела меня, вогнав в робость, и что-то сказала, но я, ничего не поняв, ответил: «Да, это так». Она больше не заговаривала со мной, не смотрела на меня, и я был от души рад, что чем-то ей не понравился. Вообще я был как в тумане.

Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то есть принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, что вокруг столов катятся изящные позолоченные тележки на высоких колесах, полные блестящей посуды, из-под крышек которой вьется пар, а под дном горят голубые огни спиртовых горелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся в воздухе руки. С чем? Надо было съесть это, чтобы узнать. Запахло такой гастрономией, такими хитростями кулинарии, что казалось, стоит съесть немного, как опьянеешь от одного возбуждения при мысли, что ел это ароматическое художество. И вот, как, может быть, ни покажется странным, меня вдруг захлестнул зверский мальчишеский голод, давно накоплявшийся среди подавляющих его впечатлений; я осушил высокий прозрачный стакан с черным вином, обрел самого себя и съел дважды все без остатка, почему тарелка вернулась полная в третий раз. Я оставил ее стоять и снова выпил вина. Со всех сторон видел я подносимые к губам стаканы и бокалы. Под потолком в другом конце зала с широкого балкона грянул оркестр и продолжал тише, чем шум стола, напоминая о блистающей стране.

В это время начали бить невидимые часы, ясно и медленно пробило одиннадцать, покрыв звуком все — шум и оркестр. В разговоре, от меня справа, прозвучало слово «Эстамп».

— Где Эстамп? — сказал Ганувер Дюроку. — После обеда он вдруг исчез и не появлялся. А где Поп?

— Не далее как полчаса назад, — ответил Дюрок, — Поп жаловался мне на невыносимую мигрень и, должно быть, ушел прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится. Эстампа же мы вряд ли дождемся.

— Почему?

— А... потому, что я видел его... тет-а-тет...

— Т-так, — сказал Ганувер, потускнев, — сегодня все уходят, начиная с утра. Появляются и исчезают. Вот еще нет капитана Орсуны. А я так ждал этого дня...

В это время подлетел к столу толстый черный человек с бритым, круглым лицом, холеным и загорелым.

— Вот я, — сказал он, — не трогайте капитана Орсуну. Ну, слушайте, какая была история! У нас завелись феи!

— Как — феи?! — сказал Ганувер.— Слушайте, Дюрок, это забавно!

— Следовало привести фею,— заметила Дигэ, делая глоток из узкого бокала.

— Понятно, что вы опоздали,— заметил Галуэй.— Я бы совсем не пришел.

— Ну, да вы...— сказал капитан, который, видимо, торопился поведать о происшествии. В одну секунду он выпил стакан вина, ковырнул вилкой в тарелке и стал чистить грушу, помахивая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая, удивлялся сам.— Вы — другое дело, а я, видите, очень занят. Так вот, я отвел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой дамбы, где стоит заколоченный павильон. Было часов семь, и солнце садилось. Катер шел близко к кустам, которыми поросла дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Когда я поравнялся с южным углом павильона, то случайно взглянул туда и увидел среди кустов, у самой воды, прекрасную молодую девушку в шелковом белом платье, с голыми руками и шеей, на которой сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком...

— Босиком! — вскричал Галуэй, в то время как Ганувер, откинувшись, стал вдруг напряженно слушать. Дюрок хранил любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла брови и весело свела их в улыбку верхней части лица. Все были заинтересованы.

Капитан, закрыв глаза, категорически помотал головой и с досадой вздохнул.

— Она была босиком — это совершенно точное выражение, и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке — ну, право же, очень миленькие чулочки,— паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога...— капитан метнул Дигэ покаянный взгляд, прервав сам себя.— Прошу прощения, другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за одну минуту...

— Нога...— перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

— Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: «Стоп! Задний ход!» И мы остановились, как охотничья собака над перепелкой. Я скажу, берите кисть, пишите ее. Это была фея, клянусь честью! «Послушай-

те,— сказал я,— кто вы?» Катер обогнул кусты и предстал перед ее не то чтобы недовольным, но, я сказал бы, не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас, я сказал: «Что вы здесь делаете?» Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень просто и вразумительно, но голосом — о, какой это красивый был голос! — не простого человека был голос, голос был...

— Ну,— перебил Томсон, с характерной для него резкой тишиной тона,— кроме голоса, было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул свой стакан.

— Она сказала,— повторил капитан, у которого покраснели виски,— вот что: «Да, у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить». Все! А? — Он хлопнул себя обеими руками по коленям и спросил: — Каково? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

И капитан принялся за вино.

— Это была горничная,— сказала Дигэ,— но так как солнце садилось, его эффект подействовал на вас субъективно.

Галуэй что-то промычал. Вдруг все умолкли,— чье-то молчание, наступив внезапно и круто, закрыло все рты. Это умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а теперь молчавший со странным взглядом и бледным лицом, по которому стекал пот. Его глаза медленно повернулись к Дюроку и остановились, но в ответившем ему взгляде был только спокойный свет.

Ганувер вздохнул и рассмеялся очень громко и, пожалуй, несколько дольше, чем переносят весы нервного такта.

— Орсуна, радость моя, капитан капитанов! — сказал он.— На мысе Гардена с тех пор, как я купил у Траулера этот дом, поселилось столько народа, что женское население стало очень разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги должна иметь папу и маму; что касается меня, то я не вижу здесь пока другой феи, кроме Дигэ Альвавиз, но и та не может исчезнуть, я думаю.

— Дорогой Эверест, ваше «пока» имеет не совсем точный смысл,— сказала красавица, владея собой как нельзя лучше и, по-видимому, не придавая никакого значения рассказу Орсуны.

Если был в это время за столом человек, боявшийся обратить внимание на свои пылающие щеки, то это я. Сердце мое билось так, что вино в стакане, который я держал, вздрагивало толчками. Без всяких доказательств и объяснений я знал уже, что и капитан видел Молли и что она будет здесь, здоровая и нетронутая, под защитой верного друзьям Санди.

Разговор стал суше, нервнее, затем перешел в град шуток, которыми осыпали капитана. Он сказал:

— Я опоздал по иной причине. Я ожидал возвращения жены с поездом десять двенадцать, но она, как я теперь думаю, приедет завтра.

— Очень жаль,— сказал Ганувер,— а я надеялся увидеть вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем сердце?

— Хо! Конечно, нет.

— Глаз художника и сердце бульдога! — сказал Галуэй.

Капитан шумно откашлялся.

— Не совсем так. Глаз бульдога в сердце художника. А впрочем, я налью себе еще этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза.

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, которому было отдано короткое приказание. Не прошло минуты, как три удара в гонг связали шум, и стало если не совершенно тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел говорить,— я видел это по устремленным на него взглядам. Он выпрямился, положив руки на стол ладонями вниз, и приказал оркестру молчать.

— Гости! — произнес Ганувер так громко, что было всем слышно; отчетливый резонанс этой огромной залы позволял в меру напрягать голос.— Вы — мои гости, мои приятели и друзья. Вы оказали мне честь посетить мой дом в день, когда четыре года назад я ходил еще в сапогах без подошв и не знал, что со мной будет.

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавливался, но без усилия или стеснения, а как бы к чему-то прислушиваясь, и продолжал так же спокойно:

— Многие из вас приехали пароходом или по железной дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами несколько дней.

Я вижу лица, напоминающие дни опасности и веселья, случайностей, похождений, тревог, дел и радостей.

Под вашим начальством, Том Клертон, я служил в таможне Сан-Риоля, и вы бросили службу, когда я был несправедливо обвинен капитаном «Терезы» в попустительстве другому пароходу — «Орландо».

Амелия Корниус! Четыре месяца вы давали мне в кредит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не заплатил вам — по малодушию или легкомыслию, не знаю, но не заплатил. На днях мы выясним этот вопрос.

Вильям Вильямсон! На вашей вилле я выздоровел от тифа, и вы каждый день читали мне газеты, когда я после кризиса не мог поднять ни головы, ни руки.

Люк Арадан! Вы, имея дело с таким неврастеником-миллионером, как я, согласились взять мой капитал в свое ведение, избавив меня от деловых мыслей, жестов, дней, часов и минут, и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз.

Генри Токвиль! Вашему банку я обязан удачным залогом, сохранением секрета и возвращением золотой цепи.

Лейтенант Глаудис! Вы спасли меня на охоте, когда я висел над пропастью, удерживаясь сам не знаю за что.

Георг Барк! Вы бросились за мной в воду с борта «Индианы», когда я упал туда во время шторма вблизи Адена.

Леон Дегуст! Ваш гений воплотил мой лихорадочный бред в строгую и прекрасную конструкцию того здания, где мы сидим. Я встаю приветствовать вас и поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым вы первоначально выслушали меня, и высмеяли, и багровели четверть часа; наконец, сказали: «Честное слово, об этом стоит подумать. Но только я припишу на доске у двери: архитектор Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспокоить его месяца три».

Смотря в том направлении, куда глядел Ганувер, я увидел старого безобразного человека с надменным выражением толстого лица и иронической бровью; выслушав, Дегуст грузно поднялся, уперся ладонями в стол и, посмотрев вбок, сказал:

— Я очень польщен.

Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. Ганувер засмеялся.

— Ну,— сказал он, вынимая часы,— назначено в двенадцать, теперь без пяти минут полночь.— Он задумался с остывшей улыбкой, но тотчас встрепенулся: — Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего, но вы видите, что я все хорошо помню. Итак, я помню обо всех все — все встречи и разговоры; я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нем теперь, как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги дали мне возможность осуществить мою манию. Мне не объяснить вам ее в кратких словах. Вероятно, страсть эта может быть названа так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в явном; непоколебимость строительных громад, которой я могу играть давлением пальца. И — я это понял недавно — я ждал, что, осуществив прихоть, ставшую прямой потребностью, я, в глубине тайных зависимостей наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едва ли мои забавы ума, имевшие, однако, неодолимую власть над душой, были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему желанию Дегуст, если бы не обещание, данное мной... одному лицу — дело относится к прошлому. Тогда мы, два нищих, сидя под крышей заброшенного сарая, на земле, где была закопана нами груда чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю Шехерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего не известно, обладало живым воображением и страстью обставлять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило: «Уж если мечтать, то мечтать...»

В это время начало бить двенадцать.

— Дигэ,— сказал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговорщика,— ну-ка, тряхните стариной Али-Бабы и его сорока разбойников!

— Что же произойдет? — закричал любопытный голос с другого конца стола.

Дигэ встала, смеясь.

— Мы вам покажем! — заявила она, и если волновалась, то нельзя ничего было заметить.— Откровенно

скажу, я сама не знаю, что произойдет. Если дом станет летать по воздуху, держитесь за стулья!

— Вы помните — как?..— сказал Ганувер Дигэ.

— О да. Вполне.

Она подошла к одному из огромных канделябров, о которых я уже говорил, и протянула руку к его позолоченному стволу, покрытому ниспадающими выпуклыми полосками. Всмотревшись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну из этих полосок. Ее взгляд расширился, лицо слегка дрогнуло, не удержавшись от мгновения торжества, блеснувшего затаенной чертой. И в то самое мгновение, когда у меня авансом стала кружиться голова, все осталось, как было, на своем месте. Еще некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, который ведет человек, если курок дал осечку, ожидая запоздавшего выстрела, затем поднялись шум и смех.

— Снова! — закричал дон Эстебан.

— Штраф,— сказал Орсуна.

— Нехорошо дразнить маленьких! — заметил Галуэй.

— Фу, как это глупо! — вскричала Дигэ, топнув ногой.— Как вы зло шутите, Ганувер!

По ее лицу пробежала нервная тень; она решительно отошла, сев на свое место и кусая губы.

Ганувер рассердился. Он вспыхнул, быстро встал и сказал:

— Я не виноват. Наблюдение за исправностью поручено Попу. Он будет призван к ответу. Я сам...

Досадуя, как это было заметно по его резким движениям, он подошел к канделябру, двинул металлический завиток и снова отвел его. И, повинуясь этому незначительному движению, все стены залы кругом, вдруг отделились от потолка пустой, светлой чертой и, разом погрузясь в пол, исчезли. Это произошло бесшумно. Я закачался. Я вместе с сиденьем как бы поплыл вверх.

XVIII

К тому времени я уже бессознательно твердил: «Молли не будет»,— испытав душевную пустоту и трезвую горечь последнего удара часов, вздрагивая перед тем от каждого восклицания, когда мне чудилось, что

появились новые лица. Но падение стен, причем это совершилось так безупречно плавно, что не заколебалось даже вино в стакане, выколотило из меня все чувства одним ужасным ударом. Мне казалось, что зала взметнулась на высоту, среди сказочных колоннад. Все, кто здесь был, вскрикнули; испуг и неожиданность заставили людей повскакать. Казалось, взревели незримые трубы; эффект подействовал, как обвал, и обернулся сиянием сказочно яркой силы — так резко засияло оно.

Чтобы изобразить зрелище, открывшееся в темпе апоплексического удара, я вынужден применить свое позднейшее знание искусства и материала, двинутых Ґанувером из небытия в атаку собрания. Мы были окружены колоннадой черного мрамора, отраженной прозрачной глубиной зеркала, шириной не менее двадцати футов и обходящего пол бывшей залы мнимым четырехугольным провалом. Ряды колонн, по четыре в каждом ряду, были обращены флангом к общему центру и разделены проходами одинаковой ширины по всему их четырехугольному строю. Цоколи, на которых они стояли, были высоки и массивны. Меж колонн сыпались один выше другого искрящиеся водяные стебли фонтанов — три струи на каждый фонтан, в падении они имели вид изогнутого пера. Все это, повторенное прозрачным отражающим низом, стояло как одна светлая глубина, выложенная вверху и внизу взаимно опрокинутой колоннадой. Линия отражения, находясь в одном уровне с полом залы и полами пространств, которые сверкали из-за колонн, придавала основе зрелища видимость ковров, разостланных в воздухе. За колоннами, в свете хрустальных ламп вишневого цвета, бросающих на теплую белизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. Блеск струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, гигантские зеркала и гобелены с бисерной глубиной в бледном тумане рисунка странных пейзажей; мебель, прихотливее и прелестнее воздушных гирлянд в лунную ночь, не вызывала даже желания рассмотреть подробности. Задуманное и явленное, как хор, действующий согласием множества голосов, это артистическое безумие сияло из-за черного мрамора, как утро сквозь ночь.

Между тем дальний от меня конец залы, под галереей для оркестра, выказывал зрелище, где его творец

сошел из поражающей красоты к удовольствию точного и законченного впечатления. Пол был застлан сплошь белым мехом, чистым, как слой первого снега. Слева сверкал камин литого серебра с узором из малахита, а стены, от карниза до пола, скрывал плющ, пропуская блеск овальных зеркал ковром темно-зеленых листьев; внизу, на золоченой решетке, обходящей три стены, вился желтый узор роз. Эта комната, или маленькая зала, с белым матовым светом одной люстры — настоящего жемчужного убора из прозрачных шаров, свесившихся опрокинутым конусом,— совершенно остановила мое внимание; я засмотрелся в ее прекрасный уют и, обернувшись наконец взглянуть, нет ли еще чего сзади меня, увидел, что Дюрок встал, протянув руку к дверям, где на черте входа остановилась девушка в белом и гибком, как она сама, платье, с разгоревшимся, нервно-спокойным лицом, храбро устремив взгляд прямо вперед. Она шла, закусив губку, вся — ожидание. Я не узнал Молли — так преобразилась она теперь. Но тотчас схватило в горле, и все, кроме нее, пропало. Как безумный, я закричал:

— Смотрите, смотрите! Это Молли! Она пришла! Я знал, что придет!

Ужасен был взгляд Дюрока, которым он хватил меня, как жезлом. Ганувер, побледнев, обернулся, как на пружинах, и все, кто был в зале, немедленно посмотрели в эту же сторону. С Молли появился Эстамп; он только взглянул на Ганувера и отошел. Наступила чрезвычайная тишина — совершенное отсутствие звука, и в тишине этой, оброненное или стукнутое, тонко прозвенело стекло.

Все стояли по шею в воде события, нахлынувшего внезапно. Ганувер подошел к Молли, протянув руки, с забывшимся и диким лицом. На него было больно смотреть — так вдруг ушел он от всех к одной, которую ждал. «Что случилось?» — прозвучал осторожный шепот. В эту минуту оркестр, мягко двинув мелодию, дал знать, что мы прибыли в Замечательную Страну.

Дюрок махнул рукой на балкон музыкантам с такой силой, как будто швырнул камнем. Звуки умолкли. Ганувер взял приподнятую руку девушки и тихо посмотрел ей в глаза.

— Это вы, Молли? — сказал он, оглядываясь с улыбкой.

— Это я, милый, я пришла, как обещала. Не грустите теперь!

— Молли,— он хрипло вздохнул, держа руку у горла, потом притянул ее голову и поцеловал в волосы.— Молли! — повторил Ганувер.— Теперь я буду верить всему! — Он обернулся к столу, держа в руке руку девушки, и сказал: — Я был очень беден. Вот моя невеста, Эмилия Варрен. Я не владею собой. Я не могу больше владеть собой, и вы не осудите меня.

— Это и есть фея! — сказал капитан Орсуна.— Клянусь, это она!

Дрожащая рука Галуэя, укрепившего монокль, резко упала на стол.

Дигэ, опустив внимательный взгляд, которым осматривала вошедшую, встала, но Галуэй усадил ее сильным, грубым движением.

— Не смей! — сказал он.— Ты будешь сидеть.

Она опустилась с презрением и тревогой, холодно двинув бровью. Томсон, прикрыв лицо рукой, сидел, катая хлебный шарик. Я все время стоял. Стояли также Дюрок, Эстамп, капитан и многие из гостей. На праздник, как на луг, легла тень. Началось движение, некоторые вышли из-за стола, став ближе к нам.

— Это — вы? — сказал Ганувер Дюроку, указывая на Молли.

— Нас было трое,— смеясь, ответил Дюрок.— Я, Санди, Эстамп.

Ганувер сказал:

— Что это...— Но его голос оборвался.— Ну, хорошо,— продолжал он,— сейчас не могу я благодарить. Вы понимаете. Оглянитесь, Молли,— заговорил он, ведя рукой вокруг,— вот все то, как вы строили на берегу моря, как это нам представлялось тогда. Узнаете ли вы теперь?

— Не надо...— сказала Молли, потом рассмеялась.— Будьте спокойнее. Я очень волнуюсь.

— А я? Простите меня! Если я помешаюсь, это так и должно быть. Дюрок! Эстамп! Орсуна! Санди, плут! И ты тоже молчал! Вы все меня подожгли с четырех концов! Не сердитесь, Молли! Молли, скажите что-нибудь! Кто же мне объяснит все?

Девушка молча сжала и потрясла его руку, мужественно обнажая этим свое сердце, которому пришлось испытать так много за этот день. Ее глаза были полны слез.

— Эверест,— сказал Дюрок,— это еще не все!

— Совершенно верно,— с вызовом откликнулся Галуэй, вставая и подходя к Гануверу.— Кто, например, объяснит мне кое-что непонятное в деле моей сестры, Дигэ Альвавиз? Знает ли эта девушка?

— Да,— растерявшись, сказала Молли, взглядывая на Дигэ,— я знаю. Но ведь я — здесь.

— Наконец, избавьте меня...— произнесла Дигэ, вставая,— от какой бы то ни было вашей позы, Галуэй, по крайней мере, в моем присутствии.

— Август Тренк,— сказал, прихлопывая всех, Дюрок Галуэю,— я объясню, что случилось. Ваш товарищ, Джек Гаррисон, по прозвищу «Вас-ис-дас», и ваша любовница Этель Мейер должны понять мой намек или признать меня довольно глупым, чтобы уметь выяснить положение. Вы проиграли!

Это было сказано громко и тяжело. Все оцепенели. Гости, покинув стол, собрались тучей вокруг налетевшего действия. Теперь мы стояли среди толпы.

— Что это значит? — спросил Ганувер.

— Это финал! — вскричал, выступая, Эстамп.— Три человека собрались ограбить вас под чужим именем. Каким образом — вам известно.

— Молли,— сказал Ганувер, вздрогнув, но довольно спокойно,— и вы, капитан Орсуна! Прошу вас, уведите ее. Ей трудно быть сейчас здесь.

Он передал девушку, послушную, улыбающуюся, в слезах, мрачному капитану, который спросил: «Голубушка, хотите, посидим с вами немного?» — и увел ее. Уходя, она приостановилась, сказав: «Я буду спокойной. Я все объясню, все расскажу вам, я вас жду. Простите меня!»

Так она сказала, и я не узнал в ней Молли из бордингауза. Это была девушка на своем месте, потрясенная, но стойкая в тревоге и чувстве. Я подивился также самообладанию Галуэя и Дигэ; о Томсоне трудно сказать что-нибудь определенное: услышав, как заговорил Дюрок, он встал, заложил руки в карманы и свистнул.

Галуэй поднял кулак в уровень с виском, прижал к голове и резко опустил. Он растерялся лишь на одно мгновение. Шевеля веером у лица, Дигэ безмолвно смеялась, продолжая сидеть. Дамы смотрели на нее, кто в упор, с ужасом, или через плечо, но она, как бы не замечая этого оскорбительного внимания, следила за Галуэем.

Галуэй ответил ей взглядом человека, получившего удар по щеке.

— Канат лопнул, сестричка! — сказал Галуэй.

— Ба! — произнесла она, медленно вставая, и, притворно зевнув, обвела бессильно высокомерным взглядом толпу лиц, взиравших на сцену с молчаливой тревогой.

— Дигэ, — сказал Ганувер, — что это? Правда?

Она пожала плечами и отвернулась.

— Здесь Бен Дрек, переодетый слугой, — заговорил Дюрок. — Он установил тождество этих людей с героями шантажной истории в Ледингенте. Дрек, где вы? Вы нам нужны!

Молодой слуга, с черной прядью на лбу, вышел из толпы и весело кивнул Галуэю.

— Алло, Тренк! — сказал он. — Десять минут тому назад я переменил вашу тарелку.

— Вот это торжество! — вставил Томсон, проходя вперед всех ловким поворотом плеча. — Открыть имя труднее, чем повернуть стену. Ну, Дюрок, вы нам поставили шах и мат. Ваших рук дело!

— Теперь я понял, — сказал Ганувер. — Откройтесь! Говорите все. Вы были гостями у меня. Я был с вами любезен, клянусь, я вам верил. Вы украли мое отчаяние, из моего горя вы сделали воровскую отмычку! Вы, вы, Дигэ, сделали это! Что вы, безумные, хотели от меня? Денег? Имени? Жизни?

— Добычи, — сказал Галуэй. — Вы меня мало знаете.

— Август, он имеет право на откровенность, — заметила вдруг Дигэ, — хотя бы в виде подарка. Знайте, — сказала она, обращаясь к Гануверу, и мрачно посмотрела на него, в то время как ее губы холодно улыбались, — знайте, что есть способы сократить дни человека незаметно и мирно. Надеюсь, вы оставите завещание?

— Да.

— Оно было бы оставлено мне. Ваше сердце в благоприятном состоянии для решительного опыта без всяких следов.

Ужас охватил всех, когда она сказала эти томительные слова. И вот произошло нечто, от чего я содрогнулся до слез; Ганувер пристально посмотрел в лицо Этель Мейер, взял ее руку и тихо поднес к губам. Она вырвала ее с ненавистью, отшатнувшись и вскрикнув.

— Благодарю вас,— очень серьезно сказал он,— за то мужество, с каким вы открыли себя. Сейчас я был как ребенок, испугавшийся темного угла, но знающий, что сзади него, в другой комнате,— светло. Там голоса, смех и отдых. Я счастлив, Дигэ,— в последний раз я вас называю «Дигэ». Я расстаюсь с вами как с гостьей и женщиной. Бен Дрек, дайте наручники!

Он отступил, пропустив Дрека. Дрек помахал браслетами, ловко поймав отбивающуюся женскую руку; запор звякнул, и обе руки Дигэ, бессильно рванувшись, отразили в ее лице злое мучение. В тот же момент был пойман лакеями пытавшийся увернуться Томсон и выхвачен револьвер у Галуэя. Дрек заковал всех.

— Помните,— сказал Галуэй, шатаясь и задыхаясь,— помните, Эверест Ганувер, что сзади вас не светло! Там не освещенная комната. Вы идиот.

— Что, что?— вскричал дон Эстебан.

— Я развиваю скандал,— ответил Галуэй,— и вы меня не ударите, потому что я окован. Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец совместимы? Стоит взглянуть на ее лицо. Я вижу вещи, как они есть. Вам была нужна одна женщина — если бы я ее бросил для вас,— моя любовница, Этель Мейер; в этом доме она как раз то, что требуется. Лучше вам не найти. Ваши деньги понеслись бы у нее в хвосте диким аллюром. Она знала бы, как завоевать самую беспощадную высоту. Из вас, ничтожества, умеющего только грезить, обладая Голкондой, она свила бы железный узел, показала прелесть, вам неизвестную, растленной жизни с запахом гиацинта. Вы сделали преступление, отклонив золото от его прямой цели — расти и давить, заставили тигра улыбаться игрушкам, и все это ради того, чтобы бросить драгоценный каприз к ногам девушки, которая будет простосердечно смеяться, если ей показать палец! Мы знаем вашу историю. Она куплена нами и была бы зачеркнута. Была бы! Теперь вы ее продолжаете. Но вам не удастся вывести прямую черту. Меж вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые нужно сделать, чтобы обойти все эти — клянусь! — превосходные залы, или она сама сделается Эмилией Ганувер — больше, чем вы хотите того, трижды, сто раз Эмилия Ганувер!

— Никогда! — сказал Ганувер.— Но двадцать тысяч шагов... Ваш счет верен. Однако я запрещаю

говорить дальше об этом. Бен Дрек, раскуйте молодца, раскуйте женщину и того, третьего. Гнев мой улегся. Сегодня никто не должен пострадать, даже враги. Раскуйте, Дрек! — повторил Ганувер изумленному агенту. — Вы можете продолжать охоту где хотите, но только не у меня.

— Хорошо, ох! — Дрек, страшно досадуя, освободил закованных.

— Комедиант! — бросила Дигэ с гневом и смехом.

— Нет, — ответил Ганувер, — нет. Я вспомнил Молли. Это ради нее. Впрочем, думайте что хотите. Вы свободны. Дон Эстебан, сделайте одолжение, напишите этим людям чек на пятьсот тысяч, и чтобы я их больше не видел!

— Есть, — сказал судовладелец, вытаскивая чековую тетрадь, в то время как Эстамп протянул ему механическое перо. — Ну, Тренк, и вы, мадам Мейер, отгадайте: поза или пирог?

— Если б я мог, — ответил в бешенстве Галуэй, — если бы я мог передать вам свое полнейшее равнодушие к мнению обо мне всех вас, так как оно есть в действительности, чтобы вы поняли его и остолбенели, я, не колеблясь, сказал бы «пирог» и ушел с вашим чеком, смеясь в глаза. Но я сбит. Вы можете мне не поверить.

— Охотно верим, — сказал Эстамп.

— Такой чек стоит всякой утонченности, — провозгласил Томсон, — и я первый благословляю наносимое мне оскорбление.

— Ну, что там... — с ненавистью сказала Дигэ.

Она выступила вперед, медленно подняла руку и, смотря прямо в глаза дону Эстебану, выхватила чек из руки, где он висел, удерживаемый концами пальцев. Дон Эстебан опустил руку и посмотрел на Дюрока.

— Каждый верен себе, — сказал тот, отвертываясь.

Эстамп поклонился, указывая дверь.

— Мы вас не удерживаем, — произнес он. — Чек ваш, вы свободны, и больше говорить не о чем.

Двое мужчин и женщина, плечи которой казались сзади в этот момент пригнутыми резким ударом, обменялись вполголоса немногими словами и, не взглянув ни на кого, поспешно ушли. Они больше не казались живыми существами. Они были убиты на моих глазах выстрелом из чековой книжки. Через дверь самое далекое зеркало повторило движения удаляю-

щихся фигур, и я, бросившись на стул, неудержимо заплакал, как от смертельной обиды, среди волнения потрясенной толпы, спешившей разойтись.

Тогда меня коснулась рука, я поднял голову и с горьким стыдом увидел ту веселую молодую женщину, от которой взял розу. Она смотрела на меня внимательно, с улыбкой и интересом.

— О простота! — сказала она.— Мальчик, ты плачешь потому, что скоро будешь мужчиной. Возьми другой цветок на память от Камиллы Флерон!

Она взяла из вазы, ласково протянув мне, а я машинально сжал его — георгин цвета вишни. Затем я, также машинально, опустил руку в карман и вытащил потемневшие розовые лепестки, которыми боялся сорить. Дама исчезла. Я понял, что она хотела сказать этим, значительно позже.

Георгин я храню по сей день.

XIX

Между тем почти все разошлись, немногие оставшиеся советовались о чем-то по сторонам, вдалеке от покинутого стола. Несколько раз пробегающие взад и вперед слуги были задержаны жестами одиноких групп и беспомощно разводили руками или же давали знать пожатием плеч, что происшествия этого вечера для них совершенно темны. Вокруг тревожной пустоты разлетевшегося в прах торжества без восхищения и внимания сверкали из-за черных колонн покинутые чудеса золотой цепи. Никто более не входил сюда. Я встал и вышел. Когда я проходил третью по счету залу, замечая иногда удаляющуюся тень или слыша далеко от себя зуки шагов, дорогу пересек Поп. Увидев меня, он встрепенулся.

— Где же вы?! — сказал Поп.— Я вас ищу. Пойдемте со мной. Все кончилось очень плохо!

Я остановился в испуге, так что, спеша и опередив меня, Поп должен был вернуться.

— Не так страшно, как вы думаете, но чертовски скверно. У него был припадок. Сейчас там все, и он захотел видеть вас. Я не знаю, что это значит. Но вы пойдете, не правда ли?

— Побежим! — вскричал я.— Ну, ей, должно быть, здорово тяжело!

— Он оправится,— сказал Поп, идя быстрым шагом, но как будто топтался на месте — так я торопился сам.— Ему уже значительно лучше. Даже немного посмеялись. Знаете, он запустил болезнь и никому не пикнул об этом! Вначале я думал, что мы все виноваты. А вы как думаете?

— Что же меня спрашивать? — возразил я с обидой.— Ведь я знаю менее всех!

— Не очень виноваты,— продолжал он, обходя мой ответ.— В чем-то не виноваты, это я чувствую. Ах, как он радовался! Тс! Это его спальня.

Он постучал в замкнутую высокую дверь, и, когда собирался снова стучать, Эстамп открыл изнутри, немедленно отойдя и договаривая в сторону постели прерванную нашим появлением фразу: «...поэтому вы должны спать. Есть предел впечатлениям и усилиям. Вот пришел Санди».

Я увидел прежде всего сидящую у кровати Молли; Ганувер держал ее руку, лежа с высоко поднятой подушками головой. Рот его был полураскрыт, и он трудно дышал, говоря с остановками, негромким голосом. Между краев расстегнутой рубашки был виден грудной компресс.

В этой большой спальне было так хорошо, что вид больного не произвел на меня тяжелого впечатления. Лишь присмотревшись к его как бы озаренному тусклым светом лицу, я почувствовал скверное настроение минуты.

У другого конца кровати сидел, заложив ногу на ногу, Дюрок, дон Эстебан стоял посредине спальни. У стола доктор возился с лекарствами. Капитан Орсуна ходил из угла в угол, заложив за широкую спину обветренные короткие руки. Молли была очень нервна, но улыбалась, когда я вошел.

— Сандерсончик! — сказала она, блеснув на момент живостью, которую не раздавило ничто.— Такой был хорошенький в платочке! А теперь... Фу!.. Вы плакали?

Она замахала на меня свободной рукой, потом поманила пальцем и убрала с соседнего стула газету.

— Садитесь. Пустите мою руку,— сказала она ласково Гануверу.— Вот так! Сядем все чинно.

— Ему надо спать,— резко заявил доктор, значительно взглядывая на меня и других.

— Пять минут, Джонсон! — ответил Ганувер.— Пришла одна живая душа, которая тоже, я думаю, не терпит одиночества. Санди, я тебя позвал — как знать, увидимся ли мы еще с тобой? — позвал на пару дружеских слов. Ты видел весь этот кошмар?

— Ни одно слово, сказанное там,— произнес я в лучшем своем стиле потрясенного взрослого,— не было так глубоко спрятано и запомнено, как в моем сердце.

— Ну, ну! Ты очень хвастлив. Может быть, и в моем также. Благодарю тебя, мальчик, ты мне тоже помог, хотя сам ты был, как птица, не знающая, где сядет завтра.

— Ох, ох! — сказала Молли.— Ну как же он не знал? У него есть на руке такая надпись,— хотя я и не видела, но слышала.

— А вы?! — вскричал я, задетый по наболевшему месту устами той, которая должна была пощадить меня в эту минуту.— Можно подумать — как же! — что вы очень древнего возраста! — Испугавшись собственных слов, едва я удержался сказать лишнее, но мысленно повторял: «Девчонка! Девчонка!»

Капитан остановился ходить, посмотрел на меня, щелкнул пальцами и грузно сел рядом.

— Я ведь не спорю,— сказала девушка, в то время как затихал смех, вызванный моей горячностью.— А может быть, я и правда старше тебя!

— Мы делаемся иногда моложе, иногда старше,— сказал Дюрок.

Он сидел в той же позе, как на «Эспаньоле», отставив ногу, откинувшись, слегка опустив голову, а локоть положа на спинку стула.

— Я шел утром по береговому песку и услышал, как кто-то играет на рояле в доме, где я вас нашел, Молли. Точно так было семь лет тому назад, почти в той же обстановке. Я шел тогда к девушке, которой более нет в живых. Услышав эту мелодию, я остановился, закрыл глаза, заставил себя перенестись в прошлое и на шесть лет стал моложе.

Он задумался. Молли взглянула на него украдкой, потом, выпрямившись и улыбаясь, повернулась к Гануверу.

— Вам очень больно? — сказала она.— Быть может, лучше, если я тоже уйду?

— Конечно, нет,— ответил он.— Санди, Молли, которая тебя так сейчас обидела, была худым черномазым птенцом на тощих ногах всего только четыре года назад. У меня не было ни дома, ни ночлега. Я спал в брошенном бараке.

Девушка заволновалась и завертелась.

— Ах, ах! — вскричала она.— Молчите, молчите! Я вас прошу. Остановите его! — обратилась она к Эстампу.

— Но я уже оканчиваю,— сказал Ганувер,— пусть меня разразит гром, если я умолчу об этом. Она подскакивала, напевала, заглядывала в щель барака дня три. Затем мне были просунуты в дыру в разное время: два яблока, старый передник с печеным картофелем и фунт хлеба. Потом я нашел цепь.

— Вы очень меня обидели,— громко сказала Молли,— очень.— Немедленно она стала смеяться.— Там же и зарыли ее, эту цепь. Вот было жарко! Сандерс, вы чего молчите, позвольте спросить?

— Я ничего,— сказал я.— Я слушаю.

Доктор прошел между нами, взяв руку Ганувера.

— Еще минута воспоминаний,— сказал он,— тогда завтрашний день испорчен. Уйдите, прошу вас!

Дюрок хлопнул по колену рукой и встал. Все подошли к девушке — веселой или грустной? — трудно было понять, так тосковало, мгновенно освещаясь улыбкой или становясь внезапно рассеянным, ее подвижное лицо. Прощаясь, я сказал:

— Молли, если я вам понадоблюсь, рассчитывайте на меня!.. — И, не дожидаясь ответа, быстро выскочил первый, почти не помня, как холодная рука Ганувера стиснула мою крепким пожатием.

На выходе сошлись все. Когда вышел доктор Джонсон, тяжелая дверь медленно затворилась. Ее щель сузилась, блеснула последней чертой и исчезла, скрыв за собой двух людей, которым, я думаю, нашлось поговорить кое о чем — без нас и иначе, чем при нас.

— Вы тоже ушли? — сказал Джонсону Эстамп.

— Такая минута,— ответил доктор.— Я держусь мнения, что врач должен иногда смотреть на свою задачу несколько шире закона, хотя бы это грозило осложнениями. Мы не всегда знаем, что важнее при некоторых обстоятельствах — жизнь или смерть. Во всяком случае, ему пока хорошо.

XX

Капитан, тихо разговаривая с Дюроком, удалился в соседнюю гостиную. За ними ушли дон Эстебан и врач. Эстамп шел некоторое время с Попом и со мной, но на первом повороте, кивнув, «исчез по своим делам»,— как он выразился. Отсюда недалеко было в библиотеку, пройдя которую Поп зашел со мной в мою комнату и сел с явным изнеможением; я, постояв, сел тоже.

— Так вот,— сказал Поп.— Не знаю, засну ли сегодня.

— Вы их выследили?— спросил я.— Где же они теперь?

— Исчезли, как камень в воде. Дрек сбился с ног, подкарауливая их на всех выходах, но одному человеку трудно поспеть сразу к множеству мест. Ведь здесь двадцать выходов, толпа, суматоха, переполох, и, если они переоделись, изменив внешность, то вполне понятно, что Дрек сплоховал. Ну и он, надо сказать, имел дело с первостатейными артистами. Все это мы узнали потом, от Дрека. Дюрок вытащил его телеграммой; можете представить, как он торопился, если заказал Дреку экстренный поезд! Ну, мы поговорим в другой раз. Второй час ночи, а каждый час этих суток надо считать за три — так все устали. Спокойной ночи!

Он вышел, а я подошел к кровати, думая, не вызовет ли ее вид желания спать. Ничего такого не произошло. Я не хотел спать: я был возбужден и неспокоен. В моих ушах все еще стоял шум; отдельные разговоры без моего усилия звучали снова с характерными интонациями каждого говорящего. Я слышал смех, восклицания, шепот и, закрыв глаза погрузился в мелькание лиц, прошедших передо мной за эти часы...

Лишь после пяти лет, при встрече с Дюроком, я узнал, отчего Дигэ, или Этель Мейер, не смогла в назначенный момент сдвинуть стены и почему это вышло так молниеносно у Ганувера. Молли была в павильоне с Эстампом и женой слуги Паркера. Она сама захотела появиться ровно в двенадцать часов, думая, может быть, сильнее обрадовать Ганувера. Она опоздала совершенно случайно. Между тем, видя, что ее нет, Поп, дежуривший у подъезда, бросился в камеру, где были электрические соединения, и разъединил ток, решив, что, как бы ни было, но Дигэ не

произведет предположенного эффекта. Он закрыл ток на две минуты, после чего Ганувер вторично отвел металлический завиток.

ЭПИЛОГ

I

В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь полуостров и прилегающую к нему часть материка. Бедствие достигло грозной силы; каждый день умирало по пятьсот и более человек.

Незадолго перед тем в числе прочей команды вновь отстроенного парохода «Валкирия» я был послан принять это судно от судостроительной верфи Ратнера и К° в Лисс, где мы и застряли, так как заболела почти вся нанятая для «Валкирии» команда. Кроме того, строгие карантинные правила по разным соображениям не выпустили бы нас с кораблем из порта ранее трех недель, и я, поселившись в гостинице на набережной Канье, частью скучал, частью проводил время с сослуживцами в буфете гостиницы, но более всего скитался по городу, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из участников истории разыгравшейся пять лет назад во дворце «Золотая цепь».

После того как Орсуна утром на другой день после тех событий увез меня из «Золотой цепи» в Сан-Риоль, я еще не бывал в Лиссе — жил полным пансионером, и за меня платила невидимая рука. Через месяц мне написал Поп,— он уведомлял, что Ганувер умер на третий день от разрыва сердца и что он, Поп, уезжает в Европу, но зачем, надолго ли, а также что стало с Молли и другими, о том ничего не упомянул. Я много раз перечитал это письмо. Я написал также сам несколько писем, но у меня не было никаких адресов, кроме мыса Гардена и дона Эстебана. Эти письма я так и послал. В них я пытался разузнать адреса Попа и Молли, но, так как письмо в «Золотую цепь» было адресовано мной разом Эстампу и Дюроку, ответа я не получил, может быть, потому, что они уже выехали оттуда. Дон Эстебан ответил; но отве-

тил именно то, что не знает, где Поп, а адрес Молли не сообщает затем, чтобы я лишний раз не напомнил ей о горе своими посланиями. Под конец он советовал мне заняться моими собственными делами.

Итак, я больше никому не писал, но с возмущением и безрезультатно ждал писем еще месяца три, пока не додумался до очень простой вещи: что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне наконец оторваться от тех тридцати шести часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви. Постепенно я стал вспоминать «Золотую цепь», как отзвучавшую песню, но, чтобы ничего не забыть, потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того дня. Благодаря этой старой тетрадке я могу теперь восстановить все доподлинно. Но еще много раз после того я видел во сне Молли и, кажется, был неравнодушен к ней очень долго, так как сердце мое начинало биться ускоренно, когда где-нибудь слышал я это имя.

На второй день прибытия в Лисс я посетил тот закоулок порта, где стояла «Эспаньола», когда я удрал с нее. Теперь стояли там две американские шхуны, что не помешало мне вспомнить, как пронзительно гудел ветер ночью перед появлением Дюрока и Эстампа. Я навел также справки о «Золотой цепи», намереваясь туда поехать на свидание с прошлым, но хозяин гостиницы рассказал, что этот огромный дом взят городскими властями под лазарет и там помещено множество эпидемиков. Относительно судьбы дома, в общем, известно было лишь, что Ганувер, не имея прямых наследников и не оставив завещания, подверг тем все имущество длительному процессу со стороны сомнительных претендентов, и дом был заперт все время до эпидемии, когда, по его уединенности, найдено было, что он отвечает всем идеальным требованиям гигантского лазарета.

У меня были уже небольшие усы, начала также пушиться нежная борода, такая жалкая, что я усердно снимал ее бритвой. Иногда я с достоинством посматривал в зеркало, сжимал губы и двигал плечом — плечи стали значительно шире.

Никогда не забывая обо всем этом, держа в уме своем изящество и молодцеватость, я проводил вечера

либо в буфете, либо на бульваре, где облюбовал кафе «Тонус».

Однажды я вышел из кафе, когда не было еще семи часов,— я ожидал приятеля, чтобы идти вместе в театр, но он не явился, прислав подозрительную записку — известно, какого рода,— а один я не любил посещать театр. Итак, это дело расстроилось. Я спустился к нижней аллее и прошел ее всю, а когда хотел повернуть к городу, навстречу мне попался старик в летнем пальто, котелке, с тросточкой, видимо вышедший погулять, так как за его свободную руку держалась девочка лет пяти.

— Паркер! — вскричал я, становясь перед ним лицом к лицу.

— Верно,— сказал Паркер, всматриваясь. Память его усиленно работала, так как лицо попеременно вытягивалось, улыбалось и силилось признать, кто я такой.— Что-то припоминаю,— заговорил он нерешительно,— но, извините, последние годы плохо вижу.

— «Золотая цепь»! — сказал я.

— Ах да! Ну, значит... Нет, разрази бог, не могу вспомнить.

Я хлопнул его по плечу.

— Санди Пруэль,— сказал я,— тот самый, который все знает!

— Паренек, это ты?! — Паркер склонил голову набок, просиял и умильно заторжествовал: — О, никак не узнать! Форма к тебе идет! Вырос, раздвинулся. Ну что же, надо поговорить! А меня вот внучка таскает: «Пойдем, дед, да пойдем»,— любит со мной гулять.

Мы прошли опять в «Тонус» и заказали вино; девочке заказали сладкие пирожки, и она стала их анатомировать пальцем, мурлыча и болтая ногами, а мы с Паркером унеслись на пять лет назад. Некоторое время Паркер говорил мне «ты», затем постепенно проникся зрелищем перемены в лице изящного загорелого моряка, носящего штурманскую форму с привычной небрежностью опытного морского волка, и перешел на «вы».

Естественно, что разговор был об истории и судьбе лиц, нам известных, а больше всего — о Молли, которая обвенчалась с Дюроком полтора года назад. Кроме того, я узнал, что оба они здесь, и живут очень недалеко — в гостинице «Пленэр», приехали по делам Дюрока, а по каким именно, Паркер точно не знал, но

он был у них, оставшись очень доволен как приемом, так и угощением. Я был удивлен и рад, но больше рад за Молли, что ей не пришлось попасть в цепкие лапы своих братцев. С этой минуты мне уже не сиделось, и я машинально кивал, дослушивая рассказ старика. Я узнал также, что Паркер знал Молли давно,— он был ее дальним родственником с материнской стороны.

— А вы знаете,— сказал Паркер,— что она приезжала накануне того вечера одна, тайно в «Золотую цепь» и что я ей устроил? Не знаете... Ну, так она приходила проститься с тем домом, который покойник выстроил для нее, как она хотела,— глупая девочка! — и разыскала меня, закутанная платком по глаза. Мы долго ходили там, где можно было ходить, не рассчитывая кого-нибудь встретить. Ее глаза разблестелись — так была поражена,— известно, Ганувер размахнулся, как он один умел это делать. Да. Большое удовольствие было написано на ее лице, на нее было вкусно смотреть. Ходила и замирала. Оглядывалась. Постукивала ногой. Стала тихонько петь. Вот — а это было в проходе между двух зал — наперерез двери прошла та авантюристка с Ганувером и Галуэем. Молли отошла в тень, и нас никто не заметил. Я взглянул,— совсем другой человек стоял передо мной. Я что-то заговорил, но она махнула рукой, заторопилась, умолкла и не говорила больше ничего, пока мы не прошли в сад и не разыскали лодку, в которой она приехала. Прощаясь, сказала: «Поклянись, что никому не выдашь, как я ходила здесь с тобой сегодня». Я все понял, клятву дал, как она хотела, а про себя думал: «Вот сейчас я изложу ей все свои мнения, чтобы она выбросила эти мысли о Дигэ». И не мог. Уже пошел слух; я сам не знал, что будет, однако решился, а посмотрю на ее лицо — нет охоты говорить, вижу по лицу, что говорить запрещает и уходит с обидой. Решался я так три раза и — не решился. Вот какие дела!

Паркер стал говорить дальше; как ни интересно было слушать обо всем, из чего вышли события того памятного вечера, нетерпение мое отправиться к Дюроку росло и разразилось тем, что, страдая и шевеля ногами под стулом, я наконец кликнул прислугу, чтоб расплатиться.

— Ну что же, я вас понимаю,— сказал Паркер,— вам не терпится пойти в «Пленэр». Да и внучке пора

спать.— Он снял девочку со стула и взял ее за руку, а другую руку протянул мне, сказав:

— Будьте здоровы!..

— До свидания! — закричала девочка, унося пирожки в пакете и кланяясь.— До свидания! Спасибо! Спасибо!

— А как тебя зовут? — спросил я.

— Молли! Вот как! — сказала она, уходя с Паркером.

Праведное небо! Знал ли я тогда, что вижу свою будущую жену? Такую беспомощную, немного повыше стула?!

II

Волнение прошлого. Несчастен тот, кто недоступен этому изысканному чувству; в нем расстилается свет сна и звучит грустное удивление. Никогда, никогда больше не повторится оно! По мере ухода лет уходит его осязаемость, меняется форма, пропадают подробности. Кажется так, хотя его суть та — та самая, в которой мы жили, окруженные заботами и страстями. Однако что-то изменилось и в существе. Как человек, выросший лишь умом — не сердцем, может признать себя в портрете десятилетнего, так и события, бывшие несколько лет назад, изменяются вместе с нами, и, заглянув в дневник, многое хочется переписать так, как ощущаешь теперь. Поэтому я осуждаю привычку вести дневник. Напрасная трата времени!

В таком настроении я отправил Дюроку свою визитную карточку и сел, читая газету, но держа ее вверх ногами. Не прошло и пяти минут, а слуга уже вернулся, почти бегом.

— Вас просят,— сказал он, и я поднялся в бельэтаж с замиранием сердца. Дверь открылась, навстречу мне встал Дюрок. Он был такой же, как пять лет назад, лишь посеребрились виски. Для встречи у меня была приготовлена фраза: «Вы видите перед собой фигуру из мрака прошлого и, верно, с трудом узнаете меня, так я изменился с тех пор»,— но, сбившись, я сказал только: «Не ожидали, что я приду?»

— О, здравствуй, Санди! — сказал Дюрок, вглядываясь в меня.— Наверно, ты теперь считаешь себя стар-

цем, для меня же ты прежний Санди, хотя и с петушиным баском. Отлично! Ты дома здесь. А Молли,— прибавил он, видя, что я оглядываюсь,— вышла; она скоро придет.

— Я должен вам сказать,— заявил я, впадая в прежнее свое легкомыслие искренности,— что я очень рад был узнать о вашей женитьбе. Лучшую жену,— продолжал я с неуместным и сбивающим меня самого жаром,— трудно найти. Да, трудно! — вскричал я, желая говорить сразу обо всем и бессильный соскочить с первой темы.

— Ты много искал, сравнивал? У тебя большой опыт? — спросил Дюрок, хватая меня за ухо и усаживая.— Молчи. Учись, войдя в дом, хотя бы и после пяти лет, сказать несколько незначительных фраз, ходящих вокруг и около значительного, а потому как бы значительных.

— Как?! Вы меня учите?..

— Мой совет хорош для всякого места, где тебя еще не знали болтливым и запальчивым мальчуганом. Ну, хорошо. Выкидывай свои пять лет. Звонок около тебя, протяни руку и позвони.

Я рассказал ему приключения первого моряка в мире, Сандерса Пруэля из Зурбагана, где родился под самым лучшим солнцем, наиярчайше освещающим только мою фигуру, видимую всем, как статуя Свободы,— за шестьдесят миль.

В это время прислуга внесла замечательный старый ром, который мы стали пить из фарфоровых стопок, вспоминая происшествия на Сигнальном Пустыре и в «Золотой цепи».

— Хорошая была страница, правда? — сказал Дюрок. Он задумался, его выразительное твердое лицо отразило воспоминание, и он продолжал: — Смерть Ганувера была для всех нас неожиданностью. Нельзя было подумать. Были приняты меры. Ничто не указывало на печальный исход. Очевидно, его внутреннее напряжение разразилось с большей силой, чем думали мы. За три часа до конца он сидел и говорил очень весело. Он не написал завещания, так как верил, что, сделав это, приблизит конец. Однако смерть уже держала свою руку на его голове. Но,— Дюрок взглянул на дверь,— при Молли я не буду поднимать более разговора об этом, она плохо спит, если поговорить о тех днях.

В это время раздался легкий стук, дверь слегка приоткрылась и женский голос стал выговаривать рассудительным нежным речитативом: «Настой-чи-во про-ся впус-тить, нель-зя ли вас преду-пре-дить, что э-то я, ду-ша мо-я...»

— Кто там? — притворно громко осведомился Дюрок.

— При-шла оч-ко-вая змея,— докончил голос, дверь раскрылась, и вбежала молодая женщина, в которой я тотчас узнал Молли. Она была в костюме пепельного цвета и голубой шляпе. При виде меня ее смеющееся лицо внезапно остыло, вытянулось и снова вспыхнуло.

— Конечно, я вас узнала! — сказала она.— С моей памятью да не узнать подругу моих юных дней?! Сандерсончик, ты воскрес, милый?! Ну, здравствуй, и прости меня, что я сочиняла стихи, когда ты, наверно, ждал моего появления. Что, уже выпиваете? Ну, отлично, я очень рада, и... и... не знаю, что еще вам сказать. Пока что я сяду.

Я заметил, как смотрел на нее Дюрок, и понял, что он ее очень любит; и оттого, как он наблюдал за ее рассеянными, быстрыми движениями, у меня родилось желание быть когда-нибудь в его положении.

С приходом Молли общий разговор перешел главным образом на меня, и я опять рассказал о себе, затем осведомился, где Поп и Эстамп. Молли без всякого стеснения говорила мне «ты», как будто я все еще был прежним Санди, да и я, присмотревшись теперь к ней, нашел, что хотя она стала вполне развившейся женщиной, но сохранила в лице и движениях три четверти прежней Молли. Итак, она сказала:

— Попа ты не узнал бы, хотя и «все знаешь»; извини, но я очень люблю дразниться. Поп стал такой важный, такой положительный, что хочется выйти вон! Он ворочает большими делами в чайной фирме. А Эстамп в Мексике. Он поехал к больной матери; она умерла, а Эстамп влюбился и женился. Больше мы его не увидим.

У меня были желания, которые я не мог выполнить, и беспредельно томился ими, улыбаясь и разговаривая как заведенный. Мне хотелось сказать: «Вскрикнем, увидимся и ужаснемся — потонем в волнении прошедшего пять лет назад дня, вернем это острое напряжение всех чувств! Вы, Молли, для меня — пер-

вая светлая черта женской юности, увенчанная смехом и горем, вы, Дюрок,— первая твердая черта мужества и достоинства! Я вас встретил внезапно. Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен?» Ибо перебегающие разговоры я ценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятия и рукопожатия — вот что требовалось теперь мне!

Всему этому — увы! — я тогда не нашел бы слов, но очень хорошо чувствовал, чего не хватает. Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым. Но и теперь я заметил, что Дюрок правит разговором, как штурвалом, придерживая более к прохладному северу, чем к пылкому югу.

— Кто знает?! — сказал Дюрок на ее «не увидим».— Вот Сандерс Пруэль сидит здесь и хмелеет мало-помалу. Встречи, да еще неожиданные, происходят чаще, чем об этом принято думать. Все мы возвращаемся на старый след, кроме...

— Кроме умерших,— сказал я глупо и дико.

Иногда держишь в руках хрупкую вещь, рассеянно вертишь ее, как — хлоп! — она треснула. Молли призадумалась, потом шаловливо налила мне рома и стала напевать, сказав:

— Вот это я сейчас вам сыграю.

Вскочив, она ушла в соседнюю комнату, откуда загремел бурный бой клавиш. Дюрок тревожно оглянулся ей вслед.

— Она устала сегодня,— сказал он,— и едва ли вернется.— Действительно, во все возрастающем громе рояля слышалось упорное желание заглушить иной ритм.— Отлично,— продолжал Дюрок, пусть она играет, а мы посидим на бульваре. Для такого предприятия мне не найти лучшего спутника, чем ты, потому что у тебя живая душа.

Уговорившись, где встретимся, я выждал, пока затихла музыка, и стал уходить.

— Молли! Санди уходит,— сказал Дюрок.

Она тотчас вышла и начала упрашивать меня приходить часто и «не вовремя»:

— Тогда будет видно, что ты друг.

Потом она хлопнула меня по плечу, поцеловала в лоб, сунула мне в карман горсть конфет, разыскала и подала фуражку, а я поднес к губам теплую,

эластичную руку Молли и выразил надежду, что она будет находиться в добром здоровье.

— Я постараюсь,— сказала Молли,— только у меня бывают головные боли, очень сильные. Не знаешь ли ты средства? Нет, ты ничего не знаешь, ты лгун со своей надписью! Отправляйся!

Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли — так, средней веселости, хотя не без юмора, и направился в «Портовый трибун» — гостиницу, где должен был подождать Дюрока и где, к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом.

III

Составьте несколько красных клиньев из сырого мяса и рыжих конских волос, причем не надо заботиться о направлении, в котором торчат острия, разрежьте это сцепление внизу поперечной щелью, а вверху вставьте пару гнилых орехов, и вы получите подобие физиономии Гро.

Когда я вошел, со стула из круга этой компании вскочил, почесывая за ухом, матрос и сказал подошедшему с ним товарищу:

— А ну его! Опять врет, как выборный кандидат!

Я смотрел на Гро с приятным чувством безопасности. Мне было интересно, узнает ли он меня. Я сел за стол, бывший по соседству с его столом, и нарочно громко потребовал холодного пунша, чтобы Гро обратил на меня внимание. Действительно, старый шкипер, как ни был увлечен собственными повествованиями, обернулся на мой крик и печально заметил:

— Штурман шумит. То-то, поди, денег много!

— Много ли или мало,— сказал я,— не вам их считать, почтеннейший шкипер!

Гро несочувственно облизал языком усы и обратился к компании.

— Вот,— сказал он,— вот вам живая копия Санди Пруэля! Так же отвечал, бывало, и вечно дерзил. Смею спросить, нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс?

— Нет, я один,— ответил я,— но в чем дело?

— Очень вы похожи на одного молодца, разрази его гром! Такая неблагодарная скотина! — Гро был

пьян и стакан держал наклонно, поливая вином штаны.— Я обращался с ним, как отец родной, и воистину отогрел змею! Говорят, этот Санди теперь разбогател, как набоб; про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил, воспользовавшись моим судном, сто тысяч банковыми билетами — в этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света!

На этом месте часть слушателей ушла, не желая слышать повторения бредней, а я сделал вид, что очень заинтересован историей. Тогда Гро напал на меня, и я узнал о похождениях Санди Пруэля. Вот эта история.

Пять лет назад понадобилось тайно похоронить родившегося от незаконной любви двухголового человека, росшего в заточении и умершего оттого, что одна голова засохла. Ради этого, подкупив матроса Санди Пруэля, неизвестные люди связали Санди, чтобы на него не было подозрения, и вывезли труп на мыс Гардена, где и скрыли его в обширных склепах «Золотой цепи». За это дело Санди получил сто тысяч, а Гро только пятьсот пиастров, правда золотых, но, как видите, очень мало по сравнению с гонораром Санди. Вскорости труп был вынут, покрыт лаком и оживлен электричеством, так что стал, как живой, отвечать на вопросы, и его до сих пор выдают за механическую фигуру. Что касается Санди, он долго был известен на полуострове как мот и пьяница и был арестован в Зурбагане, но скоро выпущен за большие деньги.

На этом месте легенды, имевшей, может быть, еще более поразительное заключение (как странно, даже жутко было мне слышать ее!), вошел Дюрок. Он был в пальто, шляпе и имел поэтому другой вид, чем ночью, при начале моего рассказа, но мне показалось, что я снова погружаюсь в свою историю, готовую начаться сызнова. От этого напала на меня непонятная грусть. Я поспешно встал, покинул Гро, который так и не признал меня, но, видя, что я ухожу, вскричал:

— Штурман, эй, штурман! Один стакан Гро в память этого свинтуса Санди, разорившего своего шкипера!

Я подозвал слугу и в присутствии Дюрока, с любопытством следившего, как я поступлю, заказал для Гро и его собутыльников восемь бутылок портвейна. Потом, хлопнув Гро по плечу так, что он отшатнулся, сказал:

— Гро, а ведь я и есть Санди!

Он мотнул головой, всхлипнул и уставился на меня.

Наступило общее молчание.

— Восемь бутылок,— сказал наконец Гро, машинально шаря в кармане и рассматривая мои колени.— Врешь! — вдруг закричал он. Потом Гро сник и повел рукой, как бы отстраняя трудные мысли.

— А, может быть!.. Может быть...— забормотал Гро.— Гм... Санди! Все может быть! Восемь бутылок, буты...

На этом мы покинули его, вышли и прошли на бульвар, где сели в каменную ротонду. Здесь слышался отдаленный плеск волн; на другой аллее, повыше, играл оркестр. Мы провели славный вечер и обо всем, что здесь рассказано, вспомнили и переговорили со всеми подробностями. Потом Дюрок распрощался со мной и исчез по направлению к гостинице, где жил, а я, покуривая, выпивая и слушая музыку, ушел душой в Замечательную Страну и долго смотрел в ту сторону, где был мыс Гардена. Я размышлял о словах Дюрока про Ганувера: «Его ум требовал живой сказки, душа просила покоя». Казалось мне, что я опять вижу внезапное появление Молли перед нарядной толпой и слышу ее прерывистые слова:

— Это я, милый! Я пришла, как обещала! Не грустите теперь.

СОКРОВИЩЕ АФРИКАНСКИХ ГОР



I

СТЭНЛИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ГЛУБЬ АФРИКИ



октября 1869 года в Мадриде жильцу гостиницы «Валенсия», американскому гражданину, эсквайру, мистеру Генри Стэнли, путешественнику, корреспонденту, была вручена телеграмма:

«Приезжайте в Париж по важному делу.

Гордон Беннет».

Гордон Беннет, энергичный американец, был собственник американской газеты «Нью-йоркский глашатай».

Через два дня Стэнли сел в экстренный поезд, прибывший в Париж ночью следующего дня. Прямо с вокзала он отправился в «Гранд-Отель» и постучал в дверь комнаты Гордона Беннета.

Открылась и вновь закрылась эта ничем не замечательная дверь, но за нею в тишине уснувшего города произошел замечательный разговор двух американцев, по быстроте, сжатости и решительности напоминавший фортепианную трель в нижнем регистре.

Дело заключалось в том, что знаменитый путешественник, доктор Давид Ливингстон, уехавший в Центральную Африку в 1866 году, с 1869 года считался погибшим или же находившимся в безвыходном положении, требующим неотложной помощи.

С чрезвычайной простотой, отличающей представителей заатлантической нации, когда они решают дела, Беннет дал Стэнли поручение отыскать Ливингстона, не стесняясь издержками.

Стэнли удивился — если можно назвать удивлением некоторое сомнение в обдуманности затеи,— но, подавив это не свойственное ему чувство, выразил согласие, и тотчас они занялись практической стороной дела.

— Одна моя газета стоит больше всех капиталов Нью-Йорка,— сказал Беннет.— За расходами я не постою, но в газете должно быть все самое интересное.

И он подкрепил эту мысль рядом мелких поручений, высказанных тоном глубочайшего неуважения к размерам нашей планеты:

1) присутствовать при открытии Суэцкого канала; 2) подняться вверх по Нилу, собрав сведения о путешествии Самуила Беккера в Верхний Египет; 3) побывать в Иерусалиме; 4) завернуть в Константинополь для политической информации; 5) осмотреть в Крыму исторические поля битв; 6) прокатиться через Кавказ на Каспий; 7) через Персию — в Индию, а из Индии 8) отправиться разыскивать Ливингстона.

Вот скромная задача, какую на рассвете парижского утра, зевая от усталости и дымя драгоценной сигарой, Гордон Беннет предложил Генри Стэнли.

Свершив начертанный издателем круг дел, Стэнли 6 января 1871 года прибыл на остров Занзибар на палубе американского китобоя, организовал экспедицию и отправился разыскивать знаменитого путешественника.

Он составил в Занзибаре пять караванов. Четыре были отправлены внутрь страны несколько раньше пятого, которым непосредственно руководил сам Стэнли, и с таким расчетом, чтобы они находились в расстоянии нескольких переходов друг от друга. Кроме оружия, охотничьих припасов, двух парусных ботов (на случай водного путешествия), палаток, седел, кухонной утвари и провизии, караваны эти, состоявшие из проводников туземного конвоя, носильщиков и вьючных животных, были нагружены товаром для обмена по дороге на провизию. Негры несли на голове продолговатые тюки с американским холстом, синим индийским полотном, кисеей, цветной бумазеей, бусами и медной проволокой, играющей у дикарей роль монеты.

6 февраля 1871 года экспедиция прибыла в Багамойо[1].

[1] Порт на восточном берегу Занзибарского пролива. (*Здесь и далее примеч. сост.*)

18-го — отправился первый караван с двадцатью четырьмя носильщиками и тремя солдатами.

21-го — второй, с двадцатью восемью носильщиками, двумя надсмотрщиками и двумя солдатами.

23-го — третий, здесь было двадцать два носильщика, десять ослов, белый человек Фаркугар — моряк, повар и три конвоира.

11 марта — четвертый, из пятидесяти пяти носильщиков, двух проводников и трех конвоиров.

21 марта, в пятом караване, с двенадцатью солдатами, выступил Стэнли, взяв с собой Шау — белого, тоже моряка, портного, повара, переводчика, семнадцать ослов, двух лошадей, подарок Занзибарского султана, и собаку.

Так началась эта экваториальная одиссея, одна из удачнейших в истории изучения Африки.

II

СТЭНЛИ И ГЕНТ

Караван медленно двигался среди дикой заросли колючих кустарников. Повозка, путаясь колесами в иглистых вьюнках, часто приостанавливалась. Изнемогающие носильщики садились на свою ношу, обматывая тряпками израненные ноги. Там, где заросль становилась непроходимой, пускали в ход сталь американского топора.

Отборные проклятия оглашали пустыню. Всеобщее раздражение и усталость, вызванные этой частью пути, достигли крайнего напряжения. Но было все-таки необходимо пробиваться к недалекой полосе леса, где предполагался ночлег.

Носильщики ругали музунгу[1], ослов, друг друга; охали, хватаясь за животы, почти не обращая внимания на окрики главарей каравана.

Солнце опускалось за лес. Туманный воздух, полный зловония от гниющих растений и тяжелого запаха от мокрых цветов, странные формы и краски которых вызывали у европейцев причудливые ощущения, был воздух тропической Африки. Наступал период дождей, страшная обильными болезнями мази-

[1] Белого начальника.

ка[1]. Весь день лил отвесный, отвратительный теплый дождь; к вечеру он затих, вздув болота и покрыв размытую почву скользкими лужами, отразившими далекие облака.

Непрерывные усилия привели измученный караван к опушке леса.

Здесь разбили палатки. Над кострами в больших котлах закипел ужин. Негры, собравшись к огням, толковали о приключениях дня, сплетничали и рассказывали наивные небылицы о стране белых людей, откуда пришел тот, кто нанял и повел их в сердце Черной Земли.

В палатке предводителя экспедиции горела свеча, сквозь мутно освещенное полотно проступали две тени: оригиналом одной из них был Бомбэй, капитан негров, солдат. У входа сидел черный босоногий воин, напевая монотонную песню и щелкая пальцами по курку карабина.

Специальный корреспондент американской газеты, мистер Генри Стэнли, помещался у походного столика. Перед ним стояла тарелка с остатками мяса, приправленного бобами на свином сале, кофейник и горячий кофе в стакане. Стэнли курил, занося в дневник подробности последнего перехода. Бомбэй сидел на распакованном тюке, скрестив ноги и чистя старые серебряные ножны.

Это был пожилой маленький араб с мускулистым нервным лицом, хитрыми губами и глазами, отличающимися той ложной тупостью, которая искусно маскирует характер.

— Галиб Джемаль[2] делал лекарства, господин,— говорил Бомбэй тоном упрямого повторения.— Он набрал черепов вагензи[3] и увез их. Из черепов он делал лекарства.

— Это глупость,— сказал Стэнли.— Ты мне мешаешь писать.

Бомбэй хитро улыбнулся, затем, помолчав, рискнул высказаться еще раз по тому же вопросу:

— Он стукнул по черепу, он ковырял в дырке...

— Бомбэй,— оборвал Стэнли,— завтра, если хочешь, я расскажу тебе о черепах Буртона[4], но сегодня,

---

[1] Арабское название африканской зимы — периода дождей.
[2] Арабское имя путешественника Буртона.
[3] Негров.
[4] Собирая коллекцию черепов, Буртон прослыл колдуном.

прошу, помолчи. Сходи посмотреть, сыта ли моя лошадь, и дай Сарбоко порошок хины.

Бомбэй вышел. Некоторое время Стэнли писал, затем, положив перо, отхлебнул кофе и задумался. Множество путевых забот волновало его. В лесу слышался зловещий плач гиен, шорохи ночных птиц и те неопределенные звуки, вздохи лесных дебрей, какие своим получеловеческим-полутаинственным характером вызывают сказочные образы детства.

Было свежо. Стэнли допил кофе и, быстро приписав в тетрадь несколько строк, закрыл ее; затем, набив трубку табаком, спрятал голову в облаках дыма.

У палатки раздались быстрые шаги карангози [1]. Он вошел, степенно поклонился и доложил, что неизвестный человек, пришедший из леса, хочет видеть музунгу. Незнакомец тоже белый. У него большая борода и хорошее ружье. Он сидит у костра.

— Позови его,— сказал Стэнли проводнику и, повернувшись ко входу, стал ждать.

За палаткой прозвучал неясный, короткий разговор, лицо проводника, на мгновенье заглянув в палатку, скрылось, и, отведя рукой намокшее полотно, вошел человек высокого роста. Его движения выказывали проворство и силу: костюм составляли шапка из кожи красной антилопы, кожаная буйволовая куртка, сапоги и брюки из плотной белой материи. На поясе висел револьвер крупного калибра, а из-за плеча торчало прекрасное английское ружье. Сняв и поставив штуцер, неизвестный обнажил голову и поклонился свободным коротким движением.

Когда он подошел к свету свечи, Стэнли внимательно посмотрел на его лицо и, убедясь, что видит чистокровного европейца, поднялся со складного стула.

Стэнли встречал много людей, тем не менее лицо пришельца показалось ему далеко не заурядным. Длинная темная борода и усы почти скрывали суровый рот, но верхняя часть, душа лица, отличалась ясностью и точностью очертаний. Высокие ровные брови отчетливо сходились над переносьем; линия тонкого большого носа почти продолжала, в профиль, отвесную линию широкого, выражающего незаурядную душу лба, а мягкие темные глаза слегка щурились, что

---

[1] Проводник.

придавало пристальному взгляду неизвестного выразительную пытливость. Черные волосы падали спутанной гривой на воротник куртки.

— Меня зовут Гент,— просто сказал он.— Вы — мистер Стэнли! Добрый вечер!!!

Путешественник ответил приветствием и указал на стул. Оба сели. После краткого молчания Гент начал:

— Цель вашего путешествия — отыскать Ливингстона?

— Да,— сказал Стэнли.— Гордон Беннет, издатель «Нью-йоркского глашатая», оказал мне честь скромным поручением относительно знаменитого путешественника. Я буду счастлив, если оправдаю доверие.

— У вас есть какой-нибудь план?

— Весьма неопределенный. Я направляюсь к Танганайке, где буду находиться в узле путей Ливингстона. Там мне придется его искать, расспрашивая население и торговцев. С 1866 года о нем не было никаких известий. Может быть, сделаю в тех местах большой круг, но отыщу его.

— Так,— кивнул Гент.— Но мне тоже необходимо видеть затерявшегося героя. Эти люди — герои, не так ли?

— Да, мистер Гент, это правда.

— Я прошу вас присоединить меня к своему каравану. Я хорошо изучил африканскую охоту, знаю местные условия, природу, климат, негров и могу быть вам несколько полезен, если позволите. Я неутомим и неприхотлив. Это не хвастовство, а просто словесный паспорт. Но ближе вы узнаете меня в путешествии. Что вы думаете об этом?

Стэнли положил перед Гентом трубку, табак и придвинул гостю стакан с кофе. Эти движения несколько смягчили натянутость, возникшую от предложения Гента. Стэнли был осторожен.

Наконец он заговорил:

— Корреспондент любопытен лишь в сфере специального интереса. Не любопытство, а исключительные обстоятельства моего положения дают мне право спросить вас кое о чем, мистер Гент. Сущность ваших ответов определит «за» или «против» вашего любезного предложения. Не скрою, что я нуждаюсь в верных, смелых и решительных спутниках. Все эти «бывшие спутники» Буртона и Спика, понабранные мною в Занзибаре,— порядочные жулики, а носильщиков

я вынужден держать в повиновении крайней строгостью.

— Я предупрежу ваши законные вопросы подробным рассказом о себе,— ответил, закуривая Гент.— Подробным лишь в смысле точности, а не многословия.

– Да, прошу вас.

— Прекрасно. Прошу вас взглянуть на это.— Стэнли показалось, что в руке гостя вспыхнула вторая свеча. Гент протягивал ему кольцо четырехугольной формы, с круглым внутренним отверстием, сработанное из массивного золота в древневосточном вкусе. Оправа алмаза, весившего пятнадцать—двадцать каратов, была покрыта старинной резьбой. Сам алмаз был огранен неправильно, но в силу неизвестного оптического фокуса сверкал удивительно ярко: с его граней как бы сыпалась радужно сияющая пыль. Пока путешественник, безотчетно улыбаясь красоте камня, рассматривал кольцо, Гент сказал:

— Я предъявляю вам это как доказательство истинности рассказа о себе и своих намерениях. Ничто не лишнее в моем положении.

Он спрятал кольцо и вопросительно посмотрел на Стэнли.

— Говорите. Я расположен вам верить,— сказал Стэнли.

Тогда Гент начал свой рассказ. Это был полуторачасовой разговор вполголоса. Стэнли изредка задавал вопросы, неизменно получая ясный, точный ответ. Когда беседа окончилась, Гент, дымя трубкой, задумался, а лицо Стэнли светилось удивлением и симпатией.

Прошло несколько минут. Где-то заржал спутанный конь. Свеча догорала.

— Нас двадцать пять в караване,— сказал Стэнли,— вы будете двадцать шестой, Гент.

— Благодарю. Под непременным тем условием?

— Да. Согласно вашему желанию, я не упомяну о вас и вашем участии в путешествии никому — ни устно, ни письменно.

— Благодарю еще раз. Где я буду спать эту ночь?

— В палатке Шау. Завтра же вы будете снабжены отдельной палаткой. Следуйте за мной, мистер Гент!

Они вышли. В опустевшее помещение заглянул часовой «вагензи», согнулся, перебежал глазами с предмета на предмет и, зажав ружье между колен, быстро

глотнул из кофейника несколько глотков сладкого кофе. Затем, выщипнув из табачной пачки добрую горсть, проворно вернулся на свое место и затянул прерванную песню о ядовитой, но роскошной земле, сыном которой был.

Желая узнать, что сообщил Гент Стэнли, мы должны вернуться назад к тому времени, когда путешественник Давид Ливингстон начинал свой многолетний африканский поход.

III

ЛИХОРАДКА

В 1866 году по улице Занзибара шел или, вернее, с трудом двигался белый человек лет тридцати, временами опираясь рукой о стену и присаживаясь на камни. Сквозь загар его лица проступала болезненная бледность. Рваный костюм помешал бы заметить невнимательному глазу интеллигентность прохожего. Хоть полуденное солнце давало 60° Цельсия, однако прохожий трясся в пароксизме лихорадки. Силы, видимо, оставляли его. Опустившись на землю у наглухо закрытых ворот арабского дома, больной пробормотал проклятие и лег у стены, лениво наблюдая грызню тощих собак. Затем, пошарив в кармане, он вытащил горсть хлебных крошек, пуговицу и свинцовую пломбу.

— Ни одного медяка,— пробормотал он.— Мне, правда, не до еды, но ведь так я подохну от истощения.

Мимо прошла толпа мусульманок, закутанных до глаз в полосатые покрывала, с медными кувшинами и узлами грязного белья за спиной. Промчался, зажав зубами монету, негритенок. Собаки, окончив драку, расселись и разлеглись, высунув языки. Из порта донесся гудок отплывающего в Индию парохода. Больной прикрыл глаза, и тотчас лихорадочные видения овладели им.

Он увидел кабриолет, бич кучера и массивную тень мраморного подъезда, пропускающего вышедшего из экипажа высокого человека в белом костюме.

— Прошлое лучше, когда оно — прошлое,— в полубреду произнес лежащий.

— Вот как! Почему это? — неожиданно спросил кто-то.

Больной вздрогнул и оглянулся.

Перед ним в простом, но первоклассной работы охотничьем костюме стоял пожилой человек. В его малопривлекательном большом лице, обросшем полуседой бородой, были черты львиные, подчиненные главенству черт человеческих. Во взгляде серых проницательных глаз было нечто останавливающее — казалось, толпа остановилась бы перед силою этого взгляда.

Больной, помедлив, сказал:

— Потому, сэр, что вам предоставляется переживать его или не переживать — это главное. Во-вторых, прошлое бестелесно, невещественно.— Он с усилием сел, обхватив руками прыгающие колени.— Вы можете выбирать из него, как из шкатулки, полной мусора и драгоценностей, не рискуя снова испытать усталость ходьбы, разговоров; болезнь, голод и т. д. не властны над вами в этих переживаниях. В нем забывается, сглаживается многое несущественное и тяжелое; было бы хорошо, будь настоящее и будущее также очищены от балласта.

Неизвестный улыбнулся. Улыбка мгновенно изменила его лицо, оно стало приятным. Больной тоже усмехнулся.

— Люди в моем положении склонны к философии,— задумчиво сказал он.

— Вы больны?

— Да.

— Что с вами?

— Перемежающаяся лихорадка. Она не дает работать.

— Где вы работали?

— В порту.

— Кто вы?

— Гент.

— Это — имя...

— Так. Но вам, наверное, не нужна моя биография.

— Где вы живете?

— У лавочника-туземца.

— Далеко?

— Нет, не очень.

— Мне хочется что-нибудь сделать для вас. Вставайте!

Охотник взял Гента под мышки, обнаружив незаурядную силу, и поставил на ноги, затем, поддерживая его, сказал:

— Попробуйте идти.
— Куда?
— К себе.
— Благодарю,— коротко сказал Гент.
И они пошли путаницей кривых улиц. У маленького грязного дома Гент остановился, стукнув в калитку. Немного погодя старый араб открыл ее и, покачав головой при виде Гента, жалостно чмокнул.
— Больной, очень больной,— сказал он,— глаз нехороший.
Араб, постояв, скрылся в низенькой двери, завешанной циновкой. На дворе торчала пара худосочных пальм; груды мусора по углам разили зловонием. Гент обошел дом; в его задней части была открыта каменная пристройка без двери, со входом через полукруглую нишу. В этом жалком помещении стоял деревянный стол с придвинутой к нему скамьей, за столом, у стены, помещалась дощатая постель, покрытая тростниковым матом. На столе виднелось несколько глиняных посудин, фаянсовая чашка и складной нож.
Гент тотчас лег, вытянувшись со вздохом облегчения. Гость тщательно осмотрелся и кивнул, как бы говоря сам себе: «Да, тяжелое положение»; затем, пристально взглянув на Гента и сказав: «Я скоро вернусь»,— вышел.
Его отсутствие длилось минут сорок. Пока он ходил, Гент размышлял о силе человеческих встреч, следствием которых часто бывает резкий поворот жизни. В данном случае корабль судьбы Гента, по-видимому, не собирался менять курс, но эта видимость могла быть обманчивой. Не редкость, что результаты случайной встречи обнаруживаются лишь впоследствии, иногда через много лет.
Утомленный размышлением, Гент задремал, но его заставили очнуться шаги и голос вернувшегося охотника. Гент увидел, что этот странный человек развязывает большой сверток. В нем были: чай, сахар, кофе, белые сухари, сардины, гранаты, персики, жестянка сгущенного молока и несколько бутылок содовой воды.
— Гранаты разрежьте и опустите в воду; получится хорошое кисловатое питье. Хину принимайте три раза в день по десяти гран после еды.
Охотник помолчал, пыхнув трубкой, затем без малейшей натяжки, что придало его словам непоколебимую, внушительную простоту, сказал:

— Вот, я кладу на стол пятьдесят гиней; до выздоровления вы постарайтесь удовлетворяться этой суммой. Вы спите?

— Да,—сказал Гент,—а вы—мое сновидение...

— Хорошо. Теперь рассказывайте вашу историю.

— Однако,—помедлив, возразил Гент,—простите мое желание узнать, кому я буду иметь честь рассказать эту скучную историю?

— Я —Давид Ливингстон.

Гент с нескрываемым удивлением смотрел на знаменитого путешественника.

— Если это не простое совпадение имен,—сказал он наконец,—то я, следовательно, говорю с человеком, более тридцати лет проведшим в исследовании Центральной Африки?!

— Да, да,—нетерпеливо постучав пальцами, сказал Ливингстон,—мне это порядочно надоело, но я не успокоюсь, пока не достигну цели. Давайте поговорим о вас.

Гент разрезал гранат и набил рот красными семечками, наслаждаясь их прохладной душистой кислотой.

— Не меньше, чем в этом гранате семечек,—начал он,—было у меня когда-то, мистер Ливингстон, тысяч фунтов.

Я жил один. Я одиноко стоял лицом к лицу со своим богатством; в конце концов оно надоело мне, смею уверить вас. Оно загромоздило меня поместьями, замками, фабриками и заводами. Я задыхался в роскошных джунглях вещей, мебели, редкостей, драгоценностей, золота и различных жизненных положений; увязал в тысячах развлечений, из которых, пожалуй, самым интересным было сбивание тростью придорожных репейников. Мое сознание постоянно засорялось чем-то ненужным.

Однако я иногда устраивал себе праздники, покупая билет и отправляясь в дорогу с пятью шиллингами в кармане. Таким образом время от времени я служил в железнодорожном буфете, пас овец, строил солдатскую казарму, был кочегаром на пароходе, водил по дворам обезьяну, колол дрова, торговал паяльными принадлежностями и проделывал еще многое в том же роде.

Да, как это ни покажется странным вам, я всю жизнь тяготел к дороге бродяг, к состоянию того рода, когда человек здоровый и сильный зависит лишь от

себя и своих сил. Мне нравилось ставить известное расстояние между желанием и возможностью его удовлетворить. Проголодавшись, я ел хлеб с салом, запивая еду кислым вином. Изысканный обед на сытый желудок в сравнении с таким меню казался приемом лекарства. Продрав штаны, я покупал на рынке новые брюки после отчаянного торга, но мне казалось, что на мою обнову смотрит весь город. Я умывался без мрамора и парижского мыла, в жестяном тазу,— лишь тогда, только тогда, мистер Ливингстон, я получал высшее удовольствие видеть, как от локтей до кистей сбегает в виде чернил жирная угольная копоть, освобождая тугую белую кожу мускулов. Наконец я был свободен — и в мыслях, и в движениях, и в местах.

Поэтому, когда несколько промышленных кризисов обрадовали жителей Европы возможностью покупать перочинные ножи и стальные перья на несколько копеек дешевле, а смышленые люди позаботились скупить мои векселя, эти обстоятельства заставили моего управляющего явиться ко мне с похоронным лицом. Я выслушал все, что он мог сообщить, то есть что в десять часов пятьдесят пять минут утра 9 июля 1864 года я стал нищим, и отпустил его со странным светом в душе, напоминающим впечатление от блестящего концерта.

У меня, положим, оставалось тысячи полторы фунтов, но я приобрел на них небольшую шхуну и стал возить сельди. Три месяца прошло в этом занятии, пока крутой риф в союзе с туманом не распорол внутренности моего «Гладиатора». Это происшествие вернуло сельдей их отечеству, а меня после хорошего купания заставило приютиться матросом на корабле «Кист». Затем, переходя с корабля на корабль, я побывал везде, где мне хотелось побыть, и наконец, как видите, осел в Занзибаре благодаря вывиху ноги. Лихорадка — мое позднейшее приобретение. Здесь я отдыхал некоторое время в качестве африканского лаццарони, пока не проел последнее жалованье и не получил в придачу к своим тридцати шести градусам внутреннего тепла четыре градуса туземных. Вот все.

— Не много, но хорошо,— сказал Ливингстон.— Я приглашаю вас присоединиться к моей экспедиции.

— Я болен, мистер Ливингстон,— возразил Гент, приподнимаясь от радости,— но ваше предложение мне очень дорого.

— Наши караваны выступят через десять дней, к этому времени вы постарайтесь выздороветь. Мне хочется иметь вас. Вот мой адрес.— Он написал карандашом на визитной карточке несколько слов и подал Генту.— Я ухожу. Желаю вам скорого выздоровления.

Ливингстон надел шляпу и вышел. Гент был один.

Когда затихли его мерные, тяжелые шаги, Гент взял сухарь и стал нехотя грызть, потом съел ложку консервированного молока. Затем он прикрыл глаза рукой, и, когда снял с ресниц влажные концы пальцев, его мнение о Ливингстоне было законченным.

— Это — человек,— пробормотал он, снова ложась.— Будь я профессором медицины, я выпустил бы книгу под названием «Лечение приятными впечатлениями». Право, я чувствую себя несколько лучше.

IV

ОХОТНИКИ НА СЛОНОВ

У входа в гостиницу «Замбези» дремал ручной гепард. На его нос села муха. Он сморщился и кошачьим движением лапы прогнал насекомое. Затем, пренебрежительно щурясь, ленивый хищник оставил без внимания восемь пар ног, обутых в громадные сапоги, неуклюже перешагнувших через его пестрое туловище, и облизал лапу.

Восемь пар направились к окну с видом на взморье и разместились вокруг стола. Это были охотники за слоновой костью; окончив сборы, закупив все необходимое для охотничьей экспедиции, они пришли выпить за успех предприятия.

Главным лицом компании, ее вдохновителем и вождем был худощавый старик Ван Ланд, голландец. Сутулый, с длинными ушами, жилистый и проворный, как змея, человек этот, победивший свои шестьдесят пять лет непрерывным закалом все выносящего организма, обладал выцветшими глазами; их сухой блеск напоминал блеск жаркой воздушной дали. Его седые волосы беспорядочно веяли вокруг высохшего лица, в котором ясно намечались кости черепа, обтянутые морщинистой темной кожей. Его спутники были крепкими, внушительного вида людьми различных национальностей, отличавшимися

великолепным равнодушием ко всему, что не касалось охоты, вина и денег, за исключением молодого Ван Буша, человека начитанного и живого.

Разговор носил профессиональный характер. Слуга принес несколько бутылок коньяку, закуской к которому служили бананы, посыпанные мелким сахаром и облитые холодными сливками. Ван Ланд завел беседу о ценах на слоновые клыки с торговцем, подсевшим к компании; часть охотников, стасовав колоду карт, вытащила золотые монеты; остальные ели, пили и пели.

В это время к столу подошел Гент. Его болезнь так затянулась и осложнилась, что надежда отправиться с Ливингстоном исчезла. Гент лежал в госпитале, где пробыл шесть месяцев.

Выздоровев, он провел более четырех лет в тех же или похожих на них занятиях, о которых рассказывал Ливингстону: последние полтора года служил матросом на «Неваде», большом океанском судне, плававшем от Суэца до мыса Доброй Надежды. Но Занзибару, видимо, суждено было снова играть роль в жизни Гента, так как пароход поместился здесь в доке для ремонта и команда была рассчитана.

— Господин охотник,— сказал Гент Ван Ланду,— я делаю вам и вашим товарищам предложение. Примите меня в компанию. Я охотник, как и вы.

Гент был в матросском платье, поэтому некоторые бесцеремонно расхохотались, остальные смотрели с недоверием.

— Вы били слонов? — иронически спросил Ван Ланд.— Чем вы поражали их? Кулаком? Палкой? Гандшпугом? Или, может быть, ловили их в сетку для перепелок?!

— Я убил одиннадцать индейских слонов,— спокойно возразил Гент, когда улегся взрыв хохота, вызванного вопросом Ван Ланда,— среди них были два «отшельника»[1]. Я охотился с сэром Реджинальдом Шерли, английским посланником, участвовал в нескольких охотах раджи Баганпура, но шесть слонов убиты мною один на один, без соучастников.

Смех умолк. Скептически поиграв бровями, Ван Ланд сказал:

— Линкастром?

---

[1] Слоны, бродящие в одиночку, очень свирепые.

— Тяжелая винтовка Рейля пригодна для слонов,— ответил Гент,— я ею пользовался и слышал, что она годится также для носорога.

— Верно,— сказал старый охотник.— Если вы не врете, то, значит, говорите правду. Скажу вам откровенно: одним хорошим охотником больше — больше и прибыли. Я согласен вас взять, однако нужно, чтобы согласились все.

Положив руку на карты, он остановил игру, и охотники стали совещаться. Особенно серьезных возражений не сделал никто, за исключением одного, заявившего, что «слова — словами, а дело — делом». Тотчас же еще трое присоединились к этому мнению.

— Надо, по крайности, узнать, как он стреляет,— сказал скептик.— Дайте ему мое ружье, а затем решайте.

— Что бы вам выйти туда, под окно! — сказал Ван Ланд, передавая Генту тяжелый штуцер.— А мы отсюда посмотрим. Вот и цель, видите за изгородью, на заброшенной лавке, торчит шест с деревянным яблоком. От окна до шеста, думаю, ярдов двадцать. Пальните-ка в яблоко.

— Цель трудна,— сказал Гент,— но я попробую.

— Не попадете — дадим другую цель.

Гент взял ружье, встал на подоконник и соскочил во двор.

Посетители трактира столпились у окна, постепенно заключая пари и выкрикивая стрелку советы. Гент нажал спуск. Килотик, наполовину сшибленный пулей, повернулся и наклонился, обнажив черную линию гвоздя, которым был приколочен.

— Хорошо,— сказал Ван Ланд,— он имеет право бить слона. Я ему верю.

Гент вернулся тем же путем, молча принимая возгласы одобрения.

— Как видите,— обратился он к охотникам,— стрелять я могу. Перед тем как убить первого слона, я практиковался по способу Самуила Беккера: становился на рельсы и сходил лишь в пяти шагах от набегающего паровоза. После этого несколько минут дрожат колени.

Затем пили за здоровье нового компаньона. На другой день Гент отправился за покупками. Гент запасся новой винтовкой Рейля, двухствольным дробовиком Линденса, простыми и разрывными пулями,

пистонами, порохом, пыжами, дробью и смазочным маслом. Огниво, кремни, клубок восковой свечи, иголки, нитки, ножницы, американский топор, железный котелок с крышкой, оловянная миска и стакан, складной нож и нож охотничий, пачка липкого пластыря для ран, склянка хины, десять килограммов кофе и столько же чая, десять килограммов табаку, трубка черного дерева и две дюжины пуговиц — все это, кроме вооружения, было ему нужно в походе.

V

ГОРА СОКРОВИЩ

Через два месяца охотничья экспедиция Ван Ланда проникла в область внутренних озер Африки, начав жизнь трудную и опасную. Ван Ланд относился к Генту с суровым уважением. Опыт совместной деятельности скоро показал ему, что новый охотник — человек большой жизненной опытности и верного инстинкта, помогающего ему в критических положениях. Кроме того, Гент выказал столько хладнокровия и отваги, что старый охотник был от него в восторге. Но, несмотря на одинаковость жизни и успехов, нечто неподвластное внешним фактам разнило Гента от его товарищей. Этим «нечто» был сложный внутренний мир, наличность которого скрыть немыслимо, как немыслимо скрыть радость, болезнь и горе. Благодаря этому к Генту установилось спокойно-чуждое отношение. Сначала он несколько тяготился им, а затем привык и часто не скрывал уже появляющегося временами желания быть наедине со своими мыслями. Тогда он брал «рейля» и уходил в лес, рассеивая его тишиной грустные воспоминания или безотчетную тревогу — спутницу одиноких людей.

Именно так он поступил в то утро, которому было суждено поразить его воображение.

Накануне этого дня охотники остановились у озера, в устье небольшой реки. Берег здесь образовал ряд болот, насыщенных миазмами гниющего тростника; за болотами тянулись скалистые террасовидные горы, залитые вдали нежными цветными оттенками; вблизи скалы были желты и серы. Их формы напоминали кучи круглых хлебов. Отсутствие древесной растительности

придавало этому скалистому пейзажу безотрадный вид.

Именно туда направился Гент, привлеченный оригинальной местностью, напоминавшей первобытный мир. Он рассчитывал, обойдя часть гор, вернуться к берегу. Гент взял «рейля», сумку с провизией и, миновав по пояс в воде болото, выбрался к подножию скал. Здесь росли редкие зонтичные растения, с их горизонтально простертыми ветвями верхушек и голым стволом; а дальше из трещин угрюмого, как бы литого, камня торчали жесткие кактусы.

Скоро Гент погрузился в мертвое море вылощенных дождями и ветром каменных закруглений, переходя голые валы и раскаленные лощины. Все было здесь отдано власти знойного, солнечного молчания. Эта тишина, лишенная жизни, среди волнистых массивных ярусов, отражающих нестерпимый блеск, была поразительна. Земля, как бы в порыве гнева, приговорила эти места к молчанию в заколдованном кругу вечной смерти. Шаги звучали безотрадно; не было птиц, кустов, и лишь изредка клочок пыльного мха, сожженного солнцем, говорил своим видом о тщете жизненных пыток в области проклятого простора.

Взобравшись на ближайшую вершину, Гент увидел, что ее закругление с другой стороны рассечено отвесным обрывом. Эта расселина, или пропасть, была не шире трех метров. За ней тянулись к северу те же печальные громады сплошного камня.

Наметив пропасть естественным пределом своего восхождения, Гент намеревался спуститься по южному склону к озеру, но перед тем присел у обрыва поесть. Стакан водки, галета и кусок холодного мяса; он насыщался, рассеянно смотря в пропасть. Его внутренность была изборождена вертикальными трещинами, заросшими мхом.

Солнечный блеск, отражаемый камнем, утомил глаза охотника, и он с удовольствием направил их в тень. Когда взгляд освоился с тьмой пропасти, стала постепенно видна поверхность противоположного отвеса. Проницая отдохнувшим зрением темноту, Гент опускал взгляд все ниже, пока не остановился на полукруглой линии, очень правильной, словно очерченной циркулем; ее вершина была обращена вверх, но продолжение терялось в густом сумраке, совершенно непроницаемом. Напрасно Гент старался расследовать

что-нибудь еще. Правильность и чистота линии показались ему чрезмерными, тем более что все трещины и выступы темных пород имели везде, без исключения, направление вертикальное.

Гент вынул клубок восковой свечки, отрезал небольшой конец и, прикрепив его в петле бечевки, опустил зажженным в глубину на уровень с полукругом, но свет огонька, величиною с орех, бессилен был победить многовековую тьму, он слабо шевелился красной точкой, едва озаряя вершок бечевки.

Смотав ее, Гент нашел несколько небольших камней и бросил в пропасть, отсчитывая продолжительность их падения: «Раз... два... три...» — на одиннадцати донесся глухой плеск воды. Выполнив эту своего рода повинность путешественников в отношении пропастей, Гент задумался, как осветить полукруг. Наконец он нашел средство. Отстегнув крышку кожаной сумки, он вырезал из нее часть кожи и, наполнив отрезок порохом, устроил род петарды с тряпочным фитилем, натертым воском для медленного сгорания. Воспламенив фитиль, он опустил бечевку с прикрепленной петардой на высоту загадочной черты и стал ждать.

Раздался треск, во тьме сверкнул яркий столб огня, мгновенно вернув мраку его величие, но Гент продолжал мысленно видеть обнаруженное огнем. Полукруг был верхней частью большого камня; его нижняя часть образовала прямую линию. Камень выдавался из скалы наклоном верхней своей части фута на полтора. Он был обтесан так правильно, что его присутствие здесь, в месте первобытно-диком, надо было признать делом рук человеческих. От его основания тянулась вниз неровная щель. Вероятно, некогда плотно вогнанный камень выдвинулся наружу действием землетрясения, образовавшего трещину и тем расширившего углубление.

За взрывом кожаной петарды последовал своеобразный взрыв чувств. Гент не сомневался, что камень хранит тайну, раскрыть которую толкало его повелительное желание рассеять неизвестность — опасная жажда, свойственная человеку. Взволнованный столь странным открытием, волнуясь тем более, чем упорней думал о камне, Гент удалился, чтобы спокойнее обсудить положение. Он не заметил, как сошел с гор, — так сильно его голова была занята планами раскрытия

тайны. Одной мускульной силой нечего было и думать выворотить такой камень — футов шесть вышины; к тому же здесь были нужны усилия не одного человека, что сильно осложняло задачу: Гент не намеревался посвящать кого-либо в задуманное.

Дома он узнал, что негр, взявшийся служить проводником к месту, посещаемому слонами, получив в задаток связку бус, а также бутылку водки, рассудил предпочесть эту добычу риску и неприятностям опасной охоты. Он не явился, что было очень кстати для Гента. Зная дикарей, он знал, что из окрестных деревень никто не явится заменить сбежавшего, а если явится, то, во всяком случае, не скоро, так как всякое дело требовало у них долгого обсуждения.

Поэтому Гент, в тишине ночи сделав приготовления, достиг пропасти к тому часу, когда пламя востока разлило по озерной воде яркий багровый блеск, озарив тропический пейзаж тихим сиянием. Прозрачность воздуха, казалось, одухотворила землю: горизонт как бы приподнимался, колыхаясь в лучах. Крики птиц слабо доносились с воды на горную высоту.

Гент приступил к делу. Он взял с собой сто футов крепкой веревки, три фунта пороха, стальное долото, молоток и небольшой шнур, пропитанный салом, замешанным с пороховой копотью. В лесу он срубил молодое дерево, толщиной в пять дюймов и длиной значительно более ширины пропасти. Укрепив конец веревки посредине этого шеста, Гент сделал на другом конце неподвижную петлю, обмотав ее одеждой. Шест он перекинул так, что его концы легли прямо поперек трещины. Затем, взяв порох, долото, молоток и шнур, Гент повис над пропастью и, перебираясь по шесту руками, ухватился за веревку. Менее чем через минуту он сидел в петле, крепко привязав себя к ней ружейным погоном.

Теперь, озарив небольшое пространство перед собой, Гент внимательно пригляделся к камню. Он был положен давно. Дожди и сырость сильно пообточили его грани. Гент убедился, что руками даже не пошевелить камня, а твердая порода скалы не подавала надежды, что можно скоро пробурить минный канал.

Тогда он стал искать в нижней трещине и по выдающимся частям камня удобной пустоты для помещения пороха, исследуя каждый дюйм. Наконец старания его были вознаграждены. Под низом камня, благодаря

неровной высечке или иным причинам, образовался ряд пустот, напоминающих гнезда чугунной доски для пышек. Здесь, меж камнем и скалой, можно было, хотя и не без изворотливости, просунуть руку до локтя.

Все это время он чувствовал себя крайне неудобно на своем висячем сиденье. При всяком значительном усилии он вместе с веревкой качался и вертелся самым беспокойным образом. Поэтому, утомленный необходимостью принимать акробатические позы, Гент решил попытаться взорвать камень теперь же, не разыскивая более удобных мест для взрыва.

Гент всыпал весь порох в каменные гнезда скалы под камень, рассчитывая, что три фунта, несмотря на солидный вес камня,— вещь все же не шуточная. Затем, приладив фитиль, охотник зажег его конец, тотчас давший струю едкого дыма, выбрался на скалу и сел в ожидании. Из пропасти вырвался удар. Дым хлынул оттуда с силой пушечного заряда. Тотчас же послышался шум осыпающихся камней. Дав разойтись дыму, Гент заглянул в пропасть: камень откинулся от скалы верхней частью, удерживаясь на нижней; можно было заметить теперь, что это — род толстой плиты. Охотник спустился вниз. Повиснув в петле, он ухватился руками за верхний край камня и, сообщив ему всю тяжесть своего тела, вывернул его из гнезда. Камень, с грохотом ударяясь о стены ущелья, исчез во тьме, раздался последний глухой шум воды, и Гент очутился перед отверстием тайника, пред входом святилища, сокровищницы или могилы.

Несколько минут он качался в петле, медля ступить в проход. Ему было приятно создавать призраки. Среди этой забавы воображения не последнюю роль играли своды храмовидных пещер, полных черной воды, в которых свет факела озаряет причудливые формы сталактитов или скелетов допотопных чудовищ. С самыми странными ожиданиями Гент подтянулся к скале и вполз в отверстие; затем, расправив конец свечного клубка, высек огонь.

Впереди ничего не было видно. Ощупав стены, Гент убедился, что они искусственного происхождения. Никакая игра природы не усеяла бы их такими характерными царапинами и тесаными углублениями, оставляемыми лишь железом. Он двинулся вперед. Узкий проход, вышиною едва в рост человека, тянулся на протяжении не более десяти футов; за ним находилось

просторное помещение, границы которого свет охватил не сразу. Охотник помог борьбе огня с тьмой, отрезав несколько кусков воскового шнура; поспешно воспламенив их, он прилепил свечки к выступам ближайшей стены. Понемногу глаза человека освоились с перспективой, проступавшей сквозь мрак так медленно и неясно, как стая рыб, всплывающих из глубины к светлой поверхности. Наконец не оставалось больше сомнений: Гент находился в искусственной пещере, имевшей форму неровного полушария и загроможденной вещами, относительно ценности которых в голове самого спокойного и сообразительного человека мог возникнуть только бесформенный цифровой туман. Мы можем картинно представить расстояние мили, двух, даже до десяти; силу звука — в пределах пушечного выстрела; богатство — в размере наших личных вожделений, но ни расстояние значительное, ни гром тысяч орудий, ни сокровища, рассыпанные сотнями пудов, хотя бы они были под рукой, не откроют воображению истинной своей силы.

Поэтому Гент не делал жалких попыток. Он осмотрел все, всему отдал естественную дань чистого волнения, лишенного даже тени той безумной радости, с какой, надо полагать, открывались все клады, и составил опись всего своим ровным почерком, указав приблизительно вес и меру сокровищ.

В ближайшем углу, слева от входа, стояло несколько глиняных, овальной формы посудин с толстыми закраинами, прикрытых и обвязанных полуистлевшей кожей. Эти вместилища доходили Генту до половины груди. Он сорвал кожу, опустил руку и вытащил горсть жемчужин. Даже такое тусклое освещение, в каком находилась пещера, не могло остаться равнодушным к краскам, скрываемым дочерьми океана; оно извлекло все блески, отсветы и переливы, рожденные грубой известью в союзе с нервным телом моллюска. Нежная, почти одухотворенная белизна, такая теплая, что казалась живой прелестью тела, отливала красками утренних облаков, смешанными в чудесной гармонии. Некоторые жемчужины были величиной с орех; большинство, зачерпнутое рукой Гента, не превышало объема крупной фасоли, но мелочи совсем не было.

Гент продолжал осмотр. Постепенно он переходил от одного сосуда к другому, везде обнаруживая богатства, недоступные самой смелой оценке. Большинство

вместилищ было наполнено драгоценными камнями, преимущественно алмазами, обрезанными в форме двухсторонне-пирамидальной. Они светились, как глаза сказочных птиц. Сапфиры, рубины и изумруды смешивали в руке свои лучи, покрывая потрескавшуюся темную ладонь охотника ярким огнем. Он сбрасывал их обратно, прислушиваясь к холодному стуку камней. Их блеск утомлял, очаровывал и притягивал; он проникал в душу, вызывая ответные ему цвета, не менее сложные и чистые, но дремлющие.

Продолжая продвигаться, Гент наткнулся на кучи серебряной и золотой посуды, достойной стоять в знаменитейших музеях на первом месте. Восточная орнаментация сплела их узоры с украшениями из драгоценных камней. Здесь были малые и большие блюда, кувшины, кубки, чаши и тазы неизвестного назначения. Все это было уложено в три ряда, представляя блистающие нагромождения огромной тяжести. Некоторые из сосудов были наполнены украшениями: браслетами, перстнями, кучами золотых блях, кинжальных рукоятей, спиральных и простых обручей, различных головных украшений и пряжек. Гент не мог пересмотреть все. Он медленно двигался, едва успевая оторваться взглядом от одного изобилия, чтобы смотреть на другое. Последним, что он увидел, был грубый каменный ящик с золотыми монетами. Гент поспешил осмотреть монеты, но по ним трудно было установить национальное происхождение этого грандиозного клада: среди арабских, персидских, испанских, португальских, турецких и индийских монет попадалось довольное количество золота французского и английского; как ни искал Гент, он не нашел монеты старее золотой кроны с изображением Генриха IV, почему и отнес клад к шестнадцатому столетию.

Стоит подумать о том, сколько людей на месте Гента лишились бы чувств, рассудка, а может быть, и жизни, не вынеся чрезвычайного, исключительного волнения. Во всяком случае, ни один бы не вышел, сохранив нервы. Охотник перенес испытание очень легко. Как мы говорили, он был лишен алчности, и волнение, испытанное им, носило особый характер. Размышляя о страшной силе, окружавшей его, он как бы оглядывался мысленно на историю миллионов жизней, тысяч семейств, походов, разбоев, куплей-продаж и стяжаний, приведших постепенно, в разных местах

и в разное время, к образованию несметных богатств, собранных когда-то в одно место настойчивостью и силой неизвестных людей. Мысль дать движение кладу, вызвать его из состояния покоя к сокрушительному движению уже страшила его; постепенно, однако, он стал размышлять хладнокровнее, овладевая бушеванием представлений и подчиняя их планам крупных масштабов. Все тише становилось в его душе, и, когда от воскового клубка осталось не более двух дюймов, Гент почувствовал, что он голоден до изнурения, что пора уходить и что обладание сокровищем не причинило его душе малейшей трещины, недостойной его всегдашнего равнодушия к власти над жизнью путем чрезмерного богатства. Но он, вопреки себе, был все-таки снова богат и громко расхохотался, сообразив это. Затем бросил вокруг себя задумчивый, долгий взгляд.

Подойдя к глиняному сосуду, Гент выбрал несколько крупных алмазов, ссыпал их в карман, затем взял горсть золотых монет и удалился на поверхность скалы. Воздух был резко свеж. Над головой охотника и вдали, куда он ни обращал взгляд, горели тропические звезды, наполняя ночь властью магического сияния, так много говорящего человеку, умеющему смотреть вверх.

Гент сел и долго курил, пока с востока не потянул теплый ветер, вестник рассвета. Первые лучи солнца застали его уже в лесу; сидя у костра, он жарил кусок кабана, подстреленного близ ручья. Кончив есть, Гент вернулся в тайник, где составил к вечеру подробную опись драгоценных вещей и приблизительную — содержимого глиняных сосудов. Пересчитав меркой золотые монеты, он высчитал, что только они одни составляли сумму в пятьсот тысяч фунтов стерлингов. Окончив этот утомительный труд, Гент старательно уничтожил следы, бросив в расселину шест и петлю, и к закату достиг лагеря, где застал всех своих за обсуждением предстоящей охоты.

Надо сказать, что к этому времени несчастный случай отдал безвестной могиле трех охотников. Их звали: Петерс, Гельминд и Орук. Петерса убил раненый слон, сломав ему хоботом позвоночник; зверь превратил тело в бесформенную массу. Гельминд погиб не менее страшной смертью: он был изувечен буйволом, разбившим грудь несчастливца, когда тот, став на

колено, приготовился сразить животное верным выстрелом — ружье дало осечку. Орук утонул. Число членов экспедиции равнялось, таким образом, пяти, не считая Гента. Среди них были два англичанина — отец и сын Стефенсоны; остальные с Ван Ландом родились в Голландии. Их звали: Ван Буш и Клебен. Читатель не посетует, если мы набросаем ряд кратких характеристик, могущих послужить ключом к драме, вызванной обстоятельствами.

Стефенсоны держали трактир в Порт-Саиде и занимались скупкой краденого. Полиция заставила их искать другое место деятельности. Ряд неудач привел их на службу фактории, торговавшей с неграми. Их мечтой было, подкопив капиталец, вернуться на родину. Отцу стукнуло сорок лет; несловоохотливый, угрюмо погруженный в расчеты, он вечно ссорился с сыном, заработок которого поглощала азартная игра. Сын надеялся на решительный поворот фортуны и раз был жестоко избит в Богамойо за попытку указать капризной богине счастья правильный путь путем присоединения к своей игре пятого туза. Иногда оба напивались, мрачно ругая друг друга.

Если Ван Буш являлся страстным охотником по натуре и с детства проводил жизнь в лесах, слагая иногда недурные песни, то трудно было понять, почему Клебен оставил семью ради профессии, не имевшей ничего общего с прежним его делом.

Клебен восемнадцати лет поступил писцом в контору нотариуса. До тридцати лет жизнь его протекала тихо и скромно. Затем он таинственно исчез. Контора нотариуса так же таинственно закрылась, причем хозяин ее очутился в тюрьме по делу о подлоге крупного завещания. Клебен не написал и не дал знать семье о своей участи, сам же он появился на Занзибарском рынке, торгуя пряностями. К этому времени от чистенького, аккуратного писца осталось лишь имя, а носитель его превратился в «темную личность». Потерпев какие-то неудачи, Клебен нанялся слугой к бельгийскому охотнику Буароберу, а от него перешел в компанию Ван Ланда. Этот странный, нервный человек с тонким голосом, внимательным, сладким взглядом и густой бородой сделался прекрасным охотником, не внося, однако, в свое занятие ни малейшего увлечения. Отстраняя малейшие удовольствия и развлечения, Клебен скаредно копил деньги.

Ван Ланд являлся типом искателя приключений по характеру и призванию. Прожив долго, он многое позабыл в прошлом, но ни в забытом, ни в памяти его не было двусмысленных положений. Он честно служил страстям, но они не могли сломить его стальной организм, вечно обновляемый пламенем нестареющего сердца и непоколебимой души. Это был игрок, пьяница, бродяга, страстный и неутомимый охотник, считающий далекие путешествия привычным делом, естественным, как сон или пища; без слов, без длинных монологов, до которых так падки духовные франты, любил он природу и по-своему понимал ее не хуже присяжных поэтов. Во всякое дело он вкладывал столько увлечения, что заражал энергией самых холодных людей. Понимая человеческую природу, Ван Ланд считался лишь с теми сторонами ее, от каких не отвернулся бы сам; остальное же обходил молчанием и презрением. Он попал в Африку молодым человеком и в ее ядовито-роскошных дебрях нашел новое отечество.

Таковы были люди, с которыми столкнулся Гент.

Он вошел в палатку с сияющими глазами. Ван Ланд первый обратил на это внимание, спросив, не убил ли Гент, по секрету, пару слонов. Гент не торопился приступать к делу; внимательно переводя взгляд с одного лица на другое, он старался взвесить положение и невольно задавал себе вопрос, не создаст ли оно ему препятствий и огорчений. Он не знал прошлого своих случайных товарищей и не хотел знать, но тесная жизнь с ними открыла, конечно, всю разницу душевного склада меж ним и остальными охотниками. Он не любил их, за исключением Ван Ланда, к пылкой непосредственности, детской испорченности и седоволосой юности которого чувствовал молчаливую симпатию.

— Мистер Гент,— сказал Ван Ланд,— так как вы, по-видимому, не убили слонов, но окончили таинственные прогулки, мы хотим узнать ваше мнение. Голоса, видите ли, разделились: Стефенсоны и Клебен стоят за негров, а я и Ван Буш — за честную охоту. Я вам скажу, в чем дело.

Гент узнал, что вчера компания приобрела два отличных клыка за бочонок пороху, кремневое ружье, пять зеркалец и бутылку водки. Когда стали просить негров принести еще товар, король деревни, напившись пьян, объявил, что водка хороша и что, если ему дадут бочонок водки, он устроит загонную охоту,

пустив в дело тысячу подданных. Меж тем план охоты, предложенной хмельным чернокожим деспотом, был по существу не охотой, а отвратительным делом.

Оно происходило обыкновенно так: сборище дикарей под начальством проводника окружало в лесу слоновье стадо — самцов, самок и маленьких, производя оглушительный шум трещотками, барабанами и завываниями. Испуганные слоны забивались в глушь; тогда негры разводили костры, мешающие слонам прорвать ночью кольцо плена, а днем старательно валили по кругу оцепления огромные деревья, устраивая таким образом непроходимые заграждения. Между тем слоны, лишенные водопоя, сильно страдали от жажды, и через несколько дней инстинкт опасности покидал их. Негры, пользуясь этим, приносили внутрь заграждения пиро́ги, налитые отравленной водой; измученные животные, спеша утолить жажду, пили и немедленно гибли от такого зверского угощения; те же, что покрепче, впадали в сонливое отупение; с ними тогда можно поступать как угодно. Владея лишь жалким оружием, негры, по рассказам охотников, превращают тела несчастных отупевших гигантов буквально в решето, прежде чем удастся лишить их жизни. Тогда наступает африканское пиршество. Негры плавают в крови, роются во внутренностях, забираясь в туши, рвут, режут и мусолят теплое мясо, глотая на ходу куски жира. От слона остается скелет; кожа, мясо, внутренности и клыки поступают в общий доход племени.

Королек, предлагая подобный план, имел в виду недавно выслеженное стадо из восьми взрослых и четверых молодых, еще беззубых животных. Ван Ланд обещал ему бочонок водки, если тот просто укажет, где бродят слоны, но дикарь отклонил предложение, предвидя, что охота без, так сказать, контроля — дело гадательное. Теперь охотники спорили между собой. Стефенсон и Клебен требовали принять предложение.

— В таком случае мы стали бы подрубать сук, на котором сидим,— сказал Ван Ланд.— Это — голое хищничество. Убивая самок и малышей, мы скоро опустошим область. Кроме того,— прибавил он с сердитым блеском глаз,— позор охотнику. Не дело это, братцы, Стефенсон и ты, Клебен!

— Вы безмерно щепетильны, Ван Ланд! — возразил Клебен.— Ведь мы — промышленники. Нам нужны деньги. Надо убивать больше слонов, вот и все.

— Хорошо сказано,— отозвался Стефенсон-сын.— Мы с отцом не чувствуем этих нежностей. Вам, Ван Ланд, может быть, есть время ждать, пока вырастут малыши. Черт с ними!

— Нет,— сказал Ван Буш.— Не стоит срамиться за пару лишних клыков. Кроме того, мы будем не рады, если свяжемся с дикарями. Они вымотают вам душу. За неделю такой травли вы проклянете жизнь.

Гент внимательно слушал. Спорщики начали уже переходить в область личных счетов, когда он поднялся и сказал:

— Позвольте мне говорить. Простой арифметический расчет мгновенно покончит ваши несогласия. Скажите мне, Стефенсоны, на какой сумме успокоилась бы ваша душа?

— Если бы я имел десять,— подумав, ответил старший Стефенсон,— ну, скажем, двадцать тысяч фунтов, я так вычистил бы подошвы, что даже пылинки здешней земли не сталось бы на них. Вопрос, впрочем, бесполезный, мистер Гент.

— Но так как я проживу дольше тебя, то мне надо больше,— возразил его сын.— Вы очень скромны, папаша! Разве вы не видите, что мистер Гент собирается написать чек? Напишите и мне,— насмешливо обратился он к Генту,— на сумму эдак вдвое большую, чем родителю.

— Хорошо, мы увидим,— сказал Гент.— А вы, Клебен?

— К черту шутки! — перебил Ван Ланд.— Если так, так я уйду.

Он встал резким движением, но Гент удержал его.

— Постойте, это не шутки. Я говорю вполне серьезно и предчувствую ваше изумление. Дайте мне слово, что никто не обнаружит малейшего любопытства, не будет приставать с расспросами, откуда я взял то, что я сейчас вручу вам,— и ваши желания исполнятся: короче говоря, все вы немедленно погрузите ваши пожитки и отправитесь с богатством в кармане.

Десять широко раскрытых глаз уставились на Гента; тон его голоса был таков, что общее недоумение выразилось напряженным молчанием. Предчувствие подсказало им, что говорящий так смело не шутит.

— Согласны! — вырвалось одновременно у Стефенсонов, в то время как лукавая мысль искала уже дорог обойти это обещание.

— И я! — Клебен выдвинулся вперед, почти вплотную к Генту, с которого не сводил загоревшихся глаз.

Ван Буш и Ван Ланд кивнули. Тогда Гент вытащил из кармана пять крупных алмазов, опустил руку на середину стола и разом показал крупное состояние, вспыхнувшее на солнечном свете. Камни были почти одинаковой величины и чистейшей воды, весом не менее двадцати каратов. Несмотря на малую величину их, эта ослепительная кучка заслонила от зрителей все остальное. Громкий крик жадного восторга вырвался у охотников. На мгновенье Гент был забыт. Однако никто еще не прикоснулся к алмазам, как бы желая освоиться с неожиданностью. Затем драгоценности стали переходить из рук в руки, вызывая множество замечаний, цифр и возбужденного спора. Общее мнение оценило сокровища в двести тысяч фунтов.

— Факт налицо,— сказал Ван Ланд, отирая пот.— Досадно, что не придется знать, откуда появились они в вашем кармане.

— В моем — да, но в вашем — из моего кармана. Камни эти я дарю вам. Вас — пять... Камней — тоже пять. Может быть, я подобрал не совсем ровные, в таком случае вы можете их разыграть между собой. Берите, не церемоньтесь. Мы долго жили вместе, дыша одним воздухом постоянных опасностей, и я не хотел бы, чтобы вы придали моему подарку какое-нибудь особенное значение. Я рад, что смог немного поторопить судьбу; особенно вам, Ван Ланд и Ван Буш!

— Нет! Нам!! — закричали охотники, плохо понимая, что говорит Гент. Для них вполне ясно было одно: каждый владеет диковинно свалившимся состоянием. Здесь характеры выразились вполне отчетливо. Меньше всех показали волнения Ван Ланд и молодой охотник Ван Буш; с застенчиво просиявшим лицом Буш поймал руку Гента и крепко потряс ее... Ван Ланд долго жевал губами, взглядывая то на камни, то на щедрого дарителя, хитро прищурившись, но с признательностью, которую почувствовал Гент. Остальные дико метались: Клебен пытался обнять Гента, назвал его «своим милым другом», растягивая рот до ушей, в то время как глаза его были отвратительно неподвижны. Стефенсоны, считая нужным говорить больше, чем им дано было природой, несвязно и многоречиво высказывали свои чувства. Затем все сбились в кучу, рассматривая подарки.

Гент вышел: на него мельком оглянулись, но никто не удерживал, не остановил и не показал, что обращает на него внимание. Тайна, которой он окружил свой дар, поставила его в исключительное положение. Миллион не падает с неба, особенно в глуши дебрей. Его также не носят в кармане затем, чтобы в один прекрасный день огорошить приятелей; а главное — такая сумма не может быть последней лептой вдовицы; она, естественно, часть неизвестного, но, вероятно, огромного целого. Меж Гентом и остальными легла серьезная тайна, сделавшаяся его недосягаемой силой, а их — мучениками этой тайны, ибо жадность, обостренная любопытством, не имеющим никаких ключей, становится неутолимой.

Стараясь быть незамеченным, Гент покинул лагерь и взобрался на скалы. Он начинал обдумывать план, достаточно громадный и смелый, чтобы наполнить жизнь сотен людей, подобных ему. С ним снова были веревка и шест; на этот раз он взял столько драгоценных камней самого лучшего качества, сколько вместилось в потайной карман сумки, и, обогнув озеро, направился к восточным долинам.

Теперь мы остановимся на эпизоде, предшествовавшем появлению Гента в караване Стэнли.

Высокий негр, обвешанный голубыми, белыми и красными бусами, стоял между четырех дикарей свирепого вида, вооруженных луками и дротиками. У его ног лежал распоротый тюк. Это был носильщик пятого каравана Стэнли, решивший, что лучше бежать с тюком, столь соблазнительным, чем таскать его изо дня в день за несколько метров ситца. Убежав в лес, носильщик на свою беду воспылал жаждой немедленного счастья: обвешав себя фунтами десятью бус и не довольствуясь этим, он развесил вокруг на ветках цветные сверкающие гирлянды замечательных украшений, танцуя, распевая во все горло песни о самом себе, таком хитром и удачливом. К его несчастью, эти вопли, а также заметное сверкание сквозь листву пестрого стекла привлекли внимание туземных разбойников, имеющих обыкновение следовать поодаль за караванами. Объявив носильщика на основании его странных манипуляций колдуном, разбойники решили его повесить. Колдуны, надо сказать, чрезвычайно многочисленны в Африке, и их деспотическая власть над жизнью, имуществом и судьбой своих соплеменников служит для

последних источником постоянных мучений. Поэтому бродяги не без злорадства готовились исполнить замысел. Веревка уже легла на шею носильщика, как вблизи затрещали выстрелы, пули щелкнули по ближайшим деревьям, и бандиты бежали, оставив жертву с ее бусами и страхом во власти белого человека, показавшегося из чащи с ружьем в руках. Это был Гент, случайно наткнувшийся на сцену, быть безучастным свидетелем которой не отвечало его характеру.

Спасенный неистово обнимал ноги белого человека, и наконец способность связной речи вернулась к нему. Гент узнал, к какому каравану принадлежит пагасис, кто им командует и какого старого музунгу отправился искать Стэнли. Пристыдив негра, лившего слезы раскаяния, Гент взял его с собой и, сделав два быстрых перехода, догнал Стэнли. Надежда отыскать Ливингстона была для Гента в духе его плана, решительным толчком к действию; до сих пор считая вместе с другими знаменитого путешественника давно погибшим, он теперь стал надеяться на успех своих поисков, узнав, что на это надеется также и ряд лиц, организовавших экспедицию. Ливингстон был такой человек, какой мог стать душой всего, затеянного Гентом. Однако последний скрыл от Стэнли свой замысел, рассчитывая обнаружить его впоследствии, если бы нашел, что характер путешественника лишен зависти. Он также уменьшил размеры найденного сокровища до пределов благоразумного вероятия во избежание опасного недоверия. Стэнли был убежден, что Гент хочет передать Ливингстону значительный капитал ради дальнейших открытий и путешествий, но не подозревал более ничего.

Между тем, если бы психическая природа наша позволяла читать мысли, Стэнли не преминул бы, прочтя кое-что в уме Гента, отдать должное скромности этого человека, приютившегося незаметно в тени горы, мысленно воздвигаемой им. Будущее покажет, насколько прочно оказалось это сооружение. Но что бы то ни было — истинно великое творится только в нашей душе, остальное — результат сил, имеющих часто противоречивое направление. И тот, кто, бросаясь спасать тонущего, тонет с ним сам, не менее свят в наших глазах, чем тот, кто, спасая, прикрепляет к борту сюртука медаль за спасение погибающих.

Почти всё заманчивое и фееричное в путешествии, подобном настоящему, есть труд и испытание нравов.

Самая поражающая действительность становится буднями: переносить их требуется больше мужества, чем в сражении.

Жизнь тропиков давно стала буднями для Гента. Поэтому он вошел в караван Стэнли без иллюзий, хорошо зная, что совместное существование людей разных рас, племен и языков, разных требований и зачастую враждебных целей богато всем сором человеческих отношений. Вдобавок люди эти были отрезаны от цивилизации и предоставлены собственным силам.

Когда Гент водворился в палатке Шау, последний отнесся к этому со сварливостью и беззастенчивым любопытством. Гент сказал, что отбился от арабского каравана, шедшего к центральным озерам. Шау высказал искусно выраженное сомнение, но Гент, не переводя духа, сочинил такую сложную историю о спасенном арабе, тайно принявшем христианскую религию и сделавшемся покровителем Гента, что Шау, успевший перед сном выпить виски, скоро потерял связь фактов и, зевая, смотрел на Гента широко раскрытыми глазами, в которых блуждал сон. Однако Гент уснул первый, подостлав шкуру газели. Шау несколько времени подозрительно смотрел на спящего, затем вновь приложился к фляге и потушил свечку.

Шау был человек лет тридцати пяти, с квадратной рыжеватой бородкой, мелкими чертами лица и жидкими детскими бровями; кислому выражению его лица отвечал обиженный взгляд; глаза были ничтожны и бесцветны. Стэнли взял его с американского китолова, на котором тот служил шкипером, соблазнившись его «бывалостью», однако впоследствии раскаялся в этом. Шау был сварлив и придирчив. Кроме того, его незаслуженно высокое мнение о своей особе делало подчас эту особу невыносимой.

VI

ЧЕРТ В КАРАВАНЕ

Присутствие нового члена экспедиции, явившегося к тому же так неожиданно из лесной тьмы, встретило различное отношение. Белый человек в центре Африки — вообще загадочное явление. Он или враг, или тайна. Будучи врагом, он грабит население, захватывая

рабов, истребляя драгоценные слоновьи стада, вмешиваясь в междоусобные войны, отнимая земли. Как тайна он не делает вреда, но ничего нельзя тогда понять в действиях хитрого, сильного, добычливого и упорного «музунгу». Он один идет там, где целое племя, спасаясь от колдовства и злых духов, с воем бросается прочь. Он приезжает из стран, где зимой твердая вода, покинув семью, дом. Вместо того чтобы самому носить замечательный пестрый ситец, цветное полотно и прекрасные стеклянные бусы с медной проволокой, которая так хорошо блестит на ногах или в ноздрях, он раздает эти вызывающие молитвенный стон богатства за зерно, пальмовое пиво и мясо. Десяток яиц ему приятнее хорошей пуговицы. Но, главное, он не покупает ни рабов, ни камеди, ни слоновой кости. Набрав носильщиков и солдат, он погружается в ужасы томительных переходов и идет далеко-далеко, пока ему не надоест писать ночью в палатке. Когда ему это надоест и он еще жив, он снова собирает караван и уходит обратно, оставляя длинную линию поселений, верст этак на тысячу, в глубоком недоумении. Зачем?

На этот вопрос черного материка маловразумительным ответом был топот нескольких десятков босых ног каравана Стэнли и фигура белого человека с ружьем за спиной, зорко всматривающегося в огромный занавес неба с его постоянно меняющимся узором лесистых и гористых далей.

Трудно угадать, что есть белый человек и что он задумал сделать. Арабские конвоиры, не любопытные по природе, приняли Гента, по крайней мере внешне, с восточным равнодушием. Шау терзал его расспросами о прежней жизни. Гент отделывался краткими замечаниями более философского, чем фактического, свойства; носильщики же, в большинстве чистые негры, не стесняясь, ставили Генту вопросы относительно его появления и условий службы. Первые два-три дня это было утомительно, затем его оставили в покое. Гент наговорил им то же, что Шау.

Он быстро осмотрелся и занял нейтральную позицию. Сознательно устраняясь от всяких хозяйственных, административных и экскурсионных дел, он выговорил себе роль туриста-охотника. Это не значит, что он чуждался труда или тягостей путешествия, но все, что он делал, выходило своеобразно. Он первым подскакивал к завязшей в грязи повозке, вытаскивая коле-

са; помогал вьючить и развьючивать ослов. Первым заходил в болото, если мялись носильщики. Таскал тюки, стирал или шил, чистил оружие и подгонял отставших, нередко поднимая кнутом притворного больного, ухаживал за больными, но все это он проделывал как бы между прочим, так как прочее он оставлял для себя. Он варил пищу отдельно, находя высокое удовольствие есть, когда вздумается и так, как вздумается. Он устроил себе отдельную палатку и ставил ее всегда в черте лагеря. Бывало, он исчезал ночью, возвращаясь к утру. Иногда он заходил в палатку американца, описывая события дня таким невозмутимо-юмористическим тоном, что Стэнли бешено хохотал. С неграми он был приветлив и ласков, заступаясь за них перед Стэнли, хотя и не всегда успешно, и очень любил сидеть по вечерам в их обществе у костра, слушая наивные рассказы дикарей. В свою очередь, он охотно говорил о городах, домах, культуре и быте европейца, о машинах, природе и нравах. Однако все, или почти все, рассказанное им, в такой степени было чуждо банной простоте африканского существования, что часто он слышал восклицания: «У, музунгу! Здорово врет!» И взрыв хохота, на что улыбался сам.

Гент любил, когда караван рано останавливался для ночлега. Он быстро варил кушанье, съедал его, запив большой кружкой крепкого и сладкого чаю, и уходил в лес. Если вблизи, у ручья или у лесного озера, многочисленные звериные тропы указывали водопой, он прятался в кустах или влезал на деревья. На закате, когда редкие огненные щели протягивались в лесной тьме, а в их полосе травы и листья блестели червонным золотом, между тем как за световой гранью стояла тьма, Гент чувствовал себя хорошо. Он видел, как медленной поступью спускались к воде львы, как, поджав хвосты, подобно кошкам, они лакали, фыркая и чихая, мгновенно напрягаясь всем телом в позе, полной грозной осторожности, если слышали подозрительный шум; их неровное рычание, похожее на град падающих камней, сменялось, когда они удалялись, неся на усах капли воды, хрипением и чваканьем носорогов. Эти подобные рогатым жукам черные туловища степенно погружались в воду, и крошечные злые глаза их светились удовольствием. После них наступала очередь гну, зебр, серн и антилоп; последними приходили гиены. Затем озеро засыпало.

Гент редко стрелял на водопое, следуя примеру животных, щадивших друг друга в эти великие часы острой животной необходимости. Раз он убил льва, заглянувшего к нему в кустарник с вытянутым хвостом, что указывало на возможный прыжок. Гент стрелял конической пулей Рейля. Лев попятился с простреленным лбом, сел и запустил когти в землю, но внезапно, осилив слабость, скакнул, опрокинув Гента и дергаясь на его теле в предсмертных конвульсиях. Второй раз он убил крокодила, схватившего антилопу за морду, когда она пила; пуля — как и целился Гент — прошла в глаз. Труп чудовища всплыл через несколько минут, блестя бело-зеленым брюхом, и был отнесен течением к противоположному берегу реки; антилопа была так изуродована, что Гент пристрелил ее.

Он любил наблюдать животных в их естественном состоянии, но любил и охоту. Его манера охотиться была, однако, вполне своеобразна, так как Гент никогда не следовал приметам, следам и указаниям, полагаясь на случай. Он не охотился на к о г о - н и б у д ь: антилопу, тетерева, фламинго, куропатку, буйвола и т. д., а охотился на всё, что было дичью. Поэтому он брал два ружья — винтовку и дробовик. Иногда он сидел часами в лесу, наблюдая за разноцветными искрами африканской колибри, перепархиванием голубых дроздов или плавным ходом змеи, устремляющей на человека неподвижно фосфорический взгляд. Перед ним, медленно махая яркими крыльями, колыхались огромные бабочки, соперничая друг с другом замысловатостью цветов и узоров,— бабочки, более напоминающие птиц, чем насекомых. Иногда стая обезьян давала представление в листве дерева, принимая с умопомрачительной быстротой смешные позы; седобородые, или в бакенбардах, или же с кисточками за ушами шерстистые физиономии мимически отражали все поражающие их чувства, гримасничали и корчились, а несмеющиеся глаза напряженным блеском говорили о кипучести этих полулюдей, истеричных и шумливых. Однажды Гент потерял жестянку с табаком там, где сидел; зная, что ей некуда исчезнуть, он вернулся к прежнему месту. Громкое «Ф-фу-х! Ф-фу-х!» заставило его поднять голову. Здоровенный собака-павиан[1], схватив жестянку и забравшись на дерево, старался открыть ее; скоро это уда-

[1] Обезьяна с собачьей головой.

лось ему, с той же быстротой он отправил в рот добрую порцию горького вещества и стал громко плеваться. Его странную физиономию сводило отвращением и ужасом; он тер язык, вытаращив глаза. Жестянку другой рукой обезьяна прижимала машинально к груди, но, заметив Гента, сердито швырнула в него пустой коробкой.

Гент, подобно Стэнли, вел дневник. Но в дневнике этом читатель нашел бы весьма малое количество заметок географических, еще меньше событий и очень много такого, что показалось бы ему странным, как забота о чистоте платья во время сражения. Целые страницы были наполнены описаниями неизвестных цветов, их запаха и сравнений их с северными цветами. В другом месте говорилось о выражении глаз животных. Третье рисовало пейзаж, подмечая неожиданные переходы красок и линий! Иногда Гент пускался в рассуждения о преимуществе быстрого прицела перед тщательным его наведением или рассказывал, как солнечный свет бродит в вершинах леса, озаряя листву. Запахи джунглей, их дикость и разнообразие, фантастические очертания скал, вид озер и болот, наилучший способ разведения костра, заметки о языке обезьян — здесь было место всему, что поражало его внимание. Местами встречались негритянская сказка, песня или отрывок разговора. Растения получали иную видимость. Пальму Гент называл «фонтаном вееров», зонтичное дерево — «летящей вершиной», черное — «негром в зеленом платье», кактус — «кабаном пустыни» (связкой кривых сабель) и т. д. Там были еще строки, которые лучше привести полностью:

> «Эта часть леса была отделена глубоким оврагом, на дне его звонко гремел ручей. Лучи, падая сзади меня в лесную заросль по ту сторону оврага, зажгли ее ослепительным, прозрачным пожаром. Такие испарения утреннего дождя наполнили тот золотой потоп искрами радуги. Казалось, на моих глазах рождаются формы, подавляющие своим тонким великолепием. За ближайшими деревьями стлался, цвета зари, световой туман. В нем появлялись и исчезали цветные летающие создания, потрясая ветви, брызгавшие на очарованные цветы жидкими бриллиантами. Все двигалось, кричало и таинственно соглашалось там отдаваться невинной радости, напоминающей рай».

VII

ЗАГОВОРЩИКИ ЗИМБАУЭНИ

Гент присоединился к пятому каравану незадолго перед его прибытием в столицу области Унгерери, подчиненной арабам,— укрепленный город Зимбауэни. Город был основан арабским разбойником, работорговцем, грабившим окрестные деревни. Теперь султаншей этой колонии была его дочь, по ее имени назывался город.

Прежде чем достигнуть Зимбауэни, караван совершил несколько переходов в самом разгаре мазики. Вода стала назойливым врагом, вездесущим, как воздух. Низкие складки туч, осеняя пустыню, казалось, угрожали обвалом. Проливной дождь сутками мучил людей, в особенности европейцев, с их более сложным костюмом, чем у дикарей, которым достаточно было вечером посидеть минут десять у костра и юркнуть в палатку, чтобы восстановить равновесие души. Даже ослы и лошади отряхивались, подобно собакам вздрагивая всем телом. Ноги скользили по размытой земле; все ямы, овраги и болота переполнились; ручьи стали потоками, речки — реками, реки — морями, болота — озерами. Все мокло и гнило, заражая воздух миазмами удушливой прели. Дождь портил кладь; в те вечера, когда мазика утихала, Стэнли приказывал распаковывать тюки и сушить ткани. Вокруг лагеря растягивались длинные цветные ленты кисеи, сукон, полотна и пестрых бумазей, напоминая ярмарку. Но мазика была хороша тем, что караван не страдал от насекомых; ливень отгонял зловещих мух, в числе которых не было еще «цеце», иначе лошади и ослы полегли бы в несколько дней. Болезненные укусы всяческих насекомых, вызывая мгновенный ядовитый озноб, были истинной пыткой.

Зимбауэни лежал у подножья горной цепи. Город напоминал белый квадратный ящик без крышки, полный кусков мыла. По его углам торчали башни с амбразурами для пушек, а в середине каждой стены были тщательно охраняемые ворота из темного дерева, с медными и резными украшениями арабского стиля.

Дождь прекратился. Горы сверкнули зеленью. Между караваном и городом протекал шумный поток — временная карьера ничтожной речки, вздутой дождями.

По ту сторону потока стоял симбо — род караван-сарая, построенный неизвестным старателем. Это были грубые хижины в кольце изгороди. Здесь пятый караван устроил стоянку, о чем оповестил город треском нестройного залпа. Не прошло получаса, как из передних ворот Зимбауэни через поток по висячему мосту устремилось к лагерю множество торговцев и любопытных.

Гент терся в шумной толпе, пока ему не надоело. Он вышел из симбо, огибая наружную сторону изгороди. Здесь попались кусты. Он сел возле них и тотчас поблагодарил судьбу, что сделал это бесшумно: в кустах слышалась арабская речь; уже первые слова, пойманные тонким слухом охотника, были подозрительны:

— Асмани, ожидай нашего человека сегодня, после захода солнца, за мостом у берега. Теперь иди к музунгу. Среди носильщиков есть ли нужные нам люди?

— Есть несколько, которых я знаю.

— Прощай! когда я увидел тебя в симбо, то знал уже, что на мою речь ты не повернешься спиной к старому приятелю.

— Нет, — сказал Асмани. — Я приду, буду ждать и сделаю хорошо все, за что возьмусь.

Гент знал арабский язык. В момент, когда беседующие разошлись, он глубоко втиснулся под кустарник, и тень покрыла его. Но он видел сквозь ветви, что к Зимбауэни направлялся грязный араб, а к симбо — пагасис Асмани, мулат с мертвым лицом, безжизненную худобу которого освещали длинные глаза, блестевшие как сквозь маску. Асмани был молчалив, вынослив и равнодушен.

Гент поднялся, насвистывая уличную лондонскую песенку. Он шел (на всякий случай) небрежно, заложив руки в карманы и зевая. Но кругом более не видел он ни души. В воротах симбо Гент остановился, смотря, как черные, выменяв провизию, уходили, хватая друг у друга цветную материю и прикладывая ее к телу; на многих уже красовались бусы, и не одна спираль медной проволоки, намотанной на руку, блестела на черной коже. На дворе симбо, у хижины Стэнли, стоял ряд камышовых корзин, прикрытых пальмовыми листьями; оттуда торчали связки бананов, мясо и хвосты кур, впавших в беспамятство от страха и тесноты. Здесь был Стэнли.

— День удачен,— сказал Стэнли.— Мистер Гент, прошу вас поужинать со мной. Видите, Бундер-Салаам развел густой дым. Он старается.

— Хорошо,— сказал Гент,— благодарю. Меня беспокоит, что мы еще далеки от цели.

Они вошли в хижину. Стэнли рассчитывал остановиться здесь дней на пять, чтобы проветрить и хорошо просушить кладь, полечить спины ослов и дать каравану отдых. На столе была скатерть, тарелки и приборы. В пустой тыкве блестели лесные цветы.

Они сели, прислуживал туземец Селим — мальчик с вечно открытым ртом.

— Селим, поторопи Салаама! — сказал Стэнли, бренча ножом по пустой тарелке.— Музунгу голодны. Мы еще не близки к цели,— сказал Стэнли Генту,— но сегодня лихорадка меня оставила, и моя голова ясна. Вот что я скажу вам: из ста с небольшим путешественников, посвятивших себя исследованию африканского материка, умерло, не вернувшись, пятьдесят. Климат, болезни, насильственная смерть, пытки — их удел. Из остальных пятидесяти — четыре пятых страдали тяжелым расстройством организма до конца жизни. Вы видите, что мы находимся в экзотическом роскошном саду, и если до Ливингстона остается всего десять миль, я скажу, что мы еще очень далеки от цели нашего путешествия. Вы, несколько лет проживший в африканской глуши, знаете все.

— Правда,— сказал Гент с мнимой рассеянностью,— случайность здесь — закон. Какое-нибудь предательство, бунт, враждебность туземцев...

— Почему вы...— быстро начал Стэнли, но тут вошел Селим, неся блюдо с бараниной, обложенной рисом и политой проперченным пальмовым маслом.

— Ступай, Селим!

— Слушай, музунгу! — сказал мальчик.— Салаам съел почку и больше лепешек, чем сколько я принес. Он клал на них финики, ел много. Я смотрел в щель; он все спрятал, когда я пришел.

— Прекрасно, он ответит за это. Ступай!

Стэнли, казалось, забыл, что поразило его в словах Гента. Оба усердно ели.

Наконец путешественник спросил:

— В какой степени эти подозрения основательны?

— Пока ни в какой,— спокойно ответил Гент, вынимая кость из мяса.— Я вижу, вы поняли меня. Во

всяком случае, вам нечего беспокоиться, если одну ночь, а может быть и две, я проведу где-то.

— Вы всегда действуете один,— с раздражением сказал Стэнли, отодвигая тарелку и нервно втискивая в трубку больше табаку, чем могло поместиться.— Вы пришли один. Охотитесь вы один, сидите в палатке вы один. На этот раз вам, кажется, следует посвятить меня в происшествия, если они есть, и в ваши догадки, если они основательны.

— Нет, мистер Стэнли,— засмеялся Гент,— и в этом случае я буду один. Однако обещаю вам, что, если моя попытка выяснить подозрения потерпит неудачу, я сообщу вам свои соображения.

— А! Как хотите! — Стэнли пристально посмотрел на Гента.— Я желаю удачи.

— Благодарю вас,— серьезно проговорил Гент,— я тоже хочу, чтобы все это оказалось пустяком. Надеюсь завтра сделать вам подробный доклад.

Он поклонился и вышел, затем лег в тени изгороди и долго курил, пока не услышал воплей Бомбэя и Мабруки, кого-то звавших, отчаянно напрягая глотки. Гент прошел к воротам и увидел группу носильщиков, махавших руками в направлении горного склона, по которому, не оборачиваясь, быстро удалялась темная фигура.

— Что случилось? — спросил Гент Бомбэя, когда тот, плюнув, прекратил звать бегущего.

— Вот повар бежал, музунгу,— сказал Бомбэй.— Мистер Стэнли кричал на него, зачем тащит провизию!

— Так что же?

— То,— подхватил Шау, сардонически наблюдавший стремительное удаление повара,— что мистер Стэнли очень жесток. Бедняга съел, скажем, кусок баранины или еще чего — пустяк дело, по-нашему. Стэнли так накричал, что тот бросил своего осла, все вещи, и вот его уже едва видно.

— Шау,— сказал, подойдя, Стэнли,— который уже раз вы публично становитесь на сторону мошенников и лентяев? Я не очень терпелив, запомните это. Бундер-Салаам уличен пятый раз. Он крал кофе, чай, сахар, съедал половину моего обеда. Я пригрозил, что прогоню его; если он так мало надеется на себя и бежит, тем хуже для него. Караван в пустыне — то же, что корабль в море, и я здесь — капитан. Начни я спускать все плутни...

Он не договорил, махнул рукой и медленно направился в симбо. Салаам скрылся в уступах гор. Зрители разошлись. Наступил вечер.

Когда стемнело, Гент вышел из симбо и стал невдалеке от ворот, скрытый тьмой. Здесь он ждал около получаса, прислушиваясь ко всем звукам, напоминающим шаги. Не всякий слух уловил бы шаги Асмани — он проскользнул в ворота почти бесшумно, и так же бесшумно, держа револьвер, тронулся за ним Гент, держась на расстоянии, удобном для отступления.

Асмани, достигнув берега, остановился. Было темно в такой степени, когда острое зрение едва способно различать силуэты. Мулат нагнулся; послышался тихий вопрос и такой же тихий ответ. Затем лежащий человек встал и пошел через мост с Асмани; Гент не отставал ни на шаг. Шествие совершалось в глубоком молчании. Перейдя через мост, Асмани и его проводник направились к правой угловой башне городской стены. Здесь Гент счел нужным ближе держаться к туземцам, так как понимал, что они пройдут в город не через ворота; не желая упустить ни малейшей возможности успешно закончить преследование, он шел за мулатом не далее десяти шагов; у стены башни все трое остановились.

Тогда кто-то постучал; стук этот имел, видимо, условное значение: раз, два раза, три раза, четыре раза. Тотчас послышался звук отпираемого запора, и на равнину из низкой двери, скрытой глубокой нишей, блеснул тусклый свет. Дверь открыл один человек: Гент запомнил это. Асмани с проводником вошли в башню, оставив Гента обдумывать, как поступить дальше. Дверь хлопнула, свет исчез. Охотник приник ухом к доске, но ничего не услышал.

С притихшим сердцем поднял он руку и повторил стук: раз, два раза, три раза... и четыре.

Теперь за дверью он услышал бормотание, означавшее, должно быть, недоумение; однако запор снова отодвинулся, и дверь открылась небольшой щелью, постепенно расширявшейся, пока в ней не показалась голова негра. Одной рукой он держал медную лампу, другую же, положив ее на запор, выставил вперед. Гент видел его подозрительно блуждающие глаза. Он взял негра за руку, лежавшую на скобе, и, сильно дернув, вытащил туземца за предел ниши. Так крупная рыба, выведенная крючком рыболова к поверхности, мало

оказывает сопротивления, пассивно повинуясь неведомому усилию, но так же, как эта рыба, спохватившись, начинает прыгать и кувыркаться, негр, опомнившись, попытался вырваться.

Начало его крика и сильный, прямой удар в подбородок, нанесенный по всем правилам примерного бокса, соединилась. Негр успел лишь произнести: «а-вв...» — затем он почувствовал землетрясение, увидел род фейерверка и, как завядшая трава, склонился к ногам Гента, потеряв сознание. Немедля последний оттащил тело в сторону, связав его по рукам и ногам, а в рот вместо кляпа втиснул небольшой камень, обмотав платком; затем, переведя дух, снова подошел к двери.

Она была раскрыта. Лампа, оброненная негром, лежала на земле, чадя замирающим синим огнем; подняв ее, Гент поправил фитиль и осветил помещение, притворив дверь. Помещение это было боковым углублением стены, обитым циновками; жалкое ложе и глиняная посуда свидетельствовали, что здесь жил сторож. Темная витая лестница, очень узкая и крутая, вела вверх; ее ход чернел так тревожно и глухо, что Гент, как ни был смел, собрался с духом, прежде чем начать восхождение. Ступеньки были покаты и кривы. Гент потушил лампу, оставив ее внизу. Тотчас с исчезновением света в опасном и неизвестном месте, где он очутился, все чувства его соединились электрическим напряжением, готовым произвести мгновенное согласное действие. Он стал подниматься ощупью, не выпуская револьвера и по временам прикасаясь рукой к следующей ступеньке, чтобы рассчитать бесшумность движений. Он был так поглощен этим, что, сделав полтора оборота винта и выпрямившись, после одного такого исследования увидел свет справа совершенно неожиданно. Свет падал из невидимого отверстия стены; он был тускл и так слаб, что едва можно было различить две-три ступеньки ниже его.

Гент приостановился, желая знать, не движется ли этот свет вверх или вниз, однако он лежал ровно и, как убедился охотник, достигнув его границ, падал на лестницу сквозь шерстяную занавеску, прикрывавшую с правой стороны лестницы полукруглый вход вышиной в рост человека. То было скорее отсвечивание, чем свет, могущее быть замеченным лишь в тьме абсолютной, с какой Гент имел дело. Осторожно отвел он край

занавеси, с волнением заглянув внутрь. Но за занавесью не было никого; пространство, прикрытое ею, оказалось пустым — род сеней или прихожей, довольно удлиненной, наподобие маленького коридора. Ее стены были покрыты цветными щитами и арабесками, пол — ковром, а с потолка на трехсторонней цепи тонкого резного узора висела серебряная лампа с ярким и мягким пламенем. В левой стене коридора виднелась раскрытая дверь, полная света: там слышались голоса, ровные, как чтение книги.

Гент осторожно пробрался вдоль стены к освещенной внутренней двери и лег, плотно прижавшись к стене. Его голова приходилась вровень с дверной закраиной. Тихо — так тихо, как выпрямляется согнутый лист, он вытянул шею, мгновенно заглянул в дверь и тотчас убрал голову.

Три старых араба, сидевшие на круглых подушках, составляли, по-видимому, тайный совет. Их лица были породисты и смуглы; ни морщины, ни седина не отнимали у их внушительных, роскошно одетых фигур впечатления кипучей жизненной силы,— впечатления, производимого их лицами и движениями. Глаза блистали совсем не по-стариковски. За пестрыми поясами торчали рукояти пистолетов и кривых ножей, сообщая собранию характер воинственного покоя, готового, однако, при надобности исчезнуть в блеске клинков. Старики сидели, важно поджав ноги; возле каждого стояли его туфли из темного сафьяна с драгоценными украшениями. Небольшой круглый ковер с кофейным прибором, кальяны, дымившие голубым змеевидным дымом, и ковровые валики под локтями сидевших — все это было великолепно в этой картине, где позы и краски являлись продолжением седой древности. Лампа, почти такая же, какая висела в первой комнате, но больше и тяжелее, спускалась на половину высоты стен. Все здесь было в коврах; благодаря отсутствию окон яркие цвета дорогих тканей казались фантастическими пределами, за которыми нет ни света, ни воздуха.

Асмани стоял спиною к Генту; средний из арабов, самый старый, сказал:

— Теперь ты видишь, что беда велика. Караван за караваном проходят инглизы и франки мимо наших владений. Я вижу, как они рыскают, высматривая, где больше наживы.— Он потряс нервно смуглой рукой

и продолжал: — Коран не запрещает торговли с неверными. Однако европейцы не довольствуются торговлей, они вмешиваются в наши дела. Торговля неграми стеснена, и надо быть постоянно настороже там, где раньше мы действовали широко. Влияние Европы распространяется все дальше и дальше. Мы уж не можем спокойно жить в этих стенах. Вокруг наших колоний бродит постоянная опасность — неверные. Поэтому всякий белый, появляющийся здесь,— наш враг. Мы просим дань. Раньше мы ее требовали. Мы диктовали законы, теперь, если понадобится врагу, закон наш будет сражен большими пушками. Мы делали что хотели — теперь делаем то, что безопасно или не грозит доносом Занзибарскому консулу. Нам становится тесно жить, брат Асмани! Как ни мало место, которое занимаешь ты на земле, однако все по воле Аллаха, и слабая рука часто уничтожает сильного. Мне нечего много говорить тебе. Посей раздор в караване инглиза. Пользуйся всяким случаем восстановить подчиненных; выищешь случай — употреби яд и пулю. Пусть в муках и терзаниях протекает путь твоего неверного музунгу, пока — да услышит Аллах! — он не покончит своих дней, покинутый всеми, или... но ты понимаешь меня.

— Асман слушает ушами. Открыты уши его. Мудрый и благочестивый шейх Гассан бен-Адидэ, да будут продолжительны дни твои!

Араб, сидевший по правую руку шейха, сказал:

— Асмани, ты будешь продолжать дело, начатое так успешно. Наши не спали в Занзибаре, когда караван, снаряженный консулом, должен был отправиться за старым инглизом[1]; там было потрачено много золота, и караван простоял три месяца. Может быть, он стоит и теперь. Что касается самого старика, то его люди разбежались по дороге. Это сделали мы. Теперь ты нам поможешь.

Асмани смиренно поклонился. Третий араб подал ему Коран; носильщик произнес клятву быть верным своему обещанию и поцеловал священную книгу. Затем арабы вручили ему бисерный кошелек с золотом, который он спрятал с не меньшим благоговением, чем то, с каким целовал Коран, и спросил:

— Теперь я могу идти?

---

[1] Ливингстоном.

Услышав эти слова, Гент осторожно встал с ковра и отступил за занавеску, в полутьму лестницы, где стал тихо спускаться. С Асмани, по-видимому, спускался следом за охотником проводник носильщика, так как Гент слышал над собой шаги и голоса двух людей. Проводник во время разговора Асмани с арабами сидел за стенкой, слева от входа, и потому был невидим Генту. Оба они двигались значительно быстрее охотника, меж тем на узкой лестнице нельзя было ни спрятаться, ни пропустить заговорщиков. Тогда Гент счел дальнейшую осторожность более опасной, чем быстроту, и бросился бежать к выходу так стремительно, что гул его сапог был услышан. Возникла суматоха. Сверху неразборчиво и тревожно что-то кричали, затем хлопнул пистолетный выстрел; пуля, визгнув рикошетом по стене, обогнала Гента. Охотник, ощупью достигнув каморки сторожа, в полной тьме нашаривал дверь и, когда распахнул ее, не побежал прямо вперед, рискуя получить случайную пулю, а прошмыгнул под стеной вправо на расстояние нескольких ярдов, где и лег. Никакое зрение не обнаружило бы его здесь; мрак африканской ночи стирал все. Зато он имел удовольствие видеть длинные огни выстрелов, отсвет которых показывал пятна белых бурнусов и сверкающие глаза стрелков, паливших наудачу.

Наконец суматоха улеглась. Гент вернулся в симбо, где застал еще не потухшие костры и свет в хижине Стэнли. Путешественник лежал на полу, на большой карте, утыкивая ее булавками.

— Ну что же, конец таинственности, мистер Гент? — сказал Стэнли.— Я очень беспокоился. Хотя,— прибавил он,— беспокойство это показало мне, как я дорожу вами.

— Благодарю. То же самое испытываю я в отношении вас.

— Каким образом?

Гент рассказал приключение. Стэнли поднялся с карты, свернул ее и уселся за стол, пригласив охотника поместиться напротив. Селим принес чай и коньяк; когда он уходил, Стэнли, задумчиво посмотрев на его спину, сказал:

— Этот мальчик нам пригодится. Ведь нельзя выгнать Асмани, не объяснив другим причин изгнания, а оповещать караван о заговоре — это все равно что тушить костер, разбрасывая его в сухом лесу. Вы

утверждаете, что в лагере есть единомышленники Асмани. Они прежде всего должны быть обнаружены. Селим мне предан, и я прикажу ему следить за Асмани. Затем мы посмотрим, что делать с этой милой компанией.

— Однако будьте настороже.

— Черт возьми, неприятное положение! Что бы вы посоветовали?

— Во-первых, пусть Селим или Бомбэй варят вам пищу; во-вторых, переведите Асмани и тех, кого еще заподозрите, в другой караван. А на охоте придерживайтесь открытых мест.

— Пожалуй. Я не особенно верю в смелость арабов и негров, но беречься необходимо. Берегитесь и вы. Вы — тоже белый.

Они расстались. Гент скоро уснул. Стэнли снова развернул карту и стал рассматривать ее, вычисляя дни переходов.

VIII

НЕВОЛЬНИК ЦАУПЕРЕ

Утром американец призвал Селима и долго говорил с ним, после чего юноша вышел из помещения с озабоченным, важным лицом. С этих пор его можно было чаще, чем раньше, видеть у костров и в общих палатках. Асмани после памятной ночи, помня зашибленного и связанного сторожа башни, держался настороже — он перестал вообще говорить что-либо с носильщиками по поводу экспедиции. Не раз его взгляд подозрительно останавливался на Генте, державшемся беспечно и просто, но араб что-то подозревал. Во всяком случае, с его стороны не было пока никаких преступных начинаний. Однако Стэнли перевел его в четвертый караван вместе с еще одним подозрительным носильщиком, уже совершившим побег, но пойманным и наказанным. Переводу был дан тот предлог, что четвертый караван численно слабее других.

Дорога шла через горы и по склонам гор, через болота и реки. Сезон дождей был в разгаре. Глинистый грунт сменялся мягкой, превращенной в болото почвой степей. Кроме того, путь местами пересекали болота, куда даже видавшие виды носильщики входили,

вздыхая: «Ух, много воды!» — и их надо было действительно понукать. Эти переходы в гнилом тумане, по пояс в воде, измучили всех. В сравнении с ними переправы через разлившиеся потоки и речки казались пустяком, хотя африканские мосты, зачастую состоявшие лишь из древесного огромного ствола, по обломкам ветвей которого протягивались лианы, требовали акробатических приемов, проделываемых экспромтом. Но встречались реки такие широкие и бурные, что переправа длилась несколько часов, оканчиваясь повальным изнурением людей и животных. Каждый день издыхали три-четыре осла; больных животных оставляли на съедение диким зверям.

Носильщики шатались от изнурения; кровавый понос едва не убил Стэнли. Но вскоре караван приблизился к более здоровой и сухой местности. Дорога стала подниматься на Узагарские горы; перед подъемом караван простоял четыре дня на склоне горы, в большой деревне.

Отдых подкрепил больных и поставил их на ноги. Переход совершился благополучно. После гор перед путешественниками развернулась речная долина; перейдя реку вброд, караван пришел в маленькую деревню Киора. Здесь решили остановиться, и здесь же Гент увидел партию рабов. Она проходила, не останавливаясь, мимо деревни под сильным конвоем пеших и конных арабов. Стэнли и Гент приблизились к шествию настолько, что могли видеть выражения лиц и пересчитать число пленников. Их было шестьдесят два человека. На шее каждого лежала тяжелая деревянная колодка, соединенная цепью с колодкой заднего и переднего рабов; этот длинный гусек напоминал живое черное ожерелье.

Среди необозримых просторов Африки, где каждая пядь земли, казалось, призывала к свободной, богатой разнообразием жизни, зрелище людей в цепях произвело на Гента отвратительное впечатление. Он не был сентиментален, но сцены жизни часто выражают содержанием своим наши самые сложные чувства, и выражают их сильнее слов. Лишь на мгновение Гент представил свою шею в цепях, как тотчас же с отвращением тряхнул головой. Он вспомнил стихи:

Вот от Конго мчится ветер, бриг на запад направляя,
Он с богатою добычей из полуденного края;
Но добыча та сокрыта в трюме, то — шестьсот несчастных;

Глухо там звучат их цепи и стенанья мук ужасных,
И никто не слышит воплей той тоски неутомимой;
Их разносит, заглушает спутник — ветер их родимый.

Он припомнил также «Негра в проклятом болоте» и «Хижину дяди Тома». Живые впечатления и литературные совпали, выразившись словами.

— Я часто думал,— сказал он,— что в рабстве, может быть, самое скверное не страдание и неволя, а то омертвение души, в котором воспитываются и живут люди, пользующиеся рабством,— их жестокость и зверство. Все подневольное вызывает худшие инстинкты души.

— Не знаю,— сказал Стэнли рассеянно.— Однако посмотрите, какое примирение с участью и кротость выражают эти бедные лица! Я слышал, что они скоро привыкают к неволе.

Как бы в ответ на эти слова, высокий молодой негр выразительно посмотрел на Гента, скорчил жалостную гримасу и красноречиво потряс цепью. Гент улыбнулся. В его кармане лежал складной нож, в котором, кроме нескольких лезвий, были вилка, ложечка, крошечные сверла и такой же напильник. Так как руки негров не были связаны, то он быстрым движением бросил этот нож заинтересовавшему его пленнику. Тот, сверкнув белками глаз, поймал брошенное с ловкостью обезьяны.

— Что это? — спросил Стэнли.— Что вы бросили?

— Пилку. Вернее, я бросил ему свободу, если у него хватит уменья воспользоваться ею.

Стэнли пожал плечами.

— Смотрите, мистер Гент, не вышло бы неприятностей. Арабы мстительны.

— О! Их втрое меньше нас,— сказал Гент,— и к тому же они не бросят свое живое богатство ради удовольствия перестрелки.

На следующем привале, миновав дикую часть долины, заросшую алоэ и кактусами, ярко-красные цветы которых горели среди серых камней, караван остановился на берегу реки. Стало темнеть, когда в лагерь пришел негр с колодкой на шее, шатавшийся от изнурения; ноги его были в крови. Тотчас он исчез в толпе любопытных носильщиков, но, увидев подходившего к группе Гента, вырвался из кольца чернокожих, подошел к белому охотнику и упал на колени. Затем, поставив ногу Гента на свою голову, сказал:

— Музунгу, нога — твоя и голова — твоя. Я Цаупере, твой раб!

— Бирмингамский ножевщик не подумал бы о таком эффекте,— сказал Гент. Эти слова были, вероятно, приняты беглецом как заклинание, потому что, встав, он со страхом взглянул на Гента.

— Ты, Цаупере, будешь мой раб, пока хочешь этого,— продолжал охотник,— ступай же к костру, там дадут тебе есть.

И он объяснил носильщикам, что новоприбывший поступает в число людей каравана, затем приказал хорошенько накормить беглеца, а сам отправился к Стэнли и рассказал ему происшествие.

— Теперь,— заметил американец,— вы приобрели преданного слугу, вроде моего Селима. Позовем вашего Цаупере. Я не думаю сегодня писать, поэтому пусть он расскажет нам свои похождения.

Цаупере явился; колодки на его шее уже не было, ее разбили носильщики. Прежде всего он попросил табаку и стал курить, затем, сев на землю, сказал:

— Я из Удоэ, там.— Он показал рукой на юг.— Наша деревня большая, там бывает торг и приходит много народу. Два раза солнце перешло землю, а моя жена Мзута не возвращалась; она пошла просить соли. Я пошел искать Мзуту, и встретил ее, и побил, потому что она дала за соль клык. Потом мы сели, это было уже близко от нашей деревни, и ели соль. Она много съела. Я хотел отнять, как услышал стрельбу, и оба мы забыли о соли. «Подождем идти,— сказала Мзута.— Надо узнать». Я велел ей сидеть, а сам пополз к деревне и посмотрел. На улице лежало много убитых, все были наши. Вдруг снова начали стрелять. Я увидел арабов. Они бегали как ящерицы, махали ружьями и сгоняли народ. Скоро появились колодки и цепи. Наших стали заковывать, они плакали и кричали, а разбойники били по головам и плечам кнутами. Мое сердце перестало биться, музунгу, когда я увидел это. Я лежал и боялся, как вдруг к моей голове из куста выглянула еще голова: это был Ииоки, мой дядя. «Я убежал,— сказал он.— Ты тоже спрячься. Там пришел Сулейман бен-Назиб и триста человек с ним».— «Горе нам!» — сказал я и тут услышал позади шорох — то подползла Мзута. Мы стали горевать и советоваться, что нам делать, как вдруг будто мне в уши — пуф, пуф, два ружья сразу, и Мзута упала мертвая. Тут же на нас

наскочило пять арабов и связали Ииоки и меня. Я молчал, так как уши их закрыты для нас. Я подумал: «Что будет дальше?» Ииоки громко кричал, потом плюнул и попал в глаз арабу. Тогда другой араб отрубил голову Ииоки, толкнул ее ногой и сказал: «Так будет всем непокорным». Мне было жаль Мзуту, но я тогда не мог плакать.

Меня сковали с другими, потом арабы зажгли деревню. Мы пошли через горы и с гор оглянулись: много позади было дыма, и он звал нас назад. Нам не сказали, куда мы идем, и нам было уже все равно. Я раньше не был рабом; но один старик был рабом в Габоне, на западе, и дорогой рассказал, как жил там. Он был у фанов. Фаны — большое племя колдунов. Работа тяжелая, но можно освободиться. «Как?» — спросил я. «Если тебе надоела цепь и ты устал — скажи смотрителю. Он даст бутылку рома. Ты выпьешь ром и будешь пьяный, веселый. Тогда фан ударит тебя по голове палицей и разобьет череп. Я тоже сказал, что не буду работать, но мне не разбили голову, а позвали к старикам, потому что я хорошо находил воду и где говорил: «Ройте!» — там был колодец. Старшины не убили меня, а приказали работать. Я работал три дня, потом убежал. Два года я шел домой, не знал, так ли я иду. Однажды встретил я лесного человека (гориллу), а ты знаешь, что он может говорить, но не хочет, чтобы его не сделали рабом. Но мне он сказал: «Ты ходишь кругом. Иди прямо на скалы, там будет ручей, потом маленькая, потом большая река. Когда будет большая река, иди на восток». Я пошел так и был дома.

Он не говорил больше, а мне стало еще хуже, и я стал думать, как убежать. Много из нас умерло дорогой. Половина умерла. Я не захворал. Я шел еще долго, когда увидел веселого белого музунгу. Музунгу бросил мне ножик белых, где был гвоздь, которым можно пилить. Ночью я лег на цепь и пилил ее, пока из пальцев не пошла кровь и цепь сломалась. Гиены перестали выть, когда я допилил вторую цепь; скоро утро. Я выполз и побежал. Никто не увидел меня.

Рассказчик картинно жестикулировал и смеялся, говоря это; он уже забыл свои страдания.

Гент сказал:

— Выпей, Цаупере, стакан водки.

Негр жадно проглотил угощение. Глаза его заблистали, широкое лицо маслено улыбалось. Затем он

взял руку Гента, положил себе на голову и, пробормотав: «Цаупере твой раб, музунгу!» — скрылся в палатку носильщиков.

Скоро Гент имел случай убедиться в заботливой преданности этого человека. Кстати сказать, он был очень силен, так что таскал поклажу шутя. Однажды после долгого перехода в болотистой местности сапоги путешественников так потрескались и набухли, что все — Шау, Фаркугар, Стэнли и Гент — шли босиком, бросив обувь на повозку. Вечером, как всегда, носильщики разбирали палатки. Гент вместе со Стэнли хотел войти в свой шатер. Гент шел впереди. Вдруг Цаупере, неотлучно сопровождавший его особу, припал к земле и, отстранив Гента, вытащил из земли несколько заостренных щепочек, верхние концы которых были покрыты чем-то густым и темным, вроде дегтя.

— Смотри, музунгу, и ты, толстый музунгу (так называли негры Стэнли), смотрите! Здесь был ваш враг! Вот — смерть! — Он протягивал к ним таинственные щепочки, закатывая глаза и корчась, как в смертных судорогах.

— Вот так бывает,— продолжал Цаупере.— Человек ступит, ранит ногу и умрет прежде, чем вспомнит, как звали его отца!

Гент понюхал отравленный конец предательской щепки. Неизвестное вещество издавало удушливый терпкий запах, но сами щепочки не были вырезаны ножом, и это ввело путешественников в сомнение.

— Может быть, щепки случайно попали в землю, Цаупере,— сказал Стэнли.

— Случайно?.. Смотри, музунгу! — Взволнованный Цаупере сбегал к повозке, где лежали связанные куры, и, взяв одну, уколол затрепыхавшуюся птицу в голень.— Смотри: больше не живет.

Он опустил жертву опыта к ногам Гента. Курица слабо закричала, дернула головой и вытянулась. Она была мертва.

Путешественники, несмотря на жару, почувствовали неприятный холод.

Гент ласково потрепал Цаупере по плечу.

— Спасибо, друг,— сказал он,— я не забуду этого.

— Цаупере твой раб,— просто ответил негр,— он будет служить музунгу.

— Надо скрыть это от людей,— сказал Стэнли.— Ты, Цаупере, никому не говори о щепках. Я думаю,—

обратился он к Генту,— что излишняя болтовня нам вредна. Пагасисы суеверны и могут принять покушение как указание на «неугодность» нашего путешествия кому-то... там. Ихнему дьяволу.

— Да,— согласился Гент.

После этого случая несколько дней прошло тихо в путешествии по гористой местности, пока караван не остановился на берегу озера Угомбо. Озерные берега сплошь заросли камышами и тростником, с широкими тропами, по которым проходили на водопой гиппопотамы, буйволы, жирафы, зебры и антилопы. В спокойной воде плавали черные лебеди, утки; на кочках стояли великаны — огромные, толстоклювые и зобатые создания, так странно напоминающие белых факельщиков, с их длинными фалдами; по отмелям сновали розовые ибисы, резко кричали цапли; пронзительные крики туканов — птиц с гребенчатыми каменными наростами на крепких клювах — временами врывались в хор птичьего гомона; по кустарнику ворковали дикие голуби, певуче свистали кулики, описывая над водой ровные и быстрые линии. Здесь караван простоял два дня, и на этой стоянке выяснились взаимные отношения между Фаркугаром, Шау — с одной, и Стэнли — с другой стороны.

IX

УРОК ВЕЖЛИВОСТИ

Фаркугар был сварлив, зол, капризен и избалован. Над ним все смеялись — так он был беспомощен и требователен. Ему услуживали несколько человек, и он ругал их отборными выражениями, достойными отбросов острога. Кроме того, Фаркугар жестоко бил своего повара; ездил, не слезая с седла, благодаря чему прикончил трех ослов, не вынесших его беспокойной тяжести. Будучи начальником третьего каравана, он истратил до соединения с караваном Стэнли столько бус, проволоки и материи, что всего этого при нормальном расходе хватило бы на три месяца. Он вечно баловал себя, покупая дичь, пальмовое пиво, масло, гусей и кур, яйца и фрукты, причем платил с бестолковой щедростью. Конвойные были так напуганы припадками его бешенства, что боялись к нему подходить.

Вдобавок ко всему этому его поразила странная болезнь; нечто вроде водянки, соединенной с перемежающейся лихорадкой. Он стал совершенно невыносимым, хотя с Шау в последнее время ладил, чувствуя в экс-моряке родную душу, обиженную деспотизмом американца. По поводу этого деспотизма надо сказать, что только благодаря железной настойчивости и необходимой суровости Стэнли смог достигнуть цели. Слабость погубила бы его вернее пули, выпущенной в упор.

— Фаркугар разорит нас,— сказал утром Стэнли Генту.— Он уморит всех ослов и растратит еще несколько тюков. Я хочу оставить его в попутной деревне до выздоровления, снабдив на несколько месяцев товаром, чтобы не умер с голода. На обратном пути я возьму его с собой. Кстати, приходите позавтракать. Я позвал их обоих: Шау тоже нуждается в хорошей проповеди.

Солнце стояло еще низко над горизонтом, заглядывая в палатку, когда Селим принес и расставил завтрак: куски жареной козлятины, горячие оладьи, тушеную печенку и крепкий вареный с сахаром кофе. Стэнли развивал Генту свой взгляд на происхождение озера Угомбо. Дело в том, что вокруг озера местность на много миль обнаруживала слой раковичной трухи и фосфоритов. Стэнли предполагал поэтому, что Угомбо — остаток огромного внутреннего озера.

Когда пришли Шау и Фаркугар, Гента поразили их угрюмые лица.

— Добрый день,— сухо сказал Стэнли.— Прошу вас сесть.

Ничего не ответив, они молча сели, переглянулись и опустили глаза. Фаркугар грузно сопел, подбоченившись, нюхал кушанья; Шау, поджав губы, вертел большими пальцами, сцепив руки. Смертельная обида, растравленная вздутым самолюбием, чувствовалась в их натянутости.

Стэнли побледнел, Гент усмехнулся.

— Берите, Шау,— сдержанно сказал американец.— Передайте Фаркугару оладьи.

— Собачье кушанье,— неожиданно сказал Шау.— Да, собачье!

— Что такое?

— То, что ваше обращение с нами бессовестно. Вы заставляете меня ходить пешком. Я думал, что в моем

распоряжении будут ослы. У нас должна быть также собственная прислуга. Каждый день по такой жаре идти пешком... слуга покорный. Черт побрал эту экспедицию! Провались она к дьяволу! Так-то, мистер Стэнли; я не из тех, что молчат, и я сказал, что хотел.

— Все это было у вас в начале пути. Теперь ослы Фаркугара подохли, из моих пало семь. Я бросил поэтому много вещей, чтобы нести более необходимое. Если вы передушите остальных ослов, где взять новых? Где нанять вместо них человек тридцать носильщиков? Черт побери, вы ругаетесь за моим столом! Вспомните, где вы и кто вы! Вы мой слуга, не товарищ!

Шау злобно скосил рот, встал с угрожающим видом. Стэнли оттолкнул тарелку и подошел к нему.

— Слуга?! — сказал Шау.— Такому-то американскому идио...

Меткий удар в переносье оборвал звучное слово. Шау упал.

— Хочешь еще урок? — спросил, тяжело дыша, Стэнли.

Шау встал. Он трясся и говорил с трудом:

— Я вернусь назад. Довольно с меня! Я не хочу больше вас знать. Расчет!

— С удовольствием! Бомбэй!

Появился Бомбэй. Стэнли резко махнул рукой в сторону побитого.

— Бомбэй, этого человека более нет в нашем караване. Он уходит. Снимите его палатку; ружье и пистолет принесите мне. Затем отведите его, захватив его багаж, на двести ярдов от лагеря и забудьте о нем.

В продолжение всей этой сцены Фаркугар не тронулся с места и не сказал ни слова. Когда Шау удалился, он рискнул заметить:

— Немного круто вы обошлись с ним, да еще при неграх.

— Ничего,— сказал Стэнли.— Неграм будет приятно знать, что цвет кожи не защитит лентяя и нахала. Не забывайте, что мы предоставлены в этой ужасной стране только самим себе. Кстати о вас, Фаркугар! Вы больны. Скоро вы совсем не будете в состоянии передвигаться. Я оставлю вас в спокойном месте, в руках деревенского старшины; я заплачу ему за уход и пищу. Только так вы поправитесь, иного выхода нет.

Фаркугар согласился с этим. Завтрак был закончен, и Гент собрался уйти, как вошел Бомбэй.

— Бана-Мдого (маленький господин)[1] просит вас выйти к нему. Он там.

— Где?

— За палатками.

— Приведите его сюда!

— Я ухожу,— сказал Гент, угадывая, что предстоит сцена, неприятная Шау.— Идемте, Фаркугар!

— Вот ужасная страна! Зачем я забрался сюда? Умрешь здесь, как собака! Дорого бы я дал очутиться в Европе!

— Так же, как многие дорого дали бы, чтобы быть на вашем месте.

— Вы шутите!

— Нет, конечно. Так устроен человек, со своей жаждой разнообразия.

— Плохо, плохо устроен. Я пойду спать.— Они расстались, а вечером Гент увидел Шау, чистившего ружье, и спросил Стэнли, как было дело.

— Он просил прощения,— сказал Стэнли,— чем поставил меня в безвыходное положение: я должен был простить его в этих условиях. Но честное слово, что не рад этому.

Стемнело, Шау сидел в палатке, мрачно переваривая события дня. За палаткой раздалось пение негра. С удивлением и негодованием бывший моряк слушал песню, выполняемую заунывным голосом, хотя певец вкладывал временами ужасные юмористические ноты, язвившие сердце Шау такой болью, что он заскрипел зубами.

Послушаем вместе с ним:

А-а! Вот Бана-Мдого
Важен, очень важен.
Идет кушать к музунгу.
А-а! Важен, ох, важен.
Не хочет кушать!
А-а! Вот Бана-Мдого
Сердит, ух, сердит;
Ругает музунгу.
А-а! Музунгу тоже сердит,
Страшен, а-э! Страшен.
Побил Бана-Мдого.

---

[1] Прозвище Шау у негров.

А-а! Бана-Мдого укусил палец.
О, укусил больно
И смирил сердце.
А-а! Бана-Мдого ходит,
Ходит, просит музунгу,
Чтобы не бил Бана-Мдого.
А-а! Музунгу не бьет Бана-Мдого:
Он сидит и смеется —
Ха-ха-ха — и пьет ром!

Раздался взрыв хохота. Шау бешено выбежал из палатки, потрясая револьвером. Но стало вдруг тихо, и тьма не давала рассмотреть что-либо, лишь в отдалении слышались голоса да поспешный топот босых ног.

Шау вернулся. Стыд и гнев обуревали его. Планы мести начинали роиться в голове путешественника, один нелепее другого; желая успокоиться, он достал бутылку и чуть не захлебнулся, залпом глотая виски. Услышав легкое дыханье сзади, он обернулся — перед ним стоял Асмани.

— Что тебе надо? — грубо спросил Шау.

— Асмани не приходит смотреть палатку,— сказал мулат.— Он хочет говорить.

— Говори!

— Нам всем очень плохо, как и тебе. Музунгу побил тебя, завтра побьет меня. Застрели его!

— Ты с ума сошел, черная образина! — закричал Шау, когда опомнился от неожиданного предложения.— Я расскажу Стэнли о твоих словах!

— Скажи. Пусть тот, чья рука била тебя, как раба, бьет Асмани. Но Асмани не спустит обиды.

— Ступай вон! — смущенно проговорил Шау.— Уходи!

— Асмани уйдет. О, Бана-Мдого, Бана-Мдого! И я нес твои вещи! Прощай, сердце антилопы!

Мулат исчез прежде, чем Шау успел броситься на него. Посещение мулата всколыхнуло всю душевную горечь Шау. Он выпил еще; два раза укладывался спать, но вскакивал как ужаленный, вспоминая подробности унизительной сцены. Шау чувствовал себя под пятой Стэнли. Злобное возмущение все более охватывало моряка, пока не достигло той степени страстности, в какой обычные законы рассудка уступают место другим законам, действующим стре-

мительно. Навязчивая идея мести преследует неотступно.

Шау был именно в таком состоянии бешенства, когда Стэнли, потушив в своей палатке огонь, повернулся на бок, готовясь уснуть. Вдруг он вспомнил название птицы, виденной днем, и, чтобы опять не позабыть, снова зажег свечку, взял со стола дневник и написал: «оголулу». Последнее «у» мгновенно исчезло: пуля, пробив тетрадь, уничтожила букву, вышибла карандаш из руки, и дневник упал к ногам путешественника. Выстрел раскатился зловещим эхом. Вздрогнувшее полотно палатки, пропустив пулю, колебало тень Стэнли, сидевшего полминуты в оцепенении; затем он вышел к неграм, гревшимся у костра. Они стояли, испуганно раскрыв рты.

— Кто стрелял? — сурово спросил Стэнли, сравнивая выражения лиц.

— Бана-Мдого,— сказал пагасис, указывая пальцем на близко стоящую палатку Шау.— Там... палатка... Стрелял...

Стэнли поспешно вошел к Шау. Моряк громко храпел. Стэнли зажег свечу и начал толкать спящего. Шау пожевал губами, переложил руку, но не проснулся. Рядом с ним лежало ружье; взяв его, путешественник засунул палец в дуло; сталь была теплая, и палец покрылся свежей копотью. Тогда Стэнли решительно разбудил Шау.

— А? Что? Кто?! Ах, мистер Стэнли! Это вы зажгли свечку?

Он неестественно громко зевнул и раскрыл глаза, в которых не было сна.

— Шау, вы стреляли?

— Я? Стрелял? Помилуй бог! Ах да! — вдруг вскричал он.— Сон, сон! Как страшно: приснилось мне, что в палатку лезет вор. Вот, я во сне... д-да, выстрелил и... и опять уснул! Верно.

Выбалтывая это, он был мрачен и жалок. Стэнли пожал плечами.

— В другой раз, Шау,— медленно сказал он, едва удерживая гневное возмущение,— в другой раз, если вам приснится вор, не стреляйте по направлению моей палатки. Мое тело может помешать пуле достигнуть своего назначения.

Ответом ему были судорожные слова, лишенные связи и смысла. Стэнли быстро ушел и долго не мог

заснуть. Этот нелепый план убийства отличался ребячеством и глубокой злобой. На охоте, во время переходов могло представиться много удобных случаев. Но Шау, по-видимому, не мог ждать, не мог настолько вооружиться терпением, чтобы хорошенько обдумать замысел. Он действовал в нестерпимой жажде убийства, вызванной мстительностью. Однако прямых доказательств преступления не было, и Стэнли решил оставить случай без дальнейших последствий. Он не сказал ничего даже Генту, опасаясь, что этот решительный человек примет какие-нибудь крутые меры, богатые неожиданностями.

X

РАЗБОЙНИК МИРАМБО

Через день караван тронулся по долине, проходящей среди траповых[1] холмов, с которых, оторванные некогда силой землетрясений, сыпались огромные валуны. Баобабы, тамаринды и терновник наполняли долину.

Затем дорога повернула к высоким горам северо-запада, по гладкой равнине. Это были джунгли с негостеприимным терновником; миновав их, караван стал приближаться к богатой области Угого, о которой от встречных арабских караванов были выслушаны весьма похвальные отзывы.

В одной из горных деревень Стэнли оставил Фаркугара, назначив ему переводчиком пагасиса Джако. Фаркугар получил также запас товаров на шесть месяцев: бус, сукон, винтовку, несколько горшков и три фунта чаю.

На переходе через безводную пустыню в тридцать миль шириной Гент заболел лихорадкой. Действительность померкла, и он долго не сознавал ее. Иногда мелькало перед ним страдающее лицо Цаупере, что-то говорившего над носилками, в которых несли больного, но болезнь быстро гасила смысл слов, и Гент возвращался к видениям, толпившимся у его изголовья со всей яркостью материального мира. За носилками шла толпа людей с суровыми лицами; их голоса

[1] Холмы, расположенные восходящими уступами.

приближались и удалялись, звуча в самой глубине сердца. То были погибшие путешественники.

— Я убит,— сказал один, показывая шею, распухшую и черную; яд стрелы остановил его кровь и разорвал сердце.

— Меня бросили,— говорил другой,— я умер от лихорадки.— И он, трясясь от озноба, шел рядом с носилками.

— Меня укусила змея,— рассказывал третий,— я умер в глуши, близко от цели и далеко от семьи.

Их жалобы были мучительны, рассказы ужасны. Один за другим множество погибших говорили о вынесенных ими испытаниях, трудах, лишениях, болезни и голоде. Они показывали потрескавшиеся загрубелые руки, месяцами не знавшие мыла, с их ободранных ног струилась кровь. Они шли упрямой неровной походкой людей, привыкших ходить много и долго; их воспаленные, заросшие волосами лица напоминали о бессонных ночах в дни обороны или нападения, о тоскливых муках одиночества, смягчаемого обрывком затасканного письма; о жгучей подвижности духа, вечно стремящегося к далекому неизвестному. Гент, слушая их, внимательно кивал, говоря:

— Я имею это в виду. Все будет сделано. Мой план готов.

Временами он устремлял взор в облака и тотчас начинал бродить там, скитаясь в цветных и белых равнинах, залитых живым блеском. Там возвышались здания изменчивых форм, расплывчатые творения тумана и света; возникали огневые снопы, бившие фонтанами брызг, и вспыхивали бесшумные фейерверки, потрясая следящей игрой дивных цветов белую страну, плывущую над землей. И все время, пока Гент был там, гигантская, в полнеба величиной, птица летела к западу; ее крылья были видны за облачными волнами, сверкая, как снег и мрамор.

Гент очнулся на границе области Угого и, поборов слабость, сел на осла. Он прохворал три дня. Первым человеком, приветствовавшим его по возвращении сознания, был Цаупере. Он смеялся, смеялся широко, обнажив все зубы, и выразительно ворочал глазами, но в комическом ликовании чувствовались слезы большой радости.

— Музунгу смотрит и видит,— говорил негр,— он видит Цаупере. Я, Цаупере, здесь. Когда злой дух

мучил музунгу, Цаупере зажигал мцуну[1], и дым не нравился духу. Дух ушел. О! О! Музунгу может ходить!

По наивной его вере, это, конечно, так и было, хотя Стэнли, аккуратно поивший Гента хинным раствором, мог думать иначе. После этого случая Гент особенно ясно почувствовал, как слаба и хрупка жизнь забредшего в Центральную Африку, почему счел нужным исписать лист бумаги и передать его Стэнли. На конверте стояло: «Прошу вскрыть, если я умру по дороге».

Это вручение, принятое Стэнли с молчаливым согласием, снова заставило американца думать о том, что истинные цели его спутника ему неизвестны; может быть, он откроет их Ливингстону. Стэнли был самолюбив и поэтому не стал более размышлять о странном пакете.

Угого населяли вагогцы — народ воинственный, дикий, любопытный, жадный и хитрый. Эта область высосала много дани от Стэнли. В каждой деревне сидел король, обыкновенно горький пьяница и мошенник, стремившийся поражать белых пышностью и величием. Увы, пышность не шла дальше смятой европейской шляпы на голове и какого-нибудь затасканного мундира с погонами, сквозь полы которого в естественном величии сверкало черное королевское тело. Короли эти просили табаку, водки и бесстыдно предлагали своих жен, но, получая отказ, вынуждены были обменять на продукты европейцев нечто более практичное: коз, овец, кур, масло, рис, яйца и фрукты. Это была плодородная, живописная страна.

Вагогцы на каждом привале густой толпой набивались в лагерь, рассматривая белых людей с назойливым любопытством, причем доверяли более своему осязанию, чем зрению, щупая все, вызывающее их удивление. Временами их приходилось разгонять. Тогда они щетинились, принимали угрожающие позы и хватались за луки, но легкое похлопывание рукой по ложу снайдеровского штуцера быстро возвращало им душевное равновесие.

Раз к Генту подошли три вагогца и спросили, не видел ли он женщину с ребенком? Гент уже открыл рот, чтобы сказать: «нет», как Цаупере, бывший тут, сильно дернул его за руку.

[1] Алойное растение.

— Это что? — спросил охотник.

— Молчи, музунгу! Ты будешь виноват, если заговоришь. Скажешь «видел» — тебя обвинят, что убил женщину и убил ребенка. Скажешь «нет», «не видел» — тоже будешь виноват, и тогда много дани заплатишь.

Но и без вагогских ловушек эту дань пришлось платить восемь раз; тюки значительно полегчали.

В этих местах караван Стэнли повстречался с арабским караваном торговцев, возвращавшихся с белого озера Танганайки. Шейх, предводитель каравана, сообщил Стэнли, что видел Ливингстона в Уиджиджи, недалеко от впадения реки Магалазари в озеро Танганайка. Стэнли засыпал шейха вопросами. Шейх сказал, что седой человек недавно прибыл в Уиджиджи из далекого путешествия; он теперь болен.

Благодаря этому указанию Стэнли испытал необыкновенный подъем духа и знал теперь, что движется к цели в нужном направлении.

Остальная часть дороги до Таборы, главного города арабских колоний области Унианиэмбо, прошла в изнурительной жаре, доходившей до 55° Цельсия. Все были измучены до крайности. В Таборе арабская аристократия встретила путешественников почетом, комфортом и щедрыми восточными угощениями; там же с караваном Стэнли соединились остальные его караваны, разошедшиеся в пути.

Обстоятельства сложились так, что прямая дорога на Уиджиджи, где видели Ливингстона, оказалась закрытой. Стэнли говорил об этом с Гентом, что вызвало непредвиденные последствия.

Оба путешественника сидели в богатом арабском доме, предоставленном в их пользование местным шейхом. Стэнли сказал:

— Нам предстоят военные действия.

— Против кого?

— Против Мирамбо. Слушайте, Гент! Я только что вернулся с военного совещания, на котором присутствовали все арабские начальники. Было довольно шумно. Война решена. Мирамбо — своеобразный африканский Наполеон. Он не чистый араб, мать его была негритянкой. Мирамбо, по профессии носильщик, разбойничал во главе огромной шайки в Валенкурских лесах. Когда умер начальник области Уиове, Мирамбо захватил Уиове и объявил себя ее повели-

телем. Свое новое положение, согласно обычаю всех узурпаторов, он подкрепил несколькими успешными походами, Затем, воюя с соседними племенами, он разорил окрестное население и стал придираться к арабам, не желавшим вступать с ним в союз против его врагов.

— Да это роман! — сказал Гент.— Что же арабы?

— Арабы возмущены. В первый раз Мирамбо ограбил арабский караван, шедший из Уиджиджи, то есть вынудил его уплатить пять бочонков пороху, пять ружей и пять тюков материи. Но этого мало. Мирамбо заставил караван вернуться прежней дорогой, объявив, что отныне в Уиджиджи караваны пройдут только через его труп.

— Были дипломатические попытки?

— О да! Восточные народы — отцы дипломатии. Мирамбо стыдили, увещевали, предлагали ему подарки, но он не склонился к миру. Он объявил войну — войну до тех пор, пока арабы не сделаются его союзниками. В противном случае, он поклялся, будет воевать, пока хоть один араб останется в Унианиэмбо. Его ближайшая цель — свергнуть старика Мказаву, султана области Ваниамвеха, и сесть на его престол.

— Теперь я понимаю, в чем дело,— сказал Гент,— слоновая кость Уиджиджи и соседних ей Урунды, Карагвахи, Уганды уйдет из рук арабов, если Мирамбо не откроет старых прямых путей.

— Да, и арабы надеются окончить войну в две недели.

— Так,— сказал, помолчав, Гент.— Что же делать?

— Я решил присоединиться к арабам. Я надеюсь, что после поражения Мирамбо и его союзника, бандита Руго-Руго, можно будет пройти в Уиджиджи прямой дорогой. Я уверен в победе арабов. Теперь как вы смотрите на все это?

— Откровенно говоря, я еще не знаю, как поступить,— сказал Гент.

— А! Вот как! — Стэнли был неприятно удивлен. Он думал, что Гент немедленно согласится участвовать в экспедиции.— Но мне кажется, что вы один не сможете пробраться в Уиджиджи.

— Почему же нет? — рассеянно возразил Гент и, видя, как поразил американца его ответ, прибавил: — Я хочу сказать, что еще не обдумал хорошо положения. Я скажу вам о своем решении вечером.

Стэнли выразительно пожал плечами. Не имея оснований подозревать Гента в трусости, он отказывался объяснить его колебания чем-либо иным, как только новыми таинственными причинами. Присутствие в лагере человека, ценного как спутника во всех отношениях, но действующего из побуждений мало выясненных, несколько раздражало Стэнли. Он подавил неудовольствие, решив вечером объясниться с Гентом, пока же предстояло съесть солидный обед, начало которого возвестил араб, появившись в дверях с поклоном:

— Милость Аллаха на вас, белые шейхи! Господин наш, Камисс бен-Абдуллах посылает вам ничтожное угощение и просит оказать ему честь кушать как можно больше.

Вслед за этим два запыхавшихся поваренка втащили тяжелое серебряное блюдо, окутанное облаками пара. На нем высилась куча риса, облитого бараньим жиром, перемешанного с миндалем, коринкой, виноградом и обложенного разрезанными лимонами. Потом принесли жареных цыплят, пироги с бараниной, сладкий душистый хлеб, апельсины, сливы, персики, мороженое, засахаренные мускатные орехи, изюм и финики.

Европейцы пообедали почти молча. После обеда Стэнли ушел осматривать Табору, а Гент развернул карту и погрузился в соображения.

Тогда ему стало ясно, что, даже рискуя поссориться со Стэнли, он все-таки не примет участия в арабской войне. Ему предстоял почти прямой путь, пренебрегать которым, рассчитывая на сомнительные последствия военной авантюры, не было никакого смысла. Правда, он рисковал, но не задерживался на неопределенное время, причем рисковал тоже, и пожалуй более, участвуя в военных планах. Эти планы могли создать для него ряд положений, не отвечающих ни его характеру, ни его методам действий. Кроме того, при известии о войне в Генте поднялось старое, властное чувство сопротивления обязательному: его двигателем было всегда увлечение, интерес личный; и с этой психологической меркой он менее всего годился стать вождем дикарей против дикарей ради их промышленных целей. Правда, цель войны для Стэнли была — открыть тот же прямой путь, к которому стремился Гент, но здесь было известное уклонение

от цельности и чистоты первоначального замысла: найти Ливингстона, уклонение, противное душе Гента. Он окончательно решил идти один, с Цаупере и «рейлем».

Он так много курил, продумывая все это, что Стэнли, постучав и войдя в его комнату, сказал:

— Надеюсь, волны табачного дыма смоют наши противоречия, если они действительно существуют.

— Нет,— возразил Гент,— но сядем у этого окна. Какие крупные звезды! Кажется, что они греют издалека.

Окно было раскрыто; москиты, привлеченные светом лампы, монотонно гудели. Тропическая ночь, полная сказочной тишины и кроткой власти аромата цветущих деревьев, поднимала чувства, спящие днем; величие, нега, мрак действовали, как музыка.

— Мистер Стэнли,— заговорил Гент,— я пойду один с Цаупере через Мфуту к реке Магалазари. На северо-запад отсюда, по ближайшему направлению к этой реке, мне понадобится сделать всего лишь верст шестьдесят. Там я найду пирогу и спущусь вниз по течению — это с небольшим триста верст — прямо в Уиджиджи. Так я обдумал все.

— Прекрасно,— медленно сказал Стэнли,— значит, наши дороги разошлись. Я думал, что мы будем вместе до конца путешествия.

— Ваш сухой тон несправедлив, Стэнли! Я далеко не чужд товарищеской связи, но не все то, что общепринято в хорошем смысле, годится для таких людей, как я и вы. По совести говоря, мое участие в войне не будет, конечно иметь решающего значения. У арабов три тысячи воинов, и у вас в пяти караванах около ста. Между тем при благоприятных обстоятельствах я смогу пробраться в Уиджиджи самое большее через две недели. Согласитесь, что не трусость заставляет меня идти вперед по стране, занятой неприятелем.

— Нет. Но что же? Скажите.

— Что?..

Гент встал в сильном волнении. Он видел, что вынужден объяснить Стэнли свои истинные намерения, но ему было неловко поразить отважного человека замыслом, размах которого оставлял по значительности своей далеко позади самые смелые мечты этого рода. Он не думал, что вызовет ненависть,

но чувствовал, как больно отзовется все это во властной душе Стэнли. Однако иначе нельзя было поступить, не вызвав взаимного, может быть враждебного, охлаждения. Гент не хотел высказываться. Подумав еще, он решил выставить аргумент достаточно сильный, практического характера:

— Вам, вероятно, известно, что здешняя война не имеет, в сущности, ни тыла, ни фронта. Противники кружатся, забегают сзади и спереди. Допустим, что мы не разбили, а пробили войсковую линию этого Мирамбо. Он снова соберется в лесах и будет преследовать нас по пятам на пути к Уиджиджи. Еще вопрос, как будут вести себя арабы.

— Этого, откровенно говоря, и я не знаю. Мне, во всяком случае, поздно отступать. Я дал слово и сдержу его, не уронив чести американского флага.

Напряженно думая, Гент нашел выход:

— Я пойду с вами пока до Мфуто и вообще до выяснения положения. Под этим горячим солнцем страсти закипают быстро; нет сомнения, что после одного-двух сражений выяснится судьба войны. Если Мирамбо побьет арабов, я двинусь дальше с Цаупере к реке Магалазари и спущусь в Уиджиджи. Если арабы побьют Мирамбо — отправлюсь с вами.

— Хорошо, и я очень рад.— Стэнли пожал руку Генту.— Было бы неприятно, если бы люди увидели, что перед походом один белый уходит. Однако...

— Что?..

— Если вы отправитесь по Магалазари, вы первый найдете Ливингстона.

— Я хотел бы сотым найти его, если так было бы полезнее Ливингстону.

— Вы, кажется, лишены честолюбия?

— Я не понимаю этого слова.

— Ваше счастье.

Они поговорили еще несколько минут о делах шайки Мирамбо, и Стэнли ушел. Гент прошелся по комнате.

Он думал: «Неприятно засорять сознание явлениями, чуждыми душе. Что мне до Мирамбо? Что ему до меня? Тем не менее придется пускать пули в его соратников, и на всю жизнь останется воспоминание о варварской, опереточной войне, в которой ты принимал участие без страсти, без увлечения, с огромным насилием над собой, зевая и морщась».

XI

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО

Гент немного ошибся в счете войска: арабы выставили две тысячи пятьсот человек, а Стэнли собрал пятьдесят. Надо сказать, что ко времени прибытия в Табору убыль людей была вообще чувствительна. Часть умерла от лихорадки и оспы, несколько человек бежало дорогой; нужно было оставить охрану Ливингстонова каравана, снаряженного консулом Кирком и наконец прибывшего.

Негры выступали, стреляя в воздух, прыгая и беснуясь. Присутствие белых людей казалось им достаточной гарантией успешного исхода войны. Впрочем, может быть, воодушевление их в еще большей степени поддерживалось счастливым отсутствием воображения, неспособностью детей природы заглядывать вперед. Как бы то ни было, отряд выступил эффектно. Стэнли дал солдатам по куску красной материи, употребленной ими на плащи, развевавшиеся весьма внушительно, и если бы не обычная ноша пагасисов — тюки, то они, с ружьями и секирами, вполне могли быть названы стройным отрядом. Самолюбование и торжественность скоро перешли в обычные негритянские ужимки и прыжки.

Пагасис Улименго развернул американское знамя и запел; ему отвечал хор:

Улименго: Хой... Хой! Куда мы идем?

Хор: Идем воевать, да!

Улименго: Против кого воевать?

Хор: Против Мирамбо!

Улименго: Кто ваш начальник?

Хор: Белый человек.

Улименго: Ойх!.. Ойх!..

Хор: Хна!.. Хна!..

Улименго: Хна!.. Хна!..

Хор: Ойх!.. Ойх!..

Гент рассмеялся. Его смешил также Бомбэй, покинувший в Таборе свою чернокожую Дульцинею и шедший с весьма кислым видом. Временами охотник посматривал на Асмани, шедшего слева, но бесстрастное лицо мулата решительно ничего не выражало. Гент был все же настороже.

Арабы ждали отряда Стэнли, не решаясь двинуться без него из Мфуто. Мфуто был небольшой укрепленный

поселок, верстах в тридцати от Таборы. Узнав это, Стэнли приказал двигаться быстрее; на третий день увидели Мфуто и там соединились с арабским войском.

Отставшие солдаты принесли Шау, подобранного ими на дороге; он лег в канаву, клятвенно заверяя, что болен и страшно ослаб. Однако Стэнли не нашел у него лихорадки; Шау выпил вина и сладко заснул. Следующий день все отдыхали. Дворы дымились множеством костров, на которых жарилось десять туш у Стэнли и, может быть, сто у арабов. Никто не мешал неграм пить помбе[1]; напившись, они занялись танцами и военными упражнениями, едва не перешедшими в драку.

Стэнли на всякий случай спрятал все имущество каравана в Мфуто.

Утро первого боевого дня представляло такую картину: среди костров, тюков, груд сваленного оружия, групп людей, завтракающих или чистящих ружья, можно было видеть арабов, быстро собиравших вокруг себя внимательную толпу. Протолкавшись через одну такую группу, Гент увидел дервиша, высохшего черного старика с седой бородой и огромным тюрбаном. Перед стариком лежал пожелтевший свиток, испещренный красными линиями,— гороскоп, составленный на предмет похода. Старик, полузакрыв глаза, качался и бормотал:

— Слушайте, слушайте! Белая звезда гасит черную звезду, храбрая кровь кипит, лев умерщвляет гиену! Светила небесные благоприятствуют! Небо дает знаки, понятные посвященным! Идите смело вперед!

Эта галиматья вызвала взрыв воинственных воплей, сливавшихся с воплями муллы, напутствующего войско в другом конце площади. Трубили в огромные буйволовые рога, били в барабан — гомас, издававший тусклый, басистый звук; расхаживали муллы с рыжими бородами, благословляя арабов. В углу, прижатый к стене набожными правоверными, толкователь Корана тянулся на носках, выкрикивая соответствующие моменту цитаты. В другом месте Гент увидел голых негров, мажущих друг друга какой-то дрянью, приготовленной колдунами из цветов лиан и сока алоэ,— смесь, предохраняющая от ран.

---

[1] Туземное пиво.

Перед выступлением все сгрудились вокруг оратора, произнесшего маннемо (речь):

— Слава! Слава! Дорога перед вами, лесные хищники ждут вас! Они грабят ваши караваны, воруют слоновую кость, убивают ваших жен и детей! С вами арабы, с вами белый человек. Сражайтесь, убивайте и ешьте! Ступайте!

Ужасный гвалт покрыл эту речь. Ворота раскрылись, и солдаты ринулись пестрым потоком, прыгая и стреляя в воздух.

— Наши молодцы увлечены Марсом! — сказал Стэнли Генту.— Все в азарте.

Он был спокоен и уверен, но Гент ограничился молчаливым кивком. У него было дурное предчувствие.

Отряд растянулся; белые и носильщики каравана двигались в некотором отдалении от главного ядра войска. Дорога шла редким лесом, среди полян и скалистых обломков. Вечерело, солнце бросало лучи из-за верхушек деревьев.

Вдруг Гент увидел, что впереди отряда произошло замешательство. Часть носильщиков побросала тюки и столпилась, горячо толкуя о чем-то. В толпе были Асмани и его друг Мабруки.

Стэнли тоже увидел это. Гент снял ружье, держа его наготове. Стэнли побледнел, но глаза американца вспыхнули, когда он заметил, что некоторые пагасисы обернулись к ним, схватившись за ружья.

— Туда, туда, Гент! К ним! — вскричал, подбегая, Стэнли. Гент был рядом. Асмани и Мабруки бросились в сторону и, взбежав на пригорок, укрылись там, выставив дула, красноречиво наведенные на дорогу.

Стэнли прицелился в Асмани.

— Немедленно идите сюда!

Это был такой бешеный оклик, за которым мог последовать только выстрел. Бунтовщики хорошо знали своего музунгу. Дула на холме исчезли. Две угрожающего вида фигуры спустились к дороге; Мабруки держался несколько позади. В тот момент, когда Асмани приблизился к Стэнли, Мабруки одним скачком очутился сзади путешественника и поднял ружье, но Гент ударил его прикладом в грудь, и дикарь грохнулся. Тревожно оглянувшись на это, Стэнли снова обратился к Асмани, стоявшему со зловещим огнем в глазах.

— Чего ты хочешь, негодяй?! — сказал Стэнли.

— Ты нанимал нас не на войну. Эта дорога худая, говорят.— Мулат держал палец на спуске ружья. Мгновенно он выбросил ружье к плечу, и то же сделал американец. Стэнли готовился нажать спуск, когда очнувшийся Мабруки выбил ружье из рук мулата и бросился к ногам Стэнли.

Это спасло Асмани. Дикарь, видя, что он безоружен, согнулся и побежал. Стэнли выстрелил, но покаянное трение Мабруки о его колено помешало верности прицела; Асмани исчез в деревьях. Мабруки плакал.

— Прости, прости, музунгу! — восклицал он.— Злой дух поселился в Асмани и смутил меня! Теперь все кончено, теперь все пойдут к Танганайке, и мы найдем старого музунгу! Говорите вы все! Разве не правда, что мы пойдем дальше без ссор и беспорядков?! Отвечайте музунгу, сразу!

— Ай! Валлас! Бана-Конго! Гамуна мание по мгони! (Да, клянусь богом, господин мой, это истинная правда!) — закричали носильщики.

Решительность белых покорила их. Нарыв созрел и лопнул. Стэнли сказал:

— Так и быть, Мабруки! Верю в последний раз. Спасибо,— прибавил он, пожимая руку охотника.— Вы спасли меня.

— Может быть. Случайно я держал ружье прикладом в его сторону.

Выстрелы, раздавшиеся впереди, покончили с замешательством. Отряд побежал догонять арабов. Через четверть часа показалась деревня Зимбизо, окруженная крепким частоколом из плотно врытых древесных стволов; в щелях мелькали клубы дыма. Арабы рассыпались по холмам, стреляя в деревню, занятую неприятелем.

Подбежав к стрелкам, Гент лег среди них, изредка постреливая в частокол. Пальба продолжалась несколько минут, затем наступающие поднялись и бросились к деревне на приступ. Почти одновременно с этим открылись задние ворота Зимбизо, и охотник увидел толпы дикарей, улепетывающих в лес. Победители, войдя в деревню, нашли ее пустой. Несколько убитых и раненых лежало внутри палисада. Арабы бросились к раненым. Гент отвернулся, но немного спустя встретил тех же арабов, тащивших за волосы

черные головы с отвисшими большими губами, из голов капала на пыль кровь, катясь шариками. Вдали слышался вой и выстрелы: это арабы преследовали бегущих.

Гент ночевал эту ночь со Стэнли, в большой пустой тэмбо[1]. Оба они почти не спали. Стэнли занимал вопрос, чем кончится наступление на Вилианкуру — крепость-деревню, где, как предполагал, находится сам Мирамбо.

— Шейх Суд бен-Саид повел отряд,— говорил он, куря и расхаживая перед окном, залитым лунным сиянием.— В отряде пятьдесят негров ваниамензе и двадцать арабских юношей.

Гент тоже был озабочен этим. Дурные предчувствия овладели им, несмотря на первый успех. Его беспокоило также, что многие из каравана, несмотря на запрещение, пошли с арабами к Вилианкуру.

Под утро путешественники немного вздремнули, но ненадолго. Их разбудил крик Селима: «Музунгу, вставайте, все бегут, арабы бегут!»

Вслед за этим ввалились покрытые кровью и грязью измученные пагасисы. Рассказ их был краток, но ужасен. Вместе с арабами они довольно легко взяли Вилианкуру. Мирамбо предоставил им спокойно заняться грабежом, а сам с сильным отрядом засел по дороге между Зимбизо и Вилианкуру. Когда победители возвращались с добычей из слоновых клыков, тюков материй и невольников, отряд Мирамбо бросился на них с двух сторон. Произошла беспощадная бойня. Все арабы были убиты. Рассказчик и его товарищи бежали лесом, сделав большой крюк.

Стэнли был потрясен. Получив известие, что арабы бегут, он сказал:

— Нам надо уходить тоже, в Мфуто, обратно! Селим, беги и собери всех, кто здесь есть!

Он поспешно вышел на двор лично руководить сборами. В деревне загорелись огни, слышались крики, стоны пришедших раненых, жалобные вопли женщин, тяжелый топот бегущих. Мелькали белые халаты и тюрбаны арабов; кричали мулы; утреннее пение петухов сонно и звонко оглашало деревню.

В моменты опасности Гент становился молчалив; он давал внешнему свободно проникать в душу, не

[1] Дом, хижина.

задерживал впечатление разговором и там, внутри себя, разделывался с этим внешним. Теперь произошло то же. Все люди выбежали из тэмбо так скоро, что он не успел собрать мыслей и стал вдумываться в происходящее. За Стэнли с его караваном и носильщиками он нимало не опасался, зная, что путь назад свободен. Но он видел, что наступил прощальный момент.

Стэнли быстро вошел, держа револьвер.

— Насилу я остановил панику.— Он улыбался, тяжело дыша.— Шау уже присвоил мое седло и хотел бежать на осле; арабы кричат, чуть не дерутся. Меня порадовал только носильщик Шанда, он спокойно сидит и ест. Селим вернул троих, грозя им оружием. Ну, мы идем в Мфуто!

— Я останусь,— сказал Гент,— и попытаюсь пробраться к Магалазари.

— Теперь я ничего не скажу вам. Но вы все-таки безумец. Так-таки — прямо вперед?

— Да. Я останусь. Я эту ночь не тронусь; день тоже проведу здесь, а на следующую ночь выступлю с Цаупере.

Стэнли протянул руку.

— Тогда прощайте. Вы мужественный человек, но я не понимаю вас.

— Прощайте, мы, может быть, встретимся с вами в Уиджиджи.

— Или на небесах, что вернее.

— Это само собой.

Стэнли улыбнулся, махнул рукой и вышел; Гент проводил его на улицу. Сзади белых шел Цаупере.

Смешение и толкотня людей, сбившихся поперек улицы, остановили их. Путешественники простились еще раз, затем Гент вернулся в пустую тэмбо и сел. Шум стихал, деревня скоро опустела, и наступила полная тишина. Гент грустно курил. Он только что расстался с людьми, которые переносили то же, что и он, вместе делили они труды и опасности. Дороги их разошлись. Но Гент повиновался законам своей души.

Остаток ночи черный и белый провели без сна, а следующий день прошел в лесу, где оба чувствовали себя безопасно. Гент выстирал в ручье смену белья, вычистил и привел в порядок оружие. Цаупере был уже посвящен им в план дальнейшего путешествия и принял это спокойно; так же спокойно он принял бы

предложение Гента собственноручно убить его. Воля и желание музунгу стали его волей, его желанием.

К ночи, видя, что окрестности тихи, Гент снова прошел в Зимбизо, по-прежнему пустое и мрачное. Здесь он лег, не желая уснуть, но утомление одолело его, и он все же уснул. Цаупере ушел под навес с такими же благими намерениями, но тоже уснул.

Гент спал недолго тяжелым сном. Ему снились вереницы гиппопотамов с человечьими лицами, плывущими на него. Он повернулся, и этого было довольно для охотника, чтобы совсем проснуться. Он встал, вышел на двор. Огромная африканская луна висела в небе; трава белела под ее светом и в недалеком лесу выступы листвы нависли среди черных теней серебряными громадами.

Цаупере спал под навесом. Гент разбудил его. Негр, открыв глаза, мгновение лежал в той же позе, затем быстро вскочил.

— Цаупере,— тихо сказал Гент,— я иду к Магалазари. Пойдешь ли ты со мной?

Дикарь улыбнулся.

— Цаупере пойдет с музунгу. Музунгу не бросит Цаупере.

— Я знал, что ты скажешь так. Бери же свое ружье. Здесь нельзя больше оставаться, надо идти вперед.

Так как Гент вышел в полном вооружении, взяв все нужное для опасного путешествия, то сборы Цаупере не долго задержали их.

XII

ОСАДА ОСТРОВКА

Они вышли из ворот и через несколько минут были в лесу. Определив компасом направление. Гент смело погрузился в чащу. Цаупере шел сзади легкой, неслышной поступью. Дорога шла поперек длинных, невысоких холмов, равномерно опускаясь и поднимаясь. В низинах лес был гуще и хаотичнее, но на гребнях холмов рос группами, оставляя вокруг них прихотливый узор полян, залитых лунным светом. Насколько было возможно, Гент держался в тени; свет был так ярок, что, переходя открытые места, он испытывал неприятное чувство беззащитности.

Он сознавал опасность путешествия, но радовался, что остался верен себе. Чудесный ночной пейзаж вызывал наплыв и подъем мыслей. Возбужденный, зорко осматриваясь, он шел с уверенностью зверя, изучившего лес: огибал ямы, быстро намечая взглядом проход среди сетей лиан и колючих акаций, инстинктивно разбирался среди неопределенности теней и, временами справляясь с компасом, убеждался в верности направления. Дорогой он думал о Ливингстоне, о своем плане; все было в согласии, в счастливой ясности и чистоте представлений.

Относительно опасностей Гент не думал пока. Хотя мелкие неприятельские отряды и лазутчики, наверное, были рассеяны по стране, мало было вероятия думать, что лес наводнен ими, пожалуй, его опушка могла еще кое-где оказаться под наблюдением, но не глушь, в которую негры неохотно идут ночью. Гент рассчитывал к восходу солнца быть далеко от центров, занятых неприятелем, что, однако, не уменьшало риска встречи с враждебным населением. Поэтому он считал ночь самым удобным временем для путешествия. Собственно, очень опасен был лишь переход до Магалазари; двигаться же по этой большой реке на плоту или пироге — безразлично — являлось задачей несложной.

Луна опустилась ниже. Тени стали длиннее. Шли уже часа три. Вдруг Гент остановился. Он увидел, что одна из теней, лежавших впереди, меж кустов, изменила очертание, слилась с другой тенью и исчезла. В этом направлении послышался легкий шум. Охотник взвел курок; не торопясь перевел глаза с подозрительного места дальше, где, соответственно углу света, должен был находиться оригинал тени, и увидел яркие глаза, блестевшие неподвижно. Лев стоял грудью к охотнику, в напряженной позе, с вытянутым, нервно двигающимся хвостом — признак решительного скачка.

Разрывная пуля быстро привела бы животное в более мирное состояние, но Гент не хотел стрелять, опасаясь этим привлечь внимание неприятеля. Заметив, что Цаупере тоже готовится стрелять, Гент знаком запретил ему шевелиться, затем достал маленькую ручную ракету и, поспешно зажегши фитиль, тотчас начавший сыпать искры, убедился в отличном действии фейерверка. Ракета, зашумев, взвилась над головой льва, опрокинувшегося в ужасе на спину; осыпан-

ный искрами, он скрылся отчаянным, дугообразным прыжком, и Гент запомнил лишь выразительное движение хвоста, которым бедный зверь отметал странное явление. Но, оглянувшись, охотник расхохотался: Цаупере, бросив ружье, лежал ничком, охватив голову руками.

— Цаупере, вставай! — сказал Гент.— В трубке сгорел порох, больше ничего. Порох и уголь.

— Белый человек большой волшебник,— пробормотал дикарь, садясь и отдуваясь в волнении.— Большой, добрый волшебник. В животе у Цаупере разорвалась эта огненная змея. Уф, уф!

Он встал, убежденный, что остался цел и невредим, и они пошли дальше. Вскоре им встретился ручей, течение которого было согласно с направлением, взятым Гентом. Они пошли берегом ручья. Лунный свет почти исчез в лесу, но вода поблескивала, и это помогало разбираться среди чащи.

Когда стало совсем темно, Гент остановился под большой сикоморой и решил до рассвета обождать здесь; Цаупере он позволил заснуть, чем дикарь воспользовался, тотчас же впав в сонную неподвижность, а Гент прислонился к стволу, дожидаясь рассвета.

Когда взошло солнце, охотник разбудил негра, и они пробрались на небольшой островок среди ручья. Островок был хорошо укрыт густыми кустами; там развели костер, и Гент сварил рыбу, пойманную в ручье. Затем наступили томительные часы бездействия. День казался долгим, как канцелярская волокита. К вечеру лес утих, смолкли крики попугаев и голубых дроздов, и Гент приготовился идти дальше.

Цаупере нес небольшой тюк, весом меньше полпуда. В нем были материи, купленные на всякий случай охотником у купцов Таборы. Гент еще собирался ступить в воду, бывшую здесь не выше колен, как, машинально взглянув на Цаупере, шедшего впереди, понял причину легкого свиста — это была стрела, качавшаяся в тюке, который дикарь нес на голове. Охотник быстро вытащил негра на островок, за прикрытие кустов, и вытащил из тюка стрелу.

— На нас напали! — сказал он.— Смотри, твоя голова случайно осталась цела.

Цаупере, положив тюк, схватил ружье. Гент, сколько мог, осмотрел сквозь кусты противоположный берег. По-прежнему там было тихо и глухо; не

шевелились листья, не мелькала подозрительная тень. Стрела появилась как бы волшебством.

— Иди на ту сторону, Цаупере,— сказал Гент,— я буду смотреть здесь.

Дикарь, согнувшись, пробрался к другой стороне островка. Только он исчез, как снова раздался свист, и две стрелы почти одновременно пролетели над Гентом. Он старательно ругал себя за разведенный костер, предательский дым которого, видимо, привлек таинственного врага. Вверх и вниз по течению ручей виден был на пространстве нескольких ярдов. Там все казалось спокойным; главное внимание охотника сосредоточилось на громаде берегового леса. Ручей в этом месте был неширок и мелок; десяток людей, решившихся перебежать его, могли свободно захватить Гента. Поэтому, стараясь предупредить нападение, он до боли в глазах рассматривал чащу, держась сам надежной защиты густых кустов.

Так прошло несколько минут, когда, случайно обратив внимание на полусгнивший ствол дерева, передний конец которого лежал в воде, Гент заметил легкое колебание дальнего конца ствола. Переходящий свет вечерних лучей освещал подозрительное движение, ставшее наконец явным; охотник увидел черное плечо негра, подползающего к воде за прикрытием ствола. Недолго думая, охотник прицелился в черное плечо и выстрелил.

Тотчас же от дерева откатилась дико визжащая фигура, болтая ногами и руками. Затем негр вскочил, подпрыгнул и исчез, прежде чем Гент успел остановить его вторым выстрелом. Почти одновременно с десяток стрел вылетело из леса на пороховой дым, но кусты помешали им ранить охотника. Две стрелы, потеряв силу полета от удара в листву, проползли сквозь ветви змеевидным движением и свалились на песок. Гент инстинктивно посторонился; вид этих тростниковых палок, с перьями попугаев на одном конце и медным острием на другом, густо смазанным отравленным жиром, был отвратителен.

Стрелы продолжали летать еще некоторое время, но бессильно замирали в кустарнике. Цаупере не было ни слышно, ни видно. Гент тихо окликнул его; такое же тихое восклицание раздалось сзади. Успокоенный в этом отношении, Гент обратил все внимание на берег, где начиналось движение. Должно быть, враг собирал-

ся взять островок приступом. Благоприятным обстоятельством было то, что нападающие, по-видимому, не знали численности осажденных, и Гент решил до наступления тьмы внушить им, что на острове засело, по крайней мере, человек пять. У него были два револьвера и два пистолета. Он позвал Цаупере.

Дикарь приполз неслышно; Гент увидел его, лишь когда Цаупере оказался лежащим рядом с ним. Охотник вручил негру заряженные пистолеты и научил, как стрелять левой и правой рукой одновременно; он заботился теперь не о верности прицела, а о внушительности залпа; сам же, положив ружье, взял каждой рукой по револьверу, продолжая следить за береговым движением неприятеля.

То тут, то там он замечал черную голову, показывающуюся из-за ствола или из высокой травы. Головы скрывались и появлялись все теснее, как бы собираясь в кучу; иногда сверкало острие копья: готовился решительный натиск. Гент с нетерпением ожидал тьмы; пока было еще светло, дикари могли произвести военную операцию, но во тьме не полезли бы на островок даже за бочку спирта.

Наконец черные головы, убранные высокими прическами и разлинованные белыми полосами по щекам и лбу, перестали показываться в чаще; это мнимое безлюдье было так красноречиво, что Гент превратился в слух и зрение, чтобы не пропустить удобного момента. Он заботливо посмотрел на Цаупере; дикарь с важным видом держал пистолеты, но направил дула их к верхушкам деревьев. Только Гент успел научить его прицелу, как странная размалеванная масса без головы и рук, с множеством быстро бегущих ног кинулась, выставив острия копий, в воду ручья — дикари выступили, наглухо прикрывшись щитами.

В этом месте ручей, как мы уже говорили, был не шире шести ярдов, поэтому дикари сразу очутились почти вплотную к кустарнику острова. Цаупере судорожно разрядил оба пистолета; затем, как было условлено с Гентом, стремглав кинулся на другую сторону островка, чтобы предупредить нападение с тыла, если такое готовилось. Пули Цаупере бесполезно рванули воду, но Гент, целясь в середину щитов, быстро нажал курки пять раз, каждый с отличным успехом. Нападение разыгралось быстро и бестолково. Один туземец упал, остальные

стремительно повернули спины и умчались в лес, оглушительно крича и толкаясь. Гент успел взять карабин; выбрав дикаря огромного роста, он свалил его в тот момент, когда воин был уже на берегу. Убитый, подхваченный в большом замешательстве руками живых, исчез, как и они, в чаще, а труп упавшего в воду, медленно повернувшись, уплыл по течению один. Щит, блестевший проволочным узором, застрял в береговом тростнике.

Когда дикари бежали, Гент увидел, что их было всего человек пятнадцать, не более, и облегченно вздохнул. По-видимому, он имел дело с одной из небольших шаек. Его порадовало также, что Цаупере больше не стрелял — очевидно, с другой стороны ручья не было неприятеля. Он решил, что дикари, по малочисленности, побоялись разделиться на два отряда, чтобы напасть с фронта и с тыла. Вечерний свет угасал; так как в экваториальных странах нет сумерек — солнце опускается по отвесной линии,— Гент, взглянув на часы, увидел, что скоро наступит ночь; ее наступлением следовало воспользоваться немедленно, не ожидая прибытия вражеских подкреплений, которые, несомненно, должны были явиться.

Наблюдая за берегом, Гент увидел, что в глубине леса блеснул огонек. Нападающие развели костер; его пламя, просвечивая издалека среди огромных стволов, рисовало черные мелькающие фигуры, стрелять по ним можно было только наудачу, от чего охотник благоразумно удержался. Он обдумал другое. У него было еще пять небольших ракет, взятых с собой именно для случаев этого рода. Приказав Цаупере ходить по островку, наблюдая за подозрительными явлениями, Гент воткнул в землю сук, привязав к нему две ракеты, одну в вертикальном, а другую в горизонтальном положении, так, что горизонтальная ракета имела направление к берегу. Вместе с этим он приказал Цаупере собрать кучу валежника на середине островка и поджечь костер. Дикарь сделал это. Меж тем тени быстро смешались с наступившей тьмой. До появления лунного света оставалось не более получаса. Надо было спешить.

Вполне естественно, что Гент избегал берега, противоположного неприятелю, хотя его тишина и безлюдье манили отступить с островка именно туда. Безлюдье это могло оказаться мнимым, встретив Гента засадой.

К тому же течение ручья направлялось к Магалазари. Следовать по берегу (а идти в сторону — значило сильно удлинять опасный путь, рискуя заблудиться), имея на другом берегу все время преследующих, было бы тоже неосторожно; лучшим путем являлся заход в тыл дикарям и поражение их, пока их было немного. Но следовало отвлечь все их внимание к островку, и Гент подготовлял это.

Когда костер разгорелся и островок осветился изнутри, подобно бумажному фонарю, Гент прикрепил к ракетам два фитиля, поджег их, а сам с Цаупере вошел в воду, стараясь двигаться по течению совершенно неслышно. Так как кусты густо окружали костер, то на воду не падало предательских отсветов, и отступающие, вернее, нападающие, были невидимы с берега. Согнувшись и осторожно подвигаясь по колена в воде, скитальцы ушли от островка не более как на полусотню шагов, когда сияющий угол двух ракет взметнулся с островка в лес и к небу. Искры осыпали мрак. В это время Гент взбирался на берег, держа ружье под рукой. Цаупере жался к нему, опасаясь вероломства ракет.

За островком с берега было, конечно, незаметное наблюдение, поэтому Гент не удивился, услышав испуганный вопль; он коротко прозвучал и стих, и около костра дикарей произошло смятение. Костер островка поддерживал в них уверенность, что враг сидит посреди ручья, а фейерверк окончательно убедил в этом; такое ослепительно страшное явление не могло возникнуть самостоятельно, без человеческого присутствия.

Тогда Гент сказал:

— Ну, Цаупере, бросаемся на них; это почти безопасно. Пойдем ближе.

Они торопливо начали пробираться сквозь кустарник, пока не подошли к огню врага на расстояние пятнадцати — десяти шагов. Выглянув, Гент увидел отчаянно жестикулировавших дикарей, не то в жарком споре, не то в передаче взаимных впечатлений, вызванных появлением ракеты. Их испуг следовало немедленно поддержать. Хорошо защищенный тьмой, охотник разрядил карабин в центр кучи туземцев; грянуло ружье Цаупере, и два револьвера Гента выбросили десять пуль; менее чем в минуту произошло это. Внезапный треск выстрелов заставил негров броситься врассыпную; некоторые упали — от страха или убитые; лес

зашумел, ожил; восклицания, вопли, топот бегущих — все это прозвучало и отзвучало стремительно. Неожиданность нападения разогнала дикарей, как стаю ворон; остались лишь трое, по-видимому, тяжело раненных, так как, лежа, они возились по земле.

— Все,— сказал Гент, тяжело дыша.— Теперь идем, идем вниз по ручью, Цаупере!

Во тьме чащи нельзя было бежать, но возбуждение помогало удаляться с достаточной быстротой. Иногда, чтобы не потерять друг друга, они окликались вполголоса и снова шли, стараясь положить меж собой и костром наивозможно большее расстояние. Хотя нечего было опасаться погони, Гент хотел скорее убраться с места стычки во избежание встречи с другими шайками. Держась левее, скитальцы скоро вышли снова к ручью и здесь дождались восхода луны, после чего, отдохнув и покурив, тронулись дальше.

XIII

ЛЕС ДЖУДЖУ

К утру следующего дня измученные усталостью и бессонницей путники выбрались на берег Магалазари.

Утро было прекрасное. Мягкие лучи солнца ложились на голубую воду быстрой и широкой реки ослепительными полосами. Противоположный берег был покрыт густым лесом, сияющим и воздушно-легким в береговом тумане. Чайки, цапли и ибисы перелетали реку; их крылья при внезапных поворотах то чернели, то золотились. В том месте, где Гент вышел к воде, была небольшая цепь лужаек, разделяющих береговой лес изумрудными пятнами, осыпанными цветами. Здесь летали крошечные африканские колибри, металлические дрозды, дикие голуби и голубокрылые сивоворонки. Лес за лужайками был выше и гуще, чем лес, окружающий Гента; в нем, казалось, царила вечная тьма.

Перейдя лужайку, охотник с удивлением заметил сеть тропинок, ведущих в глубину леса. По-видимому, невдалеке были селения, относительно которых оба решительно ничего не знали. Однако, рассмотрев тропу, Цаупере сказал:

— Музунгу, это дорога в Джуджу. Лес Джуджу. Вон там.

Гент понял, в чем дело. Он не раз слышал о священных рощах, наполненных памятниками умершим. Эти памятники состоят обыкновенно из куч различных вещей, камней, а иногда просто из столбов, обвешанных тряпками. Самое же слово «Джуджа» — означает посвящение таинственной силе, властвующей над жизнью и смертью,— родственное понятию древних о Реке-судьбе.

Суеверие делало лес Джуджу неприкосновенным. Сюда могли входить только короли, колдуны и родственники умерших. Остальным под страхом смерти запрещалось переступать границу леса.

— А, Джуджу,— сказал Гент.— Ну что же, он нам бесполезен, Цаупере; идем к берегу делать плот.

Внезапная мысль остановила его.

— Постой.— Он не знал, как Цаупере относится к Джуджу.— Пойдем в священный лес. Ты не боишься?

— О, этот Джуджу — чужой,— наивно ответил дикарь; он боялся только своих племенных духов.

Они пошли по тропе и углубились в прохладный полумрак. Тропинка пересекалась другими тропинками, ветви сплетались над головой, образуя глухие коридоры листвы. Гент шел осторожно, осматриваясь; быть замеченным здесь — значило вызвать ряд опасностей, но, на его счастье, они никого не встретили.

Сначала попадались бедные Джуджу — кучи черепков под навесом на хворосте, пучки стрел, кучи циновок и костей, но затем тропинка, расширяясь, привела к небольшой лужайке, где стоял внушительный навес, поддерживаемый шестами. Под ним лежало два слоновых клыка, горшки, оружие, несколько цветных тряпок, штук двадцать медных браслетов, а на вершине кучи стояло именно то, что искал Гент, то есть пирога. Она была длинна, широка посредине, без скамеек, с высоко загнутой кормой и носом. Тут же стояло несколько длинных весел с лопастями на обоих концах; ими гребли стоя. Пирога была сделана из плотной легкой коры, сшитой сухими жилами; осмотрев ее, Гент убедился, что на ней можно плыть хоть сейчас.

Предстояло, следовательно, ограбить Джуджу.

Цаупере несмело коснулся пироги, но решительные движения охотника заразили его отвагой. Они не мешкая взвалили пирогу на плечи и после нескольких остановок, запыхавшиеся, но довольные, спустили ее

на воду. Она оказалась немного верткой, но устойчивой и могла выдержать четырех человек.

— Садись, музунгу,—сказал негр, перенося в пирогу всю поклажу, спрятанную среди кустов на время поисков лодки.—Цаупере будет править. Вода хороша, идет скоро.

Берег, от которого они отправлялись, был крут, и быстрое течение реки стремительно понесло лодку; без весел она пошла со скоростью быстро шагающего человека. Все шло до сих пор удачно, лишь мысль о еде несколько беспокоила Гента: запас проса и сухарей, взятый им, подходил к концу. На сегодня еще хватило бы, но следующий день требовал размышления. Впрочем, он надеялся за сутки быть далеко от владений и протекторатов Мирамбо, так что не исключалась возможность войти в сношения с жителями попутных селений.

Цаупере, стоя позади Гента, ловко вертел веслом, ударяя то с правой, то с левой стороны пироги. Вид реки был дик и прекрасен.

Сверкающая вода, металлическая, темная у далекого берега и ясная вблизи, отражала рассеянные по течению лесные острова. Они казались зелеными зданиями причудливых форм. Там блестели яркие цветы. Вглядевшись в поверхность реки, глаз различал множество лазурных оттенков, полных обаяния. Лес ближнего берега свешивался над струями, образуя тенистый коридор, где изредка блестели солнечные пятна. Речка тянулась крутыми поворотами и зигзагами, поэтому плывущий видел впереди как бы большое озеро, а сзади и по сторонам стоял лес. В отдалении, благодаря блеску воды и миражам радужного тумана, лес терял натуральный зеленый цвет, сияя розовой и голубой окраской; отдельные деревья с пышными перистыми вершинами стояли подобно прозрачным теням. Иногда лес сменялся тростниковыми зарослями, скрывающими озера и болота; там кружилось множество водяных птиц, а река почти до середины течения была скрыта гниющими растениями. Встречались скалистые возвышения, отвесно спускавшиеся к воде; косые или горизонтальные полосы горных пород расцвечивали их поверхность бурыми, желтыми, черными и красно-коричневыми оттенками.

Цаупере, видимо, чувствовал себя хорошо, так как начал тихо, монотонно слагать песню. Гент не понимал

его языка, но, перелагая песню на язык своих впечатлений, получил приблизительно следующее:

Оиоиои — иу! Ай, ае, ае, ае, ау.
Река широка, широка;
Вода глубока, глубока;
Лодка легка, легка.
Оиоиои — иу;
Так далеко, далеко плыть;
Так светло, так неясно жить:
Все видеть, все видя — любить.
Оиоиои — иу;
Вьется река, как змея;
Душа спокойна моя;
Длинным веслом правлю я.

Но если бы Гент знал, что пел Цаупере (пел он вот что:

Мы украли пирогу, ио — иу. Ловко украли пирогу, белый музунгу не боится мертвых.
Мы плывем; Цаупере хочет есть, ио — иу, очень
хочет кушать; когда он поет, ему не так хочется мяса и молока.
Ио — иу. Воды много кругом; все видно, нет змей и колючек, а теперь надо держать ближе к берегу),

то он, вероятно, вспомнил бы пересказ гейневского стихотворения:

На берегах Ганга живут стройные, красивые люди, они сплетают венки из цветов лотоса и говорят о священных книгах;

а в суровой Лапландии вокруг костров, среди ледяных глыб, сидят на корточках маленькие мохнатые дикари, жарят рыбу и кричат и визжат.

XIV

КОРОЛЬ Н. КОМБЕ

Первые два дня плавания прошли без особых приключений, если не считать встречи со стадом гиппопотамов, которые едва не перевернули пирогу. Гент отогнал их выстрелами, старый гиппопотам, плывший

невдалеке, пришел в бешенство и, приподнявшись из воды, схватил уже зубами борт зыбкого судна, но нерастерявшийся Гент поразил его в глаз разрывной пулей. Гиппопотам грузно отвалился и скрылся под водой; скоро его труп всплыл ниже по течению.

Ночью путешественники приставали к берегу, где спали по очереди у костра. Утром третьего дня показались крутые пороги; вода кипела в них, кидаясь на черные камни белой пеной; от ударов волн летели брызги. Гент издалека заметил эти пороги; он, конечно, не мог рисковать единственной своей лодкой и поэтому велел Цаупере пристать к левому берегу, рассчитывая на руках пронести пирогу так далеко, чтобы миновать опасное место.

Береговая почва, где они шли, была неровна и заросла таким обилием ползучих растений, что Гент промучился часа два, пока миновал пороги. Он и Цаупере обливались потом; не без труда спустив лодку на воду, так как здесь была вязкая отмель, поросшая высокой травой, Гент, обернувшись, застыл в немом изумлении.

Недалеко от них на корточках, полукругом сидело шесть дикарей с безумно вытаращенными глазами. Седьмой стоял сзади, судорожно сжимая руками копье, в позе готовности мгновенно исчезнуть при первом признаке опасности. По-видимому, они наткнулись на сцену спуска лодки случайно и так растерялись, что ошалели. Гент тоже недоумевал, как поступить, но показалось ему, что дикари настроены не враждебно. Веря инстинкту негров, он спросил Цаупере:

— Ты что думаешь?

Дикарь, закатив глаза, подошел к одному из сидевших, который тотчас вскочил. Цаупере дружески похлопал его по животу. Приветствуемый ответил тем же. Тогда Цаупере изобразил сложную мимическую сцену, кривляясь, перегибаясь и размахивая руками так, что Гент опасался за целость его членов. Он ничего не понимал, но туземец, видимо, понял, так как показал рукой в сторону, начал топтаться на месте и прибавил еще какие-то жесты. В это время соплеменники его толпились вокруг Гента, рассматривая белого со всех сторон, восклицая и хватая друг друга за пальцы.

Цаупере сказал:

— Музунгу, они не хотят нам зла. Они никогда не видели белого человека и просят тебя идти к ним

в деревню — невдалеке, на горе. Ты там продашь им что хочешь, а они обещаются угостить и снабдить провизией.

Гент подумал, что предложение это могло маскировать какой-нибудь предательский замысел, но, тщательно присмотревшись к дикарям, уверился в их изумлении. Они до сих пор не выказали ничего враждебного и подозрительного. К тому же у него были два ружья, третье — у Цаупере, и все путешествие в целом составляло сплошной риск. Поэтому он решил посетить деревню.

Он наклонил голову, выражая согласие; тотчас раздался шумный крик радости.

Махая копьями, дикари окружили Гента; он, хлопнув одного из них по плечу, показал на пирогу. Туземцы, поняв, чего хочет белый, вытащили пирогу, спрятав ее среди кустов, и шествие тронулось узким лугом, извивавшимся подобно реке среди леса. Дикари шли по сторонам двумя группами, болтая и объясняясь с Цаупере жестами. Они, видимо, понимали друг друга, но Гент чувствовал себя преглупо.

Скоро показалась деревня — двойная линия хижин, похожих на ульи, с коническими тростниковыми крышами, тесно сжатыми заостренным частоколом. Куча черных детей высыпала из ворот и с визгом попряталась в кустах, завидев европейца. Следующий встреченный Гентом человек был старик, несший мешок с просом; старик остолбенел, бросил мешок и юркнул в хижину. Женщина, сидевшая у дверей другого дома, отчаянно закричала и скрылась.

Скоро, однако, улица наполнилась жителями, почтительно, со страхом и недоумением теснившимися около своих дверей; у некоторых были луки. Редко на ком можно было заметить драный передник или кусок тряпки, почти все ходили нагишом, что, по-видимому, нисколько не стесняло этих детей природы. Часть туземцев, сопровождавших Гента, рассеялась по деревне, вопя и объясняя что-то; объяснения вызвали одобрительный гвалт, и к шествию начали понемногу присоединяться те, кто был посмелее. Образовалась густая толпа, в центре которой, стиснутые со всех сторон, двигались к дальнему концу деревни Гент и Цаупере. Их ощупывали, как вещь; платье Гента и цвет его кожи вызывали визгливые гортанные крики; каждый негр, коснувшийся платья или руки охотника, отскакивал

с добродушным хохотом, уводя голову в плечи, подскакивая и щипля соседей. Гент был терпелив, но это начинало ему все же надоедать; поэтому он крайне обрадовался, когда провожающие, остановясь у довольно большой хижины, знаками пригласили его войти.

Согнувшись, Гент протиснулся в узкую дверь и очутился в просторном полукруглом помещении с земляным полом. Здесь стояли деревянные скамьи. Присев на одну, охотник усадил рядом Цаупере, а тюк с товарами положил под скамейку.

Сначала в оглушительном гомоне толпы, заполнившей помещение, трудно было начать говорить что-нибудь дельное, но постепенно туземцы отошли к стенам, очистив свободное пространство.

Гент встал и, обратясь к дикарям на арабском языке, сказал, что, во-первых, ему нужен переводчик, знающий по-арабски, а затем он хочет видеть короля.

Тогда выступил дикарь, заявивший на плохом арабском языке, что он жил в Уиджиджи и может говорить с Гентом. Наступила тишина. Все ждали.

— Я вам не враг,— сказал Гент.— Я и мой слуга Цаупере плывем к Танганайке. Мы нуждаемся в провизии. У нас есть бусы, ленты, материи и маленькие зеркала, а взамен мы хотим получить съестного: яиц, мяса, масла, хлеба и овощей.

Дикарь, кружась и размахивая руками, немедленно перевел сказанное зрителям; толпа сочувственно закричала, но опять смолкла, когда заговорил переводчик.

Он сказал:

— В Магалазари много рыбы. В лесу много дичи. У белого есть два ружья. Почему он не стреляет антилоп и буйволов и не ест их, это нельзя понять.

— Потому,— сказал Гент,— что я тороплюсь. Меня ждет белый человек, которого несколько лет считают умершим. Я хочу скорее узнать, жив ли он, и если жив, то помочь ему вернуться домой.

Когда негр перевел это, восклицания стали еще шумнее, а взгляды — благосклоннее. Гент снова собрался говорить, но в это время у дверей раздался звон колокольчика, и толпа застыла в почтительном ожидании.

— О музунгу,— воскликнул переводчик,— вот сам король королей, король Н. Комбе, он будет сам сейчас говорить с тобой.

Вошло трое воинов с щитами и дротиками; за ними, влекомый под руки вельможами, еле передвигая ногами, шел маленького роста старик. Он казался больным и был действительно болен, как выяснилось впоследствии.

Белая бахрома бороды окаймляла его широкое скуластое лицо с низким лбом, жадными крошечными глазами и двойным подбородком. Большие уши смешно топорщились. Он был грузен, но его руки и ноги выглядели совсем тощими; вокруг бедер вилась полосатая повязка; старая морская фуражка едва держалась на седой курчавой голове, а на груди висело множество амулетов. В левой руке король держал палку с колокольчиками.

Вельможи отличались от остальных жителей большой упитанностью, медными браслетами, сложными высокими прическами, напоминавшими конические груды черных хлебцев; в волосах торчали цветные перья, а бедра, как у короля, были обернуты материей.

Войдя, король тотчас уселся, подбоченился и принял важный вид, хотя в его свиных глазках светилась тревога. Вельможи и вся остальная свита встали полукругом за повелителем. Подозвав переводчика, король что-то сказал ему, морщась и тряся головой. Переводчик обратился к Генту:

— Н. Комбе желает выслушать от музунгу, куда, зачем он идет и чего хочет в деревне.

Гент повторил свои объяснения. Король сделал длинное замечание.

— Король королей спрашивает,— перевел негр,— какие подарки вы ему принесли и что он может сделать для вас. Он не может долго говорить и сидеть. Он просит передать, что стал жертвой интриги. Он отравлен и болеет пятые сутки. Он слышал, что жидкий огонь (водка) белых людей очень помогает при всякой болезни и просит дать ему немного этого чудесного напитка.

Гент поинтересовался, что произошло с черным величеством. Тогда король стал охать, щелкать языком и закатывать глаза со страдальческим видом и долго говорил что-то переводчику, после чего Гент был посвящен в следующую историю.

Обыкновенно королевское кушанье, прежде чем опуститься в чрево повелителя, давалось на пробу одной из его жен. Таким образом яд обнаружил бы

свое действие без вреда для Н. Комбе. Но по оплошности приближенных или по рассеянности самого короля несколько дней прошли без этих проб, после чего король почувствовал недомогание и стал чахнуть. Тогда после жертвоприношений, завываний и заклинаний королевский чародей (он же жрец) выяснил следующее.

Короля отравила молодая девушка из соседней деревни. Эта особа (впрочем, совершенно неповинная в болезни Н. Комбе) должна была сделаться женой одного из приближенных короля. На ее несчастье, невольник, принадлежавший ее брату, убил свободного человека, близкого приятеля колдуна, поссорившись с ним на каком-то празднике. По местному праву, родственник или друг убитого свободного человека мог требовать в отмщение смерти того, кому принадлежит раб-убийца. Брат несчастной невесты, спасая свою жизнь, нужную, по его мнению, для блага отечества, успел склонить короля к замене себя своей сестрой. Она, по словам колдуна, с целью убить Н. Комбе отравила его кушанье. Разумеется, все обвинение, совершенно бездоказательное, было построено на участии сверхъестественных сил, открывших преступницу, но Гент видел нехитрую, злобную интригу, основанную на праве короля рубить головы, кому он захочет.

К этому дню дело находилось в таком положении: обвиняемая и ее жених, подозреваемый в соучастии, сидели под стражей в ожидании казни.

Выслушав переводчика, Гент сказал:

— Король Н. Комбе! Я, белый музунгу, прошу позволения осмотреть твою особу. Я великий колдун, великий знахарь и жрец белых людей. Я умею лечить. Затем кладу тебе вот эти подарки.

И он развернул тюк, оторвал перед глазами восхищенного короля аршин пять голубой бумазеи, осыпанной розовыми крапинками; затем, присоединив к этому два латунных зеркальца, связку зеленых бус и полбутылки рома, преподнес Н. Комбе.

Казалось, болезнь временно оставила короля при виде сокровищ. Нервно дрыгнув ногой, он сорвался с места и погрузил трясущиеся руки в материю, прикладывая ее к шее, груди и животу; затем, схватив зеркальце, вытаращил на него глаза и расхохотался, чрезвычайно довольный. Но полбутылки рома, казалось, приковали к себе всю его душу. Он нюхал ее, тер ладонями, прикладывая к щеке, булькал и тряс ею над

ухом и, наконец, вдавив пробку пальцем внутрь бутылки, попробовал на язык содержимое. Восторженное остолбенение отразилось на его лице.

Подданные и свита в полной мере разделяли ликование повелителя. Дикари плотным кольцом окружили разложенные у ног властителя подарки, волнуясь и завидуя чрезвычайно. Когда сенсация улеглась, король, рассадив вельмож вокруг себя, объявил через переводчика, что, желая почтить белого путешественника, он отдаст приказ начать пляску, за которой последует угощение, а затем казнь преступников. Н. Комбе, видимо, хотел произвести впечатление.

Пока же король приставил ко рту заветную бутылку с ромом и выпил, не переводя духа, более половины. Ему принесли деревянную чашку; налив ее ромом так, что в бутылке осталась еще хорошая порция, король угостил вельмож. Выпив, вельможи продолжали жадно смотреть на бутылку, но король, заткнув ее, велел отнести в свою хижину.

Затем переводчик сказал:

— Король благодарит белого человека. Он очень нуждается в лечении. Если белый человек уничтожит действие яда, то Н. Комбе обязуется исполнить все его желания.

Важно встав, Гент размеренными шагами подошел к королевской особе и попросил его лечь на лавку. Десятки глаз впились в руки европейца, в его лицо и движения; свита едва дышала от страха и почтительности; наступила благоговейная тишина.

Король, крякнув, лег, вытаращил глаза на Гента, с серьезнейшим видом засучившего рукава. Он приказал королю открыть рот и высунуть язык; язык был совсем белый, что указывало на засорение желудка. Затем Гент пощупал королевский живот, твердый, как барабан, от обжорства, и, наконец, приложив ухо к сердцу, нашел у магалазарского дикаря порок сердца. Сердце работало с хрипом, стоном, перебоями и замираниями. Гент когда-то учился медицине. Теперь ему стало понятно, отчего королю плохо. Так как к тому же его величество сообщило, что третьего дня был большой пир, на котором ели кабана, то вмешательство слабительного становилось необходимым.

Отрицать яд ни к чему бы не повело. Гент сказал:

— У короля Н. Комбе болит сердце, живот, спина, горло, шея и голова. Вот что нашел я.

Довольный обилием болезней, делавшим его особу столь плачевной в глазах подданных, король щелкнул языком и снова стал охать, хлопая себя руками по воображаемым больным местам. Видя это, все женщины подняли вой, утирая сухие глаза. Затем король встал, приглашая музунгу следовать за ним; вся свита вывалила на двор, публика тоже. Негры расселись обширным кругом; Гент и Цаупере поместились рядом с королем; тут же уселся оркестр из пяти человек. Один, с продетой в носу палочкой, держал другую такую же костяную палочку у узкого отверстия выдолбленного слонового клыка; он дул в него ртом и носом, но как получались звуки, Гент не мог понять. Звуки эти напоминали мычание коровы; оглушительно и дико раздавались они. Второй музыкант ударял костью по барабану, сделанному из выдолбленного пня с натянутой поверх кожей. Третий извлекал пронзительные звуки из пары воловьих пузырей с вставленными в них дудочками. Четвертый дергал струну, натянутую в деревянном желобе, а пятый, одев на запястья круглые железные тарелки, бил ими что есть мочи. Такая музыка могла заставить человека взгрустнуть; она к тому же сопровождалась припеванием; все вместе было лишено мелодии с произвольным, зачастую меняющим такт ритмом.

Под эту-то музыку выступили танцоры. Они держали копья и широкие ножи треугольной формы. Их лица были раскрашены белой и желтой краской, на поясе висели короткие передники, с плеч спускались лохмотья звериных шкур. Их танец напоминал кадриль. Два ряда сходились, отступали, повертывались, хлопая себя по пяткам, перегибаясь головой к земле, подскакивая, вертясь и свирепо махая оружием. Наконец они издали оглушительный вопль, все разом подскочили, расставив ноги, пали перед королем ниц и смешались с толпой.

Гент облегченно вздохнул, так как сильно хотел есть, но, к несчастью, это была только первая половина программы.

Зазвенел колокольчик, и из толпы, сзади короля, вытиснулась странная личность. Это был местный жрец, правая рука короля. Жрец, странно припадая к земле на каждом шагу, стремительно пробежал к середине круга, размахивая руками. Он был завернут в множество маленьких циновок, делавших его до

странности схожим с огородным чучелом. На его голове лежал плоский обруч, обвешанный зубами, косточками, бусами, бубенцами; в руке он держал палку с колокольчиком. Жрец перевернулся три раза и стал говорить.

— Переведи,— сказал Гент переводчику,— я хочу все слышать.

Переводчик отрывочно загудел ему на ухо:

— Слушайте, внимайте и удивляйтесь. Белый человек прибыл с Востока; богатый белый человек; он никогда не был у нас, и мы его никогда не видали. Он нам не враг, и его приняли с почетом. Он видел короля Н. Комбе и удивился его могуществу. Он видел воинов страшных, как львы. Он видел военный танец и теперь увидит, как исполняется правосудие — беспристрастное, священное. Он узнает, что преступник, кто бы он ни был, пусть не надеется на пощаду, если под личиной дружбы таит коварные замыслы.

Последние слова были, несомненно, намеком на вызов Гента полечить Н. Комбе; охотник удивился, как, несмотря на то что жреца до сих пор не было видно, узнал он об этом, но его размышления были прерваны окончанием речи:

— Итак, слушайте, казнь Кагонгу и Мо-Осве свершится теперь. Дети Н. Комбе, приведите негодяев сюда! Можете объявить, что настал их последний час. Идите и возвращайтесь скорее.

Произошло волнение. Негры, падкие на зрелища, с нетерпением ожидали страшной сцены, о которой Гент подумывал с тоской и душевным холодом. Разыгравшийся аппетит способствовал тому, что его дурное настроение перешло в открытое раздражение.

Дети, то есть четыре огромных негра, отправились, приплясывая, за жертвами. Жрец, сев рядом с королем, впал в сумрачное молчание. Теперь уже было видно, что он обижен и недоволен, его взгляды, исподлобья бросаемые на Гента, были красноречиво угрюмы.

Круг расступился, пропустив арестантов. Они стояли понуро, сложив руки. На правой ноге каждого висела глухая деревянная колодка, тащить которую, волоча ее по земле, было, вероятно, мучительно. Кагонгу показалась Генту почти девочкой. Вся ее фигура напоминала испуганного, дико озиравшегося зверька; отчаянный страх блестел в глазах. Мо-Осве, молодой

дикарь, стоял прямо, заложив руки назад; с сумрачным, неподвижным лицом он смотрел прямо на короля. Н. Комбе был оживлен ромом и предстоящей казнью; он беспрестанно подзывал то одного, то другого из своих приближенных, отдавая распоряжения.

Гент пристально рассматривал обреченных. В их полной покорности было много печали. Случается иногда нам видеть собаку, издыхающую голодной смертью. Животное лежит на боку, вытянув ноги, закрыв глаза. Можно подумать, что оно умерло. Но нет — заметно дыхание, бока вздымаются и опадают. Собака лежит день за днем, не сходя с места, пока не умрет, и прохожий, видя ее, чувствует, что здесь нет больше надежды: жизнью овладевало отчаяние...

Именно таких собак напоминали Генту покорные позы узников. Ему захотелось спасти их. Он знал, что его вмешательство может вызвать весьма неприятные осложнения, но не мог оставаться безучастным зрителем несправедливой и мучительной казни. Тем временем принесли два коротких толстых бревна; на вопрос Гента, для чего эти приспособления, переводчик нарисовал картину казни: осужденных кладут на землю и раздавливают им шейные позвонки тяжестью бревна.

«Нет, этому не бывать»,— подумал Гент, быстро создав план действия.

— Слушай,— сказал он переводчику, чувствуя, что произведет сейчас большую смуту,— я буду говорить всему народу. Пусть все слышат белого человека.

Едва переводчик провозгласил эти слова Гента, как колдун закричал и, подбежав к королю, начал с ним длинный разговор. Король, видимо, возражал. Наконец колдун отошел, а переводчик сказал Генту, что жрец воспротивился выступлению белого человека, считая нужным приступить к казни. Король, однако, держится противного мнения.

Тогда Гент стал говорить, а переводчик, жестикулируя с невероятной экспрессией и закатывая глаза, переводил толпе; его усиленная мимикой речь, несомненно, имела внушительное действие.

Гент сказал, что хочет и может вылечить короля. Король дал на это согласие и обещал ему в случае успеха исполнить все его желания. Поэтому Гент просит отложить казнь. Великий дух сообщил ему, что эти люди невинны. Виновен же не кто иной, как злой дух,

именуемый «запор желудка», забравшийся в короля и желающий погубить его. Но он, Гент, даст королю лекарство, которое выгонит злого духа, и король будет здоров, завтра будет здоров. Поэтому надо отложить казнь. Кагонгу и Мо-Осве невинны. И завтра, когда король выздоровеет, все убедятся в этом и отпустят обвиняемых.

Впечатление получилось колоссальное. Тщетно жрец, видя, что колеблется его репутация, махал руками, убеждая народ не уступать Генту; здесь, видимо, были замешаны самые разнообразные страсти, расчеты и ожидания, так как суеверные дикари кричали ужасно; на лицах осужденных появилась жизнь, тень улыбки, ожидания. Король в пылу спора с вельможами и жрецом толкал их в грудь кулаком, сопел и, видимо, не знал, на что решиться. Переводчик бегал от Гента к королю и обратно, бормоча что-то невразумительное.

— Хорошо,— сказал наконец король,— но мы до сих пор не видели еще никакого знамения со стороны белого человека. Если он докажет, что он волшебник, я уступаю его желанию, откладываю казнь, лечусь у него и, выздоровев, отпускаю узников.

Королевская резолюция была встречена одобрением. Жрец знаками пригласил Гента выйти на середину круга. Гент вышел.

— Вот что,— заявил он собранию,— я дам доказательство, что я великий жрец белых. Я сделаю кипяток без огня и выпью его кипящим, даже не поморщась.

Сказав это, он вынул из мешка свой стакан и попросил принести воды; наполнив стакан водой, он опустил туда кусочек лимонной кислоты и щепотку соды; вода зашипела и вспенилась. Испуганные дикари отпрянули, завизжав в восторженном изумлении, когда Гент одним духом осушил приятный прохладительный напиток, улыбаясь налево и направо.

«Я победил вас лимонадом»,— подумал он, видя, как все поражены. Но жрец куда-то исчез; он понимал, что благодаря таким событиям должен временно стушеваться, обдумав на свободе решительный контрманевр. И на свою беду, как увидит читатель, он действительно придумал его.

Осужденных увели, король поднялся со своей свитой, и Гент был приглашен следовать с ним во дворец, оказавшийся простой хижиной, но вдвое

больше других и несколько чище. Здесь было много шкур, щитов, оружия, горка вражеских черепов и много посуды, частью деревянной и глиняной, частью железной.

Ели на полу, сидя кругом овальных деревянных крышек из коры, на которые ставилось кушанье. Обед состоял из вареной баранины, маисовых лепешек на бараньем жиру, кур, обложенных вареными яйцами, кислого молока, фиг и пальмового вина.

Н. Комбе почти не прикасался к еде; он жаловался на тяжесть головы и желудка. Гент счел удобным дать ему порцию каломеля и, размешав порошок в воде, поднес королю.

Н. Комбе нерешительно покосился на придворных. Ему хотелось выздороветь, но он боялся. Тогда, рискуя получить расстройство желудка, Гент отпил глоток, после чего и король, собравшись с духом, опустошил чашку. Гент дал ему еще полстакана рома, и король окончательно почувствовал себя хорошо.

Насытившись, Гент сказал, что хочет отдохнуть; его отвели в пустую хижину, где Цаупере лег у входа, а охотник — на земляном ложе, покрытом травой и шкурой. Он не думал, что заснет, однако заснул, а проснувшись, увидел, что вокруг сидят на корточках женщины и дети, разинув рты, и в почтительном молчании созерцают белого человека. При первом его движении все бросились вон.

Он еще лежал и курил, когда пришел дикарь, заявивший от имени короля, что Гента просят пожаловать к Н. Комбе.

Взяв с собой Цаупере, Гент пришел к королю.

Он застал его удивленным, слабым... однако король выглядел веселее и заявил, что лекарство отлично действует. Он выразил желание поесть, и ему принесли мясо, но Гент сказал, что лучше пока ограничиться бананами и молоком. Н. Комбе послушался. Чавкая, он объявил, что исполнит желание Гента, и отдал распоряжение немедленно привести узников. Пока воины ходили за ними, король полюбопытствовал узнать, всегда ли белые путешествуют в одиночку.

Это был хороший подсказ, и Гент немедленно им воспользовался.

— В расстоянии суток пяти отсюда,— сказал он,— за мной плывут еще четыре пироги с пятью белыми

людьми и восемьюдесятью носильщиками. У них много товара; они хотят торговать в этих местах.

Король замолчал, он не хотел высказывать своего мнения по этому поводу, но было видно, что он скорее доволен, так как мог рассчитывать на новые подарки и выпивку. Гент же сказал так на всякий случай, чтобы негры не выкинули с ним какой-нибудь предательской штуки.

Раздался звук барабана, сзывающего выслушать королевское решение, и маленькая площадь наполнилась народом; главные лица собрания заняли прежние места. Привели осужденных.

Король сказал:

— Я отпускаю Кагонгу и Мо-Осве потому, что они не виноваты. Яда не было. Лекарство белого человека принесло пользу. Я обещал исполнить его желание и держу слово.

Подданные огласили деревню радостными воплями. Генту трудно было понять, насколько искрення эта радость, но он с удовольствием увидел, что с узников снимают колодки.

Жрец, до сих пор смирно сидевший в стороне, выступил и направился к середине круга. Он не знал, что готовил себе верную погибель. Им овладело желание унизить Гента, доказать его бессилие. Фокус, придуманный им, разыгрался быстро. Жрец, позвонив колокольчиком, заявил:

— Белый человек — обманщик. У него нет никакой силы, и он ничего не знает. Если белый человек — волшебник, пусть он скажет, что будет сейчас с Кагонгу и Мо-Осве. Вот они, они стоят и тоже не знают. Ты знаешь ли, белый человек?

— Скажи этому человеку,— сказал Гент переводчику, подозревая что-то неладное,— что злые силы более не коснутся Кагонгу и Мо-Осве. Они будут жить хорошо.

Выслушав, жрец злорадно засмеялся.

— Белый человек лжет,— вскричал он.— Вот удел преступников! Смотрите!

Одним прыжком он очутился возле пораженных ужасом, только что отпущенных дикарей и, выхватив широкий нож, замахнулся на Мо-Осве. Но Гент был готов ко всему. Быстро прицелившись, он свалил колдуна разрывной пулей; тот грянулся ничком, выронив нож.

Произошло великое смятение. Крик ужаса пронесся в толпе. Часть попадала на землю; большинство, а с ними и герои истории — Кагонгу и Мо-Осве, разбежались, скрывшись за хижинами. Когда Гент оглянулся, вокруг не было никого, кроме Цаупере,— ни короля, ни вождей,— все обратились в бегство, ожидая страшных явлений. Пользуясь этим, Гент сказал Цаупере:

— Идем немедленно. Вещи с тобой. Отлично. Но не беги. Иди скоро и смело.

Они пошли к выходу из деревни. Она казалась вымершей. Никем не остановленные, они прошли ворота, мостик через ручей и спустились в рытвины долины, ведущей к реке. Пирога лежала там же, где ее оставили.

Гент облегченно вздохнул.

Столкнув лодку на воду, он сел, а Цаупере стал сзади с веслом, и пирога выплыла на середину реки.

— Как ты думаешь,— спросил Гент,— почему мы ушли свободно после того, как я застрелил жреца? Мне казалось, что начнется бой, и я уже приготовился.

— Музунгу храбр,— сказал Цаупере.— Музунгу знает больше Цаупере. Музунгу видит, что в деревне нет ружья; ружье — гром. Гром убил колдуна, за белым человеком идут еще белые — все испугались, бежали.

— Какие белые, Цаупере?

— Ты сказал, что едут четыре пироги и там пять белых.

— Но ведь я выдумал это. Нарочно.

— Уах,— наивно ответил дикарь,— музунгу все может.

XV

ЛИВИНГСТОН

Уиджиджи лежит в амфитеатре высоких гор на берегу озера Танганайка, открытого Ливингстоном. Большинство жителей Уиджиджи — арабы, торгующие камедью, гумми-каучуком, слоновой костью и пальмовым маслом. Их дома, окруженные террасами с навесами и резными столбами, погружены в зелень фиговых, финиковых и кокосовых пальм; растут здесь также кофейные и фисташковые деревья и щедро осыпают свой белый цвет лимоны и апельсины.

Рано утром в одном из таких домов, стоящем отдельно с края селения, на террасе показался высокий сгорбленный человек. Его волосы были седы; усы и борода начали седеть. Голубая фуражка, красная куртка и серые брюки составляли костюм доктора Ливингстона. Это был он, недавно вернувшийся из страны Маннуэма.

Задумавшись, Ливингстон смотрел на озеро, пока не услышал в отдалении говор и шум; казалось, там, за садами, спеша, шло много людей.

«Что бы это могло быть в такой ранний час?» — подумал Ливингстон и позвал своего слугу Сузи.

Сузи, молодой араб с веселым, приятным лицом, быстро появился на террасе.

— Что это за шум? — сказал доктор.— Пойди узнай.

— Хорошо, сэр! — Сузи прекрасно говорил на английском языке. Он ушел и вернулся через несколько минут, весьма возбужденный и заинтересованный.— Сэр,— сказал он,— в Уиджиджи прибыли два путешественника: белый и черный. Белый человек — англичанин. Их окружает толпа арабов. Англичанин, узнав, что я ваш слуга, просил меня передать вам, что он ищет вас и просит разрешения говорить с вами. Его зовут Гент.

— Гент,— повторил Ливингстон, обладающий настолько крепкой памятью, что почти не вел никаких записей, ограничиваясь знаками на карте, понятными лишь ему.— А! Если это тот Гент... Сузи, скажи ему, что я его жду.

Араб снова ушел, после чего шум приблизился: сквозь деревья замелькали белые тюрбаны арабов. Не доходя до дома, арабы остановились, и от их группы отделились два человека, быстро шагавшие к жилищу Ливингстона. Сузи шел впереди, указывая дорогу.

Спустившись с террасы, Ливингстон пошел навстречу гостям. Он увидел человека со знакомым лицом, почти черного от солнца и грязи, его костюм был сбит и местами разорван; запавшие от бессонницы и усталости глаза напряженно блестели. За ним шел Цаупере с разинутым ртом и ружьем под мышкой.

Ливингстон протянул руку. Оба были в большом волнении, но оно выразилось лишь крепким рукопожатием: британец, даже падая в вулкан, не закричит истерически, но спокойно заметит: «Я думаю, что здесь несколько горячо».

Гент сказал:

— Слава богу, вы живы и здоровы, доктор! Узнали ли вы меня?

— Вполне, Сузи мне сказал ваше имя. Отчего вы не попали в мой караван?

— Это долгая, долгая история, сэр! Я не один, со мной Цаупере, бежавший невольник.

— Отлично, Сузи устроит его. Войдемте ко мне.

Они прошли в дом. Помещение Ливингстона было вполне спартанским. Стол, скамьи, два табурета, карты на стенах и бумаги на столе — вот все, что увидел Гент в первой комнате.

— Послушайте, Гент,— сказал доктор,— я совершенно отказываюсь говорить с вами, пока вы не достигнете известного равновесия с помощью отдыха и еды. Пожалуйста сюда!

Он провел Гента в следующее помещение. Здесь стояли железная кровать, стол, небольшой диван, в углу висел медный умывальник.

— Располагайтесь,— сказал доктор.— Сузи, сведи к себе черного и покорми его, а потом займись обедом для нас, да постарайся.

— Слушаю, сэр! — И араб бесшумно удалился.

Ливингстон спросил:

— Как вы попали сюда? Кругом война, в Унианиэмбе беснуется Мирамбо.

— Я приехал в пироге по Магалазари,— ответил Гент, устало опускаясь на край кровати.— На нижних порогах столько раз приходилось перетаскивать лодку, что Цаупере едва не развалился от утомления. Два раза нас чуть не утопили буруны. От устья мы хорошо плыли озером несколько десятков миль.

— Но, черт возьми...— Доктор удивленно смотрел на охотника.— Вдвоем?

— Да.

— Так, ничего. Я ухожу; вы придете, когда отдохнете, туда же, на террасу. Я там обедаю.

Он вышел. Гент, бессознательно улыбаясь, смотрел в окно, где блестела Танганайка. Движение кончилось. Нервы упали. Триста миль опасного, утомительного, тревожного пути отошли назад. Он был с Ливингстоном. Теперь действительно он приступал к выполнению плана. Сознание, что он находится в сказочной глуши, вдали от цивилизованного мира, вместе с утомлением последних дней наполнили его душу покоем

и сном. Тело еще двигалось; душа уже спала. Это была реакция. Гент принял полулежачее положение; хотел закурить, но было лень искать трубку. Он на мгновенье прикрыл глаза, но не смог открыть их. Нечто дремотное, созерцательное и сумбурное шевельнулось в засыпающем мозгу, голова Гента опустилась на подушку, и он уснул сразу, как окаменелый. Ноги спустились на пол, корпус лежал на постели.

Через полчаса вошел Ливингстон. Зная, что такой сон непобедим, громко позвал Сузи:

— Сузи, положите ноги джентльмена на кровать, снимите с него сумку и сапоги. Когда он проснется, вы скажете ему, что я жду его. Я пообедаю один.

Охотник проснулся поздно вечером, к тому времени, когда Сузи собирал ужин. После ужина, на который были местный сыр, апельсины, орехи, бутылка малаги и кофе, Гент начал говорить о европейских событиях. Ливингстон ничего не знал. Гент успел рассказать ему главные новости. Вспыхнувшая франко-прусская война окончилась поражением Франции; Наполеон III взят в плен, императрица спаслась бегством; Дания и Шлезвиг-Голштиния присоединены к Пруссии; Грант избран президентом Северно-Американских Соединенных Штатов; подавлено Критское восстание; революция лишила королеву Изабеллу престола.

Ливингстон слушал так внимательно, что почти не прикасался к еде. Между тем арабские шейхи, узнав о прибытии к Ливингстону гостя, прислали целую кулинарную депутацию. На одном блюде втащили гору горячих пирожков с мясом, на другом — жареных цыплят, на третьем — козье рагу; еще последовало блюдо с фруктами и засахаренными орехами.

Насытясь, Гент занялся кофе и трубкой. Рассказав все о встрече со Стэнли, о совместном путешествии, он чрезвычайно обрадовал Ливингстона сообщением, что Стэнли везет ему письма.

— Я рисковал, отправляясь по Магалазари, больше Стэнли,— сказал Гент,— поэтому я не взял ни одного письма. Ваш караван, посланный Занзибарским консулом, привез их год спустя в Табору; Стэнли захватил груз каравана и письма.

— Там, значит, есть и письма от моих детей,— заметил доктор.— Мне очень хотелось бы после этих шести лет вернуться домой, но мне трудно отказаться от дела. Не больше шести месяцев нужно для того,

чтобы подняться к истинному источнику Нила, к озеру, называемому туземцами Чауамби.

Начав говорить об этом, он оживился, взгляд его стал быстрым и молодым. Понемногу отдельные его замечания слились в рассказ об этих шести годах путешествия.

— Я отправился,— говорил Ливингстон,— внутрь материка 7 марта 1866 года.

У меня было двенадцать бомбейских сипаев, девять человек с Коморских островов, семь освобожденных рабов и два негра с Замбези; животных — тринадцать: шесть верблюдов, три буйвола, два мула и два осла. Сипаи, вооруженные скорострельными карабинами, охраняли экспедицию. Десять тюков материи и два мешка стекляруса я взял для торговли с неграми.

Я шел левым берегом Ровумы, реки, впадающей в океан недалеко от мыса Дельгао. Здесь росли камыши, которые приходилось прорубать топорами на протяжении миль.

Сипаи и коморские туземцы оказались отчаянными лентяями. Им скоро расхотелось идти вперед. Думая заставить меня вернуться, они так били и мучили животных, что не осталось ни одного.

Гент вспомнил Зимбауэни, но ничего не сказал.

— Видя, что от этого толку мало,— продолжал доктор,— они принялись восстанавливать против меня окрестных дикарей, распуская слухи, что белые покупают негров для того, чтобы их есть. Это были мерзавцы. Свои тюки и оружие они заставляли нести первую попавшуюся женщину или ребенка, угрожая смертью. Они не могли пройти часа, чтобы не лечь на дорогу, жалуясь на свою судьбу и замышляя новые каверзы.

Опасно было держать при себе таких людей, и я, снабдив их на дорогу тканями, послал их обратно. У меня остался небольшой отряд, с которым, продравшись сквозь ужасную трущобу земель Вагиуя, в начале августа я пришел в страну короля Мпонды около озера Ниасса.

По дороге сбежали два носильщика. У меня был молодой негр Викотани. Когда пришли в Мпондо, он явился ко мне, заявляя, что на восточном берегу Ниасса живет его семья, что его сестру очень любит король Мпондо, она-де его жена. Он кончил тем, что просил отпустить его к родственникам.

Видя, как он упрямо стоит на своем, я свел его к Мпонде, который, кстати сказать, никогда не видел Викотани, и, снабдив товаром, оставил до того времени, пока семья не явится за ним. Видя, что хитрость его открыта, он стал сманивать негра Чумаю, обещая найти ему жену. Чумаю махнул на это рукой и все рассказал мне.

Далее шло еще хуже. От Мпонды я попал в деревню короля Бабизы и имел глупость остановиться у него, чтобы полечить этого человека от волчанки. Пока я здесь жил, с западного берега Ниассы явился араб. По-видимому, он участвовал в какой-то темной афере, так как начал лгать.

По его словам, он был ограблен племенем мазиту. А мазиту живет по крайней мере за сто пятьдесят миль к северо-западу от того места, где проходил этот араб. Я с сомнением слушал, но Муза (так звали начальника коморских негров) сделал вид, что поверил арабу. Вечером он пришел ко мне и стал говорить о несчастьях арабского каравана. «Ты веришь?» — спросил я. «О да, он говорил истину, истину, истину».— «Муза,— сказал я,— араб лжет. Мазиту не только грабят, но всегда убивают. Ты, видимо, боишься идти дальше со мной. Пойдем же к Бабизе, он уговорит тебя».

Король, выслушав историю, сказал:

— Араб врет. Будь мазиту здесь близко, я давно слышал бы уже об этом.

Когда мы пошли обратно, Муза стал хныкать:

— Ох, доктор! Нет, не хочу я идти к мазиту. Мазиту убьет меня. Я хочу домой, хочу снова быть в семье, не хочу мазиту.

— Мазиту ведь нет.

— Ох, кто знает! Я боюсь, боюсь!

— Муза, если ты с товарищами так боишься, то мы пойдем прямо на запад, мимо страны мазиту.

— Нас всех перебьют, нас мало,— упрямо хныкал он.

Мне, мистер Гент, очень хотелось застрелить его как зачинщика; жалею, что не сделал этого. Наконец я как будто уломал коморцев, и мы тронулись на запад, но однажды ночью они все покинули лагерь. После этого я запретил под страхом смерти говорить о мазиту.

Покинув Ниассу, я шел дальше по земле, не знавшей работорговли; поэтому жители были здесь гостеприимны, приветливы и за пустяки перетаскивали

мой багаж, иначе, оставшись с пятью носильщиками, я не мог бы идти дальше.

По дороге мне удалось нанять несколько носильщиков. В начале декабря шестьдесят шестого года я проходил по стране, где орудовали шайки разбойничьих племен. Не было здесь ни скота, ни посевов — жители разбегались. Здесь мы отчаянно голодали, ели дикие плоды, иногда убивали антилопу. Новые носильщики часто убегали, воруя мое белье и платье. Но я шел вперед.

Преследуемый всякими неудачами, я прошел земли королей Бобамбы, Барунгу и прошел в Пунду.

Пунду управляется королем Казембо. Это человек толковый, незлой. Он принял меня пышно и сытно, предварительно выспросив меня через своего придворного, куда и зачем я иду. Применительно к его пониманию, я сказал:

— В стране белых людей много ученых, желающих знать, какие есть в неизвестных странах озера и реки, как они называются и куда текут. Я иду к югу, так как слышал, что там много воды.

Придворный сказал Казембо:

— Не понимаю, зачем все это нужно белому человеку, но, должно быть, очень нужно, и худого здесь ничего нет. Он ищет воду.

Тогда-то меня представили королю. Он сказал:

— Белый человек хочет идти на юг?

— Да, я слышал, что там есть озера и реки.

— Удивительно! — сказал Казембо.— Зачем тебе идти так далеко? Здесь воды сколько угодно. Вода здесь близко.

Он поставил меня снова в затруднительное положение, но тут появилась королева. Она сделала пышный выход, рассчитывая произвести впечатление на дикого белого человека. Ее свита состояла из амазонок, вооруженных копьями, сама она тоже держала огромное копье. На ней была широчайшая красная юбка; рогатая прическа пестрела перьями, а в носу, ушах и губах висели кольца. Изуродованная таким смешным образом, эта красивая молодая и стройная женщина сконфузилась, я засмеялся. Надо было бы вам это видеть, мистер Гент! Я хохотал неудержимо, так что наконец захохотала королева, свита тоже захохотала; королева сгорела от стыда и поспешно скрылась в сопровождении своих амазонок.

Я разыскивал, как вы знаете, источники Нила. Разрешите мне вкратце познакомить вас с кое-чем из моих открытий. В стране Лунда мне доставляла много возни река Чамбези, которую португальцы смешивают с Замбези. Я долго бродил в Лунде и смежных с ней странах, пока не установил, что Чамбези — особая от Замбези река и что, начинаясь у 11° южной широты, Чамбези есть самый южный исток великого Нила.

К северо-востоку от Казембо я нашел очень большое озеро. Туземцы называют его Лиамба. Пройдя озером к северу, я убедился, что это — юго-восточная часть Танганайки. Затем, перейдя реку Марунгу, я подошел к озеру Моэро.

Это прекрасное, изумительное по красоте озеро. Со всех сторон оно окружено живописными горами, роскошная тропическая растительность покрывает его берега. Оно проникает сквозь глубокую горную трещину шумным потоком и кладет начало реке Луалабе, которую я назвал рекой Уэбба, по имени моего преданного старого друга.

Луалаба впадает в длинное озеро — Камолондо под 6°30′ широты.

На юго-запад от Камолондо лежит большое озеро Шебунго — я назвал его озером Авраама Линкольна. Таким образом...

— Таким образом,— вставил Гент,— вы воздвигли памятник великому человеку. Памятник нерукотворный, но прочнее мраморного или стального.

— Может быть,— сказал Ливингстон,— я слышал отрывок его речи, где он говорит о рабстве и призывает к свободе четыре миллиона черных граждан Америки. Здесь, среди источников рабства, памятник этот, мне кажется, на своем месте.

Из озера Линкольна течет река Леки, впадая в Луалабу. Вообще так много рек впадает в Луалабу, что я пометил на своей карте лишь более важные, например Луфиру.

Теперь для меня возник вопрос: не есть ли Луалаба — Нил, южным источником которого я определяю Чамбези. Я убедился после многих колебаний, что она — Нил. Подробности моих заключений я сообщу вам когда-нибудь впоследствии.

В марте 1869 года я прибыл в Уиджиджи, где оставался до июня того же года; здесь мне пришла мысль проплыть всю Танганайку вдоль берегов, но

я увидел, что если решусь на это, то буду кругом обобран; арабы и туземцы выказывали неутолимую жадность.

В конце июня я оставил Уиджиджи и направился в сторону Угухха, из Угухха с торговыми попутными караванами — в страну Уруа; исследовал в северном направлении Луалабу до 4° южной широты; по дороге я узнал, что севернее лежит еще озеро, в которое впадает Луалаба, но пришлось отказаться идти туда. Мои носильщики взбунтовались. Они заявили, что пойдут лишь под сильным вооруженным конвоем, а такой конвой в тех местах нанять было негде и нечем.

Пришлось вернуться обратно в Уиджиджи. Утомителен, труден и скучен был этот путь... Тяжело, будучи так уверенным в достижении цели, видеть, что ты бессилен достичь ее. Ведь то озеро могло быть недостающим звеном в цепи моих изысканий — озеро, куда должна впадать Луалаба.

Ливингстон нахмурился, его лицо передернулось глубокой болью. Он был во власти великой мечты, верен ей и служил ей. С трепетом слушал Гент эту отрывочную скорбную и чудную повесть. Перед ним сидел человек, одержимый духом изыскания. Обманываемый, непрактичный, доверчивый, настойчивый, с железной волей к тому, что поставил целью своей жизни, поражаемый неудачами, предательством и низостью, он неукротимо стремился исследовать — кровью своих ног — всю великую систему центральных озер Африки и рек, соединяющих их, чтобы закончить все еще сомнительное, несмотря ни на что, географическое определение гигантского Нила. Смотря на него, слушая его речи, Гент ярко чувствовал, как великая цель растит, расширяет душу и тем самым находит в ней свое завершение. Никогда еще собственный план Гента не казался ему таким глубоким и ясным. После рассказа Ливингстона то, что было заветным желанием, стало могучим зовом; картинно расположились детали плана, и его охватил юношеский зуд немедленно говорить об этом.

Он задумался. В его воображении встала карта Черного материка. Ее центр блестел серебром рек и озер, ясных, как живые струи, но они скоро потускнели и стали красными: кровь мучеников текла в них.

— Так вот, — снова заговорил Ливингстон, — когда я вернулся в Уиджиджи, меня ждал тяжелый удар.

Перед отправлением я оставил свои небольшие запасы товара и другие вещи шейху Шерифу на сохранение. Представьте мой ужас, когда Шериф заявил мне, что все это... продано. Он сказал, что гадал по Корану и узнал этим способом о моей смерти. Мерзавец был жалок, говоря так; глаза его бегали, но я не мог слушать его гнусные оправдания. На прощанье он протянул руку... Я не принял руки, ушел и всю ночь не сомкнул глаз.

Я был разорен, ограблен; без товаров, без людей — что я мог делать дальше? Во время моего прошлого пребывания здесь мне присылали рабов, людей неработоспособных и трусливых. Я не раз обращался в Занзибар, в английскую миссию, с просьбой присылать свободных людей, но получал опять-таки рабов. Теперь, если просить снова, получится, верно, то же. Как будто им лень хорошенько заняться этим, а ведь достать свободных носильщиков не так уж трудно.

Ливингстон помолчал.

Уиджиджи спало. Глубокая ночь покоила очарованную землю. Гент не нарушал молчания; он думал о плавающих, путешествующих, недугующих, плененных... и о спасении их.

— Я пришел в Уиджиджи совсем больной,— сказал доктор,— почти при смерти. Лихорадка и изнурение подкосили меня. Теперь я поправился, но по-прежнему беспомощен, если только Стэнли не проберется сюда.

Он был, видимо, утомлен; его полузакрытые глаза и нервность голоса свидетельствовали об утомлении. Сообразив это, Гент отложил свой разговор до завтра, пока же решил идти спать.

— До свиданья,— сказал он, вставая,— я утомил вас. Однако мне приятно сообщить вам, что более вы не будете испытывать затруднений.

— Вот как! — улыбнулся Ливингстон.— Не добрая ли фея-волшебница в союзе с вами?

— Может быть. Ее зовут Случай. Завтра я все расскажу. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мистер Гент! Я встаю рано: в восемь часов я завтракаю.

Они простились, и Гент ушел спать. Он долго не мог заснуть, мысленно разговаривая с Ливингстоном о своем плане, и так живо, что не раз принимался курить, пока водоворот сна не закружил и не успокоил его в тьме, лишенной тревоги и сновидений.

XVI

ВЕЛИКАЯ МЕЧТА

Утром следующего дня, проснувшись с восходом солнца, Гент поспешил в сад, где увидел Ливингстона, гуляющего среди деревьев. Поздоровавшись, он заметил, что путешественник в хорошем расположении духа; Ливингстон стал рассказывать об Уиджиджи, юмористически рисуя местные нравы и обычаи.

С своей стороны Гент поведал ему различные приключения: в Зимбауэни, с арабами, выстрел Шау и многое другое.

— Да, да, несомненно, он хотел убить Стэнли,— заметил Ливингстон. Затем он перешел к зимбауэнским заговорам:—Это странная, да, очень странная история, Гент! Арабы вообще деспоты и нахалы. Страна ненавидит их. Они возвели работорговлю в систему, у них есть центры, разветвления, тысячи агентов... Вот я расскажу вам о Маниуэме; эта страна граничит с областью Урда; до сих пор ни один европеец не был еще в тех местах.

Меня смешивали с арабами; я объяснил свою принадлежность к совершенно особой белой европейской нации, не имеющей с арабами ничего общего. Тогда они доверились мне, и я узнал много новых вещей.

За невольников Маниуэмы дают высокую цену: они светлокожи, стройны, красивы, прилежны и искусны в ремеслах. Они делают ткани из волокнистых растений и окрашивают их красками. На маниуэмских женщинах охотно женятся кровные арабы; и вообще эти племена стоят более высоко в умственном отношении, чем другие племена Африки.

Между тем совершенно неизвестно употребление огнестрельного оружия; выстрел панически пугает их. Поэтому небольшая шайка арабов, вооруженных винтовками, может ограбить целую область и увести с собой все взрослое население.

Последнее время арабы по оплошности продавали им ружья, порох и научили стрелять, подготовив этим самим себе ряд энергичных сопротивлений, а теперь стали преследовать, даже убивать тех, кто продает туземцам оружие. Вообще низость, жестокость и жадность арабов делают их объектом всеобщего туземного отвращения.

В саду показалась черная физиономия Кумилаги, негритянки, кухарки Ливингстона. Она звала:

— Господин, идите есть, завтрак и кофе поданы. Все остынет.

— Иду, иду, Кумилага,— сказал Ливингстон,— пойдемте, мистер Гент, аппетит у вас, слава богу, хороший, не то что у меня.

На завтрак были сыр, масло, пирожки, лесные сливы, сливки и кофе.

На уютной террасе было огненно-светло от поднявшегося над озером солнца. За завтраком доктор говорил о богатствах Маниуэмы, ее медных залежах, золотоносных ручьях, плодородии и прекрасном климате. Когда стали курить и пить кофе, Гент заговорил наконец о своем плане:

— Если бы вы задали себе вопрос, сэр, не одна ли простая благодарность и уважение к вашей личности привели меня сюда,— вы не много ошиблись бы. К счастью, этому сопутствует еще одно обстоятельство, о котором я не говорил вчера по позднему времени. Это обстоятельство вот какое: на южном отроге Руфутских гор, к югу от Зимбауэни и милях в ста пятидесяти от Багамойо, я нашел клад, скрытый в искусственной пещере.

Гент описал клад, приблизительные размеры его и показал Ливингстону несколько бриллиантов. Ливингстон был заинтересован в высшей степени: осмотрев камни, он сделал знак, приглашающий продолжать, и, убрав драгоценности, Гент снова заговорил:

— Вы знаете мое отвращение к богатству. Нормально это или ненормально — вопрос другой. Но к тому времени, когда я нашел сокровище, я все сильнее и сильнее стал чувствовать, что моя жизнь лишена большого содержания, лишена такой деятельности, которая, вполне захватив меня, наполнила бы ее удовлетворением.

Что-нибудь одностороннее, например благотворительность, покровительство наукам, искусству, не дало бы мне, говоря откровенно, никакого удовлетворения. Я помирился бы лишь на деле, задевающем все проявления жизни, равно духовной и материальной. Начав думать в этом направлении, я вспомнил вас.

...Год тому назад в Европе ходили слухи, и даже была уверенность, что вы погибли... Но я вспомнил о деле вашей жизни и понял, что, обратив богатства Руфутской пещеры по руслу открытий, связанных

с путешествиями, я коснусь всей жизни земли, войду в прикосновение с самыми разнообразными сторонами человеческой деятельности — промышленностью, медициной, наукой, прикладной и отвлеченной, географией, этнографией, филологией, ботаникой, музыкой и поэзией, природой и приключениями, живописью и театром, литературой всех родов — одним словом, со всем движением человечества. И я представил себе человека, способного стать главой такого дела...

Этот человек — вы.

Встретив экспедицию Стэнли, я загорелся надеждой разыскать вас и присоединился к путешественнику. Дело в том, что сам я уклоняюсь от главной роли в своей затее, считая, что случайное обладание абсурдно колоссальным состоянием еще не дает само по себе прав на тако́е положение, но более всего потому, что для большого дела надо родиться, отвечать задачам и величине предприятия. На это есть вы.

Теперь рассмотрите, прошу вас, следующие мои предположения.

Основать «Общество открытий и исследований во всех частях земного шара». Мой план станет вам ясен, если для примера я ограничусь Африкой.

Прежде всего общество приобретает целую флотилию судов, предназначенных для дальнего плавания. Эти суда, погрузив необходимые материалы, двинутся к берегам Африки.

От ее гаваней тронутся внутрь страны огромные караваны; по рекам от моря поплывут пароходы, таща грузовые баржи.

Через несколько времени в заранее намеченных пунктах возникнут и будут служить точками отправлений для путешественников огромные станции, снабженные всевозможными товарами для торговли с населением и для потребностей путешественников.

Последнее слово науки и техники должно быть приложено к оборудованию в самых глухих, неисследованных странах огромных жилых зданий, полных света, простора, воздуха, гигиеничности, удобств, комфорта и развлечений.

Здесь возникнут сады, огороды, метеорологические и астрономические станции, театры, клубы, лазареты, биллиарды, мастерские скульптуры, живописи; музыкальные комнаты для рояля, оркестров; залы для танцев и праздников.

Огромные стеклянные галереи охватят наиболее живописные части лесов, что позволит, не нарушая первобытного порядка природы, внести в него, среди этих сияющих ограждений с входами и сводами, художественную отделку, чистоту оранжереи, изысканность жилого места, превращенного в сплошной сад.

Путешественники, географы, натуралисты, геологи и все вообще ученые, желающие лично заняться исследованиями, прибудут сюда. Кроме того, будет организована сеть агентов, рассеянных по земному шару. На их обязанности будет лежать, входя в соприкосновение со всеми слоями общества, разыскивать беспокойных, стремительных и смелых людей, поклонников неизвестного, мечтающих о далеких опасных путях, приключениях и победах, вербовать их и направлять сюда, где их воображение и наклонности найдут широкий простор.

Чрезвычайно тщательный подбор медиков, препараторов, кузнецов, проводников, гребцов, охотников, рабочих, картографов, чертежников и лиц иных профессий, необходимых для всесторонне широкой постановки каждой экспедиции, создаст несокрушимую силу; она отважно ринется в самые непроходимые дебри, исследует и установит течение рек, откроет все реки и озера, ныне неизвестные, измерит и сосчитает горы, изучит флору и фауну, наполнит европейские музеи богатейшими коллекциями, положит на ноты все песни и мотивы диких племен, запишет их сказки и легенды, изучит их обряды и обычаи, привьет им рукоделия и ремесла, научит правильной обработке земли. Будет положено начало рудниковых работ в местах, богатых минералами и металлами, и кто знает, какие еще откроются точки приложения сил, гнезда которых будут свиты волей и вдохновением там, где раньше не ступала нога белого человека.

Увлеченный Гент долго говорил о своей любимой мечте, переходя от материка к материку. Он набросал схему путешествий к Южному и Северному полюсам, в малоизвестную Полинезию, в центр Австралии, неизвестный европейцам [1], в таинственный горный Тибет, замурованную Японию [2], он говорил о неисследованных морях, вулканах, водопадах и пещерах, и, слушая его, Ливингстон носился вместе с ним среди великих

[1] В то время.
[2] Япония 70-х гг. XIX в.

и малых загадок мира. Когда Гент кончил говорить, наступило долгое молчание.

Затем Ливингстон сказал:

— Хорошая мысль, мистер Гент! Много здесь будет дела, и я думаю, что нам с вами удастся вместе поработать.

— Я очень хочу этого. Но я буду вас просить, если все сложится так, как я хочу и рассчитываю, оставить в тени мою особу, в глубокой, тихой тени. Я намерен быть простым охотником, не больше того.

— Хорошо. Нам еще много придется говорить обо всем этом. Но скажите, как вы намерены поступить в ближайшее время?

— Я отдохну, соберу караван с надежной охраной и отправлюсь к берегу; затем опять к Руфутским горам, возьму все, перевезу в надежное место и займусь реализацией. Затем я буду ожидать вас в Лондоне. Вы долго рассчитываете пробыть здесь?

Ливингстон задумался.

— Я охотно отправился бы с вами теперь же,— сказал он с неподдельной грустью,— но мне осталось каких-нибудь шесть-семь месяцев, чтобы окончательно установить истинные истоки Нила. Вероятно, скоро прибудет сюда Генри Стэнли; с его подмогой я совершу эту последнюю экспедицию и тогда вернусь в Европу.

— Я не буду медлить,— сказал Гент.— Укажите, пожалуйста, мне какого-нибудь более порядочного местного арабского магната.

— Очень хорош был со мною шейх Абдул бен-Саид; его тэмбо стоит на другом конце селения.

— Благодарю вас.— Гент встал и пошел с террасы, Ливингстон смотрел ему вслед, думая о его плане, который чрезвычайно понравился знаменитому путешественнику и долго занимал его мысли.

XVII

АРАБСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Гент подошел к тэмбо шейха Абдул бен-Саида в сопровождении полуголых арабчат и взрослых арабов, присоединившихся к нему по дороге. У входа в дом они все отстали, разочарованные необщительностью охотника, и пошли по своим домам рассказать, что

приехал бана[1], от которого, кроме «да» и «нет», ничего не добьешься.

Вокруг дома Саида расстилались пшеничные поля и огороды; на них росли дыни, лук, чеснок, красный перец, огурцы, тыквы. Самый дом с колонками, покрытый богатой резьбой, с террасами, завешанными персидскими коврами, стоял среди роскошного сада, где росли деревья апельсиновые, лимонные, персиковые и грушевые, там были также акации, олеандры, жасмины и множество сортов роз; особенно бросились в глаза Гента удивительно желтые розы, крупные цветы их блестели нежным золотистым оттенком.

Охотника встретил слуга, который, выслушав, что хочет Гент, пошел в дом и вернулся с ответом: шейх просит гостя доктора пожаловать к нему.

Гент прошел в большую комнату, где было прохладно, сумеречно и уютно по-восточному; ряд диванов тянулся вокруг стен; в углу стоял маленький европейский письменный стол с креслом перед ним; пол и стены пестрели коврами. Абдул бен-Саид был худой, с серьезным, длинным лицом, медлительный человек, одетый в халат, цветной тюрбан и туфли, шитые золотом. Он вышел откуда-то из глубины дома и ласково приветствовал гостя.

— Здравствуй, милость Аллаха на тебя. Вчера слышал, что ты здесь. Откуда?

— Из Таборы.

— О! Разве Мирамбо нет там?

— Есть, Мирамбо развел большую панику.

— Как ты попал сюда?

— По Магалазари.

— Аллах! Путь был труден?

— Да ничего.

— Садись, принесут кофе, будем есть, пить.

Черный слуга принес угощение. Красный фарфоровый сервиз стоял на серебряном подносе; на другом подносе в узорных медных судках дымились плов, пирожки и яичница. Хозяин, как магометанин, не пил вина, но пил ром и ликер; то и другое, двух сортов, было заткнуто хрустальными с позолотой пробками.

— Может, хочешь чай?

— Нет, спасибо, люблю и кофе. А где ты покупаешь все это, европейское?

[1] Господин.

— Бисмаллах. Два раза в год посылаю караван на берег за покупками.

Закусив и отпив полчашки очень крепкого кофе, Гент закурил сигару, предложенную хозяином, и приступил к делу:

— Здесь, в Уиджиджи, живет доктор, хороший большой человек.

— Знаю, бана! Он святой человек. Моя дочь была при смерти, доктор вылечил ее.

— Его обокрали.

— Ага! Это Шериф. Его все ругали, такой мерзавец.

— Да, да. Вот что, шейх Абдул, сюда скоро прибудет другой инглиз, бана Стэнли. Он придет с большим караваном, с платьем, оружием и товарами. Все это для доктора. Доктор — ученый человек, он изучает страну, ее реки и озера, не может кончить работу, потому что остался без людей, товаров и денег. Трудно сказать, когда придет Стэнли, но не раньше, наверное, как через месяц. Он идет из-за Мирамбо далекой, окружной дорогой.

— Будь проклят этот разбойник!

— Да будет по слову твоему. Пока что доктор нуждается, ему плохо.

— Правда плохо.

— Так вот, я пришел тебя просить доставлять доктору провизию и все, что ему нужно, пока не прибудет Стэнли.— Гент положил на поднос три крупных бриллианта, целое состояние. Абдул бен-Саид, знаток и любитель камней, бережно положил их на ладонь, отвел руку и прищурился; чудный чистый блеск алмазов погрузил араба в благоговейное созерцание. Он взвесил их на руке, потряс и опустил перед Гентом на стол.

— Хороши,— взволнованно сказал он и выжидательно посмотрел на охотника.— Сто тысяч пиастров каждый.

— Наверное! — Гент передвинул камни к арабу.— Один возьми себе, чтобы доктору не нуждаться, пока...

Сухое лицо араба приняло высокомерное выражение.

— Не надо.

— Возьми, я дарю его тебе.

— Это другой разговор. Спасибо за подарок. Доктор, раз ты об этом сказал, и так не стал бы нуждаться; сам он не говорит.

— Да, он горд.

— Может быть. Он спас мою дочь, и я не забуду этого.

— Прекрасно. Я понимаю тебя, а ты понимаешь меня. Теперь я буду просить о себе, друг!

— Проси чего хочешь.

— Вот что: через несколько дней я должен уехать отсюда. Все незнакомо мне в ваших местах, между тем мне нужно собрать надежный конвой, провизию, запас тканей для попутной торговли и достать хорошего проводника, чтобы пройти кратчайшим путем к Багамойо. Попроси, пожалуйста, кого знаешь из местных купцов или маклеров, чтобы через пять дней мне приготовили кладь, эскорт и животных; за это я даю тому человеку второй бриллиант.

— Валлах! Еще сто тысяч! Ты, верно, князь.

— Нет,— смеялся Гент,— я получил большое наследство.

— Наследство... а...— Араб с любопытством и уважением смотрел на охотника и задумался, попивая кофе.

— Все будет,— кратко заявил он, кончив свои соображения.— Мы достанем тебе таких воинов и стрелков, что каждый выйдет один на двоих. Будут лошади, ослы будут. Хаким бен-Тавиз, мой сводный брат, все устроит; я скажу ему. Товары... какие хочешь. Можно дать полотна, бус, ниток, пуговицы, проволоки. Будешь доволен.

— Теперь прощай! — Гент поднялся.— Спасибо!

Араб тоже встал.

— Стой, погоди, не уходи так,— значительно сказал он. Затем, обернувшись к стене, где висело оружие, окружая старинные щиты, покрытые золотым узором и надписями из Корана, снял дамасский кривой нож, оправленный в золото, сияющий жемчугом и лазурью.— Дед дал этот нож отцу, отец — мне, я дарю тебе. Смотри!

Шейх обнажил клинок; время и употребление не оставили на тусклой, серой стали никаких следов. Он был легок, звонок и остер, как бритва.

Затем, взяв узорные железные щипцы, которыми кладут уголь в кальяны, араб дал их Генту:

— Возьми, держи крепко.

Гент, вытянув руку, подставил щипцы.

Клинок сверкнул веером, раздался сухой стук, и половина щипцов упала, как обрубок моркови. Гент

подивился силе араба, но еще больше удивился, когда, осмотрев лезвие, не нашел малейших следов. Он дохнул на него — пятно сырости исчезло почти мгновенно.

— Дивная сталь,— сказал Гент.— Это мне?

— Да. Владей и порази врага своего.

— Спасибо! — И охотник спрятал подарок под блузу.— Я никогда не расстанусь с ним.

— Аллах слышит твои слова. Иди, и да будет тебе мир. Я тебя полюбил.

Напутствуемый всякими пожеланиями, Гент собрался уйти, но вспомнил нечто и задержался.

— Третий алмаз, шейх Абдул, ты употреби на возвращение доктора домой, если бана Стэнли не придет сюда.

— Хорошо, сделаю, как ты велишь.

XVIII

ПРОЩАНИЕ С ЛИВИНГСТОНОМ

Ливингстон обедал рано, и Гент, возвратясь, застал стол накрытым, а доктора — задумчиво прогуливавшимся перед террасой.

Ливингстон сказал:

— Хорошо, что вернулись: обед готов. Я все ходил и думал о ваших больших планах, мистер Гент! В самом деле, не виновато ли европейское общество в том, что путешественники в большинстве случаев до сих пор считаются как бы обреченными; что исследование пустынь Гоби, Сахары или Огненной Земли требует множества человеческих жертв; что бессовестные путешественники лгут, выдавая за факты смехотворные измышления или теории, не подкрепленные доказательствами очевидности? Правда, если бы один миллиард в год употреблялся исключительно на путешествия с научной целью, мы давно уже знали бы о земном шаре все, не исключая обоих полюсов. Мы заслужили право не быть мучениками, ведь все страны так или иначе заинтересованы в открытиях. Да, чем больше я думаю о возможностях, любезно открываемых вами, тем более сочувствую, восхищаюсь ими и, как только покончу с Нилом, войду с вами в прочное соглашение.

После обеда доктор и Гент отправились по Уиджиджи наблюдать нравы и осматривать поселение. Они прошли на рынок, где вокруг столов и корзин с товарами сидели под большими зонтиками продавцы — негры племени Ваджиджи, арабы и баниане, негры восточного берега. Здесь Гент увидел рыб Танганайки: сомов, салару,— толстую, мясистую рыбу, напоминающую видом и вкусом сазана; «чай», похожую на леща, с зеленой спиной и белым брюхом; «мвуро» — почти четырехугольной формы, с ужасно колючими плавниками; две породы голых, бесчешуйных рыб, красивых и пестрых: окуней и угрей.

На базаре было много яиц, коз, баранов, фруктов, овощей. Попадались корзины с устрицами и мелкими озерными раками.

Толпа обступила белых; доктора хорошо знали, но за Гентом ходило все время человек десять наиболее упорных любопытных. Их прически были самые разнообразные. Один совсем брил голову, другой пробривал широкие полосы, оставляя космы висеть над ушами; третий взбивал высокий волосяной гребень, четвертый заплетал волосы в множество косичек и сооружал из них башню.

Их руки были татуированы белыми волнистыми линиями и концентрическими дугами; сложная сеть волнистых и горизонтальных линий покрывала живот.

На шее дикарей висели резные куски слоновой кости, зубы бегемота и клыки кабана; некоторые, побогаче, украшались цветными деревянными бусами, а также железными колокольчиками, спиралями медной проволоки и белыми раковинами. Одеты дикари были в овечьи и козьи шкуры, окрашенные красной глиной; по красному фону чернели неприхотливые узоры.

— А вот уванца,— сказал Ливингстон, показывая здание на сваях, с тростниковой крышей,— это клуб дикарей. Сюда приходят поболтать, поделиться новостями. Перемоют косточки белому человеку, займутся сплетнями. Во время беседы делают что-нибудь: наточат копье, раскрасят трубку, для этого туземец идет в уванцу. Если в ней пусто, он отыщет под деревом кучку собеседников и пристроится к ним. Для них уванца — биржа, общественная сходка, «посиделки русских крестьян» — все, что хотите.

Чем больше присматривался Гент к доктору, тем больше уважал и любил его. По рассказам консула

Кирка, Ливингстон был мизантропом и недотрогой. Ничего подобного не нашел Гент.

Ему в то время было около шестидесяти, но казалось лет пятьдесят. Суровая пища скитаний опустошила его челюсти. Он ходил твердой, но торопливой походкой, держался, чуть-чуть согнувшись.

Он отличался глубокой, искренней вежливостью, добродушием и юмором. Его смех был заразителен; когда он рассказывал что-нибудь, тонкая ироническая улыбка не покидала его бледного лица. Под суровой наружностью скрывались высокий ум и юная душа; он любил рассказывать веселые, интересные истории охотничьего и бытового характера.

Прожив несколько лет без книг, он поражал своей памятью, цитируя целиком поэмы Байрона, Бернса, Лонгфелло, Теннисона.

Сначала арабы чуждались и ненавидели его, но он постепенно привлек их сердца неизменной добротой и ласковым обращением. Всякий араб, завидев его, говорил:

— Милость Аллаха на тебе, бана!

Он хорошо стрелял, стоически выдерживал убийственный климат Африки и обладал несокрушимой энергией.

С этим редким человеком Гент прожил еще четыре дня. Дни прошли незаметно: разговоры об Европе, источниках Нила и планах Гента быстро коротали время; наконец наступил канун отъезда.

В этот вечер они долго беседовали.

— Я вам предоставляю,— говорил Гент,— посвящать или не посвящать мистера Генри Стэнли во все эти предположения относительно «Общества путешествий». Если бы я мог, я скрыл бы самый факт моего пребывания у вас.

— Почему же?

— Стэнли, рискуя жизнью, отправился вас разыскивать. Он знает, что я не предам печати и гласности, что побывал здесь раньше его, но факт этот, по существу, не может быть для него приятным. Это, правда, самолюбие, но оно вытекает из побуждений далеко не низких, поэтому я и скрыл бы, если бы мог, что имел счастье раньше Стэнли найти вас живым.

— То-то,— заметил Ливингстон,— ну, я скажу ему так: «Здесь был мистер Гент. Он спросил: «А Стэнли

еще нет?» — «Нет». — «Извините, меня тоже здесь не было», — сказал мистер Гент».

— Согласен, — засмеялся охотник, — и еще прибавьте: «ни разу не посмотрел на меня». Так что действительно не видел. Мое личное мнение, что, пока клад не переведен в деньги, об этом знать большому числу людей излишне.

Они расстались поздно, в три часа ночи. Ливингстон открыл медный ящик, где хранились карты, рукописи и письменные принадлежности, и сел писать письма, которые хотел отправить с Гентом.

Гент уже раздевался, когда вошел Цаупере. Негр имел грустный вид. Все эти дни он провел без своего музунгу, в обществе кухарки Кумаги, Сузи и Сумаго, слуг Ливингстона.

— Что, Цаупере, — спросил охотник, — ты не рад, что мы завтра уезжаем? Я повезу тебя в страну белых людей, и ты увидишь много чудес.

— Цаупере грустит, — сказал негр. — Он пойдет с музунгу везде. Но там, у белых, где много бус и зеркал, где твердая вода зимой, и дома стоят на домах, и много еды и рома, там не будет моей жены Мзуты, которую убили в лесу.

— Ты женишься на другой Мзуте, — сказал Гент, — у тебя будут дети, свой дом, быки и овцы.

— Когда Мзута месила тесто, — сердито ответил дикарь, утирая глаза, — она облизывала пальцы... вот так. Другая Мзута не будет облизывать пальцы.

Но грусть недолго держалась в подвижном настроении Цаупере. Через пять минут он уже весело передразнивал Кумагу, представлял, как она волнуется около пирогов, приподнимая корки, чтобы узнать, готов ли фарш, и ушел чрезвычайно довольный подарком Гента: охотник подарил ему маленький серебряный свисток. Не меньше как полчаса раздавался за домом свист, пока наконец взрыв ругани из кухни не прекратил это монотонное упражнение.

Гент заснул и проснулся рано; на террасе он застал Ливингстона, видимо опечаленного разлукой. Едва они успели выпить по чашке кофе и перекинуться несколькими словами, как заметили в глубине улицы необычайное оживление. Копыта животных и десятки черных босых ног вздымали клубы пыли. Это Хаким бен-Тавиз вел приготовленный караван. Множество любопытных теснилось вокруг; впереди шли арабы,

Абдул, Хаким; за ними, с ружьями на плечах, выступали тридцать головорезов ваниамвези, все рослые, плечистые молодцы, тащившие тюки, свернутые палатки и другую кладь, а шествие замыкали пять ослов и двадцать баранов.

Караван, постреляв в воздух, расположился против дома, арабы вошли под навес террасы. Хаким был рослый, чернобородый, полный человек, очень любезный, с веселыми лукавыми глазами.

После обмена приветствиями Абдул сказал:

— Вот, я и Хаким все сделали, как назначено. Можешь отправляться спокойно. За каждого из людей я отвечаю, как за самого себя.

Потом он передал Генту список, где были помечены имена всех носильщиков, конвоиров, тюков, бус, проволоки и материй.

Гент увидел, что Хаким, несмотря на свою честность в смысле организации каравана, остался в хороших прибылях; Гент был рад этому, так как любил давать больше, чем получать.

Проводником шел старый ваджиджи, по имени Уоколо. Ливингстон подозвал его, расспросил, каким путем думает он идти.

— Уоколо не попадет к Мирамбо,— сказал, подмигивая, старик,— мы пойдем Укарарангой и Увинзой, а потом долиной реки Гомбе; только я один знаю тот путь и несколько раз ходил там.

— Ну что же,— сказал Гент, осмотрев караван и переговорив со своим штатом,— надо идти действовать. Где ты, Цаупере?

— Где же, как не тут? — раздался ответ за его спиной, и Цаупере с ружьем на плече вышел к каравану.— Я тут, идем помаленьку.

— Прощайте, дорогой Ливингстон,— сказал Гент,— едва ли я смогу связно сказать вам что-нибудь на прощанье. Поймите меня так.

— Будьте здоровы, дорогой друг,— ответил Ливингстон. Они обнялись и крепко пожали руки, избегая смотреть один на другого: так сильно были они взволнованы.

Они условились, где им встретиться в Лондоне; затем Гент спустился с террасы. Раздалось несколько ружейных салютов; понемногу пестрая толпа людей и животных пришла в движение, тронулась и стала скрываться за отлогим холмом.

Здесь Гент обернулся: Ливингстон еще стоял у деревьев, махая фуражкой; его белая голова в блеске лучей казалась озаренной золотистым сиянием.

Потом началась степь.

XIX

ДРАМА РУФУТСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Прошло три месяца.

По склону голых Руфутских скал, в том месте, где Гент первоначально взбирался к ущелью, поднимались три человека.

Двое из них были наши старые знакомые — Гент и Цаупере, а третий, низкорослый, коренастый англичанин со строгим круглым лицом, был небезызвестный по восточному берегу бродяга, искатель приключений — Саллас Бен, человек бесстрашный и кроткий, пока на него не нападал гнев.

Гент из Уиджиджи не прямо направился за своим сокровищем. Благополучно прибыв в Занзибар, он составил экспедицию исключительно из европейцев, пользуясь при этом помощью и советами Салласа Бена, своего старого приятеля, с которым скитался в Индии. Бен, большой знаток людей, имевший обширные знакомства, подыскал четырнадцать человек, на которых вполне мог положиться. Вооруженный до зубов, отчаянный отряд этот напоминал осиное гнездо; он смело отбил бы всякие нападения, если бы таковые случились; но опасности не предвиделись, каждый член экспедиции умел молчать, и тайна перевозки клада была обеспечена. Путешественники взяли двадцать верблюдов. В этот день экспедиция только что прибыла к скалам; Гент, Бен и Цаупере отправились сделать предварительный осмотр пещеры, чтобы сообразить, как и какие вещи будут грузиться в первую очередь.

— Итак, мы двигаемся в царство Шехерезады,— пыхтел Бен, подталкивая короткими ногами свое плотное тело по голому уклону скалы.— Однако здесь мрачновато. Эти скалы были у парикмахера — хоть бы волосок тощий... хоть бы травинка одна. Я вижу, Гент, на вас пейзаж производит дурное впечатление.

Охотник был не в себе, бледен и нервен. Он шел со стесненным сердцем. Необъяснимое беспокойство

лежало тенью на его душе. Он казался себе человеком, собирающимся двинуть воды огромного замерзшего водопада.

— Нет,— ответил он Бену,— не пейзаж виноват в моей мрачности, а я сам не знаю что. Много денег, очень много денег, Бен! Столько, что трудно вообразить.

— Чем больше, тем лучше,— аппетитно заметил авантюрист.— Я начинаю хотеть есть, далеко еще до расселины?

— Нет. Она лежит за той волной камней. Мы почти на вершине хребта.

Цаупере нес веревочную лестницу и массивный шест для спуска в пещеру. Вдруг он вскрикнул.

— Что такое?— спросил Гент.

— Там... человек... я видел,— пробормотал дикарь, указывая в сторону озера.— Был там.

Оба белые разом остановились и повернулись по указанию негра. Неровная гряда скал выделялась по синеве озера угрюмой, блестящей массой, но там, как и здесь, было безлюдно.

— Тебе показалось, Цаупере!

— Нет, музунгу! Была голова, ушла.

Неоткуда было взяться здесь живым существам, кроме них. Гент понимал это и, на мгновение встревоженный, тотчас успокоился. Бен рассеянно осмотрел окрестность.

— Никто не забредет сюда,— уверенно сказал он.— Даже не проползет червь.

Они перевалили последнюю гряду; впереди чернела линия пропасти; казалось, скалы были рассечены огромным ножом. Бен, увидев пропасть, заторопился; им начало овладевать волнение.

— Где дерево, лестница,— бурчал он.— Гент! Куда, где, в каком месте? Давайте спускаться.

Они устроили спуск. Заглянув в пропасть, Гент увидел знакомое черное отверстие.

— Это вход, Бен,— сказал он,— спускайтесь первым, я за вами. Цаупере, ты останешься наверху. Карауль нас...

— От облаков,— проворчал Саллас, проворно изчезая в расселине. Сверху была видна лишь его белая шляпа. Блеснул свет электрического фонаря, и Бен при его свете храбро двинулся черным проходом. Гент не медля спустился к нему. Его сердце билось, как перед казнью, и он не понимал, что с ним.

В конце прохода Гент нагнал Бена. Круг фонаря бродил от движений его руки по стенам и своду пещеры. Вдруг Бен услышал за плечом неузнаваемый, чужой, хриплый голос: то говорил Гент.

— Мало света, очень мало,— твердил он, чувствуя, что им овладевает слабость, а в глазах мечутся тени, сбивая окружающее в фантасмагорию.— Я не вижу... Вы видите... Вот здесь, кругом по стенам... глиняные овальные сосуды... Боже мой, зажгите свечу, несколько свечей, Бен...

— Сосуды...— сказал Бен, двинув ногой, при этом что-то брякнуло.— Это черепки. Что здесь были какие-то сосуды, в том нет никакого сомнения, но что их били и разбили — это тоже верно.

— Как? — Гент прислонился к стене. Бен навел фонарь на его лицо. Охотник был чрезвычайно бледен.

— Здесь ничего нет,— громко, больно раздавшимися словами сказал Саллас.— Свечей, о которых вы говорите, у меня нет, но вот я проведу светом вокруг, и вы окончательно убедитесь, что здесь, кроме какого-то лома, решительно ничего нет.

Стал поворачиваться, держа фонарь в вытянутой руке. Согнутый углом пола и стены круг света медленно обошел пещеру; его молочное сияние не озаряло ничего, кроме валявшихся в беспорядке ружей, куч черепков и тряпок.

Гент вынул трубку и стал ее набивать. Руки тряслись, табак просыпался. Он машинально положил трубку в карман.

Бен прошелся по углам, толкая носком сапога разный хлам.

— Я не вижу вашего лица, Саллас,— сказал Гент так тихо, как говорит раздавленный, когда кладут его на носилки.— Идите сюда.

— Теперь я не могу смотреть на вас,— отрывисто произнес Бен.— Ничего, успокойтесь.

— Я спокоен.

Действительно, он был уже спокоен, но внутренне — мертв. Взгляд его бесцельно блуждал в полутьме. Он сел на камень и тотчас же нагнулся и поднял что-то, упавшее с камня; это была бумага — пять листиков, вырванных из записной книжки.

— Теперь мне в самом деле нужен свет,— более твердым голосом сказал Гент,— вот что-то, что, может быть, есть ключ к этой истории.

— В самом деле.— Бен быстро подошел к Генту. Охотник, взяв фонарь, стал подбирать листки. Они были исписаны карандашом рукой Ван Ланда.

— Читайте вслух,— сказал Бен.

— Да. Слушайте.

На записке не было ни числа, ни обращения, ни указания на часы, в какие, когда она писалась. Так пишут лишь в совершенно безнадежном отчаянии.

Излагалось следующее:

«Если вы придете сюда, то знайте, что мы все погибли.

Вы не виноваты, и я не имею зла против вас.

Я последний, который еще жив,— Ван Ланд. Пишу я с трудом, очень слаб, я не ел и не пил уже пятый день. Потом, когда допишу, я выползу к пропасти и прострелю себе голову; здесь я не хочу лежать мертвый.

Когда вы ушли от нас, мы в тот вечер пили и играли в карты; скоро ушел из-за стола сын Стефенсона, ничего не сказав, куда идет. Я приметил, что он взял карабин, но не сказал ему, а стал его ждать.

Однако он не приходил и не пришел до утра. Всю ночь мы были в беспокойстве, искали его, ходили с огнем вокруг лагеря, кричали, даже стреляли, но он как будто и не был с нами — исчез бесследно.

Утром он пришел прямо ко мне. Я не узнал его. Красные глаза, бледен и все говорит без умолку. Я ничего сначала не мог понять.

— Что с тобой? Где ты был? — спросил я.

— Обокрасть нас хотел,— завопил парень,— там, где я был, хватит миллионов, чтобы стрелять в слонов бриллиантами. Бери, на! Всем хватит! Бери!

Он полез за пазуху и бросил на постель дождь камней. Здесь были рубины и бриллианты, жемчуг и изумруды. Я вскочил, забыв, где я, кто я и что со мной. Я испугался.

Он выворотил карманы и покрыл стол золотом, кольцами, браслетами. Он был как бы не в своем уме. Тогда я сильно встряхнул его за плечи, потом плеснул ему в лицо водой.

Понемногу он успокоился. Вот что было: он пошел ночью следить за вами, крался как кошка по скалам и видел, как вы проникли в пещеру. Потом, подождав, когда вы ушли, забрался туда.

Затем, набив пазуху и карманы чем попало, пришел в лагерь.

Тут он стал мне рассказывать, сколько всего в пещере. Я уже ни в чем не сомневался, я всему верил: и как не верить!

Мы пошли к другим, собрались все, стали советоваться. Больше всех бесновался Клебен. Он чуть не катался по земле от нетерпенья. Мы еще ничего не ели, не пили и отправились, забыв о еде, на скалы.

Спустились мы в пещеру так же, как спускались вы, сделав смоляной факел. Когда мы увидели, что было в пещере, то стали как помешанные. Даже Ван Буш дрожал, как лист. Я думал, что моя голова лопнет. Старик Стефенсон пел и обнимал всех. Но Клебен был ужасен. Он как сунул руки в золото, так и остался стоять, он тискал монеты пальцами, бредил, не мог оторваться. Стал синий весь. Я отвел его, выбрал из его рук монеты; они словно прилипли к его ладоням. Потом он стал плакать без причины; весь дрожал и стонал. Тогда на это мало обратили внимания.

Больше мы в лагерь не возвращались. Сколько времени пробыли мы в пещере, пока хватились Клебена,— не упомню. Мы что-то говорили, ходили вокруг проклятых богатств, считали их, спорили; вдруг Ван Буш сказал:

— А где Клебен?

Его нигде не было. Я вышел по проходу к обрыву и взглянул вверх, на полосу неба. Что-то повернулось у меня в сердце: не было бревна поперек пропасти, исчезла и лестница.

Я закричал:

— Клебен, где ты?

Наверху, над краем обрыва, показалась голова. Это был Клебен, но его лица я не видел, оно было обращено к тьме.— Я здесь!—крикнул он.—Что хочешь, Ван Ланд?

— Что все это значит?

— Ничего. Я сбросил шест и лестницу. Вы не выйдете оттуда.

Еще ничего толком я не понимал, но голова стала кружиться. Я не смел больше спрашивать. Клебен закричал снова:

— Вашего там ничего нет, пойди и скажи это всем. Я приду, когда вы все умрете.

Он, надо быть, помешался. Голова Клебена исчезла. Как я ни кричал, он не появлялся. Ему было, должно

быть, страшно самому. Я пошел в пещеру и рассказал, что случилось.

Сначала мне не хотели верить, потом все побывали у обрыва и увидели, что выхода нет. Никто не допускал, что это шутка. За это убивают. Мы были поражены. У нас не было ни воды, ни припасов.

Время от времени выходил кто-нибудь звать Клебена. Он не откликался, не появлялся. Когда я почувствовал, что предстоит нам, я не выдержал, упал духом. Все говорили в один голос: «Да, попались, выхода нет, пришел конец, смерть».

Огня у нас тоже не было; то есть спички были, но нечего жечь. В темноте просидели ночь. Никто не спал. Я думал, что нам нет никакой надежды. Мы словно безвестно затонули в подводной лодке.

На другой день мы еле двигались от голода и усталости. Говорить не хотелось. К вечеру стало худо с сыном Стефенсона. Он стал кричать: «Я уйду, уйду отсюда!» Как безумный, пополз к выходу. Никто его не удерживал, только отец сказал вслед: «Смотри, не оборвись»,— и засмеялся. Через несколько минут я услышал, что он плачет. Из пропасти донесся вскрик, потом далекий гул, и все стихло.

Он, наверное, карабкался по гладкой стене и сорвался. Я попытался ободрить себя, других; стал говорить, что, может быть, к Клебену вернется рассудок и жадность покинет его.

— Напрасно,— сказал Стефенсон,— напрасно ты думаешь так. Золотой дьявол овладел Клебеном, а это неизлечимо.

— Не унижался я в жизни, не буду унижаться и перед смертью,— сказал Ван Буш.— Не хочу умирать голодной смертью, без воды, как собака. Если завтра не случится чуда, покончу с собой.

Не веселей этого думал и я. Но наступил вечер третьего дня, а ничего не случилось. Жажда сводила меня с ума. Я боялся закрыть глаза; когда закрывал, в глазах рябила вода, и шли по ней тихие круги. Я передумал больше, чем за всю жизнь.

Ночью, стеная и корчась, пополз к выходу Стефенсон. «Я к сыну,— сказал он.— Прощайте!» — «Встретимся,— сказал я,— до свиданья. Не можешь больше терпеть?» — «Нет, да и к чему?» Понятно, на это ответить нечего. Снова я услышал шум и перекрестился.

Эта вторая смерть укрепила меня в моем отчаянии: я стал говорить Ван Бушу: «Прежде чем умереть, сбросим все в пропасть. Клебену не видать платы от черта за это убийство...» Ван Буш понял меня и согласился. Мы лихорадочно взялись за дело. Я скрутил из рубашек несколько тугих жгутов и зажег один. Ван Буш таскал золото, драгоценности и складывал все в проходе у обрыва. Потом от светил, а я работал. Дикая сила появилась у нас. Мы торопились, у нас света было мало. Жгуты вышли; мы сняли последнее белье, снова наделали фитилей. Сколько работали — не помню, но все дочиста вытаскали и свалили в бездну. Как сверкали алмазы, когда я сыпал их туда, посмотрели бы вы!

Наконец пещера опустела. Я долго еще ходил, светя по полу тлеющим концом жгута и подбирая, где что осталось. Я не хотел, чтобы Клебену досталась даже одна копейка.

Когда мы кончили это, Ван Буш взял ружье и сказал: «Пойдем, ты меня похоронишь». Я сказал: «Иди, я приду потом». Тут мы не выдержали, заплакали. «За что это нам?» — сказал он. В самом деле, за что? Ван Буш был хороший человек.

Он пошел к выходу, говоря: «Взгляну на небо и умру». Я охватил голову руками, стараясь не слышать выстрела, но все же услышал. Когда пришел к выходу — никого не было здесь. Он застрелился и упал вниз.

Я прожил еще сутки, теперь сел писать вам. Вы, наверное, придете сюда. Простите меня! Я лишил вас всего. Пора умирать и мне. Прощайте, больше не хочется ни писать, ни думать».

— Ах, — сказал после долгого молчания Саллас Бен. — Дайте-ка я еще раз прочту эти листки.

Он быстро пересмотрел их и задумчиво вернул Генту.

— Понимаете, — заговорил охотник, — мне решительно не жаль этих сокровищ. Жаль мечты. Я наказан; я изменил себе. Не надо было ничего трогать.

— Не надо было дарить.

Гент не ответил. Тяжело поднявшись, он молча пошел к выходу. Бен следовал за ним. Наверху они грустно остановились над пропастью, обнажив головы.

Отдав этот последний долг мертвым, Гент сказал:

— Идите, Саллас, в долину и скажите, что я приду потом. Мне хочется побыть здесь одному.

XX

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Он сел на камень, глядя вниз. Давно уже ушел Бен. Цаупере дремал, растянувшись под солнцем. Белый крап палаток пестрил долину вокруг тонких, как волос, костровых дымков. Там ждали его с сокровищами, с надеждами начать шумную, деятельную жизнь, опустив руку по локоть в кипяток предприятий, смелых до безрассудства.

Но что мог он принести в долину?

— Вы вернулись, Саллас,— сказал охотник, услышав шаги сзади, и, оглянувшись, вскочил. Перед ним стоял Клебен.

Гент не сразу узнал его. Убийца был грязен, страшно оборван и худ, бледен, без шапки. Его густые брови жутко и бессмысленно двигались, глаза горели. С ним было ружье.

Лицом к лицу стояли эти два человека, воплощавшие крайности: сумасшедшую жадность — один, ненависть к богатству — другой.

Клебен заговорил первый.

— Я ждал тебя. Я долго ждал тебя, Гент!

— Это он,— вскричал Цаупере, намереваясь броситься на Клебена.— Его голова. Музунгу, он подсматривал из-за скалы — тогда.

— Постой, не тронь его, Цаупере,— сказал Гент.— Клебен, что с вами? Давно вы здесь?

— Давно, очень давно.— Клебен стал тереть лоб рукой, стараясь что-то припомнить.— Зачем ты унес камни и золото?

— Меня здесь не было, и я ничего не уносил. Ты сознаешь, что сделал, Клебен? Ты убил своих товарищей, четырех человек. Ты помнишь это?

Клебен захохотал:

— Врешь, ты увел их, увел, и вы все унесли. Я это знаю.

— Ты сошел с ума, Клебен!

— Постой, Гент... Поделись немного со мной. Знаешь, я там зарыл в углу сундук, полный золота. Пойдем туда, и ты мне дашь немного, мне очень мало и нужно.

Он начал громко, бессвязно болтать, смешивая кощунственные молитвы, страшные воспоминания о по-

гибших сокровищах; он разразился проклятиями. Им овладевал гнев. Казалось, он не замечает Гента, разводя руками пред лицом, пожимая плечами и смотря вниз.

— Уходи! — сказал Гент.

— Слушай, отдай! — встрепенулся Клебен.— Богом заклинаю тебя, отдай мне, что там так сверкало и сыпало искрами. Отдай все! Отдай!

— У меня ничего нет,— возразил Гент.— Пойми это и ступай! Я не хочу больше говорить с тобой!

Клебен утих. Не глядя на Гента, он тяжело вздохнул, дико огляделся и побрел прочь. Отойдя шагов двадцать, он остановился и прицелился в охотника.

В тот же момент Цаупере выстрелил, но промахнулся. Клебен спустил курок. Эхо двух выстрелов покатилось с гор в озеро и долину.

Гент вздрогнул, отступил назад, затем сел. Он был ранен навылет в грудь. Тогда произошла сцена, быстрая, как взмах крыльев. Цаупере бросился к Клебену и настиг его, когда тот, пустившись бежать, поскользнулся и упал. Негр два раза взмахнул прикладом. Раздался ужасный воющий крик.

Тяжело дыша, дрожа от страдания и бешенства, негр вернулся к охотнику. Гент лежал, чувствуя, что слабость растет, делая тело легким.

— Я убил его,— сказал Цаупере.— Я бы второй раз убил его.— Тут он увидел кровь, вытекающую из-под спины Гента, и горько заплакал.

— Что с тобой, музунгу?

— Ничего, смерть,— сказал Гент,— Цаупере, иди в долину! Мне не поможешь, я смертельно ранен. Иди! Расскажи там нашим обо всем... Захвати Бена... перенесите меня вниз... Да, я умираю. Ну, Цаупере, прощай! Будь верен себе. Помни это, и тебе будет хорошо.

Он закрыл глаза и поплыл во тьме к далеким берегам, откуда не возвращаются. Сознание еще не покинуло его. Он радовался, что не боится. Затем его холодные руки очутились в мокрых от слез, горячих руках Цаупере, и пришла тихая смерть.

ПРИЛОЖЕНИЯ

...СОЧИНИТЕЛЬСТВО ВСЕГДА БЫЛО ВНЕШНЕЙ МОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ...

...Сочинительство всегда было внешней моей профессией, а настоящей, внутренней жизнью являлся мир постепенно раскрываемой тайны воображения. В его странах шествовало и звучало все, отброшенное земными условиями. Эти условия часто ставили западню-ловушку, пытаясь обмануть бледной схожестью своих порождений с тем, что пылает среди облачного пейзажа над дрянью и мусором невысоких построек, но вовремя я отходил, и капкан щелкал впустую.

Главным законом того мира был нравственный закон *сплава*, твердый, как знамя, поставленное в пустыне. Ничто не угрожало ему,— все власти и суды мира, вопли одиноких сердец и стальное рыканье государства не могли бы, даже заполнив вселенную высшими проявлениями могущества, стать по отношению к этому нравственному закону лишь в положение пассивного зрителя. Мы назовем этот закон любовью к сплавленному с душой. Громады впечатлений получали здесь невыразимую словами оценку, в силу которой множество самодовольнейших, реалистичнейших явлений были обречены играть роль статистов, не выпущенных даже на сцену; в то время как другие, менее важные и часто ничтожные, на чужой взгляд, занимали первенствующие места, укрепляясь в сознании силой, яркостью и прочностью очертаний всякий раз, когда призывал я их к тайной работе. Пристраст-

ность этой любви может быть подтверждена тем, что среди отверженных находились целые страны, нации и даже расы, не говоря уже о таких сравнительно мелких реальностях, как профессии, обычаи, понятия и некоторые разветвления искусств; с другой стороны, армия фаворитов частенько принимала с почтением в свою сверкающую среду таких малопочтенных сочленов, как цвет песка или тон удара по дереву. Это не указание, что сфера излюбленного составляла, так сказать, пыль явлений или исключительно их отношение к чувствам. В дальнейшем не потребуется сухого перечисления. Мы лишь проводим разделяющую черту. С той и другой ее стороны постепенно, из смутных теней, мимоходом брошенных нами, встанет неотвратимо существующее на полях внутренней жизни.

Сплавленное с душой делается ее ароматом, облекая сокровенное в заботливо вышитые одежды, которые, если мы сотрем грубые границы этого сравнения, являются покровом столь тонким, нематериальным и сложным, как выражение лица человеческого. Поэтому все, что писал или надумывал писать я, даже то, что воображал, повинуясь непроизвольному, всегда было, полностью, воплощением неуклонного закона. Действие вытекало из побуждений, допущенных его властью. Его развитие совершалось зрительно — в области цветов, фигур и оттенков, тех, какие я хотел бы видеть везде с чувством счастливой удачи.

Отлично зная, как неисправимо словоохотлива и безалаберна жизнь, я с терпеливым мужеством учителя глухонемых преподносил ей примеры законченности и лаконизма. Моя жизнь, если так можно назвать нематериальное, воспринявшее контурность и силу действительности, может быть уподоблена свету воспоминания, направленному в прошлое. Чем это прошлое дальше, тем значительнее, виднее в нем истинный тон и важность событий, свободных теперь от всего, что было не нашей жизнью или в чем были мы не сами собой.

Теперь не возмутит читателя то, что месяцев шесть назад я встал перед магазинной витриной и в ней нашел зерно нового чуда...

Эти витрины полны неожиданностей; не только взгляды покупателя обращаются к ним в трате сердечных и деловых минут. Рассматривание предметов есть очень определенное и сильное удовольствие зрения.

Искусство смотреть еще не нашло своего законодателя. В неразвитой степени — безотчетная потребность, в сильной — оно сознательно и разборчиво, как балованная невеста. Почти можно принять за правило, что, мысленно продолжая жизнь вещи в отношении ее к себе — как бы владея ею,— смотрящий играет ассоциациями, обнаруживая тем качество своего зрения — внутреннего и внешнего, потому что внешнее зрение служит внутреннему сложным световым двигателем. Но там, где, например в окне писчебумажной торговли, один видит лишь карандаш, воображая записанный этим карандашом расход дня, другой видит поболее. Он схватывает тон, свет и центр выставки; безошибочно отбросив ненужное, он останавливается на предметах могущественных — вещах-рассказчиках. С ним говорят конверты в лиловых бантах, белизна бумаги, письменный прибор, несущий оленя, портрет Ментенон, украшающий палевую коробку, наивные цветные карандаши, кружки красок. Он видит пишущих и рисующих, их руки, обстановку и настроения: ясны тысячи душевных движений, устремленных к полотну и бумаге, и жизнь, еще не созданная вещами, стелется перед ним послушными отражениями, слабейшее из которых в неосознанной глубине духа обладает всей полнотой форм и цветов.

Я по давней привычке останавливался с непреодолимым вниманием около картин, игрушек, цветов и посуды. Игрушечное окно не связывалось у меня с детьми. Я не любил их, подозревая, и не без оснований, что распространенное мнение об обязательности любви к детям хорошо известно этому маленькому народу, и он умело им пользуется. В игрушках восхищало меня соединение разнородного — организация странного мира по рецепту окрошки. В то же время над капризами сочетаний царил дух порядка, безобидности и довольствия. Паяц, ростом больше слона, блестел литаврой над башенкой индийского великана, но не был все-таки выше его ростом, а слон, в свою очередь, выглядел, как в лесу, хотя слева от него веселилась яркая голландская ферма, а перед ним — на зеленом раздвижном переплете кучились пучеглазые солдатики с вросшими в них ружьями. Жестяные сабли, пестрые кивера, зеленые и розовые вагоны, зайцы с барабанами, аэропланы и куклы, кегли и бильбоке, казалось, пример дружества явлений, собранных про-

извольно, благодаря мечтательному желанию. За ними еще не чувствовалось многочисленных упражнений, искажающих невинность первосоздания. Слона не потрошил еще будущий анатом, не размахивал саблей воинственный пятилетний карлик, а куклы не испытали турецких жестокостей, проливающих опилки их тел, когда в свалке, растянутые за руки и ноги, лишаются они головы и конечностей ради идеи собственности. Нет, пока что это были игрушки взрослых, знающих их сказочную опрятную жизнь.

Я остановился у такого окна и с удовольствием заметил, что выставка украсилась несколькими новыми игрушками, среди которых выделялся отлично смастеренный бот с правильно сидящим красным крылообразным парусом. Игрушку, видимо, делал человек, опытный в морском деле. Тогда я вспомнил «Красные паруса» — действительную историю, за которой с любовной охотой следил благодаря сообщениям Мас-Туэля и которая постепенно оборвалась (для меня) благодаря разным событиям. Между тем меня пленяла мысль вмешаться в эту историю, дабы она завершилась как бы написанной мною, и тогда, тогда я описал бы ее. Я вспомнил это с тоской, как вспоминают горькое свидание или неисправимую обиду, нанесенную близкому существу.

Весьма трудно припомнить возникновение замысла. Это случается редко, по свежему, так сказать, следу. После более или менее значительного промежутка времени, удалившего сознание от священного возмущения таинственного водоема, меж автором и сценой его души опускается непроницаемый занавес. Ум смутно помнит, что там, за занавесом, до того, как он стал преградой, шла суета, хлопоты, замирали и возобновлялись приготовления; плодотворные ошибки в мучительной борьбе сил становились истиной, в то время как скороспелая ясность, не выдержав фальшивой игры, позорно гибла и гасла.

Но занавес опустился. На нем, отброшенное волшебством невидимой глубины, изнутри сокровенного движется чистое действие. Оно еще двух измерений: беззвучно и ограничено, лишено красок, бесцветно, но уже видимо. Оно сродни мраморному трепету Галатеи, готовому замереть, если оживляющая страсть Пигмалиона уступит отчаянию. Тогда художник приступает к истинно магическим действиям. Он очерчивает

себя кругом замысла и, находясь под его защитой, делается невидим. Он выпал из общества, семьи, квартиры, его нет и в государстве и на земле. Круг жестоко отбрасывает страсти, обещания, любопытство, книги, друзей; в его черте мгновенно гаснет лютейшее пламя гнева, коченеет зависть, умолкает гром битвы, а от живых людей, руки которых пожимались еще вчера с различными чувствами, остаются смутные тени.

Далеко неизвестно еще в точности, как происходит священнодействие. Говоря фигурально, анатомическая его сущность, в сравнении с сущностью физической, доступной опыту и описанию, остается тайной, в которую, может быть, и совершается проникновение, но благодаря ее невообразимой глубине это проникновение должно быть запредельным сознанию, подобно ночной жизни лунатика. Все остальное весьма часто доступно памяти. Разделение на методы творчества «от идеи» кажется нам весьма и весьма условным; самый сухой ум в идее, например справедливости,неизбежно вообразит что-либо образное этой идеи: кандалы, слезы, сияние и т. п., так же как самая разнузданная фантазия не преминет дать пляске своих богов духовное содержание, вопрос лишь в тенденции, т. е. в искусственном разделении образности и мысли. Вышеприведенное разделение — трудновообразимые крайности. Замысел, по физической его видимости (будем держаться такого обозначения), возникает внезапно, и повод к тому, как бы он ни был мал, всегда коренится в желании вызвать определенное чувство. Мы удерживаемся от ссылки на рассказ По о процессе возникновения «Ворона» именно благодаря авторитетности этого имени и, следовательно, соблазна нанести удар сияющим оружием гения. Однако не все верно в его рассказе. Например, желание написать великое произведение (отправной пункт, Ворона, по утверждению По, есть желание общее в творчестве неподдельном, но много великих произведений написано без этого костыля). Возвращаясь к нашему изысканию, где мы переводим, так сказать, стрелку часов назад до тех пор, пока не раздастся их звон, воскрешая настроение часа минувшего, мы неизбежно приходим к желанию вызвать известное чувство, определенное, как к двигателю струн, резца, кисти и пера. Было бы жалостно нагромождать примеры и доказательства. Сказка,

например, взывает к чувству сказочности; бытовая повесть взывает «к порядку дня»... Чувство сказочности, сказали мы. Да, есть и такое чувство. И много есть еще странных, как цветы сновидений, безымянных, суровых в жадности своей чувств, которые мы по лени и по слабости языка человеческого определяем как настроение.

Занавес поднят. Избегая анатомии духа, невозможной в смысле окончательного исследования, скажу лишь, что история «Красных парусов», видимо, осязательно началась с того дня, когда благодаря солнечному эффекту я увидел морской парус красным, почти алым. Конечно, незримая подготовительная работа сделала именно такое явление отправным пунктом создания, но о ней можно говорить только как о предчувствии: я, например, слышу шаги за дверью и проникаюсь уверенностью, что неизвестный идет ко мне; я не знаю, кто он, как выглядит, что скажет и сделает, однако по отношению к этому еще не состоявшемуся посещению во мне работают неуловимые силы. Я ощущаю их, как теплоту или холод, но не властен понять. Наконец входит некто, в данном случае безразлично, кто бы он ни был, и я перехожу к ясности сознания, действующего по определенному направлению. Таким предчувствовавшимся, но не вошедшим лицом был, например, солнечный эффект с парусами.

Надо оговориться, что, любя красный цвет, я исключаю из моего цветного пристрастия его политическое, вернее — сектантское, значение. Цвет вина, роз, зари, рубина, здоровых губ, крови и маленьких мандаринов, кожица которых так обольстительно пахнет острым летучим маслом, цвет этот — в многочисленных оттенках своих — всегда весел и точен. К нему не пристанут лживые или неопределенные толкования. Вызываемое им чувство радости сродни полному дыханию среди пышного сада. Поэтому, приняв солнечный эффект в его зрительном, а не условном характере, я постарался уяснить, что приковало мое внимание к этому явлению с силой хаотических размышлений.

Приближение, возвещение радости — вот первое, что я представил себе. Необычная форма возвещения указывала тем самым на необычные обстоятельства, в которых должно было свершиться нечто решительное. Это решительное вытекало, разумеется, из некоего длительного несчастья или ожидания,

разрешаемого кораблем с красными парусами. Идея любовной материнской судьбы напрашивалась здесь, само собой. Кроме того, нарочитость красных парусов, их, по-видимому, заранее кем-то обдуманная окраска приближала меня к мысли о желании изменить естественный ход действительности согласно мечте или замыслу, пока еще неизвестному.

С этим неразобранным грузом, с этими мешками, хранящими, может быть, сокровища, а может быть, обломки и пыль, я ушел домой, где встретил Мас-Туэля и рассказал ему мою связь с явлениями солнечного эффекта.

Мас-Туэль только что вернулся из далекого путешествия, в котором, по обыкновению, совершил множество странных дел и видел то, чего мы никогда не увидим. Спешу описать его наружность, дабы меня не упрекнули в отсутствии реализма. Мас-Туэль имел 33 года, был прям и красив, как морская птица, с движениями, равными ее легкости и достоинству. В его блестящих черных глазах чувствовалась душа владыки, обреченного жить под чужим именем. Его негромкий, авторитетный и ясный голос звучал свежо, как кларнет летним утром на воздухе. Он был гармонически худощав, коротко стригся, брил бороду, черные шнуркообразные усы его имели форму бровной дуги. Его одежда не представляла чего-либо особенного, за исключением того, что всегда было дорожной одеждой: сапоги, куртка, плащ и легкая беличья шапка. Только дома он одевался иначе, а как — рассказать это мы соберемся в другой раз.

Выслушав, Мас-Туэль сказал:

— Действительность идет вам навстречу. Некоторые очертания вашей неясной теме даны фактами, я тоже играл в них некоторую роль, на берегу Овального залива, как раз милях в сорока от того места, где мы узнали друг друга. Хотите послушать?

И он улыбнулся с той мужественной интимностью, какая влекла к нему женские и мужские сердца. Я вскричал «Да!» с не меньшим восторгом, чем выразил бы это самому вдохновению, кладущему вам подчас на плечо свою безупречную руку неожиданно и капризно.

Вернемся к витрине. Увидев бот, я вспомнил рассказанное Мас-Туэлем, вспомнил и то, что согласно моему плану должно было войти в развивающуюся

так далеко отсюда действительность. Я испытал сильнейшее желание узнать все случившееся за этот промежуток лет, чтобы наконец закончить историю «Красных парусов» во всех подробностях фантазии, вытекающих из подробностей реальных. С этой целью я приехал сюда, в город, наиболее посещаемый Мас-Туэлем: только он мог сообщить мне дальнейшую судьбу Ассоль, ее друзей и врагов...

МОТЫЛЁК МЕДНОЙ ИГЛЫ

I

Архивариус военного суда Ворвий Гизель, возвратясь с службы, прошел на кухню, чего никогда не делал, и остановился перед плитой, где старая Эфросиния, женщина мышиного типа, с острым носиком под очками и бойко играющими лопатками узкой сутулой спины, прижав локти, размешивала соус с капорцами и красным перцем.

Сорок лет назад она готовила для Гизеля молочную муку Нестле. Поэтому Гизель нисколько не удивился, услышав:

— Вам что здесь нужно, Ворвий?

Это был голос занятого человека, с оттенком досады. Эфросиния даже не обернулась. Цилиндр, плащ с капюшоном, зонтик, очки и яркие щечки Ворвия она отлично видела в безукоризненном блеске медной кастрюльной выпуклости.

— Как устроено... э...— застенчиво сказал Гизель,— устроено тут с плитой? Как она топится? Не выпадают ли на пол угли? Вот это я хотел посмотреть.

— Угли?— спросила старушка, с неодобрением игранув своими выразительными лопатками.— А что вам угли?

— Вы живете в своем мире,— кратко продолжал Гизель.— Вы целиком ушли в... хозяйство. В кухню и тому подобное. Я не осуждаю. Но я, пользуясь вашими хлопотами, имею свободное время, в течение которого читаю газеты. А читать газеты — значит жить общественной жизнью. Вот почему мне стало известно, что сегодня ночью произошло еще три пожа-

ра. Во-первых, сгорел только что отстроенный дом в шесть этажей, милая Эфросиния. Это кое-что; во-вторых, истреблены огнем восемь товарных складов. И в-третьих, от театра Бельвью на Камском бульваре остались дымящиеся развалины. Таково действие огня. Я мнителен, Эфросиния. Сознаю: это мой недостаток. И я зашел посмотреть, зашел мысленно представить, не выпадают ли из плиты угли, и если выпадают, то не могут ли они произвести пожар. Вот все. Я совсем не хотел вмешиваться в ваши дела.

— Бывает, что угли и выпадают,— сказала, смирясь, старушка, но, как вы знаете, здесь каменный пол. С этой стороны вам нечего бояться, Ворвий.

— Я тоже думаю,— подхватил Гизель,— и я очень вам благодарен, что пол... гм... каменный. Я хотел только взглянуть,— на всякий случай, конечно, так, ради...— не знаю ради чего,— нет ли среди каменных плит пола какой-нибудь щели... иль... обнаженности, так сказать, деревянных частей...

Здесь незамужнее сердце Эфросинии перебило Гизеля со строгостью самого Закона, которому он служил:

— Вы удивительно неприличны сегодня, Ворвий. Что вы хотите сказать этими словесными выкрутасами?

— Какими выкрутасами?

— Можно притворяться, что не понимаете, но вам любой ответит, что слово, которое вы употребили в отношении «деревянных частей», слово неприличное... ужасно грубое слово.

— Я ошибся,— встрепенулся Гизель.— Я хотел сказать — не попадет ли уголь на дерево. Кроме того,— продолжал он, со страхом наблюдая усиленную деятельность лопаток, но решась уже выговорить все сразу,— когда вы ходите со свечой в кладовую, не грозит ли опасность с этой стороны в виде могущей вспыхнуть паутины, бумаги и подобных вещей, легко охватываемых огнем. Быть может, какой-нибудь предохранитель...

Неизвестно, что подумала о последних словах старая кухонная фея, но она фыркнула. Мы не хотим сказать этим ничего плохого о ее нравственности. Она фыркнула от презрения к умственным способностям Ворвия Гизеля.

— Так вы думаете, что это случайность? — спросила она, оборачиваясь к Ворвию с раскрасневшимся от

огня, язвительно играющим лицом. Тут она заглянула в ложку, которой мешала соус, и вкусно облизала ее.

— Я не читаю газет, но мне кошка на хвосте приносит. И ворона. Да-с! Они тоже живут «общ-щест-т-венной» жизнью: город горит две недели. Сгорело восемнадцать зданий. При чем тогда, спрашиваю я вас, «охранитель», о котором вы говорили с таким торжественным видом, желая, конечно, дать мне понять, что вы умнее меня? О! Я не оспариваю. Я глупа, стара, да. Вы моложе, вы образованы; вы даже не женились от большого ума. Так. Когда я говорю «так» — это значит, что я все обдумала. А вы твердите о какой-то неосторожности, о...

Эфросиния обвела взглядом кухню, точно следя, не нашлась ли где эта смехотворная моральная величина, эта ошибка образованного ума Ворвия Гизеля — неосторожность.

— Я говорю, что не вижу неосторожности. Я вижу злодеяние, Гизель, упорное систематическое злодеяние черных злодеев. Ваша обязанность, как судьи,— схватить и казнить этих злодеев немедленно, иначе вы тоже преступник.

Хоть Гизель был только архивариус, Эфросиния не сомневалась, что служить в здании суда — значит, что ни говори, быть судьей.

— Преступник?! — вскричал Ворвий.— Повторите это еще раз, прошу вас. Но,— прибавил он поспешно, так как экономка из упрямства могла повторить что угодно сколько угодно раз,— известно ли вам...

— Схватить и казнить,— перебила старушка, энергично поджимая губы.— Не давая пощады! Немедленно!

— ...известно ли вам,— сказал Гизель, воровски вкладывая эти слова в перерыв дыханья Эфросинии,— что сложное развитие уголовного процесса не может происходить с конца?

Он вознамерился было тщательно ознакомить ее со всякими мелкими разветвлениями корней, питающих и производящих ствол преступления,— начиная с глубокомысленного установления «покушения на приготовление к покушению»,— но его остановил, остановив также боевое движение острых лопаток Эфросинии, громкий, как град, звонок. Медный колоколец, висевший у черной двери на лестнице, затрепетал с силой необычайной; Эфросиния открыла дверь, и в кух-

ню вошел человек с портфелем, худой, в черной огромной шляпе и обвисшем пальто, коричневой с синим клетки. Он был худ, рыж, веснушчат и нервен. В его движениях не было ничего положительного. Он не вошел, а как-то быстро ввернулся боком, перевернувшись на месте, и стал без нужды рыться в карманах пальто. Затем поздоровался, уронив шляпу.

— Дождь,— быстро сказал он голосом сморкающегося,— паршивый дождь. Добрый вечер, талантливая и суровая Эфросиния! Здравствуй, Ворвий! Хотя я звонил с улицы и мог бы уже давно поздороваться с вами.

— Прости, Вакельберг,— сказал Ворвий, беря от старого школьного приятеля шляпу и портфель,— но я только что вернулся со службы и веду хозяйственный разговор. Ты кстати, так как сейчас подадут ужин.

— Я не хочу есть,— сказал Вакельберг.— Мы, газетная хроника, обедаем только в моменты добродетельного состояния общества. Убийство, растрата, флёрдоранж — особенно там, где нас не пускают дальше передней,— мгновенно вырывают ложку из наших рук. Мы не доели еще и одной тарелки со времен Каина. Теперь эти пожары, или, как будет правильнее назвать их, поджоги. Ворвий, дай материал...

— И он должен поужинать,— решительно вступилась Эфросиния, разрезывая своим чепцом пространство меж Гизелем и Вакельбергом.— У вас, вы говорите, есть тарелка, Каин, и вы уже ели, а он не ел. Потрудитесь поужинать с нами.

— Ворвий,— нетерпеливо продолжал Вакельберг, рассеянно взглянув на экономку и бессознательно отстранив ее,— я скажу кратко, так как спешу. Редактор «Солнечных часов» сообщил, что двадцать лет назад город пережил подобную же серию пожаров, и поручил мне открыть это для публики. Статья должна стать одной ногой в прошлое, другой — в развалины театра Бельвю. Работать я буду ночью. Дай материал — процесс, дело, документы!

— Хорошо,— начал с задумчивостью Гизель, смотря в пар кипящего соуса,— но... Хотя я могу поехать с тобой сейчас. Однако, если ты имеешь час времени, мы могли бы поужинать. Это необходимо, и в этом доме никакое самое ужасное событие не вырвет у тебя ложку из рук.

— Нет! — с гневом подтвердила старуха.— Нет, пока я жива!

Вакельберг взглянул на часы.

— Хорошо,— сказал он, скрепя сердце.— Тогда я поеду в клуб утром.

— Клуб?

— О да. Это — тоже история. Вообще мы стали интересно жить, черт возьми. Ну, ешьте... то есть я хотел сказать, что так и быть, съем ужин. Хорошо. Но материал мне нужен немедленно. Идем же! — сказал он с тоской, почти грубо, и засмеялся.— Я очень устал,— сказал он.— Правда я хочу есть.

II

Съев очень немного и ежеминутно порываясь уйти, чем кровно оскорбил Эфросинию, смотревшую на него с жаждой похвал, Вакельберг увлек наконец, как ветер — бумажку, пищеварительно настроенного Гизеля к выходу и нанял извозчика. Отъехав несколько, извозчик направился было ближайшим путем, но Вакельберг вдруг сказал:

— Стой! Узнаешь ты прежний пустырь, Гизель?

Хотя Гизель следовал от дома к архиву и обратно единственным, раз навсегда определенным путем, почему город был ему знаком очень односторонне, но он счел нужным покачать головой.

— Да, совершенно не узнать пустыря,— сказал Гизель,— строительство развивается.

— О, кроткое существо! — воскликнул Вакельберг.— Но знаешь ли ты, что такое эта махина?

Действительно, постройку можно было определить словом «махина». Она напоминала белый застывший взрыв чудовищного снаряда, поднявшего на воде взмет пены выше высоких мачт. Между тем дома, прилегающие к этой постройке, были плоски, как кирпичи. Ночь мешала рассмотреть здание. Кое-где остались еще леса, но так мало, что, по-видимому, в доме со дня на день должна была зазвучать жизнь.

— Что это? — сказал Гизель.— Не музей ли это? А может быть, храм?

— Просто чудовищный особняк,— ответил Вакельберг.— Нам были бы не по средствам такие причуды. Довольно сказать, что дом выстроен в два с полови-

ной месяца. Вчера доставлены тысяча пятьсот ящиков с предметами обстановки, выписанной из Парижа и Лондона. Рабочих рук занято было десять тысяч. Все, как видишь, почти окончено. За одни чертежи уплачено архитектору Томсону двести пятьдесят тысяч. Внутрь никого не пускают, но ходит слух, что недра этажа достойны вздоха. Где же ты был, Гизель?

— Ты знаешь, что я живу уединенно и не интересуюсь чужими делами.

— Уединенно,— сказал Вакельберг, давая знак извозчику ехать дальше,— это все равно что к твоему окну подъехал бы автомобиль, а ты не услышал его грохота. Еще более удивлю тебя. Хозяин дома — некто Струк, старик; ему восемьдесят пять лет. Он приезжий и, как говорят, нищий.

— Нищий? — сказал Гизель.— Как это понять?

— Нищий, потому что он выиграл огромное состояние, начав с медяков. Но он был нищим. Следовательно, его богатство случайно, и его душа — душа нищего.

— У тебя был с ним разговор?

— Нет. Его история развернулась так быстро, что я среди других дел не имел еще возможности гоняться за стариком. Сегодня узнал я, что он приехал и будет играть в казино Фай. Я советую тебе поехать с женой, посмотреть на это чудовище. Говорят, он срывает все банки. За ним следуют толпы обыгранных, в надежде насладиться когда-нибудь зрелищем его разорения.

— Что же,— сказал Гизель,— раз я в твоей власти — веди куда хочешь.

Говоря так, он лишь прикрывал словами свое настроение. Против обычного, оно на этот раз увлекало его прочь от дома, что он приписывал заразительной манере Вакельберга. Отчасти он завидовал его подвижной жизни. Ему хотелось неиспытанных впечатлений. Он как бы собрался выкупаться; удивлялся себе, но не протестовал.

В это время мрачное здание суда, занимающее целый квартал, показалось на набережной. Возле ворот маленькая дверь, ключ от которой чиновник всегда носил при себе, вела в царство Гизеля.

Приезжие, отпустив извозчика, прошли по озаренному коридору в дальний конец здания, под низкий сводчатый потолок, к отменной чистоте шкапов красного дерева и озаренной безлюдной тишине, скрывающей от мира память его дел.

Гизель остановился около конторки с реестрами и, взяв от Вакельберга справку, принялся хлопать томами. Тень переворачиваемых листов металась по помещению. Журналист, сцепив на спине руки, бродил около шкапов, заглядывая в их бумажные толщи, и думал о жизни Гизеля. «Да, можно привыкнуть к ткацкой работе мысли среди казенных бумаг, к плесени упоминаний и цифр; к свету, отраженному зелеными абажурами, к солнцу сквозь решетку железных лоз, отделяющую готическую нишу от тротуара. Шкапы красного дерева с узкими проходами меж них, хранящие летопись преступлений, несут мир и уют скромной душе, довольной однообразным распределением дня...»

Вдруг увидел он желтую бабочку, приняв ее сначала за моль. Она порхала среди шкапов, иногда приближаясь к Вакельбергу так близко, что он сделал попытку ее схватить.

— Эй! — вскричал он Гизелю,— смотри, кто летает у тебя по архиву!

Гизель обернулся в то время, как бабочка начала кружиться около его лампы, и потому увидел ее не сразу.

— Бабочка? — спросил он с недоумением.

— Ну да, хватай ее, вот она, там!

Вакельберг бросился к лампе.

Теперь увидел насекомое и Гизель. Бабочка была ярко-желтого цвета, с лиловой каймой, бархатиста, как те тропические создания, какие мы видим в музеях. Лениво трепеща крыльями, она казалась светлым цветком, получившим таинственное движение.

— Никогда не видал таких! — кричал Вакельберг, хлопая шляпой и руками по воздуху, в то время как Гизель старался ударить насекомое папкой. Но бабочка прошла невредимо между их рук и, подавшись выше, запорхала под потолком, куда еще раз тщетно швырнул шляпой восхищенный Вакельберг. Приятели побежали вокруг шкапов, заглянув в самые отдаленные углы архива, но больше не увидели пламенную Сильфиду; она исчезла. Села ли она и замерла где-нибудь наверху шкапа или забилась в щель — установить не удалось.

— Она вылетела! — сказал Гизель.— Видишь, это окно открыто. Но зачем тебе эта бабочка? Пусть летит.

— Зачем? — повторил Вакельберг.— Не знаю, только мне смертельно хотелось ее поймать. Это было так красиво в твоем склепе! Ну, бросим. Нашел ты то, о чем я просил?

— Здесь ничего не надо искать,— ответил Гизель с очаровательной сухостью специалиста, самолюбие которого задето пустым вопросом.— Ведь документы. Шкап шестой, полка вторая, дело 157. Но...

Он протянул ключ к шкапу и остановился.

— Что случилось, Гизель?

— Вакельберг, странное чувство останавливает меня. Действительно ли нужны тебе эти бумаги?

— Однако?!

— Мне кажется, что лучше бы их не трогать.

— Но почему?

— А знаешь, откровенно скажу тебе. Что-то останавливает меня.

— Соус,— смеясь, возразил Вакельберг.— Большое количество жгучего соуса. Оставь свои предчувствия и подавай бумаги.

— Вот они.— Гизель, перепластав часть слежавшихся кип, извлек рыжую по краям от ветхости папку.— Спрячь, не потеряй, но... Да, это чувство не покидает меня. Мы кладем начало странному делу.

— Начало или конец — все равно мне,— сказал Вакельберг,— и правда хорошо иногда так сказать, как сказал сейчас ты, в неурочный час в потаенном месте. Похоже, что начинается какой-то роман с твоим личным участием. Идем.

Он вложил папку в портфель; тем временем Гизель запер шкаф. Сделав это, чиновник направился к раскрытому окну, где повернул скобу.

— Окно должно быть закрыто,— пояснил он.

— Верно,— сказал Вакельберг.— Будь самим собой до конца. Порядок прежде всего.

— Если хочешь, я открою его опять,— возразил обидчиво Гизель,— хотя мне кажется, что так лучше. Однако идем.

Он завернул электричество, кроме лампы в коридоре. Пройдя коридор, он потушил и этот огонь. Затем тщательно запер входную дверь.

Приятели удалились. Архив погрузился в оцепенение. Некоторое время тишина и тьма стояли здесь в дружном объятье. Затем у того окна, которое закрыл, уходя, Гизель, звеня, вылетело стекло, и в отверстие

с улицы метнулась неведомая рука, бросив смоляной факел. Больше не произошло никаких движений. Огонь, озарив низы шкапов, тронул кипы газет, тотчас начавших дымить, как печная труба. Пламя, язвя слежавшуюся бумагу, поползло вверх и забушевало костром...

III

Клуб не помрачал роскошью и простором; наоборот, все помещения здесь были массивны, тесны; разделены вместе с тем колоннами, переходящими в острый разбег изогнутых сводов. Старинная тяжелая мебель, старинные люстры и занавеси, никогда не пропускающие дневного света, создавали чувство устойчивости. Раз навсегда были изгнаны ставки, доступные улице. Самоубийство приветствовалось, как реклама. Ни один шулер не мог проникнуть сюда, так как администрация знала наперечет всех мошенников, благодаря собственному беспощадному сыску. Сюда ездили богачи. Несостоятельные предпочитали смотреть на игру, чем волочиться за мелкой картой в дешевом притоне.

Остановясь у подъезда, как вылез из фаэтона, Гизель сказал Вакельбергу:

— Теперь не знаю, зачем я приехал.

Блестящие взгляды скользили по зрителям. Запах духов и дорогих сигар казался запахом финансовой мощи, какой были овеяны все эти решительные фигуры. Зрители, окружив стол, вполголоса называли известных лиц. «Это 〈...〉, угольный король».—«А это кто? Мрачный, как шкап?»—«〈...〉, отец 〈...〉 Дак».—«Ну, а тот, хищный, с лицом румяной старухи?»—«〈...〉, железо; пять миллионов».—«Так, а молодой розовый слон с детским ртом?»—«〈...〉, фабрикант дамских чулок». Так, один за другим, перечислялись имена и капиталы.

— Где же Струк?—сказал непривычно оживленный Гизель.

— Ты стоишь за его спиной.

— Как?! Этот?

Гизель невольно нагнулся, чтобы рассмотреть лицо.

Струку можно было придумать любой возраст от сорока до шестидесяти. Он сидел, сжав бритый подбородок рукой и не смотря никуда, кроме своих карт. Серебристо-седая голова, иронические ямочки на полных щеках, гладкие, как бы нарисованные, брови, зор-

кие голубые глаза, расширявшиеся до верхней полоски белки, если, всматриваясь, он поднимал взгляд, статный и крупный профиль мог еще и теперь заинтересовать женское сердце. Он не был толст, но строен и высок, и сидел грузно, давя стол локтем. Время от времени он с вежливой улыбкой отбрасывал карты и забирал ставки. Казалось, к удаче своей относится он как к интересной шутке. Но не так чувствовали себя партнеры. По мере того как крупные и все увеличивающиеся суммы росли около локтя Струка, лица его партнеров, не сдержав удручения, тем или иным образом выдавали его — движение бровей, тень глаз или нервный тик, торопливо разглаживаемый холеной рукой, явственно выдавали весь жар крайнего напряжения, вызванного столь беспощадной, роковой, неотстранимой удачей. Действительно, пока стоял и смотрел на игру Гизель, только один раз Струк был побит, но и то почти добровольно, так как не прикупил к трем, между тем как шедшая ему карта была пять очков. Он избегал ставить на чужую карту, своею же, когда наступала его очередь, поражал противника не задумываясь. Как ни приглядывался Гизель, не мог заметить в лице Струка никакого волнения. Струк играл так, как будто читал скучную книгу. Без малейшего колебания принимал он любые ставки и сам ставил так, что зубы банкомета скрипели. Он срывал все банки и выдерживал свой всё до конца, то есть до момента, когда явная нерешительность игроков вынуждала его бросить колоду.

Движение сумм, стекавшихся к этому удивительному игроку со всех концов разоряемого стола, было так значительно, что даже Вакельберг, видавший виды, стоял раскрасневшись, как молодая девушка на первом балу. Но было уже ясно, что так тянуться долго не может. У одних кончались деньги, другие потеряли охоту проигрывать, зная, что проигрыш обеспечен!

— Баста,— сказал один из самых величественных тузов,— это уже не игра. Я становлюсь смешон. Если бы вы,— обратился он к Струку,— захотели отдать только пять карт, вы могли бы обобрать нас до последней копейки, так как возникли бы хоть какие-нибудь надежды. Но вы честно бьете по карману и голове, не притворяясь, что не везет.

Он умолк, и все ждали, что скажет Струк. Создалось странное настроение глубокомысленной паники. Крупье сидели с видом людей, подавленных

присутствием божества. Игроки растерялись. Часть их покинула стол; иные остались, желая продолжать игру, которая, по их мнению, должна была рано или поздно пойти обратным концом.

Струк, не торопясь, собрал выигрыш, обменял его на банковский чек и сказал:

— Я никого не принуждаю играть со мной. Равным образом могу удалиться, если будет выражено желание, чтобы я не играл. Но малейшую двусмысленность по поводу моей игры я стану рассматривать как оскорбление.

Игра расстроилась. Сам Струк, по-видимому, не выражал желания принимать дальнейшее участие в ней, и крупье начал возглашать «свободное место». Пока он составлял партию, зрители расходились с лицами людей, получивших электрическое сотрясение. Вакельберг подошел к Струку.

— Я — журналист,— сказал он,— и если вы ничего не имеете против, прошу вас о небольшом интервью.

Видя, что их окружают, Струк взял Вакельберга под локоть и отвел в сторону. Гизель, все время теряясь от непривычных ему сцен, следовал, потирая руки, за Вакельбергом, отчего Струк оглянулся с неудовольствием.

— Это мой друг, Гизель, чиновник суда,— сказал журналист,— и он скромен.

Поняв, что сказано между слов, Струк продолжал разговор втроем. Между тем игроки, народ рассеянный и непостоянный, как дети, оставили его внушительную фигуру для новых впечатлений, отчего теперь уже никто не мешал беседе.

— Интервью?! — спросил Струк.— Я могу поговорить, но не для газеты. Мне этого совершенно не хочется. Если вы дадите слово, что не сделаете из меня пожирателя змей, я могу удовлетворить ваше любопытство или расположение.

С досадой разведя руками, журналист вынужден был принять условие.

— Я знаю,— сказал он,— о ваших блестящих удачах в Орано, Сан-Риоле, Лиссе и прочих местах и смотрю на вас с несколько суеверным чувством. Как сами вы объясняете это?

— Вот вопрос, на который нечего отвечать,— грустно сказал Струк.— Я... играю. Чувство проигрыша мне неизвестно. Между тем я точно знаю, на какую карту, когда и сколько поставить, знаю также, когда зало-

жить банк, а когда снять. Но это, вероятно, инстинкт, получивший уродливое развитие. Я не делаю никаких усилий для торжества и обхожусь без внутреннего голоса. Движение играть или останавливаться у меня почти произвольно, как пищеварение. Но...— здесь едва заметная тень оторопи, прислушиваясь к чему-то, как при усилии сосчитать, прошла по его лицу.— Но,— закончил он,— я не всегда играл так безупречно удачно. Это было... давно. Да, я проигрывал; проигрывал всегда и везде; я был разорен.

— Вы? — вскричал Вакельберг.— Но как скоро подала вам руку Фортуна?

Лицо Струка вдруг угасло, отразив безучастие и нетерпение. Его как бы окликнул неприятный чужой голос.

— Я не отвечу на это,— сказал он,— имеете ли вы еще спросить меня что-нибудь?

— Ваш дом,— сказал Вакельберг,— ваша постройка...

— Дом?! — Струк несколько оживился.— Да, с этой идеей я живу, и сжился давно. Но должен быть — и он будет, я верю в это,— случай, когда я увижу, что построил его недаром. Но не мне предназначен он.

Видя, что речь Струка приняла странный характер и приписывая это волнению баснословной игры, Вакельберг хотел ближе подойти к интересующему его вопросу, но не успел. Раздались восклицания, смех, оглянувшись, все трое увидели, что клубная толпа глядит вверх, следя глазами за оригинальным явлением: среди матовых стекол люстр, подхваченная ослепительным светом, кружилась красная бабочка — как та или та самая, которая явилась в архиве. Не запах, не ветер полей — тронула она в душе Вакельберга, сердце его встрепенулось и сжалось. Меж тем, пламенно трепеща, мотылек спустился над столом и стал кидаться во все стороны, убегая от рук, пытающихся его схватить.

— Поймал! — вскрикнул молодой щеголь, сжав в поднятых руках кружевной платок. Мотылек, точно, исчез, и все думали, что он покажется из платка. Однако, раскрыв ловушку и даже встряхнув платок за угол, молодой человек ничего не нашел там — был и исчез...

— Гизель! — сказал Вакельберг.— Ведь бабочка второй раз перед нами. Мне почему-то нехорошо от этого. Однако куда же она подевалась?

— Ей-богу, я боюсь,— сказал Гизель.

— Чего?

— Не знаю. Вдруг стало пусто и холодно.

Оба посмотрели на Струка с одинаковым желанием сообщить ему, какое совпадение произошло в архиве. Но едва внимательный, любезный взгляд игрока сообщился им, как по зале тронулось и резко повернулось смятение. Вбежали новые лица. Они крикнули:

— Клуб горит!

— Суд горит!

— Целый квартал в огне!

Гизель заметался и побежал к выходу. Вакельберг не отставал. Вокруг них, давя и перескакивая через упавших, неслась спруженная толпа. Благодаря предусмотрительной администрации, выход был обеспечен. Вешалки были взяты с бою, но лишь наиболее хладнокровные нашли свои вещи; остальные, в том числе Гизель и Вакельберг, выбежали без шляп. Выбежав, они присоединились к толпе на другой стороне улицы и стали смотреть. Из окон третьего этажа плыл густой дым.

— В суд,— сказал, опомнясь, Гизель,— мое место там.

Он побежал рысцой в переулок, где светились фонари извозчичьего фаэтона. Вакельберг назначил тройную плату, и лошади понесли. В одном месте извозчик вынужден был остановиться, чтобы пропустить пожарный обоз. Вакельберг посмотрел на Гизеля и увидел, что тот плачет.

— Что это с тобой?— спросил журналист.— Неужели ты так расстроился?

Гизель, сморкаясь, сказал:

— Архив! Вот что тревожит меня. Он может сгореть. А у меня был такой порядок, такое великолепие!

IV

Приехав на место пожара, приятели попытались пробиться к подъезду, но толпа и скопление пожарных машин были так густы, что они поневоле остались сзади. Во всех окнах огромного здания горел свет, застилаемый дымом. Пожар начался с нижнего этажа, и, по-видимому, не менее чем полчаса назад, так как уже были везде, в окнах и на крыше, римские фигуры пожарных, меж тем как верхнее пространство за крышей над внутренними дворами здания отсвечивало огненными клубами, метающими дым и красный свет

в вихре теней. Осматриваясь, Гизель увидел знакомого сторожа, прибежавшего из квартиры, и, остановив его, спросил, как все это случилось.

— Боюсь, что началось в архиве,— ответил сторож,— так говорят, и вам видно тоже, что огонь снизу. Вам уж туда теперь не попасть.

Тем временем Вакельберг расспрашивал у пожарников. Сторож был прав. Вакельберг прощально посмотрел на Гизеля и понял по ответному взгляду приятеля, что они думают об одном.

— Слушай, Гизель,— сказал Вакельберг тихо,— надеюсь, ты не подозреваешь меня?

— Нет,— ответил Гизель, подумав,— однако...

— Ну?!

Гизель посмотрел так выразительно, что журналист понял его.

— Чтобы не было разговоров,— сказал, оглядываясь, Гизель,— мы были, но мы в то же время и не были. Нас никто не видел.

— Пусть так,— кивнул Вакельберг.— Это, конечно, лучше. Но что ты намерен делать?

— Отпусти меня,— сказал Гизель, дрожа от неожиданных потрясений.— Я не могу больше быть здесь. Мне худо. Я, может быть, болен. Я уйду.

Действительно, его лицо выказывало полную немощь выбраться из-под обвала страшного впечатления. Тогда, усадив приятеля в фаэтон, Вакельберг приказал извозчику ехать как можно скорее и остался в толпе. Его усталость исчезла. Комкая записную книжку, с карандашом в зубах и папиросой меж пальцев, пробился он сверхъестественными усилиями за черту пожарных машин и стал слушать, что говорят, выспрашивая каждого, кто мог дать картине события новый штрих. Таким образом журналист готовил заметку дня. Так как он не расставался с портфелем, материалы Гизеля были целы. В то же время в уме его возникла одна из тех героических мыслей, какие при удаче мгновенно превращают затертого конкуренцией газетного работника в звезду первой величины. Именно поэтому не следовало уходить отсюда, а положить этот пожар началом событий и тщательно смотреть, не обнаружится ли конец нити, ведущей к темному жерлу тайн.

Хотя созваны были все пожарные части и население помогало тушить, сколько могло, огонь дочиста разгромил здание. К третьему часу ночи улица против суда

была так загромождена автомобилями и фургонами, спешно вывозившими бумажные ценности, так усеяна хламом и наспех вытащенной мебелью, что уличное движение в том месте стало. Из окон вырывались белые пары водяных струй, напоминающие град белых ракет, взвивающихся беспрерывно от мостовой. Огонь полз через окна вверх, черня и лижа простенки. Над пустотой дворов стояло зарево, колеблемое густым дымом, дикий, больной свет пожара, факелов и запах гари распространяли сдержанное неистовство, настроение ужасной и веселой беды. Все ядовитые инстинкты человеческого сердца получали здесь, в зрелище этом, сладкий, безопасный выход, и можно было немало подсмотреть глаз, с упоением отражающих плеск красных огней. Неестественное оживление соединяло незнакомых людей, вступавших в расспросы и разговоры друг с другом так охотно, как никогда в другом месте и ни при каких других обстоятельствах. Звуки пожара гремели подобно маршу. Жажда катастрофы, не оставляющая нас, может быть, со времен потопа, звала на каждом шагу видеть огонь и бум паники, при условии полной безопасности созерцателя. Так — увы! — смотрело бы большинство людей на землетрясение с воздушного шара, не потому ли картины грандиозных разрушений привлекают более всего публику в безопасный кинематограф?

В одном месте толковали о причинах пожара. Прислушавшись, Вакельберг понял, что причина не установлена, так как горячо обсуждался уже вопрос о мальчике в голубой шапке, приехавшем будто бы на велосипеде с зажигательной бомбой в руках. Но никто не оспаривал поджогов, и все ругали полицию. Между тем Вакельберг знал, что сыск двинул свои лучшие силы. Это не помешало ему отделываться каждый день в газетах и официальных бюллетенях лишь глухими обещаниями «скоро напасть на след». Уже шли к концу третьей недели эти непрекращающиеся пожары, выхватывая все более значительные дома, разрушая все больше имуществ, пылая все торжественнее и чаще. «Что же полиция? — сказал себе Вакельберг.— Или есть действительно исключительная организация, способная дать сто очков вперед любому Шерлоку?»

Он рассуждал с собой, пока не дошел до слова «мерзавцы», незаметно для себя обронив его вслух. Заметил он рассеянность свою, лишь когда рядом с ним некий человек выразил согласие с этой оценкой и, сочув-

ственно взглянув на Вакельберга, прибавил: «Вы говорите о поджигателях. Они есть, я чувствую это. Но слишком велика дерзость на этот раз, чтобы преступление не открылось».

Неизвестный выговорил это так страстно, что Вакельберг не мог сомневаться в искренности его чувств. Но журналист обладал лишь энтузиазмом ищейки. В душевных увлечениях для него всегда была граница, переступив за которую, он улыбнулся бы сам над собой. Однако лицо человека, так смело подхватившего его рассуждение, не располагало к иронии, уже готовой привычно отразить всякий искренний натиск, всякий момент душевного жара. Это лицо было сильнее иронического настроения Вакельберга, хотя неизвестный был моложе собеседника. Окладистая, черная курчавая борода, матовый оттенок кожи, большие, немного печальные черные глаза и резкая, но не неприятная улыбка внушали решительное доверие. Его прямые, ниже плеч, черные волосы лежали рассеянными прядями, как у охотника или полукровного пастуха. Небольшие усы сходили к углам губ. Незнакомец спокойно стоял, завернувшись в длинный черный плащ из блестящего шелка. Соломенная шляпа с небрежно изогнутыми полями была украшена пером ястреба. Фигура эта как бы вышла из живописных страниц Густава Эмара, и Вакельберг, топчась, отметил всю оригинальность наружности собеседника, невольно связывая ее с характером.

— Быть может,— сказал он,— но если бы их поймали, от них останутся лишь небольшие разрозненные куски.

— Разрозненные куски,— повторил неизвестный.— Да их убьют не спрашивая, не пытаясь установить, виновны ли эти люди; довольно, чтобы они были заподозрены в момент ярости. Кто бы ни был — ребенок, мужчина, женщина. Но какова смерть!

— Ужасна,— сказал Вакельберг.— Но она равна общему бедствию.

— Если преступник...

— Конечно, если это преступник. Но, к сожалению, вы правы. Уже убито трое по подозрению, чего, кажется, не избежать в таких случаях.

— Посмотрим, что будет дальше,— возразил незнакомец.— Следовало бы разыскать негодяев.

— Эта мысль явилась у меня теперь,— сказал Вакельберг,— и, взглянув на вас, я подумал, что

соединенный инстинкт охотника и журналиста сильно подвинул бы дело вперед.

— Я не охотник,— ответил неизвестный.— То есть я не охотник-промышленник, однако охоту, как все живое, люблю. Вы журналист?

— Вакельберг, постоянный сотрудник «Голоса» и «Волны».

— Мое имя,— сказал неизвестный с некоторым затруднением,— мое имя: Акпагат, Ак-пагат,— раздельно повторил он, как бы прислушиваясь к звукам этого слова. Он задумался, затем встрепенулся, сказав: — Есть ли у вас план действия?

— Прежде всего,— осторожно начал Вакельберг,— я хочу узнать, о чем мы говорим в данный момент.

— О том, чтобы соединить мои и ваши усилия.

— Я не прочь,— сказал Вакельберг,— есть и пословица: «Ум хорошо, а два лучше». Но прежде всего должны вы знать, что журналист — наглец по призванию; он состоит из вопросов. Его пища — ответы. Поэтому я спрошу вас — кто вы?

— Едва ли насытитесь вы на этот раз,— ответил Акпагат с любезной, но твердой улыбкой.— Однако я могу сказать, кем я был раньше.

— Я не вправе требовать откровенности, и если спросил вас, то лишь по естественному движению нашего предполагаемого союза. Теперь, когда мне ясно ваше нежелание говорить об этом, я не знаю, стоит ли касаться вашего прошлого.

— Думайте что хотите. Я был игроком.

— Благодарю вас,— сказал Вакельберг.— Я тоже игрок, но, увы,— несчастливый. Итак, по рукам. Может быть, новая игра принесет нам больше удачи.

— Так должно быть!

— Вот как! Но почему?

— Почему? — рассеянно повторил Акпагат.— Я думаю, что следует начинать немедленно. Теперь снова возникает вопрос плана или первого шага по крайности. Хорошо ли вы знаете город?

— Да, кроме трущоб,— сказал журналист,с любопытством наблюдая игру оживления в лице Акпагата.— Вы, следовательно, не Вереткин.

— О нет! — возразил Акпагат, снова подумав: как будто простые вопросы, подобные этому, были не всегда разрешимы.— Но я давно не был в Седрое. Да, именно так,— добавил он с ударением.— Я знаю

только, что мы должны держаться близ Нижнего рынка.

Эти слова со смыслом значительным, благодаря слову «знаю», едва не вырвали у Вакельберга решительного, прямого вопроса: не знает ли Акпагат также, где точно искать преступников. Среди толпы, красного света, запаха и гула пожара человек этот, в странном, не городском костюме, уверенно, хотя вскользь, сказавший незнакомому журналисту «знаю» и в то же время желающий предпринять совместные поиски, возбуждал сильное подозрение. И в то же время ничто так не соединило бы с ним газетчика, как это — может быть, случайно соскользнувшее с языка взамен более точного другого — словечко. Между тем в силу изысканной осторожности, какую следует отнести скорее к суеверию, чем к точному психологическому расчету, Вакельберг сдержал свой вопрос, хотя его бросило в жар.

— Идем,— быстро сказал он,— недалеко до Нижнего рынка, и там действительно есть углы, куда надо входить, оглядываясь. Однако каково было бы всеобщее изумление, если бы вместо волосатых убийц с мрачно горящими глазами пришлось арестовать компанию обыкновенных зубных врачей?

— Как?! — Акпагат тревожно и близко заглянул ему в глаза.— У вас есть подозрение?

Вакельберг перестал понимать что-нибудь.

— Я думал, что есть подозрения у вас,— сказал он, пожимая плечами и сдерживая волнение.— Я пошутил. Я сказал о дантистах потому, что это смешно.

— Да, я понимаю.— Акпагат снова подумал с тем же несколько подавленным выражением, как при вопросе Вакельберга о том, кто он.— Но это не смешно, нет. Не смешно то, о чем думаю я. И у меня нет подозрений. Однако идем.

С этими словами не повелительно, но серьезно положил он руку на плечо Вакельберга, чтобы суметь чем-то оградить жест этот от фамильярности. Однако топтание, томление недомолвок и вся необычность разговора вывели Вакельберга из равновесия.

— Одно слово! — быстро сказал он, становясь прямо против Акпагата и вытянув как щит свой портфель.— Одно слово — и я сразу пойму вас, а вы, вы должны уже понимать, что у меня нет других целей, кроме профессионально журнальных. Ваша цель! Цель?! Месть?! Корысть?! Любопытство?

Акпагат медленно опустил руку; его взгляд выразил полнейшее одобрение этой выходке. Мгновение затем стоял он опустив глаза, когда же снова поднял их, они были полны гнева и нежности.

— Ни то, ни другое, ни третье,— ответил он,— есть еще цель. Но вы удивитесь.

— Я уже удивился.

— Радость,— сказал Акпагат.

— Радость? Не злая ли?

— О нет. Но та радость, которой не было.

Он произнес эти слова с тем важным и прекрасным оттенком, что был убедительнее всех пояснений. Тогда Вакельберг понял, что он пойдет с этим человеком без тени недоверия и будет уважать его молчание до тех пор, пока он не заговорит сам.

— В таком случае,— сказал Вакельберг,— нам здесь нечего больше делать. Следует, я полагаю, переодеться. И прежде всего — но это займет один час — я должен просмотреть документы, ради которых неожиданно и нехотя поужинал у Гизеля.

V

Это доверие к лицу, встреченному впервые, это взаимное соглашение в обстановке пожара, движение по первому побуждению, решимость двинуться и искать сейчас, не спустя время, могли бы при взгляде на себя со стороны мгновенно отвратить Вакельберга как от задуманного, так и от союза с человеком, о котором он знал только, что имя его: Акпагат. Но взгляд со стороны — этот противовес наших поступков — отсутствовал. И менее всего, конечно, мог заметить это сам Вакельберг. Он думал, что говорил, а говорил то, что вытекало по смыслу положения. Короче говоря, он поступил так, как не поступал никогда, но не чувствовал беспокойства; лишь оживление, чрезвычайное, жаждущее столь же быстрого темпа, каким ступил он на тропу розыска, мучило и толкало его к Нижнему рынку, где слово «знаю» должно было соединить его нетерпение с таинственной очевидностью. Однако было бы ошибкой сказать, что он ожидал немедленного разрешения всех вопросов — от Акпагата или от его поведения. Он лишь подозревал, что у Акпагата есть некий плюс, могущий при удачной совместной игре

дать быстрый положительный результат. К расспросам, если понадобится, намеревался он приступить потом, когда выяснится что-нибудь действительно наводящее, а пока что был настроен в духе судьбы.

На состоянии Вакельберга в этот момент мы остановились с некоторым вниманием потому, что читатель должен отметить его для уяснения связи между событиями.

Дело было начато; оба отошли к противоположной стороне улицы, где гарь и горячий ветер пожара мучили не так нестерпимо. Отсюда, с ближайшего угла, вниз вел ступенчатый переулок-лестница, в конце которого блистали шары кафе.

— Одно мгновение! — сказал Вакельберг.— Присядьте, если хотите, у столика и спросите вино. Впрочем, я тоже выпью.

Оба сели, не удаляясь слишком от двери кафе, и, рассеянно нашаривая рукой стакан с вином, Вакельберг другой рукой открыл портфель. Синяя толстая тетрадь вывалилась на его колени. Он развернул «Дело». На первой странице ряды рыжих строк показали ему тотчас, что он собрался просмотреть: «Дело по обвинению граждан города Седра 〈...〉 и 〈...〉, обвиняемых в подделке правительственных печатей с целью сокрытия злоупотреблений».

Взглянув дико на Акпагата, Вакельберг быстро раскрыл тетрадь, но протоколы и другие вложенные туда бумаги не имели явно никакого отношения к делу о поджогах, возникшему пятьдесят лет назад. Гизель ошибся. Единственной причиной его ошибки могли быть цифры обложки, смотря по тому, каким концом обернул бы ее к себе смотрящий: правильное положение имели бы цифры, какие стояли на ярлыке, то есть 691, в то время как перевернутый номер этот при беглом взгляде был 169.

— Не будь остального,— сказал журналист,— не будь всего, что привело меня на этот пожар, я мог бы, конечно, приписать ошибку случайности. Но эта случайность стала почти что тревожным обстоятельством.

— Я не знаю, о чем говорите вы,— сказал Акпагат,— по моему мнению, всякая ошибка — если только это ошибка — есть случайность.

— В таком случае всё ошибка и всё случайность,— возразил Вакельберг.— Мне ничего не остается, как заставить себя думать только таким образом.

— Вы расстроены?

— Я? О нет. Дело, видите ли, в том, что мне дали не ту справку. Но, в сущности, беда не велика. Теперь мы можем идти.

— У вас есть план? — рассеянно спросил Акпагат.

— Вы спрашиваете меня об этом второй раз, — медленно, с глубоким, внимательным удивлением произнес Вакельберг, — но мы уже условились спуститься к Нижнему рынку. Вот план деталей, если хотите: сбросить эту одежду, в которой мы заставим апашей любого притона разлететься, как куропаток при виде собак, заменить ее спокойным грязным костюмом и... и... да, войти на несколько дней в жизнь страшных углов.

— Который час? — вдруг спросил Акпагат.

— Два.

— Два? — Он повторил это задумавшись, с морщиной усилия между бровей. Она вдруг разгладилась, глаза вспыхнули, он встал с ясным, твердым и торопливым видом человека, четко знающего, что и как делать. — Идемте, — сказал он чрезвычайно взволнованно, — идемте к Нижнему рынку!

Была власть так действовать в этот момент в его лице, действующая, как верный тон на чуткое ухо.

— Идем! — сказал Вакельберг с неменьшим жаром. — Я вас не понимаю. Но я иду.

Они прошли молча несколько переулков, почти безлюдных в этот час ночи, затем обогнули длинную стену казарм 〈...〉 полка, заканчивающуюся 〈...〉 мостом, где...

ПРИМЕЧАНИЯ

В четвертый том вошли произведения крупной формы, опубликованные в 1923—1927 гг. В этот период А. С. Грином было напечатано и значительное число рассказов (более 50-ти), но именно в 20-е годы, судя по его черновикам, явно прослеживается тяготение к романной форме. Порою А. Грин обозначал только заглавия романов: «Голос крови», «Подвиг», «Две силы», «Дети Луны» и др. (см.: Центральный гос. архив литературы и искусства (*ЦГАЛИ*), ф. 127, оп. 1, ед. хр. 29, л. 1, 2, 6). В ряду едва намеченных в черновиках были и романы «Алан Петтерсон» (там же, л. 4); «Зеленая флейта» (оп. 1, ед. хр. 6,); «Огненная вода» и «Лебеди Эвереста Дирама» (оп.1, ед. хр. 31, л. 36—39; 40—54); «Феерия» (оп.1, ед. хр. 9, л. 1—49) и др. После названия следовали одна-две фразы либо более или менее развернутое начало—как правило, от лица некоего писателя, ибо в поисках сюжета А. С. Грин по большей части отталкивался от своих размышлений о психологии и перипетиях творчества. Наиболее показателен в этом отношении вариант «Алых парусов», известный по отрывку, начинающемуся словами: «Сочинительство всегда было внешней моей профессией, а настоящей, внутренней жизнью являлся мир постепенно раскрываемой тайны воображения...» (см. *Приложения*). По словам Н. Н. Грин, писатель, мучаясь над началом романа «Алголь», говорил, что «ему, привыкшему к малым формам, очень трудно оформлять впервые большую вещь»; но «впоследствии... он то же говорил о трудности перехода к малой форме—рассказу» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 18, л. 1 об.). В одном из черновиков А. С. Грин записывает и подчеркивает: «Каторжники воображения». И под этим «заголовком» следует как бы обозначение темы для раздумий: «писатели в виде арестантов каторжной тюрьмы, таскающие тяжести творчества» (оп. 1, ед. хр 64 (3), л. 120 об.). Возможно, «по контрасту» здесь возникает в памяти другой подход к той же теме: «Предельно овладев оружием эстетической выразительности и убедительности, заставить Пегасов возить

тяжелые вьюки практических обязанностей агит- и пропагработы...» (Литературные манифесты: от символизма к Октябрю. М., 1929, с.239). Так формулировали одну из «основных задач» искусства приверженцы футуризма. Резко неприязненное отношение к ним Грина общеизвестно. Несомненно, что в его мыслях о творчестве присутствовал и этот момент: реакция на различные литературные манифесты тех лет. Стремление «подышать воздухом без кружковщины», говоря языком Грина, вызывало острую потребность уяснить особенности своего, индивидуального, видения мира. В черновых набросках встречаем, например: «Не тему искал он, так как сам был своей темой, а сюжета, который событиями и интригой выразил бы главное его души» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 11, л. 17). Многие образы Грина стали олицетворением проблем искусства. Поэтому столь распространены в его прозе персонажи, профессионально связанные с творческой деятельностью,— писатели, журналисты, художники, музыканты. «Александр Степанович очень автобиографичен в своих произведениях,— писала Н. Н. Грин.— Во многих я отчетливо вижу черты его жизни, его размышлений о ней, о своем внутреннем, писательском». В его произведениях, утверждала Н. Н. Грин, как бы сосуществуют разные уровни, на которых «обычные будни сплелись с художественным восприятием действительности» (Советская Украина. Киев, 1980, № 8, с. 96—97). Сам писатель с явным неудовольствием отзывался о тех рецензентах, которые, как он писал, не связывали его творчество с «человеческой жизнью, литературой»; но «это потому,— продолжал он,— что, подумав обо мне... нужно потрудиться основательно... И хорошо знать мои произведения. Тогда только можно будет обо мне написать что-либо литературно внятное. А то — или авантюрное, или Э. По и т. д.» (цит. по. Сандлер В. Шел на земле мечтатель.— В кн.: Грин А. С. Джесси и Моргиана. Повесть, новеллы, роман. Л., 1966, с. 14). Грин оставался верен себе на протяжении всей своей жизни, и в 20-е годы он мог бы повторить то, что писал издателю В. С. Миролюбову (1860—1939) в 1912 г.: «...так как для меня перед лицом искусства нет ничего большего (в литературе), чем оно, то я и не думаю уступать требованиям тенденциозным, жестоким более, чем средневековая инквизиция. Иначе нет смысла заниматься любимым делом» (Воспоминания об Александре Грине. Л., 1972, с. 486). Однако критика творчества А. Грина зачастую бывала тенденциозной.

20-е годы были для писателя чрезвычайно плодотворными. Первые его крупные произведения («Алые паруса», «Блистающий мир») получили положительную оценку. Его стали рекомендовать как «одного из самых интересных прозаиков» (Печать и революция. М., 1923, № 3, с. 262). Но одни утверждали, что «Грин возвращает нас к романтике нашей юности, заставляя воспринимать творческую фантазию так, как должно», т. е. «не требуя от автора тяжелого

натурализма современного повествования, отягощенного вдобавок грузом «значительных идей» (Россия. М. — Пг., 1923, № 5, с. 31). Другие, напротив, говорили об активной сопричастности писателя бурям современности с ее «широко раздвинувшимися перспективами». Поэтому в романе «Блистающий мир» прежде всего выделяли социальную направленность: «свобода и высота внушают непреодолимый страх низменной буржуазной психологии» (Пролетарий связи. М., 1924, № 23-24, с. 1032). Параллельно с подобными оценками формировались и выводы явно негативного свойства — особенно начиная с 1924 г., т. е. с момента активизации РАППа в его нападках на непролетарских писателей («попутчиков»). Как и в дореволюционное время, стали отмечать несамостоятельность манеры Грина (его называли «талантливым эпигоном»), неоригинальность его стиля: «...и по сюжету, и по языку особенно писания его кажутся переводными» (Книга о книгах. Пг., 1924, № 7-8, с. 64 — 65). Появление романов «Сокровище африканских гор» и «Золотая цепь» вызвало упреки политического характера: Грина именовали «певцом империализма» в духе Р. Киплинга (Красное студенчество. М. — Л., 1926, № 2, с. 74). Идеологические инвективы усилились в пору, предварявшую первую (в советское время) дискуссию о романтизме, а также и в момент ее развития, когда рапповские теоретики стали настаивать на изгнании из художественной литературы нереалистических элементов, как якобы лишь «искажающих и мистифицирующих действительность» (Лит. газета. М., 1929, № 28, с. 2). В такой атмосфере писать становилось все труднее. В издательствах и редакциях журналов каждая вещь Грина, прежде чем пойти в печать, подвергалась затяжному обсуждению (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 161; *Архив А. М. Горького* — шифр КГ-П, 22-3-8). В 30-е годы, уже после смерти А. С. Грина, определяющими стали высокие оценки его творчества. С признанием его мастерства как писателя-романтика выступили: М. Шагинян [1], К. Локс [2], К. Зелинский [3], М. Левидов [4], Ю. Олеша [5], К. Паустовский [6], М. Слонимский [7] и другие писатели [8].

[1] Красная новь, 1933, № 5, с. 171 — 173.

[2] Тридцать дней, 1933, № 7, с. 68—69.

[3] Зелинский К. Грин.— В кн.: Грин А. С. Фантастические новеллы. М., 1934, с. 5—36.

[4] Литературная газета, 1935, № 9, с. 4.

[5] Там же, 1937, № 46, с. 3.

[6] Паустовский К. Жизнь Грина.— В кн.: Грин А. С. Золотая цепь. Автобиографическая повесть. М., 1939, с. 3—23.

[7] Слонимский М. А. С. Грин.— Там же, с. 24—34; Слонимский М. Александр Грин.— Звезда, 1939, № 4, с. 159—167.

[8] См.: Письма Э. Г. Багрицкого, В. В. Иванова, В. П. Катаева, Л. М. Леонова, Ю. Н. Либединского, А. Г. Малышкина, Н. Огнева, Ю. П. Олеши, М. А. Светлова, Л. Н. Сейфуллиной, А. А. Фадеева в изд-во «Советская литература» об издании посмертного сборника произведений А.С.Грина.— *ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 210.

В последующей критике «защитники» Грина, как правило, стремились подчеркнуть, что его города имеют реальные черты и что его герои близки по духу революционным тенденциям современности. «Противники» же писателя, напротив, наращивали арсенал средств для идеологических атак, отлучая его творчество от реальности и современности, от отечественных корней [1]. В действительности обе позиции вели к крайностям и упрощениям. Критика более позднего времени показала, что писатель остается интересен прежде всего силой своей выдумки, своей «всевременностью» (основывающейся на истинной современности), а не тем, как он понимал суть развития социально-классовых отношений эпохи. Те, кто утверждал, что писатель «не покинул сказочного бульвара Секретов и не вышел на площадь Революции» [2], были в определенной степени правы.

Думается, что справедливы суждения об универсальной, общечеловеческой значимости образов Грина [3], и не следует искать в его произведениях «поэтического заострения тенденций общественного бытия», изображения и разоблачения «характерных примет капиталистической системы», «буржуазной морали» и т. п. [4].

Писатель напряженно искал «наиболее общий строй природы, цивилизации, истории, человеческой психики». Поэтому мечтатель Грин, создавший «свою наивную, но проницательную феноменологию приключений человеческого духа в начале XX века», сегодня предстает перед нами еще и как «мыслитель — автор причудливых и емких парабол об удсле человеческом. Они еще не раз помогут людям...» [5].

АЛЫЕ ПАРУСА: Феерия. Отдельнос издание.— М.— Пг.: Л. Д. Френкель, 1923. 141 с. Глава «Грэй» печаталась ранее в газете «Вечерний телеграф» (Литературный подвал) — Пг., 1922, 8 мая, № 1, с. 3—4. При жизни А. С. Грина феерия вышла еще раз отдельным

[1] См.: Смирнова В. Корабль без флага.— Лит. газета, 1941, № 8, с. 4; Важдаев В. Проповедник космополитизма («Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина).— Новый мир, 1950, № 1, с. 257—272; Тарасенков А. К. О национальных традициях и буржуазном космополитизме.— В кн.: Тарасенков А. К. О советской литературе. М., 1952, с. 81—96.

[2] Дмитриевский В. В чем волшебство Александра Грина.— В кн.: Грин А. С. Золотая цепь. Дорога никуда. Л., 1957, с. 385.

[3] См.: Ковский В. Е. «Настоящая, внутренняя жизнь» (Психологический романтизм Александра Грина).— В кн.: Ковский В. Е. Реалисты и романтики...— М., 1990, с. 239—328.

[4] См.: Кобзев Н. А. Роман Александра Грина (Проблематика, герой, стиль). Кишинев, 1983, с. 29, 75, 82, 84 и др.

[5] Скуратовский В. Продвинуть человечество к счастью (К 100-летию со дня рождения Александра Грина).— Лит. газета, 1980, № 34, с. 5.

изданием (Харьков: Пролетарий, 1926. 116 с.), была включена в ПСС — т. 12. Корабли в Лиссе. Повести и рассказы. Л., Мысль, 1927.

Каперна. — Не случайно, вероятно, название селения было выбрано Грином по ассоциации с Капернаумом — «городом древней Палестины, жителям которого, по евангельскому преданию, Иисус предрек суровую участь за нечестивость» (Ковский В. Е. Романтический мир Александра Грина. М., 1969, с. 87).

«Летучий Голландец» — по средневековой морской легенде, призрачный корабль без экипажа или с экипажем из мертвецов, обреченный никогда не приставать к берегу; обычно предвестник бури.

Фантом — призрак, привидение, созданные воображением.

Лафит — сорт вина.

Аликанте — вино, названное по местности в Испании.

Кромвель Оливер (1599—1658) — деятель Английской буржуазной революции XVII в. (как бы «совмещал» в себе Робеспьера и Наполеона в событиях английской революции).

Робин Гуд — легендарный герой английских народных баллад, боровшийся с нормандскими завоевателями, неустрашимый атаман разбойников, защитник обиженных и бедняков.

Орфей — в древнегреческой мифологии сын музы Каллиопы, завораживавший своим пением не только людей, но и диких зверей, деревья, скалы, реки. Мифы об Орфее — участнике похода аргонавтов, изобретателе музыки, верном возлюбленном Эвридики, спустившемся за ней в царство мертвых Аид, использованы в литературе, изобразительном искусстве и музыке.

Арабеска — музыкальное произведение, изящное, причудливое и непринужденное по своему мелодическому строю.

Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец, представитель символизма и стиля «модерн»; в фантастических сценах, часто на мифологические темы, сочетал символику с натурализмом («Остров мертвых», 1880).

Иона — библейский пророк, по преданию, побывавший в чреве кита и вышедший оттуда невредимым.

Пороховая ступка Бертольда. — Одним из первых изобретателей пороха и огнестрельного оружия в Европе XIV в. считается немецкий монах Бертольд Шварц.

Аспазия (Аспасия) — выдающаяся женщина Древней Греции, отличалась умом, образованностью и красотой; в ее доме собирались художники, поэты, философы. Жена афинского вождя Перикла (с 445 г. до н. э.).

Один из первых рецензентов феерии отмечал: «Милая сказка, глубокая и лазурная, как море... Грин любит выдумку, маскарад, экзотику, все необычное и не похожее на действительность, но в свои

произведения он обязательно вносит душу, жизнь...» (Красная газета. Веч. вып. Пг., 1923, 29 марта, с. 6). Резко противоположное мнение высказал другой критик, назвав повесть «паточной феерией»: «...какая же это дешевая сахарная карамель! И кому нужны его россказни о полуфантастическом мире, где все основано на «щучьих велениях», на случайностях... Пора бы, кажется, делом заняться» (Литературный еженедельник: издание «Красной газеты». Пг., 1923, 27 января, с. 15). Отдадим должное проницательности критика Н. Ашукина: «Новая книге Грина на титульном листе названа повестью, но на шмуцтитуле стоит другой подзаголовок: феерия. Мы не знаем, есть ли в этом различии подзаголовков воля автора или (что теперь часто) типографская ошибка; ошибка в данном случае счастливая. Сказочное волшебство феерии, сливаясь с четкостью жизненных образов повести, делает «Алые паруса» книгой, волнующей читателя своеобразным гриновским романтизмом» (Россия. М.— Пг., 1923, № 5, с. 31). Неиспользованные варианты феерии свидетельствуют о том, как долго искал Грин форму повествования, точно отвечающую его замыслу.

Повесть была задумана в 1917—1918 гг. В период гражданской войны А. Грин был мобилизован в Красную Армию и некоторое время служил связистом. В его вещевом мешке хранилась смена белья и главы начатой повести «Красные паруса». Писатель сделал первый набросок — мысли его кружили вокруг революционного Петрограда. Очевидно, что город не вызывал у него восторга. Напротив, нагнеталось ощущение подавленности и отчуждения: «...разрушение можно было подметить в лицах даже красногвардейцев, шагавших торопливо, с оружием за спиной, к неведомым целям... Нева казалась пустыней, мертвым простором города, покинутого жизнью и солнцем... В атмосфере грозной подавленности, спустившейся на знакомый, но теперь чужой город, было нечто предвосхищенное: де Лом (один из неиспользованных образов первого варианта феерии.— *А. Р.*) как бы пришел из будущего в теперешнюю, ставшую прошлым, историческую эпоху. Так бы почувствовал себя человек нашего времени, обращенный к наполеоновским войнам или к французской революции...» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 1). Творческое воображение Грина искало «необычных обстоятельств», способных передать его жажду преодоления «некоего длительного несчастья или ожидания», как сказано в этом первом наброске феерии. В нем стоит обратить внимание и на фразу о «фантастической войне всех против всех, напоминающей циклон, где место пыли заняли человеческие дела и судьбы...».

Неиспользованные варианты обнажают далеко не радужные настроения, владевшие писателем в момент работы над повестью. «Живая мечта» — так говорил А. Грин в первом варианте рукописи о содержании будущего произведения. Однако «источники питания»

она получала исключительно от страстной («почти религиозной», как сказано в самой повести) веры в чудо, а не от настроений действительной жизни. Ибо «даже в чаду горчайших разочарований» люди не отвращают взор от надежды — «от замкнутого свитка судьбы, в котором, как они знают, кроется для них верное обещание» (*ЦГАЛИ,* ф. 127, оп. 1, ед. хр. 2, л. 38—38 об.).

«История «Красных парусов»,— писал А. Грин в первом варианте повести,— видимо, осязаемо началась с того дня, когда благодаря солнечному эффекту я увидел морской парус красным, почти алым... Надо оговориться,— подчеркивал далее А. Грин,— что, любя красный цвет, я исключаю из моего цветного пристрастия его политическое, вернее — сектантское, значение... Цвет этот — в многочисленных оттенках своих — всегда весел и точен. Приближение, возвещение радости — вот первое, что я представил себе...» Грин настойчиво фиксирует внимание на «зрительном», а не «условном» (политическом, сектантском) восприятии «красного» цвета [1]. Возможно, что именно с целью оградить себя от подобных ассоциаций он и переименовал «красные» паруса в «алые».

В окончательном тексте феерии цвет этот насыщен глубоким символическим смыслом, ассоциируясь с образом «огня». В гриновской поэтике он всегда взаимодействует с другим емким образом — «воды». У Грина есть рассказы «Огонь и вода», «Белый огонь», «Земля и вода», «Огненная вода» — под таким названием он даже намеревался создать роман (*ЦГАЛИ,* ф. 127, оп. 1, ед. хр. 31, л. 36—39). Здесь стоит напомнить, что в фольклоре на основе образов «огня» и «воды» строится символика счастья. Герой рассказа «Белый огонь» выходит по ручью к своей мечте о «высоком искусстве» — к группе мраморных статуй, издали как бы горевшей «белым огнем». Герой рассказа «Огонь и вода» несет свою любовь к семье — огонь его души — через залив, не замочив ног, будто ступая по воде. Вот и в самом начале феерии Ассоль держит в руках маленькую игрушку — кораблик с алыми парусами: «Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей». Своеобразно объединенные уже в прологе, образы «огня» и «воды», получая и другие «имена», прошивают всю художественную ткань произведения. «Огонь» алых парусов кораблика-игрушки, следуя по течению ручья, выводит девочку Ассоль к предвестнику ее судьбы, сказочнику Эглю. Под «пламенем» алых парусов Ассоль-девушка и Грэй уплывают в поисках «прекрасного несбыточного»; «вода», символизирующая движение и освобождение, уносит их к новым берегам познания и творчества. В этом, по всей вероятности, и состоит суть «Секрета» (так характерно назван корабль

[1] См. публикуемый в Приложениях текст: «Сочинительство всегда было внешней моей профессией...»

Грэя), заключенного в содержании феерии. Синонимами «алого» здесь становятся не «красное», а «пламенное», «огненное», «пылающее». Смысл, наполняющий эти символы, имеет отношение прежде всего к Ассоль. «Зерном пламенного растения» называет А. Грин высокие свойства ее души. (Характерно, что все худшее в человеке писатель назовет в романе «Блистающий мир» «косным пламенем невежественного рассудка».) В некий символ сгущается в повести и стихия противоположная, враждебная Ассоль,— это дым Каперны. Знаменательно, что «дымное» выступает у Грина в одном контексте с «красным»: «...над красным стеклом окон носились искры дымных труб». И в этом дыму Грэю впервые пригрезилась девушка. Аллегорический смысл, заключенный в слове-символе «вода» (ручей, море и т. п.), служит в феерии раскрытию свободолюбивых побуждений Грэя, который, «как парус, рвался к восхитительной цели». Предстоящая встреча героев обозначается в повести через взаимодействие названных символов. Поэтому «огненное», «пламенное», «алое» так или иначе входят в текст повествования о Грэе, предвосхищая его соединение с Ассоль — то есть с «огнем» ее души («Грэй лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду»). И наоборот, в преддверии их встречи в описании предощущений героини появляются образы, связанные с «водой»: Ассоль «снился любимый сон», но, проснувшись, «она припомнила лишь сверкание синей воды, подступившей к сердцу с холодом и восторгом». О том, сколь существенным был для Грина внутренний смысл, претворяемый через взаимопроникновение названных символов, свидетельствуют и черновики феерии. В одном из них находим, например, следующее: «Девочка, воображая исполненную мечту, видела опрокинутый над пылающей синью моря свет, а между морем и светом торжественный свет алых ветрил — веселый и бесконечно радостный» (ф. 127, оп. 1, ед. хр. 2).

Собственно, все творчество писателя представляет собой феерию, содержащую различные превращения, изменения облика его оригинальных идей-представлений. Эту особенность Грина исследователи связывали и с тяготением к приемам «символизма», и с «аллегоричностью», и с «фантастикой». Однако, быть может, стоит принять определение самого писателя, который назвал «Алые паруса» и некоторые рассказы феериями,— ведь в этом, в основе своей аллегорическом, способе изображения участвуют и символы, и фантастические образы, и т. п. Писатель неизменно подчеркивал присутствие в его произведениях «смысла иного порядка». В раскрытии «удивительных черт» Ассоль, напоминающей «тайну неизгладимо волнующих, хотя и простых слов», обнаруживается ведущее направление «подводного течения» феерии. А. Грин не случайно подчеркивал двоякую природу этого образа: «...в ней две девушки, две Ассоль... Одна была дочь матроса, мастерившая игрушки, другая —

живое стихотворение, со всеми чудесами ее созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое». И далее А. Грин выделяет самую существенную черту внутреннего облика Ассоль: способность отражать предметы действительности поэтически обобщенно. То же находим и в черновиках феерии: «Подрастая, Ассоль смешивала свой опыт с комментариями воображения, одно опровергало другое» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 2, л. 38 об.). Показательна в этом плане и сцена «исправления» Грэем картины, изображающей распятого Христа: герой «вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской». По контрасту с этим своеобразным «творчеством» Грэя, продиктованным ему свойствами его воображения, дается бытовая сцена, заставляющая героя реально пережить «ощущения острого чужого страдания» (Грэй обжигает себе руку, чтобы испытать те же страдания, что и обварившая руку девушка). Этот эпизод, казалось бы, вполне очевидно обнаруживает особые свойства сострадательной души Грэя; однако Грин дополняет его сценой «исправления» картины истекающего кровью, страдающего Христа. Таким приемом писатель недвусмысленно переносит проблему из сферы повествования о герое в сферу эстетики.

Переключается из жизненного плана в эстетический и та «нехитрая истина», которую понял Грэй: «делать так называемые чудеса своими руками». Грин стремился таким образом утвердить свой подход к творчеству — отражению жизни путем фантастического, чудесного ее преображения. Пафос творческого поиска пронизывает всю ткань повествования. Писатель «не просто рассказывает нам некую историю, но создает ее на наших глазах по заданному сюжету», сообщенному читателю дважды: из уст Эгля, а затем в виде «грубой и плоской сплетни» трактирщика Меннерса[1]. Этот художественный принцип Грина был верно угадан в свое время поэтом и теоретиком литературы С. Бобровым — в рецензии на феерию он отмечал, что «роман этот не столько роман вообще, сколько роман автора с его книгой» (Печать и революция. М., 1923, № 3, с. 262). По сути, об этом же писал тогда и Н. Ашукин: «Прелесть творчества Грина в том, что оно литературно... Русская критика, в большинстве случаев требующая от писателя как раз того, чего нет у Грина, оставила его как бы вне литературы... Феерическое волшебство, то, чего не бывает в жизни, в повести Грина реально искусством литературного правдоподобия, действующего движением фабулы, ритмом рассказа, романтикой образов» (Россия. М. — Пг., 1923, № 5, с. 31).

Феерия «Алые паруса» имела посвящение: «Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор». — ПБГ, 23 ноября 1922 г.

---

[1] См.: Ковский В. Е. Реалисты и романтики... — М., 1990, с. 290.

Н. Н. Грин (в девичестве Миронова) родилась в 1894 г. в городе Гдове Псковской губернии, в семье счетовода. Кончила Нарвскую гимназию с золотой медалью. Училась в Петербурге на Бестужевских курсах. Не окончив их, стала сестрой милосердия — шла империалистическая война. С писателем Александром Грином впервые встретилась в редакции газеты «Петроградское эхо» осенью 1917 г. В 1918 г. Нина Николаевна заболела туберкулезом и уехала к родным. Прощаясь с ней, Грин вручил ей стихи, где были такие строки: «...Кто раз Вас увидел, тому не забыть / Сознанья, как надо любить...» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 190). В 1920 г., вернувшись в столицу, Нина Николаевна стала работать медсестрой в тифозных бараках (поселок Рыбацкое Северной железной дороги). 12 февраля 1921 г. случайно на Невском проспекте встретилась с Грином. Знакомство возобновилось, и вскоре Нина Николаевна согласилась стать его женой. Долгожданное счастье отразилось и в феерии, и в первом романе «Блистающий мир». Галерею женских образов, воплотивших черты Нины Николаевны, открыла Тави Тум («Блистающий мир»), а завершила Харита (героиня неоконченного романа «Недотрога»). Незадолго до своей смерти тяжело больной А. С. Грин, как и всегда к годовщине их супружеской жизни (на сей раз — одиннадцатой), подарил Нине Николаевне стихи: «...Ответить всерьез / О цифре 11 — трудно; / В ней песни, лучи и гирлянды из роз, / И звон, раздающийся чудно...» (см. текст стихотворения: *ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 190).

Нина Николаевна перенесла тюремное заключение, лагерь. Тяжело пережила официальное изгнание А. С. Грина из русской литературы в годы «борьбы с космополитизмом». И при этом совершила, казалось бы, невозможное: создала музей в Старом Крыму, восстановила разрушенную могилу, боролась за имя А. С. Грина в литературе; собрала и сохранила архив писателя (передан в ЦГАЛИ). Скончалась Н. Н. Грин 27 сентября 1970 г. и похоронена в Старом Крыму рядом с А. С. Грином.

БЛИСТАЮЩИЙ МИР: Роман. — Красная нива. М., 1923, № 20, с. 11—14; № 21, с. 10—13; № 22, с. 10—13; № 23, с. 12—15; № 24, с. 10—13; № 25, с. 14—15; № 26, с. 18—19; № 27, с. 10—11, 14—15; № 28, с. 10—11, 14—15; № 29, с. 11, 14—15, 18; № 30, с. 14—15, 18, 20—22. Отдельное издание: М. — Л.: Земля и фабрика, 1924. 196 с. В журнале опубликован весь роман, а в книге, изданной ЗИФом, изъята глава о церкви; к тому же здесь допущено много ошибок и искажений. В «правдинских» СС (М., 1965; 1980) роман публиковался полностью. В данном Собрании печатается по рукописи с учетом правки, сделанной автором для журнала.

Нерон (37—68 н. э.) и *Гелиогабал* (Элагабал, 204—222 н. э.) — римские императоры, их правление отличалось деспотизмом и жестокостью.

Бернум — знаменитая цирковая династия XIX— XX вв., названная по фамилии ее основателя, владельца цирка в США.

A giorno (ит.) — как днем.

Каданс — завершающий музыкальный эпизод виртуозного характера.

Клир — общее название служителей какой-либо церкви.

Веды — книги древних индийцев, содержащие религиозные стихи, гимны, песни, а также и светские произведения.

Катехизис — краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов.

Лев VI Мудрый (866—912 н. э.) — византийский император.

Нострадамус Мишель Нотрдам (1503—1566) — французский врач и астролог, получивший известность как автор «Столетий» (1555), содержащих «предсказания» грядущих событий европейской истории.

Роланд — герой средневековой французской поэмы «Песнь о Роланде», историческим прототипом которого был маркграф Хрустланд, павший в бою с басками во время похода Карла Великого в Испанию (778 г).

Погреб Ауэрбаха — по преданию, находится в Лейпциге; связан с легендой о Фаусте, который будто бы покинул погреб верхом на бочке с пивом.

Стикс — река, за которой, по древнегреческой мифологии, обитали души умерших.

Фанданго — испанский танец. В России было популярно фанданго из «Испанского каприччо» Римского-Корсакова.

Трильби — героиня одноименного романа английского писателя и художника Джорджа Дюморье (1834—1896).

Санта-Лючия — итальянская народная песня; текст ее А. Грин приводит не полностью и неточно.

Калигула (12—41 н. э.) — римский император, известный своей жестокостью и деспотическими причудами.

Орифламма — знамя французских королей в средние века.

Катриона — героиня одноименного романа Р. Л. Стивенсона (1859—1894), явившегося продолжением романа «Похищенный».

«Новые арабские ночи» — первый сборник рассказов Стивенсона, проникнутый мыслями о несоответствии мечты и действительности.

Махаоны — большие дневные бабочки; их крылья в размахе достигают 9 см.

...обращенных вниз больших пальцев. — В Древнем Риме на состязаниях гладиаторов император пальцем, обращенным вниз, подавал знак: убить побежденного.

Кохинур — индийский алмаз весом 280 каратов (один из крупнейших в мире), принадлежал лахарскому радже; в 1850 г. стал добычей англичан.

Сады Гесперид — в древнегреческой мифологии сады, где жили нимфы, дочери Атланта и Геспериды, и росла яблоня, приносящая золотые плоды; сады охранялись стоглавым драконом.

Сарацины — в древности кочевое племя в Аравии; в средние века название это распространялось на всех арабов.

Кикс — неудачный удар при игре на бильярде.

Леандр и Геро — в древнегреческой мифологии Геро, жрица Афродиты (в Сесте), любила Леандра, который переплывал к ней на свидание из Абидосса через Геллеспонт (Дарданеллы). В одну из переправ Леандр погиб в бурном море, и Геро бросилась с башни в воду.

«Пища богов» — роман английского писателя Герберта Уэллса (1866—1946); написан в 1904 г.

На рукописи романа «Блистающий мир» значится дата завершения: 2 марта 1923 года. В печатном тексте стоит 28 марта — очевидно, день окончательной правки рукописи. Первые главы романа А. С. Грин прочел критику А. Г. Горнфельду, следившему за творческим ростом писателя. Тот был в восхищении — он заявил, что Грин теперь не имеет права писать хуже. Критики Грина, высоко оценившие художественные достоинства романа, однако, разошлись в оценке его пафоса. Одни писали, что мироощущение художника преисполнено «музыкальной бодрости» и что «не к мертвому созерцанию, а к радостному неустанному труду призывает нас «Блистающий мир» Грина» (Пролетарий связи. М., 1924, № 23-24, с. 1032). Другие же утверждали: «В противоположность «Алым парусам» роман «Блистающий мир» раскрывает философию пассивности, пессимизма... Образ «разбитой мечты» реализован Грином в летающем человеке, который разбился при падении...» (Слонимский М. Александр Грин.— Звезда. Л., 1939, № 4, с. 159—167). По всей вероятности, формулируя окончательные оценки, следует довериться суждениям самого писателя, как это тогда же сделал Ю. Олеша. Он вспоминал: «...Грин считал себя символистом. Я слышал это из его собственных уст. Разговор шел о его романе «Блистающий мир»... Я восхищенно отозвался об этом замысле. Человек летает!.. Грин разочаровал меня. Я думал — выдумка, эффектная, страшноватая, а он сказал: «Ну... это дух. Я имел в виду человеческий дух... Я символист» (Олеша Ю. Письмо писателю Паустовскому.— Лит. газета, 1937, № 46, с. 3).

И в сегодняшних позитивных оценках романа исходными являются разные содержательные установки. Одни считают, что Грин

здесь «наиболее полно выразил свое отношение к Октябрю», а именно — «восторженное приятие революции» (Кобзев Н. А. Романы Александра Грина. Кишинев, 1983, с. 33, 36—37, 39). Другие полагают, что «Блистающий мир» — это не столько роман, сколько своего рода «развернутая метафора «парения» творческого духа». Грин «сознательно хотел видеть финал романа открытым», и это важно «не просто с точки зрения наших представлений об оптимизме, но прежде всего с точки зрения самого характера романа, его задач и жанровой разновидности» (Ковский В. Е. Реалисты и романтики. М., 1990, с. 265). Эти выводы критиков стоит прокомментировать «свидетельствами» самого Грина — и теми, что остались в черновиках, и теми, что осуществились в романе.

К работе над «Блистающим миром» А. С. Грин приступил во второй половине 1921 г. До этого (после окончания «Алых парусов») он делал наброски, но далее отрывочных записей и отдельных неоконченных глав не пошло. Представляет интерес набросок под названием «Алголь». Рукопись предваряется комментарием Н. Н. Грин, где она утверждает, что названный отрывок — одно из начал первого романа, который писатель собирался назвать «Алголь — Звезда Двойная». Это название вошло потом как прозвище Друда в «Блистающий мир» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 28, л. 1—1 об.). В рукописи рассказывается о том, как юноша Пэм ищет свою любимую Дэзи в развалинах потерпевшего землетрясение Сан-Риоля и встречает «человека с фонарем». Тот предлагает ему пойти «на одно собрание», где, как он говорит, «несколько поэтов должны были взаимно огорчить друг друга своими произведениями искусства. Знайте, что в Сан-Риоле процветают искусства; им дано движение, и довольно смелое, вроде пинка в зад.— Ничего, что я так сказал? — Искусства представлены выразительно. Ничего не печатается, но пишут углем на простынях, каждый может прочесть эти афиши. Их пишут люди, лишенные таланта и полета страсти. Кто их обидел? Весь мир. Чего они хотят? Славы. Они анатомируют слова, шрифт и знаки препинания. Они учат друг друга писать, в полной уверенности, что можно научиться таланту. Они бездарны и потому провозгласили законы, схемы, правила и рецепты. Раньше их произведения никто не читал. Теперь они печатают себя на обоях и носовых платках ручными валиками. Вы их увидите...» (*ЦГАЛИ*, ф 127, оп. 1, ед. хр. 28, л. 3—3 об.). Здесь угадываются некоторые аллюзии как напоминание об особой «творческой» атмосфере в послереволюционном Петрограде, где свершившаяся революция постоянно дает о себе знать «пинками», наподобие того, как дают о себе знать подземные толчки в Сан-Риоле после землетрясения: «Город добивают силы, которых никто не видел, хотя существует несколько теорий землетрясения, считающихся авторитетными» (там же, л. 3 об.).

В другом варианте начала романа — под названием «Божий мир» — речь идет об импульсах совершенно иного рода: «внутренний толчок, схожий с настроением сна», мы испытываем, пишет Грин, когда у нас формируется, например, представление о «чужом физическом усилии», создается «образ наблюдавшегося усилия». «Поэтому,— продолжает он,— когда Ф. потерял вес, двинулся вверх по воздуху над закинутыми вверх лицами, зрители испытали потрясение, как если бы они... потеряли вес, а вместе с тем — верх и низ» (ф. 127, оп. 1, ед. хр. 62, л. 10 об.). В том и в другом наброске начало романа имело отношение к раздумьям о побудительных мотивах («толчках», импульсах) к творчеству. В черновиках находим и набросок под названием «Пояснение к действию», где писатель излагает свой окончательный план: «Друд, главное действующее лицо, обладает непостижимой способностью свободного движения в воздухе. Он бежит из тюрьмы благодаря женщине (Руне Бегуэм), предлагающей ему — в силу его способности,— абсолютную власть на земле. Но Друд — начало духовное, творческое; его внутренний мир, как ни огромен он, родствен нашему миру воображения. Эти два человека — чужие. И он уходит от нее — навсегда» (ф. 127, оп. 1, ед. хр. 3, л. 189).

«Все дело в контрасте...» — читаем в окончательном тексте романа. Таков, по мнению Друда, главный закон творчества. В соответствии именно с таким принципом создан «Блистающий мир», заключающий в образах «условно человеческих очертаний» (как сказано в самом произведении) своеобразное исследование особенностей художественной фантазии, или, вновь говоря языком Грина, «анатомию и психологию движения в воздухе». Друд становится в романе не только олицетворением романтического вдохновения, но и постоянным интерпретатором возможностей художественной фантазии. Во всех его суждениях (очень близких к соответствующим комментариям «автора») неизменно доминирует мысль о субъективно претворяющем характере творчества. Показательно, что в качестве примеров он приводит только образы, освещенные романтической традицией,— Айвенго, Агасфер, Квазимодо, Кармен...

Наглядной конкретизацией важного для Грина требования к художнику — быть искренним и верным своей индивидуальности — является момент разоблачения поэзии Стеббса, построенной на тогда модной, но уже затасканной фразеологии: в них есть и «подземное царство», и «ад», и те, «кто в подлунном мире ищет огневейного Икса», и Демон, гремящий «подземными раскатами». Однако, вопреки замыслу, стихи Стеббса («Телеграфист из преисподней»), написанные без внутренне оправданного чувства, вызвали у Друда ассоциации со случайными и малоинтересными деталями повседневности. Вирши Стеббса Друд воспринял иронически. «Твои стихи,— говорит он,— подобно тупой пиле дергают душу, не разделяя ее...»

И затем Друд высказывает свое отношение к творчеству: не стоит браться за перо, «если вставочка, которой ты пишешь,— не перо лебедя или орла — для тебя, Стеббс, если бумага — не живой, нежный и чистый друг — тоже для тебя, Стеббс, если нет мысли, что всё задуманное и исполненное могло бы быть еще стократ совершеннее, чем теперь...».

Акцент в рассуждениях Друда — на субъективно-претворяющей стороне творческого процесса — был рассчитан на определенного оппонента — приверженцев «литературы факта», ратовавших за «рационализацию» творчества. Их отличало подчеркнуто нигилистическое отношение к эмоционально-психологической стороне художественной фантазии. (В атмосфере подобных настроений, как известно, в начале 20-х годов складывался будущий ЛЕФ.) По мнению Грина, именно так называемая «литература фактов», как он пишет в романе, представляет собой «самый фантастический из всех существующих рисунков действительности, то же, что глухому оркестр: взад — вперед ходит смычок... Но нет звуков, хотя видны те движения, какие рождают их».

Несомненно, рассчитана на ассоциацию с литературной обстановкой 20-х годов и сцена состязания Друда с воздухоплавателями, где Друд демонстрирует свой «летательный аппарат». Из характеристики самим героем этого «сверкающего изобретения», состоявшего из мельчайших серебряных колокольчиков, становится ясно, что речь идет не о летающей машине, но об особом понимании специфики творческого вдохновения. Здесь «нет иного двигателя,— говорит герой,— кроме пленительного волнения, и большего нет усилия, чем усилие речи». Исключительно своеобразный, легкий, изящный и мелодически звенящий «аппарат» Друда нарочито противопоставлен и «грузному аэростату», напоминающему «перетянутую бечевками колбасу», и «бойким аэропланам», которые носятся «с грацией крыш, сорванных ветром». Чтобы подчеркнуть своеобразную типичность этой гриновской метафоры, стоит сравнить, например, следующую заповедь конструктивистов: «Наш бог — целесообразность, а красота — аэроплан» (Зелинский К. На великом рубеже (1917—1920).— Знамя, 1957, № 10, с. 203). Летательный аппарат Друда выступает как антитеза аэропланам и аэростатам, олицетворяющим в романе «производственное» искусство. Таким образом, сцена «состязания» выступает как очевидно полемичная по отношению к крайним утверждениям теоретиков Пролеткульта, футуризма и техницизма. Утилитарно-упрощенному представлению о творчестве Грин противопоставил «парение духа», увлекающего в «блистающий мир» свободного творчества: вдохновение, утверждает герой, «манит лишь изумительным движением в высоте; оно — все в себе, ничего сбоку, ничего по ту сторону раскинутого в самой душе пространства», ибо «в стране сна отсутствуют полеты практические».

В этом «скромном повествовании о битвах и делах душевных», как характеризует А. Грин свой роман в эпилоге, судьба Друда не может быть осмыслена однозначно. Писатель не исключал и возможности поражения творческого духа, как не исключал и реальности «разбитой мечты». Еще в черновиках к «Красным парусам» мелькает мысль, что «мечта — слово не безопасное» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 2, л. 27). В этом плане любопытным свидетельством является рассказ М. Слонимского о том, как в 1920 г. Грин трактовал «Остров Эпиорниса» Г. Уэллса: «...В человеке, вырастившем необычайную птицу, Грин усмотрел художника, в птице, гоняющейся за ним,— плод его художественного воображения, мечту его. Эта мечта, по Грину, была способна убить ее носителя». Такое неожиданное истолкование рассказа Г. Уэллса, продолжал М. Слонимский, показывало, как относится к творчеству этот художник-фантаст: «...Искусство казалось Грину подчас недобрым, злым, способным убить человека... В выращенной на пустынном острове странной птице Уэллса Александр Грин увидел родное душе своей искусство. И когда Грин описывал пустынный остров, казалось, что описывает он любимые, родные места». В этом своем выступлении, заключил писатель, Грин, в сущности, «охранял позицию человека, оставшегося наедине со своей мечтой, которая гонит его и грозит убить» (Воспоминания об Александре Грине, с. 260—261).

Постоянные размышления писателя о свойствах мечты и творчества не могли не сказаться на трактовке им финала романа «Блистающий мир». Они как бы и продиктовали его сознательную недоговоренность. Речь идет о финальной сцене, где Руна Бегуэм видит в крови «человека, лежащего ничком в позе прильнувшего к тротуару». Но Друд ли это, как хотелось бы Руне? В осмыслении этой сцены разночтения критиков особенно контрастны.

В романе много указаний, что силы, олицетворенные в Друде, бессмертны по самой своей природе, и все же писатель находит нужным сюжетно зафиксировать момент возможного поражения и смерти «духа». Поза, в которой запоминается Руне распростертый на земле человек, несомненно, символична: он лежал, «как бы слушая подземные голоса». «Земля сильнее его»,— заключает Руна. Таким приемом А. Грин предостерегал о существующих для творческого (романтического) вдохновения опасностях, если оно чрезмерно отрывается от жизни, от «земли». Напомним здесь возникающий в памяти как бы сам собой гетевский образ романтизма. На эту ассоциацию настраивает и, очевидно не случайная, сцена в романе: вальс из «Фауста». Друд, насвистывая, а Стеббс — подыгрывая на «стеклянной арфе из пузырьков», вдохновенно исполняют его на маяке в «хорошую минуту». В «Фаусте» — в образе Евфориона — Гете, в частности, воплотил свое представление об особенностях романтического вдохновения. Евфорион — это и своеобразный па-

мятник Байрону, и, как говорил сам Гете, «олицетворение поэзии, не связанной ни временем, ни местом, ни личностью». Дитя Елены и Фауста, Евфорион удивляет и беспокоит своих родителей опасными устремлениями ввысь. Но «хор» неизменно сочувствует действиям Евфориона-поэзии: «Взвейся, поэзия, / Вверх за созвездия! / Взмыв к наивысшему, / Вспыхнув во мгле, / Ты еще слышима / Здесь на земле!..» (Гете И.-В. Фауст. Лирика. М., 1986, с. 348). Когда Евфорион погибает, «хор» славит его и предсказывает возрождение; но вместе с тем «хор» и укоряет Евфориона за то, что он пренебрег землей и ее законами. В этом же аспекте, видимо, следует комментировать и возможную «гибель» Друда.

Косвенным подтверждением того, что Грин не убивает своего героя, но как бы лишь предостерегает, является и не публиковавшийся им при жизни своеобразный рассказ, существующий в двух вариантах: «Встречи и приключения»[1] и «Встречи и заключения»[2]. В том и другом Грин якобы посещает Зурбаган, Лисс, Сан-Риоль и своих героев; попутно говорится об их дальнейшей жизни. Но в первом варианте сказано: «...я послал телеграмму Друду в Тух, близ Покета, получив краткий ответ от его жены Тави: «Здравствуйте и прощайте». Ничего более не было сообщено нам, причем несколько позже Гарвей получил известие от доктора Филатра, гласившее, что Друд отсутствует и вернется в Тух не раньше июня» («правдинское» СС.— М., 1965, т. 5, с. 472). Во втором варианте рассказа говорится иное: «Друд (Лионель Рудер) погиб ночью в Бретани вместе со своей женой Тави при обстоятельствах, известных только ему. Их тела были найдены рядом (падение с большой высоты); но в последнее время есть указание, что это сообщение неверно. Письмо Клейтона ко мне — уже в этом году — прямо указывает на ошибку...» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 58, л. 2). Иными словами, и здесь нет определенности в решении судьбы героя. Но ее и не должно быть, поскольку речь идет не о смертной личности, а о «парении духа», о романтической фантазии и подстерегающих ее опасностях «погибнуть» при определенных обстоятельствах — например, в отрыве от земных источников вдохновения (что и сопоставимо в образном плане с «падением с большой высоты», если говорить языком Грина).

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ: Роман. Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1925, № 8, с. 3—39; № 9, с. 20—45; № 10, с. 38—58; № 11, с. 35—53. Для отдельного издания (Золотая цепь. Роман.

---

[1] Публиковался в «правдинском» СС. М., 1965, т. 5, с. 472—473.

[2] Печатался в журн. «Нева», 1960, № 8, с. 149—150 и в кн.: Грин А. С. Джесси и Моргиана: Повесть, новеллы, роман. Л., 1966, с. 492—494.

Харьков: Пролетарий, 1925. 203 с.) А. Грин значительно переработал текст романа. Вошел в ПСС (Т. 2. Золотая цепь: Роман.— Л., 1927.— 199 с.). Однако в эту публикацию вкралось много опечаток и искажений. Печатается по тексту отдельного издания (Харьков, 1925).

«Дворец Ганувера» списан с Сиротского дома в Москве (затем Дворец труда); дом этот фигурирует в советской литературе и в «Двенадцати стульях» И. Ильфа и Е. Петрова — здесь это редакция, в которой Остап Бендер шантажирует вдову Грицацуеву (см.: Воспоминания об Александре Грине, с. 320).

Знаменательно самое начало романа: «...сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки». Эти слова герой прочитал на переплете книги, страницы которой были выдраны неким «практичным чтецом». Таким образом, с самых первых слов А. Грин стремится определить свою позицию в отношении к любому типу утилитаризма и рационализма — будь то жизнь или творчество; а далее в романе он как бы заполняет «вырванные страницы» на свой лад, в соответствии со своими понятиями о ценности «выдумки». Важный момент миросознания и творчества писателя — ирония и самоирония («умный человек не станет читать выдумки» — фиксирует внимание автор, но сам между тем весь сосредоточен именно на «выдумках»).

Роман вобрал в себя много автобиографического, о чем свидетельствуют В. П. Калицкая, Н. Н. Грин, М. Слонимский и другие. Одного из героев «Золотой цепи», Санди Пруэля, А. Грин называет «диким мустангом среди нервных павлинов». «Таким был и сам Александр Степанович»,— отмечала Вера Павловна Калицкая. По ее мнению, в этом произведении Грин изобразил себя «в лице двух или даже трех героев» (Воспоминания об Александре Грине, с. 160). М. Слонимский считал интересным сопоставить роман с «Автобиографической повестью» [1], ибо «Золотая цепь» развивает, как он полагал, «обычную для Грина тему мечтателя». «Его ум требовал живой сказки, а душа просила покоя»,— говорится про героя этого романа, живущего в сказочном дворце. Юноша, действующий в романе, одет в пышные одежды фантастического вымысла. Он приблизительно в том же возрасте, что и герой многих страниц «Автобиографической повести» — сам автор, Александр Грин. «Можно сказать,— заключал М. Слонимский,— что если «Автобиографическая повесть» рассказывает о реальной юности Александра Грина, то «Золотая цепь» говорит о воображаемой его юности...» (Воспоминания об Александре Грине, с. 270). Видимо, поэтому в 1939 г. роман был объединен с «Автобиографической повестью» под одной облож-

[1] Впервые повесть была опубликована в 1932 г. в «Изд-ве писателей в Ленинграде».

кой — книга вышла в Москве в изд-ве «Советский писатель» со вступительной статьей К. Паустовского и послесловием М. Слонимского. В рецензии на книгу Я. Фрид писал: «...в произведениях Грина сюжетная схема нередко только повод для изображения эмоций героев. В «Золотой цепи» Грин относится к фабуле, словно к игре, довольно небрежно; зато герои повести совершенно серьезны, писатель дает действующим лицам полноту и напряженность переживаний в условиях этой «игры всерьез»... Лучше всего удались Грину Санди и Молли; их искренность, непосредственность заставляют забыть о некоторой искусственности в сюжете, в его развитии» (Литературное обозрение. М., 1940, № 1, с. 10—12).

В момент выхода романа лишь немногие критические отзывы были благосклонными. Доминировали оценки, имевшие характер угрозы: «Творчество Александра Грина — яркое свидетельство невозможности создать сильные авантюрные произведения в отрыве от социальной среды... Таков и последний роман А. Грина — «Золотая цепь»... Движутся звенья авантюрной интриги, прихотливо инкрустированные, выдвигающиеся неизвестно откуда и уходящие неизвестно куда...»,— писал С. Динамов в статье «Современная авантюрная литература» (Красное студенчество. М.—Л., 1926, № 2, с. 74—75). По сути, то же было и в другой рецензии (А. Дермана): «Роман «Золотая цепь» ни в какой мере не связан с современностью... никому не нужная книга» (Книга и профсоюзы. М., 1927, № 9, с. 30—31). В этих оценках сказались вульгаризаторские установки лефовцев и футуристов. Одни считали самый жанр романа буржуазной выдумкой и всячески третировали его; другие хоронили роман, полагая, что необходимо противопоставить «психологизму беллетристики авантюрную изобразительную новеллу», а «переживаниям — производственные движения» (ЛЕФ. М., 1923, № 1, с. 202). Исходя из этих установок, сущность гриновской модификации авантюрного сюжета не могла быть понята. Писатель-романтик переключал перипетии сюжета из внешней (событийной) сферы во внутреннюю; тем самым «авантюрное» повествование преображалось в сюжет «приключений человеческого духа» (говоря языком самого Грина). Авантюрный сюжет, «освобождая» характеры героев от локально-исторических связей, позволял обнаружить прежде всего их нравственные и эмоционально-интеллектуальные свойства. И достигалось это особым качеством психологизма писателя. Суть его Грин сформулировал в одном из черновиков так: «...новый способ психологического портрета... состоял в упоминании различных историй, занимающих воображение интересующего нас субъекта» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 62, л. 15).

А. С. Грин начал писать «Золотую цепь» в весьма благоприятной для себя атмосфере (что бывало крайне редко). Хорошо шли его литературные дела. Печатался первый роман «Блистающий мир»,

где, как считал Грин, ему удалось многое сказать из того, что хотел. Писатель, однако, не чувствовал удовлетворения. Начиная новый роман, вспоминала Нина Николаевна, он говорил: «Это будет мой отдых; принципы работы на широком пространстве большой вещи стали мне понятны и близки. И сюжет прост — воспоминания о мечте мальчика, ищущего чудеса и находящего их». Но после завершения работы, продолжала Н. Н. Грин, Александр Степанович говорил: «Странно, писал я этот роман без всякого напряжения, а закончил и чувствую — опустошен до дна... Никогда такое чувство не появлялось у меня по окончании рассказа. Допишу рассказ, и словно нити, хотя бы паутинные, а тянутся к новому рассказу, теме» (Воспоминания об Александре Грине, с. 370).

Разъяснение причин усталости находим в черновиках другого, более позднего произведения — «Джесси и Моргиана». Приступая к роману, он прерывает себя на первой же фразе: «Начав эту строку, я встал в тупик... потому что войти в предмет этой книги можно через сто десять дверей. Это можно сказать о каждой книге. Но то, что я сейчас пишу, имеет особое значение,— я хочу рассказать со всей отвагой и скрупулезностью нового Жан-Жака Руссо, как создается роман. Показать это представляется мне очень удобным по «Золотой цепи», потому что роман... если проследить начало мыслей о нем, долгое время существовал в виде фрагментов, с содержанием, лишь отдаленно напоминающим окончательное решение» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 6, л. 216—216 об.)[1]. Приведенный фрагмент свидетельствует, что Грин, очевидно, неверно оценил свое состояние, когда говорил о чувстве опустошенности после завершения «Золотой цепи», ибо уже тогда (как следует из отрывка) он вынашивал глобальный замысел, который пронес через ряд вариантов и осуществил наконец в «Бегущей по волнам». Именно в этом произведении ему удалось показать все «шатания, блуждания, спотыкания свои среди чердаков огромного здания, называемого неясным замыслом» (там же).

По всей вероятности, определение Грином «Блистающего мира» как романа «символического» применимо к каждому крупному его произведению. В рассматриваемом романе символический план обусловлен многозначностью главенствующего образа — «золотой цепи»: это и за́мок, и лазарет, и, наконец,— «отзвучавшая песня». Иными словами, здесь, как и в других произведениях, присутствует видимый, изображаемый мир (дом со своей внешней судьбой) и внутренний, нравственно-психологический, эмоционально-творческий, где «золотая цепь» выступает сложным художественным символом, связанным с духовной историей и судьбой героев. Прояснению символи-

---

[1] Сукиасова И. М. «Сто десять дверей»: писатель А. С. Грин о своем творчестве.— Вечерний Тбилиси, 1967, 1 июля.

ки романа способствует скрупулезная разработка образов. Грин ведет повествование «от лица подростка, который столкнулся с запутанным психологическим узором «взрослых» взаимоотношений и в своем возрасте их воспроизвести не может»; потому-то Санди как бы вынужден «придумывать» роман на наших глазах[1]. Эту способность персонифицировать в сюжете «приключения» творческого сознания Грин так или иначе «демонстрировал» во всех своих произведениях.

Год выхода романа — 1925 — был самым насыщенным по количеству отдельных изданий. См.: Грин А. С. Гладиаторы. Рассказы. М.: Недра; Капитан Дюк. Рассказы. М.: РИО ЦК водников; На облачном берегу. М.-Л.: Гос. изд-во; Пролив бурь. М.: Красная звезда; Сокровище африканских гор. Роман. М.— Л.: Земля и фабрика. И в следующем — 1926 — году А. С. Грин интенсивно печатался. Помимо публикаций в периодике, отдельными изданиями вышли: Алые паруса. Повесть.— Харьков: Пролетарий; Золотой пруд. Рассказы. М.— Л.: Гос. изд-во; История одного убийства. М.— Л.: Земля и фабрика; Капитан. М.— Л.: Земля и фабрика; Штурман «Четырех ветров». Рассказы. М.— Л.: Земля и фабрика.

СОКРОВИЩЕ АФРИКАНСКИХ ГОР: Роман. Впервые опубликован в издательстве «Земля и фабрика». М.— Л., 1925. 196 с. (Библиотека приключений); 2-е изд.— 1927. 189 с. Печатается по этому изданию. В «правдинских» СС (М., 1965; 1980) не публиковался. В сокращенном виде под названием «Вокруг Центральных Озер» (для старшего возраста) вышел в изд-ве «Молодая гвардия» (М.— Л., 1927. 107 с.). То же см. в кн.: Грин А. С. Белый шар. М., Молодая гвардия, 1966, с. 269—-387.

Ливингстон Давид (1813—1873) — английский исследователь Африки. Совершил ряд путешествий по Южной и Центральной Африке (1840). Исследовал бассейн реки Замбези, озеро Ньяса, открыл водопад Виктория, озера Ширва и Бенгвеулу, реку Луалабу; вместе с Г. Стэнли исследовал озеро Танганьика.

Стэнли Генри Мортон (наст. имя и фамилия Джон Роулендс; 1841—1904) — журналист, исследователь Африки. В 1871—1872 гг. как корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд» участвовал в поисках Д. Ливингстона. Дважды пересек Африку: в 1874—1877 гг. с востока на запад, в 1887—1889 гг. с запада на восток. Находясь на службе бельгийского короля (1879—1884), участвовал в захвате бассейна реки Конго.

Занзибар — остров, город, порт на востоке Африки.

---

[1] Ковский В. Е. Реалисты и романтики.— М., 1990, с. 281, 291.

Кабриолет (фр.) — легкий двухколесный одноконный экипаж на высоком ходу.

Лаццарони (ит.) — нищий, босяк.

Петарда (фр.) — заряд дымного пороха.

Фут, дюйм — единицы длины в системе английских мер; 1 фут = 12 дюймам = 0,3048 м.

Инглизы и франки. — Здесь: англичане и французы.

«Хижина дяди Тома» — роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811—1896) о бесчеловечности рабовладения в Америке; написан в 1852 г.

«Пересказ гейневского стихотворения...» — Имеется в виду 7-е стихотворение («У входа в рыбачью лачужку...») из цикла «Снова на родине» немецкого поэта-романтика Г. Гейне (1797—1856).

Лапландия — северная часть Скандинавского и западная часть Кольского полуостровов.

Маис (майс) — то же, что кукуруза.

Фиги — плоды инжирового дерева.

Роман был заказан А. М. Горьким, который в 1920 г. сыграл важную роль в судьбе писателя [1]. Письма А. Грина Горькому, а также свидетельства Н. Н. Грин и ее письма позволяют восстановить этот период жизни писателя. В марте 1920 г. А. С. Грин, связист Красной Армии с лета 1919 г., получил отпуск в Петроград по болезни (чрезвычайные сложности, с которыми он добирался до Петрограда, описаны им в рассказе «Тифозный пунктир», опубликованном в 1922 г.). Не имея крова, голодный и больной, он пошел к Горькому, и тот дал ему записку в Смольный лазарет (отсюда Грин послал Горькому два письма — см.: Воспоминания об Александре Грине, с. 515—516). Через три дня Грин был переведен в Боткинские бараки, так как у него обнаружился сыпной тиф. В мае 1920 г. он вышел из больницы (пробыв там 28 дней) и вновь обратился к Горькому. В итоге в числе первых 25-ти человек А. С. Грин стал получать паек ЦЕКУБУ (Центрального Комитета по улучшению быта ученых). Позднее (29 авг. 1933 г.) Н. Н. Грин писала Горькому, что об этой помощи «всегда и даже перед смертью А. С. вспоминал с чувством глубокой и теплой благодарности» (Архив А. М. Горького, шифр КГ-рзн., 1—129). Два романа для юношества Грин стал писать тоже по рекомендации Горького. Один — о путешествии Нансена на Северный полюс — писатель не завершил; другой — о путешествиях Ливин-

---

[1] История их взаимоотношений описана в статье Изергиной Н.П. «А. С. Грин и А. М. Горький». — Учен. записки Кировского гос. пед. ин-та (кафедра литературы). Киров, 1965, вып. 20, с. 78—108.

гстона и Стэнли — он подготовил в 1921 г. для издательства Гржебина, но публикация произведения затягивалась. Роман вышел только в 1925 г. и в другом издательстве — «Земля и фабрика». А. Грин изобразил в нем, кроме названных исторических лиц, благородного, смелого путешественника Гента, использовав в воссоздании его облика некоторые автобиографические факты. Как и Грин, Гент перепробовал разные профессии. «Время от времени,— рассказывает герой о себе,— я служил в железнодорожном буфете, пас овец, строил солдатскую казарму, был кочегаром на пароходе... и проделывал еще многое в том же роде». Грин наделил Гента и особенностями своей личности — от других вымышленных героев его отличал «сложный внутренний мир, наличность которого,— читаем в романе,— скрыть немыслимо, как немыслимо скрыть радость, болезнь и горе...».

Критикой пролеткультовского толка роман был встречен враждебно. С. Динамов не увидел в нем «тугого сплетения героики и приключений», необходимых для «подлинно авантюрного произведения». По утверждению этого критика, роман не может быть рекомендован основному потребителю «приключенческой» литературы — молодежи — «по идеологическим причинам» (Книгоноша. М., 1925, № 35, с. 19). Год спустя тот же критик, исходя из позиций, типичных для вульгарных социологов, писал в статье «Современная авантюрная литература»: «...Обаяние личности Стэнли и Ливингстона скрыло от Грина, что они выполняли определенную классовую миссию». Любопытно, что в той же статье С. Динамов с похвалой отозвался (как бы в противовес Грину) о забытом ныне романе А. Иркутова «Тайна двадцать третьего», по мнению критика, явившемся «удачной попыткой использования детективно-криминальной схемы для нового содержания... Главный герой-пролетарий без романтической шумихи организуется и наносит свой удар в грудь господствующего класса...» (Красное студенчество. М.— Л., 1926, № 2, с. 74—75). Сегодня такие «похвалы» не делают чести произведению и звучат как грубая вульгаризация.

Второй «роман для юношества», создававшийся по совету Горького,— «Таинственный круг» («Лед и огонь») — был написан Грином лишь наполовину. В центре произведения — рассказ о необычном путешествии Фритьофа Нансена (1861—1930), крупнейшего норвежского океанографа, исследователя Арктики. Он выдвинул в 1890 г. проект достижения Северного полюса на судне, дрейфующем вместе со льдом. Летом 1893 г. на корабле «Фрам» он вышел из Норвегии и отправился в экспедицию, которая длилась три года. Это путешествие Нансена и стал описывать Грин в своем романе, стремясь воссоздать обаятельный образ ученого-путешественника, а также и фигуры отважных моряков, благородных, страстно любящих свободу. Примерно в июне 1920 г. Грин показал написанную часть романа Горькому. Свидетелем их встречи был М. Слонимский. По его воспомина-

ниям восстанавливается и портрет А. С. Грина тех лет: «Это был очень высокий человек в выцветшей желтой гимнастерке, стянутой поясом, в черных штанах, сунутых в высокие сапоги. Широкие плечи его чуть сутулились. Во всех движениях его большого тела проявлялась сдержанность уверенной в себе силы. Резким и крупным чертам длинного лица его придавал особое, необычное выражение сумрачный взгляд суровых; очень серьезных, неулыбавшихся глаз. Высокий лоб его изрезан был морщинами, землистый цвет осунувшихся, плохо выбритых щек говорил о недоедании и только что перенесенной тяжелой болезни, но губы были сжаты с чопорной и упрямой строгостью несдающегося человека. Нос у него был большой и неровный. Открыв дверь, человек этот остановился на пороге. Алексей Максимович, приподнявшись, протянул руку ему, сказал: «Прошу...» Посетитель, храня все тот же мрачный, чопорный вид, поздоровался с Алексеем Максимовичем и вручил ему объемистую рукопись — это были исписанные размашистым почерком огромные, вырванные из бухгалтерского гроссбуха, листы...» (Воспоминания об Александре Грине, с. 256). Именно так и выглядит рукопись неоконченного романа, хранящаяся в ЦГАЛИ (ф. 127, оп. 1, ед. хр. 26). На полях рукописи — замечания Горького, в текст внесен ряд исправлений. Свое мнение Горький сообщил в письме (не найдено). Сохранился ответ Грина от 29 июля 1920 г.: «...Все, что Вы написали на моей рукописи, принял к сведению и не согласен лишь с упреком в Аверченкоизме [1], так как он смеется вниз, а я смеюсь вверх, но не примите это как гордыню, а лишь как направление шеи. Должен признаться Вам также, что я люблю встречать на своей рукописи Ваши пометки, ибо вижу в них и ценю Ваше, совершенно незаслуженное, внимание...» (*ЦГАЛИ,* ф. 127, оп. 2, ед. хр. 9, л. 3—3 об.). Одна из глав романа «Таинственный круг» печаталась в «Литературной газете» в 1970 г. (26 авг., № 35, с. 6) с предисловием Н. Тихонова «Он любил живую, красивую, сильную жизнь...»

...Сочинительство всегда было внешней моей профессией...— отрывок из чернового наброска, который должен был служить началом феерии «Алые паруса». Впервые под произвольным названием «Размышления над «Алыми парусами» был напечатан в журнале «Советская Украина» (Киев, 1960, № 8, с. 97—101). Публиковался в «правдинском» СС (М., 1965, т. 3, с. 427—431). Печатается по автографу (*ЦГАЛИ,* ф. 127, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1—10).

---

[1] Имеется в виду писатель А. Т. Аверченко (1881—1925), в юмористических рассказах, пьесах и фельетонах которого зло высмеивалась жизнь обывателя.

Ментенон — Франсуаза д'Обинье, маркиза де Ментенон (1635—1719), вторая жена французского короля Людовика XIV; славилась красотой — ее портреты часто изображались на французских миниатюрах.

Пигмалион — в греческой мифологии легендарный скульптор, царь Кипра, влюбившийся в созданную им статую Галатеи. Афродита по просьбе скульптора оживила статую, и Галатея стала его женой. Употребляется в переносном значении: художник, одухотворяющий, оживляющий свое творение.

Н. Н. Грин в комментарии к рукописи, из которой взят публикуемый здесь фрагмент, указывала: «Предполагаю, что этот отрывок написан в период 17—18 гг., так как «Алые паруса» в нем называются «Красными», чего уже не было в конце 20-го года, как не было и персонажа — Мас-Туэля. «Алые паруса» А. С. носил в себе пять лет. Закончены они в 1921 г., значит, задуманы, вернее,— первые мысли появились в 16—17 гг. ...» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1).

Фрагмент является, быть может, самым развернутым объяснением А. С. Грина специфики своего творчества. Представляет интерес и часть рукописи, непосредственно идущая за публикуемым в томе отрывком. В этой части дается описание, как здесь сказано, «физиологической природы» Мас-Туэля. С одной стороны — это его способность летать, своеобразно проявившаяся еще в детстве («он, положительно, мелькал и чертил воздух, как конькобежец...»), а с другой — тяготение к творчески-поэтическому видению окружающего: герой устремил глаза в небо и увидел там как бы «подлинный морской залив», по которому «плыл белый фрегат — маленькое белое далекое облако...». То есть «все было неотличимо, верно действительности, с той лишь разницей общего выражения, что небесный пролив дышал мечтательной таинственностью, так много говорящей душе, когда она живет отдельно, возвышаясь над телом и забывая о нем» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 1, л. 12, 13). Весьма показательно здесь и то, что «феноменальность» героя осознается как взаимодействие обеих сторон его «физиологической природы»: «чисто зрительное желание» Мас-Туэля приблизиться к «белому фрегату», воссозданному его фантазией из «маленького далекого облака», сопровождалось неожиданным результатом — «он поднялся в воздух».

И другие черновики феерии[1] говорят о том, что повесть была для Грина книгой, где он пытался напрямую говорить о проблемах

[1] Фрагменты неиспользованных вариантов «Алых парусов» приведены в статье И. Сукиасовой «Новое об Александре Грине».— Литературная Грузия, 1968, № 12, с. 67—76.

психологии творческого процесса. Второй вариант (тоже существовавший под заглавием «Красные паруса») заключал в себе следующий план: «Книга 1-я. Описание внутренней жизни героя. Окно с игрушками. Редакция. Ощущение себя одиноким в мире действительности и стремление соединиться с нею единственно доступным путем — творчества,— толчок к нему. Промежуточное состояние: мысли о писательстве, книге, жизни в книгах, судьбе книг и силе влияния слова... Попытки додумать, что написать... Отрывки рукописей. Временное бессилие. Гнет слова. 1-я глава повести: как она возникла и все о самом замысле в подробностях, рисующих полубессознательную психологическую технику. Внешние условия благополучной работы. Раздумье. Воспоминание об игрушке в окне — импульс. Книга 2-я. Как текла жизнь. Отношения в образах. Внешнее существование (сравнение с берегами речки). Умение и наслаждение смотреть. Глаз бессознательно отбрасывает лишнее, делая из видимого ряд совершенных картин. В одну из прогулок зрительные ассоциации увлекают к разгадке положения, бывшего неясным. Совмещение тончайших переживаний Я...» (*ЦГАЛИ*, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 2, л. 8). Знаменательно, что в этом варианте феерии над заглавием «Красные паруса» есть своего рода эпиграф, который может быть отнесен и ко всему творчеству А. С. Грина: «Область, которую затронули мы,— бесконечна».

Дольше всего писатель не мог найти образ главного героя (Грэя) — и быть может, потому, что слишком сильными были тяготения к осмыслению сугубо профессиональных (внутренне-писательских) проблем. Судя по тексту черновиков, А. С. Грин трудно настраивался, отвергая многие варианты нача́л, создавая следующий часто совершенно в другом плане. Характерно, что эти зачины несли в себе зерна будущих произведений. Например, Мас-Туэль — явное предвосхищение Друда, вобравшего в себя многие сокровенные мысли писателя о тайнах творческого воображения, романтической фантазии.

Мотылек медной иглы. Публикуется впервые по автографу 1926 г., хранящемуся в ЦГАЛИ — ф. 127, оп. 1, ед. хр. 25. Текст имел другие заголовки, зачеркнутые самим писателем: «Негатив, отпечатанный в молоке», «В дымных клубах», «Огненное кольцо». Часть текста — две подглавки — была опубликована под названием «Странный вечер» в журнале «Огонек» (1927, № 1, с. 6—7) в качестве первой главы коллективного романа «Большие пожары». Роман публиковался в 1927 г., начиная с № 1, в 25-ти номерах журнала. Его главный редактор М. Кольцов заказал А. С. Грину телеграммой в Феодосию «начальную главу» размером в четверть листа (ф. 127, оп. 1, ед. хр. 131, л. 3). По свидетельству Нины Николаевны, писатель согласился, оговорив, как всегда, что глава эта будет «в его стиле» —

иначе он не соглашался. Однако глава, появившаяся в печати, пишет Н. Н. Грин, была, по мнению Грина, «искажена до неузнаваемости» (там же, л. 16). Писатель послал возмущенное письмо. Оно не сохранилось, но в архивном фонде А. С. Грина имеются два адресованных ему ответа — М. Кольцова и коллективное. Обращаясь от редакции журнала, М. Кольцов писал: «Уважаемый Александр Степанович! Все изменения в Вашей главе коллективного романа официально сделаны мною. Несу за это полную ответственность... Однако считаю необходимым указать причины, вызвавшие эти изменения. Настоящая литературная работа, организованная «Огоньком», является из ряда вон выходящей. Создание коллективно написанного сюжетного романа при таком огромном числе авторов требует величайшей сговоренности... Первая глава романа в этом отношении особенно важна... Следовало ожидать, что ее придется подвергнуть наибольшим, может быть даже коренным, переделкам. Оказалось обратное... В своей телеграмме Вам я подчеркнул, что действие желательно развернуть в **советской обстановке** (выделено автором.— *М. К.*) и только к фиксации этого момента свелись сделанные поправки... Верю и надеюсь, Александр Степанович, что данные Вам объяснения удовлетворят Вас настолько, чтобы Вы не стали поднимать дальнейшей войны... Нужно ли подчеркивать бесспорность того, что Ваше богатейшее своеобразное художественно-литературное достояние ни в какой мере не пострадало от тех вынужденных микроскопических поправок, какие сделаны в написанной Вами главе. С уважением Мих. Кольцов» (*ЦГАЛИ,* ф. 127, оп. 1, ед. хр. 131, л. 5).

Другой ответ (от 10.01.27) последовал от самих писателей: «Уважаемый Александр Степанович! Мы, участники коллективного романа, присоединяемся к письму к Вам Михаила Ефимовича Кольцова, подтверждая, что в силу взаимного согласия разрешили производить в написанных нами главах необходимые для общей стройности вещи поправки и изменения и просим Вас в целях коллективной солидарности считать настоящим письмом вопрос исчерпанным» (там же, л. 4). Обращение подписали: Е. Зозуля, Л. Никулин, С. Буданцев, Ю. Либединский, А. Свирский и др.

В заключительной главе коллективного романа «Большие пожары», написанной М. Е. Кольцовым (гл. XXV и последняя, «Прибыли и убытки»), эта тема вновь была затронута в шутливой форме, как бы от лица недовольных читателей: «...Целый ряд жалобщиков обращал внимание на историю возникновения первого крупного пожара — в губернском суде, определенно указывая на его вдохновителя. Запрошенный в связи с этим проживающий в Крыму член профсоюза печатников Александр Степанович Грин письменно показал, что хотя им действительно был учинен в первой главе коллективного романа пожар в суде, но не его, Грина, вина в том, что этот пожар географически состоялся в советском городе Златогорске, а не

в некотором безымянном городе за границей, как это было предложено в рукописи Грина. Сверка документов действительно подтвердила, что А. С. Грином действие первой главы было указано не в СССР, и даже первые герои романа — делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога — первоначально, по Грину, именовались «архивариус Ворвий Гизель» и «репортер Вакельберг»...» (Огонек, 1927, № 25, с. 5).

По сути, вся глава М. Кольцова была ответом (проникнутым иронией) на разного рода «претензии» к содержанию глав коллективного романа якобы от лица «читателей» (разных златогорских «рабкоров»). Например, И. Бабеля обвиняли в «контрабандной, через роман, доставке в Златогорск нетрудового и контрреволюционного элемента». Негодовали и на Н. Ляшко, возмущаясь его легкомысленным поведением: «А еще свой, пролетарский писатель! Чуть завод не спалил, и рабочий поселок в придачу. Хорошо еще, что вовремя образумился, потушил...» и т. д. и т. п.

Что же представлял собой роман «Большие пожары», начатый А. С. Грином, продолженный, помимо уже названных писателей, Л. Леоновым, Г. Никифоровым, В. Лидиным, А. Зоричем, А. Новиковым-Прибоем, А. Яковлевым, Б. Лавреневым, К. Фединым, А. Толстым, Н. Огневым, В. Кавериным, А. Аросевым? Каждая новая глава предварялась изложением содержания предыдущих. Перед второй главой суть первой — гриновской — была изложена так: «В городе Златогорске приезжий концессионер-иностранец Струк воздвигает странный огромный особняк. Но городу не до того. В Златогорске — эпидемия пожаров, может быть, поджогов. Делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога отыскивают в архиве губсуда старое дело № 1057 о таких же событиях, происходивших в Златогорске двадцать лет назад. В ту же ночь сгорает здание суда» (Огонек, 1927, № 2). События всех последующих глав пересказаны в преддверии гл. XXIV «Последний герой романа» (автор — Е. Зозуля). Даже частичное знакомство с «содержанием» показывает, насколько справедливым было данное М. Кольцовым определение — «пожарная завирушка». Вот некоторые выдержки из общего «содержания» коллективного романа: «После пожара в здании суда Мигунов, как потерявший рассудок, помещен в психиатрическую больницу. Уголовник Петька Козырь похищает по заданию неизвестных лиц дело № 1057. Берлогу заманивают в психиатрическую больницу... После митинга на заводе комсомолец Ванька Фомичев, старый рабочий Клим и лихой заводской парень Варнавин решают сообща взяться за поиски поджигателей... В город приезжает некто, называющий себя инженером Куковеровым... устраивается секретарем министра Струка... При нем же авантюристка Дина Каменецкая, именующая себя «Элитой Струк». . Женщина-химик Озерова при опытах обнаруживает легкую воспламеняемость бабочек-капустниц при известных химических условиях. Во

время пожара сумасшедшего дома трагически погибает Ванька Фомичев. На пожарище одного из Златогорских домов среди вытащенных вещей Берлога находит дело № 1057... При помощи Мигунова и Берлоги Струк арестован» (Огонек, 1927, № 23). Последним героем романа оказывается изобретатель Желатинов — с помощью его огнетушителей пожары в Златогорске прекращаются. «Завершающим» был пожар в бывшем особняке Струка. Его виновниками явились известные «нэпачи» Пантелеймон Иванович Кулаков и Соломон Абрамович Прейман, не поделившие симпатию Элиты. А златогорские мальчишки сочинили по этому поводу частушки: «Бабочки да рюмочки / Доведут до сумочки». «Как видит читатель,— заключал М. Кольцов,— последняя вспышка версии о бабочках как виновницах пожаров давала вопросу совсем другое смысловое освещение».

То же можно сказать о задаче автора заключительной главы: «большие пожары» призваны были осветить ироническим заревом «особенности» умонастроений, господствовавших тогда в жизни Златогорска, а через него — и «советской жизни». Здесь и разленившиеся партийные работники, «допускавшие жизненные сюрпризы только в виде адресов в кожаных папках от подчиненных», здесь и постоянно нагнетаемый газетами психоз: «Рано думать, что уже отшумели великие грозы революции, что уже совсем потухли большие пожары! Тянется к нам враг, настойчивыми, длинными, цепкими умелыми своими руками подбирается он к каждому заводу, к каждому дому... есть четкие, жгущие слова советской власти о том... что грозит без всяких вымыслов...» (Огонек, 1927, № 25).

Конечно, все это — предельно далеко от того, что замышлял А. С. Грин, принимаясь за первую главу коллективного произведения. И все же этот своеобразный опыт сегодня заслуживает внимания как факт истории. Знаменательно, что роман этот, проникнутый иронией и по отношению к возможностям детективного жанра, открывался главой Грина, сумевшего в своем оригинальном творчестве придать авантюрной интриге свойства глубокого психологизма.

МОРСКОЙ СЛОВАРЬ

Бак — носовая часть верхней палубы.

Бакборт — левый, по ходу судна, борт.

Баркас (голл.) — самоходное судно небольших размеров (для перевозок в порту и т. п.).

Бейдевинд — курс парусного судна против ветра.

Брамсель — самый верхний парус.

Брассы — снасти, привязываемые к реям для вращения их в горизонтальной плоскости.

Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением на обеих мачтах.

Бугшприт (бушприт) — носовая оконечность судна.

Ванты — оттяжки из стального или пенькового троса, которыми производится боковое крепление мачт.

Вольт (фр.) — плавный крутой поворот.

Галиот — морское парусное судно прибрежного или внутреннего плавания.

Галс — положение судна относительно ветра.

Гандшпуг — деревянный или железный рычаг для подъема и передвижения тяжестей на корабле.

Грот — нижний большой парус на второй от носа мачте.

Кливер — косой треугольный парус на носу корабля (впереди фок-мачты).

Клюз — отверстие в борту для выпуска якорного каната или швартова.

Кнехты — чугунные, стальные или деревянные тумбы, используемые для закрепления канатов.

Леер — туго натянутый трос, оба конца которого закреплены; служит для ограждения палубы, мостиков и других открытых мест.

Миля (морская) — единица длины, равная в метрической системе 1,852 км.

Мурена — морская рыба; водится в южных бассейнах (Средиземное море, Индийский океан и др.).

Рифы — завязки на парусе, с помощью которых уменьшается площадь парусов.

Румпель — часть рулевого устройства судна в виде рычага, посредством которого поворачивают руль.

Саллинг — рама из продольных и поперечных брусьев, служащая для крепления верхних снастей составных мачт.

Стеньга — верхняя (вторая) часть мачты, когда она составлена из двух стволов.

Швартовы — трос или канат, которыми корабль крепится к пирсу, пристани, другому кораблю.

Штуртрос — цепь или трос, служащие как привод от рулевого колеса к румпелю.

А. А. Ревякина

СОДЕРЖАНИЕ

Грин А. С.

Г 85 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 4. Алые паруса. Блистающий мир. Золотая цепь. Сокровище африканских гор: Романы/Сост. с науч. подгот. текста Вл. Россельса; Примеч. А. Ревякиной.— М.: Худож. лит., 1994.— 543 с.

ISBN 5-280-02046-Х (Т. 4)

В четвертый том Собрания сочинений А. С. Грина вошли произведения крупной формы: феерия «Алые паруса», романы «Блистающий мир». «Золотая цепь». «Сокровище африканских гор», хорошо известные читателю.

Впервые публикуется по автографу 1926 года «Мотылек медной иглы» — начало коллективного романа «Большие пожары», печатавшегося в «Огоньке» в 1927 году.

Г 4 702 010 201-083 / 028(01)-94 Подписное **ББК 84 (2 Рос-Рус)6**

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГРИН

Собрание сочинений в пяти томах

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Редактор О. Дворцова

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор Н. Гришина

ИБ № 6728

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г.
Подписано к печати 10.06.94 г. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская.
Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт.
28,56. Уч.-изд. л. 29,67. Тираж 25 000 экз. Изд. № III-4319. Заказ № 1647.«С» — 243.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
107 882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диапозитивы изготовлены в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской Федерации.
113 054, Москва, Валовая, 28.

Отпечатано в Кировской областной типографии
610 000, г. Киров, Динамовский проезд, 4.

